



**Нагибин**

ЮРИЙ

**Нагибин**

ЮРИЙ

**МОСКОВСКАЯ  
КНИГА**

Наг

Юрий  
**Нагибин**

**МОСКОВСКАЯ  
КНИГА**

Издательский Дом «Подкова»  
Москва  
1997

ББК 84.37  
Н 16

Нагибин Ю.М.

Н 15 Московская книга. — М.: Издательский Дом  
«Подкова», 1997. — 544 с.

ISBN 5-89517-006-4

*Книга посвящается 850-летию Москвы*

*Тексты публикуются в авторской редакции*

© А.Нагибина, 1997

© Е.Селиванова. Оформление. 1997

ISBN 5-89517-006-4

# ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Эта книга — попытка систематизировать то, что я писал и пишу о Москве. А пишу я давно, с первых проб пера, значит, без малого полстолетия, и, верно, буду писать до конца дней о своем родном городе. Москве посвящены автобиографические рассказы, просто рассказы, очерки, литературные портреты моих земляков, тех, кто верно служил столице и не мыслил себя без нее. Этим чувством для меня уравнены великий певец и умелый ипподромный наездник, талантливый пейзажист и официант-ветеран. Москва дорога мне во всех ипостасях, но, пожалуй, наиболее интимно близкой остается Москва моего детства.

В последнее время самые разные люди спрашивали в письмах, чем объясняется такая преданность месту и дням своего начала. Конечно, интерес этот не только литературного плана, вернее, вовсе не литературного плана. Он связан с тревогой нынешнего дня: как растить человека, как укрепить, сохранить в молодой душе те хрупкие нравственные ценности, без которых даже самая благополучная жизнь нища и пуста. На мой взгляд, «Московская книга» как раз об этом, хотя автор не задавался воспитательными целями, что ему вовсе не по плечу.

Есть старая, но ничуть не поблекшая истина: мы все родом из детства. И самым чистым, самым светлым, самым важным, большим и значимым остается навсегда образ матери.

Человек формируется всей жизнью. Двор, детский сад, школа, пионерский отряд, комсомол — это важные формирующие душу начала. Но самым первым и ни с чем не сравнимым по силе воздействия — остается мать. Никакая

нянька, воспитательница, учительница, вожатая или классная руководительница не обладает материнской силой воздействия на строящуюся душу. Мать — это первая родина. И, может быть, самая большая. Когда я анализирую свои взгляды и доискиваюсь причин моих поступков, когда я хочу понять, откуда у меня те или иные качества, то чаще всего нахожу у истоков мою мать — Ксению Алексеевну.

Помню, как меня впервые привезли на подмосковную речку Учу, сейчас там громадное Учинское водохранилище. Мне не было шести лет, но я уже много знал об окружающем, привычный городской мир был щедро назван в словах, другое дело — здесь. Помню, мать подвела меня к сосне. «Смотри, это дерево,— сказала она со странной интонацией.— Наше русское дерево. Какое оно большое, доброе, надежное. И как чудно пахнет! Сколько в нем доверчивой силы и как легко его ранить!» Растроганная и чуть торжественная интонация поразила меня. Мать была человеком сдержанным до суровости. В нашей семье было принято держать свои чувства на привязи. Никакой сентиментальности, поцелуев и ласк. Наверное, потому так тронули меня мамины слова. Мне открылось светлое чудо, имя которому «дерево».

Давно уже я живу за городом и до сих пор, если у меня плохо на душе, тоска, неприятности, иду в лес. Прижмешься щекой к березе или шершавому стволу дуба — и успокаиваешься, все беды кажутся маленькими и преходящими. Дерево дает ощущение причастности к Великой тайне мироздания, вечности. Возле деревьев я всегда вспоминаю о матери. И не случайно писатель Николай Атаров так назвал моего главного лирического героя: «Человек из глубины пейзажа».

Мама всегда разделяла мои увлечения — будь то рисование, коллекционирование, сбор гербария; как-то исподволь, незаметно направляла, не давала потерять веру в себя. У нее не было специальных знаний (закончила с грехом пополам гимназию), но ради меня она узнала очень много о природе, запомнила названия цветов и трав, грибов съе-

добных и ядовитых, бабочек, насекомых. Дома мне разрешали держать животных. У нас жили: блохастый «дворник» Джек, кошка, четыре певчие птички, одно время — даже лисица. Птицы: чиж, щегол, чечетка и канарейка совсем не боялись нас, летали по комнате, благо мы жили в старом доме с высокими потолками, садились на руку, на плечо. Бережное отношение к зеленому миру, к младшим братьям естественно входило в душу, без назиданий и скучных проповедей.

Но случалось мне получать и уроки совсем иного толка. В детстве мы склонны создавать кумиров. Я влюбился в знакомого родителей, роскошного золотобородого дядю Сережу, по профессии переводчика, по сути — болтуна и бездельника. Он был щедро одарен природой: способностями полиглота, даром слова, тонкой музыкальностью, победительной внешностью. Он за многое брался, но ничего не доводил до конца и талантливо разыгрывал роль непонятого человека со сломанной судьбой.

Его очарование было опасно, и мать решила развенчать в моих глазах соблазнительный образ «страдальца». Если у мужчины нет настоящей профессии, которой он отдается целиком, с глубочайшей серьезностью и терпением, он ничего не стоит. Это пустоцвет. Нет ничего хуже. Должно быть главное дело в жизни, которое ты любишь и досконально знаешь. «Чем бы ты ни занимался, я ведь не знаю, кем ты станешь,— говорила мать,— будь прежде всего профессионалом. Все остальное от лукавого, но это по силе каждому человеку, знающему свою цель». Слова матери на всю жизнь запали в мою душу... Только не подумайте, будто я все детство жался к материнскому подолу. Она бы первая не позволила. У нас никогда не выделяли семью из мира и общества, и мне органически чуждо было стремление замкнуться в семье, уткнуться в ее тепло и малые заботы. Я был гражданином двора, улицы, Москвы... Круги моего познания год от года расширялись. Я рос в мире, а не в мирке, исподволь, но неуклонно мне внушали, что не ста-

нешь человеком, держась все время под спасительным крылом.

В пору моего детства существенную воспитательную (без кавычек) роль в нашей жизни играл двор. Двор не противостоял семье, а был как бы ее продолжением, это подтвердит каждый старый москвич. Во дворе мы постигали азы дружбы, крепко дружили и в школе. Что лежит в основе таких вот «коллективных» дружб? Мы были близки по нашему социальному положению по нашему московскому землячеству: гордились Москвой, таинственно-извилистыми переулками, Чистыми прудами, Меншиковой башней, Покровскими казармами... У нас были надежные покровители во дворе и прекрасные, умные преподаватели в школе, мы никого не забыли. Мы помним и духовой оркестр на чистопрудном катке, и как у музыкантов примерзали губы к мундштукам труб, помним наши игры, дворовый футбол, путешествия за город, общие обиды, влюбленности — это все составляет вещество нашего духа, нашей сущности. Мы помним, как в худеньких пальтишках еще в темноте, до начала занятий, торопились на Главный почтамт и там собирали бумажный утиль — не для того, чтобы разжиться томиком Дюма, а потому, что знали: стране не хватает бумаги на тетрадки и учебники. А с какой страстью собирали мы деньги на торпедный катер, дирижабль! А тяжелые сумки книгоноши, с которыми мы носились по улицам и площадям, выискивая любителей чтения!.. Мы не разлучались и после уроков, вместе ходили на каток, в кино, позже — в оперу, собирались в тех домах, где был патефон, и неуклюже танцевали под «Рио-Риту» и «Цыгана». И мы не были менее счастливы оттого, что приходили на эти вечера в лыжных костюмах.

Школа вообще очень много значила для нас, значит и по сей день. В 1928 году мы впервые перешагнули порог бывшего училища Фидлера возле Чистых прудов, а недавно в моем подмосковном жилье отметили 55-летие нашей дружбы, выдержавшей испытание временем, и каким временем!

У наших встреч давняя история, вскоре после войны мы решили собираться раз в год, в начале мая, местом встречи, естественно, были выбраны Чистые пруды. Бывает, что и хорошие традиции себя изживают, а вот с нами случилось прямо противоположное: нам стало не доставать одной встречи в год, ведь нам так хорошо друг с другом!

Каким же светлым и чистым было наше не слишком сытое и не слишком нарядное детство! Последнее нас ничуть не трогало, мы были напрочь лишены жадности к вещам, нас волновали иные ценности. Наше детство проходило не в тепличных условиях, мы выросли на ветру жизни. Радость молодости была для нас в постижении нового, в прекрасных книгах, в музыке, в походах, велосипедных поездках за город, ночевках на озерах и реках, в попытках что-то сделать своими руками, в спорте — не ради получения разряда или приза, а ради него самого.

Сейчас много говорят и пишут о трудностях и сложностях, связанных с воспитанием начинающего жизнь человека. Причин для возникновения этих сложностей немало. Но наиболее существенная, на мой взгляд, — ослабление семейного начала, а точнее, материнского начала в воспитании ребенка.

Природа, которая мудрее всех нас, возложила на женщину самую большую заботу — дать жизнь новому существу, научить его первоначальным навыкам в практическом и нравственном плане, очеловечить его. Эта задача так велика и так ответственна, что вершить при этом массу других дел никому не под силу. И часто женщина-мать бывает вынуждена сделать выбор не в пользу ребенка. Едва увидев свет, малыш отправляется в ясли, потом в детский сад, потом на «продленку» — меняются воспитательницы, каждая со своим характером, своими правилами, пристрастиями. Мать становится для ребенка милым, но редко зримым, почти неосязаемым существом — полупризраком. Семья — самое близкое, самое сильное по воздействию на податливую душу ребенка — практически самоустраняет-

ся на первом, важнейшем этапе формирования человека. А если в ранние годы в него не было заложено ничего прочного в нравственном смысле, в настрое души, то потом у общества будет немало хлопот с этим гражданином. Необходимо искать выход из положения, в котором оказались многие и многие семьи. Женщина должна быть освобождена для своей самой главной службы — детям.

Другая крайность — чрезмерное опекание ребенка родителями в сегодняшней семье. Тут нет противоречия с тем, о чем только что говорилось. Опека — тоже следствие ослабления семейного начала. Волей обстоятельств родители избавляются от своего чада, пребывающего в самом нежном возрасте, за счет общественных институтов или с помощью хорошо устроенных бабушек и дедушек. В результате с ребенком не устанавливается настоящего внутреннего контакта. Родители недодали ему душевного тепла и, ощущая эту вину, стремятся в будущем оплатить свой духовный долг запоздалой мелочной опекой и всевозможными материальными благами. Виноватые родители покупают подросткам детям модную одежду и всяческие хорошие вещи, прощают любые провинности, избавляют ребенка от всяких обязанностей. Виноватые родители готовят за школьника уроки, устраивают его не по заслугам в лучшие пионерские лагеря и спецшколы и непонятно зачем освобождают от занятий физкультурой. Виноватые родители проталкивают в вузы своих оболтусов, покупают им «Жигули», женят, приобретают кооперативную квартиру, взваливают на свои плечи воспитание внуков. Процесс опекания бесконечен, он тем страшнее, чем шире возможности родителей.

В этих семьях дети стали «недорослями». Родители как бы живут за них. Знакомства и блат кажутся естественными факторами жизни с молодых ногтей. Не потому ли иной ребенок так рано приобретает дурную взрослость, цинизм, неверие в бескорыстие, в благородство и этакую презрительную усмешечку, когда дело касается тонких и хрупких

ценностей жизни? Тут нет места никакому романтизму, никакой героике — потребителю благ они ни к чему.

Имеет ли смысл сравнивать молодость разных поколений? Мы провели трудовую, бодрую и бедноватую молодость, зато все завоевывали сами. Мы росли на холоду жизни, были наивнее, чище, в житейском смысле глупее, чем нынешняя молодежь. Преимущество ли ранняя утрата наивности?

Может быть, для сегодняшнего времени так лучше. Мир стал другим: более прагматичным, более жестким. У современного поколения естественно вырабатываются иные защитные средства, но это вовсе не исключает того, что страсти к материальному, «вещному» обедняет жизнь, делает ее плоской и сухой.

Вспоминается старая притча. Трое толкают тяжелую тачку. И всем троим задают один и тот же вопрос: что ты делаешь? Первый отвечает, что везет драгоценный материал, из которого будет построен великолепный дворец. Второй говорит, что зарабатывает на жизнь себе и своей семье. Третий — что он прикован к этой проклятой тачке... Могу со всей ответственностью сказать: на заре туманной юности мы не сомневались, что везем тачку с драгоценным грузом, что будет построен дворец...

# ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

Чистые пруды... Для иных это просто улица, бульвар, пруд, а для меня — средоточие самого прекрасного, чем было исполнено мое детство, самого радостного и самого печального, ибо печаль детства тоже прекрасна.

Было время, я знал там каждую скамейку, каждое дерево, каждый куст крапивы возле старой лодочной станции, каждую световую надпись: «Берегись трамвая!» — мигающую красным на переходе. У Телеграфного переул-ка в слове «Берегись» три последние буквы не загорались, получалось красиво и загадочно: «Берег трамвая». И сколько же свиданий назначалось на этом берегу! Мы, мои сверстники и я, не береглись трамвая, как в дальнейшем не береглись жизни. Мы перебежали рельсы наперерез трамвая перед самой тормозной решеткой, садились и прыгивали только на ходу, промахивали все Чистые пруды, повиснув на подножках, обращенных к железной ограде бульвара, стоя и сидя на буферах, а то уцепившись сзади за резиновую кишку и ногами скользя по рельсу. Веньке Американцу — он носил клетчатую кепку с пуговкой — отрезало ноги. Он умер по пути в больницу от потери крови, в полном сознании. «Не говорите маме», — были его последние слова. Нас не остерегла Венькина гибель, напротив, мы восхищались его мужеством и считали делом чести не отступать. Для нас, городских мальчишек, трамваи были тем же, чем волки и медведи для ребят таежной глуши, дикие кони для детей прерии. Дело шло напрямую: кто кого? И думаю, мы не были побежденными в этой борьбе...

Чистые пруды — это чудо первого скольжения на коньках, когда стремящиеся лечь плашмя «снегурочки» становятся вдруг послушными, прямо, стройно режут широким

лезвием снег и ты будто обретаешь крылья. Чистые пруды — это первая горушка, которую ты одолел на лыжах, и я не знаю, есть ли среди высот, что приходится нам брать в жизни, более важная да и более трудная, чем эта первая высота. Чистые пруды — это первая снежная баба, первый дом из глины, вылепленные твоими руками, и пусть ты не стал ни ваятелем, ни зодчим — ты открыл в себе творца, строителя, узнал, что руки твои могут не только хватать, комкать, рвать, рушить, но и создавать то, чего еще не было...

Чистые пруды — это целый мир чудесных неожиданностей. Милые, скромные чудеса моего детства! С дерева спускается широкий холст, на холсте намалевана белая мраморная балюстрада, строй кипарисов, море, в море корабль с поднятыми парусами, а надо всем этим серебряная колбаса — дирижабль с гондолой. Уставившись на холст то слепым, черно-заколпаченным, то живым стеклянным глазом, покоится на растопыренной треноге коричневый деревянный ящик, который за десять минут может подарить тебе твое изображение на фоне моря, среди кипарисов, с дирижаблем над головой. Для этого нужно, чтобы маленький чернявый человек, одетый зимой в жеребковую куртку, кубанку и бурки, а летом щеголяющий в тенниске, тюбетейке, парусиновых брюках и сандалиях на босу ногу, усадил тебя под кипарисы, затем припал к аппарату, накрыл себя черной тряпкой, резко крикнул: «Спокойно, снимаю!» — после чего, сняв колпачок с выпуклого глаза аппарата, описал рукой плавный круг и вновь прикрыл глаз. Да, чуть не забыл: еще этот человек, прежде чем снять колпачок, говорил: «Смотрите сюда, сейчас вылетит птичка». Он говорил это, когда я, четырехлетний, сидел перед глазком аппарата на коленях у отца и разрыдался оттого, что птичка не вылетела; он говорил это, когда я, дошкольником, снимался на лыжах под кипарисами и все еще надеялся, что птичка вылетит, и когда я был школьником с козелковым ранцем за плечами и уж не ждал никакой птички; он

говорил это, когда в канун окончания школы, в преддверии разлуки, я снимался у него с Ниной Варакиной и опять на миг поверил, что птичка наконец вылетит...

На Чистых прудах ходили китайянки с крошечными ступнями, оставлявшими на песочных дорожках бульвара детский, лишь более глубокий след. Мы нередко отыскивали их по этому следу: китайянки продавали бумажные фонарики, мгновенно сторающие, едва вставишь в них свечку; голубые, красные, желтые, оранжевые шарики на длинных резинках, набитые опилками, эти шарики чудесно подсакивали на резинке, возвращаясь прямо в ладонь, но удивительно скоро начинали сочиться опилками, съезживались и умирали; трещотки на спичке с сургучной головкой; причудливые изделия из тонкой сухой гофрированной цветной бумаги: с помощью двух палочек им можно было придать различную форму, от шара до улитки, но существование их отличалось, увы, такой же мотыльковой краткостью.

С китайянками соперничали продавцы воздушных шаров; когда шар выдыхался или лопался, начиналась его вторая, куда более увлекательная жизнь: мы выдували из лоскутьев крошечные пузырьки и звонко давили их о лбы и затылки друг друга; продавцы вафель и мороженого, постного сахара и красных леденцовых петухов — самого стойкого товара на веселом чистопрудном торжище: такого петуха можно было сосать с утра до ночи, он не уменьшался, только красил пунцовым губы и язык. А раз появился там ослик с длинными лысыми ушами и бесконечно грустным взглядом. Но мы заездили его в неделю, и ослика не стало...

Чистые пруды — столбовая дорога нашего детства. На Чистые пруды водили нас няньки, по Чистым прудам ходили мы в школу и на Главный московский почтамт: он шефствовал над нашей школой. Мы ходили туда в ранние утренние часы, чтобы собирать бумажный утиль в его просторных, тихих залах, где нежно шуршали ролики конвейеров, развозя: письма в конвертах, пакеты с красными сургучными печатями, кипы брошюр и газет.

Утиль мы сдавали во дворе весовщику, он шмякал наши мешки на большие весы с гирями и вручал нам квитанцию. По вечерам мы ходили сюда, чтобы работать в столярной мастерской; мы сколачивали ящики для рационализаторских предложений рабочих и служащих почтамта, выпиливали лобзиком из тонкой фанеры карикатурные портреты прогульщиков, склочников, бузотеров к вящему их позору. По Чистым прудам мы ходили в кино «Маяк» — самую плохую и дешевую киношку во всей Москве. Экран там заменяла побеленная стена, с этой стены шагнули в наше детство и кошачьи ловкий Дуглас Фербенкс, и маленькая Лилиан Гиш, и очкастый Гарри Ллойд, и до корчей смешные и чем-то щемяще-жалкие Пат и Паташон, и Донна Жуанна, женщина-бретер, и незабвенные герои «Красных дьяволят». На Чистых прудах находились наша библиотека, наш тир, наш клуб без стен, где решались наши пионерские дела, и наш райвоенкомат, откуда в сорок первом мы уходили на войну...

Чистые пруды были для нас школой природы. Как волновала желтизна первого одуванчика на зеленой кайме пруда! Нежности и бережности учили нас их пуховые, непрочные шарики, верности — двухцветное сродство иванда-марьи. Мы ловили тут рыбу, и, бывало, на крючке извивалась не просто черная пиявка, а настоящая серебряная плотичка. И это было чудом — поймать рыбу в центре города. А плаванье на старой, разошедшейся плоскодонке, а смелые броски со свай в холодную майскую воду, а теплота весенней земли под босой ногой, а потаенная жизнь всяких жуков-плавунцов, стрекоз, рачков, открывавшаяся на воде, — это было несметным богатством для городских мальчишек: многие и летом оставались в Москве.

Не менее щедра была и чистопрудная осень. Бульвар тонул в опавшей листве, желтой, красной, мрамористой, листве берез, осин, кленов, лип. Мы собирали огромные охапки палой листвы и несли домами тяжелые, печальные букеты и сами пропитывались этим запахом...

Чистые пруды были для нас и школой мужества. Мальчишки, жившие на бульваре, отказывали нам, обитателям ближних переулков, в высоком звании «чистопрудных». Они долго не признавали нашего права на пруд со всеми его радостями. Лишь им дано ловить рыбу, кататься на лодке, лазать зимой по ледяным валунам и строить снежные крепости. Смельчаки, рисковавшие приобщиться к запретным берегам, беспощадно карались. Чистопрудные пытались создать вокруг своих владений мертвую зону. Мы не только не могли приблизиться к пруду, но и просто пересечь бульвар на пути в школу было сопряжено с немалым риском. Разбитый нос, фиолетовый синяк под глазом, сорванная с головы шапка — обычная расплата за дерзость. И все же никто из нас не изменил привычному маршруту, никто не смирился с жестоким произволом чистопрудных захватчиков. Это требовало характера и воли: ведь достаточно было сделать маленький крюк, чтобы избежать опасности. Но даже самые слабые из нас не делали уступки страху.

Мы выступали против чистопрудных единым фронтом. Ребята Телеграфного, Лобковского, Мыльникова, поддержанные дружественными соседями с Потаповского, Сверчкова, Спасоглинищевского, Космодемьяновского, Златоустинского переулков, наголову разбили чистопрудных в решительной битве возле кинотеатра «Колизей». Отныне пруд и аллеи бульвара стали достоянием всех мальчишек округи, а от былой вражды не осталось со временем и следа. Смотрели твои окна на бульвар или в тишину прилегающих переулков, ты равно считался чистопрудным со всеми высокими правами, какие давало это звание...

Чистопрудный бульвар — свидетель и устроитель, увы, неудачливый, первой моей и единственной школьной любви, которую я пронес сквозь детство, отрочество, юность. Нина Варакина жила в том же Телеграфном переулке, близ Чистых прудов, где жил и я. Наш общий путь с ней в школу пролегал по Чистым прудам. В начальных классах мы шли так: Нина Варакина впереди, я на почтительном

расстоянии сзади или по соседней аллее. Она знала, конечно, что я не просто следую своей дорогой, что я иду с ней. Ведь на переменках я столько раз подбегал к ней, чтобы толкнуть, подставить ножку, дернуть за косу или шлепнуть по спине. Могла ли она не видеть, что я «гоняюсь» за ней? В пятом, шестом классах мы шли уже рядом, разговаривая, потом мы ходили, взявшись за руки, наконец, в последних классах — под руку. Но это нисколько не приближало меня к ней. Мы расставались у необлицованного кирпичного дома, за которым угрюмо высилась Меншикова башня.

— Пока! — всегда первая говорила Нина.

— Пока! — отвечал я с горечью в душе. Она скрывалась в темной подворотне, я переходил на другую сторону, и сразу в нос ударял мне тяжкий, гнилостный, с винным привкусом запах: в подвале за железной решеткой помещалось картофелехранилище. Черт его знает, отчего там так пахло! Впрочем, я мог легко избежать этого запаха, просто мне не надо было переходить на другую сторону. Но я переходил. Мне казалось естественным, что после разлуки с Ниной все портится в мире: тускнеет день, гложут звуки, загнивает воздух. С тех пор я знаю, чем пахнет разлука: смертью с привкусом вина.

Сколько я натерпелся из-за этой девчонки! Редкий день меня не били. Калабухов, чистопрудный парень, не давал проходу ни ей, ни мне. Я был сильным, поэтому Калабухов никогда не нападал в одиночку. Меня били при выходе из школы, на бульваре, в устье Телеграфного переулка, на катке. Правда, били лишь тогда, когда видели с Ниной, без нее я был в безопасности. Сколько Нининых носовых платков, которыми унимал я кровь, осталось у меня, сколько монеток передал я ей: ведь дарить платки плохая примета. Нине было тяжело, что я подвергаюсь из-за нее постоянной опасности, но, чутко понимая мою обреченность, она никогда не предлагала мне ходить поврозь. Когда мы стали старше, драки прекратились. Мы могли спокойно сидеть на скамейке Чистых прудов и в тысячный раз выяснять, почему я

ей не нравлюсь, вернее, нравлюсь, но как-то не так. Не так, как наш бывший вожатый Шепелев, не так, как Лемешев, не так, как летчик Громов, не так, как Конрад Вейдт и Борис Бабочкин, — перебирал я мысленно, поскольку знал все самые сильные Нинины влюбленности. Величие и отдаленность этих моих соперников избавляли меня от ревности, но не от тоски. К несчастью, было и другое. Я знал, что Нина целовалась с красивым, щеголеватым старшеклассником Лазутиным, редактором школьной стенной газеты; что нередко ее привозит в школу на мотоцикле парень в кожаной куртке и очках-консервах; что пропуска в Художественный театр достает ей какой-то студиец...

Иногда мимо нас проходил Калабухов; он учился теперь в спецшколе и носил военную форму. Он приветствовал Нину по-военному, бросая руку к околышу фуражки, а на меня кидал угрюмо-сочувственный взгляд. Его жест и взгляд совпадали, и мне казалось, что он салютует моей грустной стойкости.

Самая трудная пора наступила, когда мы перешли в десятый класс. Нину «открыла» вся школа. Я и то удивлялся, как могут ребята размениваться на других девчонок, когда есть Нина. И вот наконец то, что было мне ведомо многие годы, вдруг стало ясным всем ребятам: в 311-й школе есть чудо, и чудо это — Нина Варакина. Возможно, пришло время раскрыться всему, что таилось в ее зыбкой, смутной прелести подростка. Очарованный ею, когда она была еще косолапой, смешной девчонкой, я не берусь об этом судить.

Общее поклонение, как и всякий культ, непременно должно было обрести единую форму. Этой формой оказалась поэзия. Школой овладело стихотворное помешательство. Не было дня, чтобы очередной поэт не вел Нину на Чистые пруды, к беседке, чтобы прочесть ей стихи своего сердца. Стихи были плохие, с однообразными околичностями, почти в каждом упоминались роза и озеро, читай: бульвар и пруд. Мы вместе с ней смеялись над этими сти-

хами. И все же я с болью чувствовал, что Нину трогают если не сами стихи, то усилия, затраченные в ее честь. И становилось странным, отчего же молчу я, самый давний и преданный ее поклонник...

И вот я просидел долгую ночь, марая один тетрадный лист за другим. Первая строчка давалась легко: «Пусть все тебе пишут играя», «Всю жизнь так близко и далеко», «Неужто ты не понимаешь», «Я тебя разлюбить не умею», «Какая боль, какая нежность». Иногда к первой строчке подтягивалась вторая, но и на этом все кончалось. Я стал вспоминать стихи своих любимых поэтов: Пушкина, Лермонтова, Тютчева. Снова потекли первые строчки: «Я полюбил тебя младую», «Твой взор меня бежит», «Там на берегу пруда». И дальше ни с места. Мне было печально и больно. Уже под утро я схватил чистый лист бумаги и твердо написал: «Ты самая красивая, я очень тебя люблю».

Нинино лицо, когда она прочла это краткое послание, выразило досаду и разочарование. Потом она еще раз прочла его и долго, задумчиво улыбнулась. «Пиши прозу, — сказала она, — у тебя получается...»

Прошли годы и годы, я так и не придумал ничего лучшего. И вот теперь, уже немолодой, я могу сказать своей нынешней любви все то же: «Ты самая красивая, я очень тебя люблю...»

В раме Чистых прудов запечатлелся для меня и самый сильный образ моей юности. Это было в пору ожесточенных боев в Испании. В воскресный день в садах и парках Москвы шло праздничное гулянье молодежи. Быть может, потому, что отовсюду глядело с портретов прекрасное, неистовое лицо Долорес Ибаррури, что многие юноши носили республиканские зеленые пилотки с красным кантом и кисточкой, что на улицах то и дело вспыхивала «Бандера роха», самая популярная песня тех дней, что в разговорах поминутно звучали красивые горькие слова: «Гвадалахара», «Овьедо», «Уэска», «Астурия», «Мадрид», что небо было озарено алым отблеском праздничных огней, а порой в сторо-

не Москвы-реки ослепительно лопались в выси фейерверки, что вечер этот был душист и жарок и звенела музыка, — нам казалось, будто самый воздух насыщен Испанией, ее звуками и ароматами, ее борьбой, ее гневной непримиримостью.

Мы собрались, чтобы поехать в парк культуры и отдыха, но вдруг, уже на пути к метро, раздумали и свернули на Чистые пруды. Испания была разлита в воздухе, Испания была в нашем сердце. Мы ощутили странную знаменательность этого вечера, тень судьбы скользнула над нашими головами в бойцовских пилотках. Мы проглянули и приняли грядущее со всем, что оно возложит на наши плечи.

Поэтому и потянуло нас на Чистые пруды, хоть не было здесь ни трубачей, ни многоцветья огней и фейерверков, — нас потянуло сюда, как тянет человека к истоку юности, к началу начал. И само собой получилось, что мы шли строем, по трое в ряд. Нам повстречался наш одноклассник, веселый человек, Юрка Петров. Отдавая шутливую дань нашему воинскому строю, строгому молчанию и пилоткам, он крикнул: "

— Привет бойцам-антифашистам!

Мы ответили в голос, без улыбки:

— Но пасаран!

Не пройдет и пяти лет, и те же слова, сказанные порусски, многие из нас оплатят своей кровью. А сейчас они рядом, они полны силы и молодости, полны надежд, любви, замыслов, поэзии слов и поэзии чисел, они идут, неотличимые от тех, кому суждено остаться в живых, равные с равными, по людному бульвару к темному, тихому пруду..

Мы стояли у низенькой ограды пруда и смотрели на воду, когда в воздухе воссиял одинокий фейерверк. Его зажег какой-то малыш, крошечный чистопрудный патриот, не захотевший, чтобы его бульвар отставал от ликующих парков столицы. Голубая звездочка взвилась в небо, вспыхнула ослепительным белым, из белого родилось алое и длинными струями потекло вниз. С багрово озаренной воды

навстречу мне медленно всплывали красивые, мужественные лица моих друзей, и запомнилось так на всю жизнь...

Когда мы ловили рыбу на Чистых прудах, нас часто окружали зеваки. Брала рыба очень плохо, часами не бывало поклевки, и, обозленные отсутствием впечатлений, бездельники начинали поносить нас и Чистые пруды.

— Охота дурью мучиться, разве здесь может быть рыба?

— В такой грязи не то что рыба — лягушка сдохнет!

— Нашли где ловить — в сточной канаве!

Мы не вступали в спор, мы продолжали удить, мы пили горстями холодную, ломившую зубы воду, а люди на берегу плевались и предрекали нам хворь. Но мы были уверены, что водоем наш чист, что рыбе в нем живется привольно и сытно и ей не по вкусу наша приманка: дождевые черви и хлебные катыши.

Как мы гордились и торжествовали, когда кому-нибудь из нас удавалось вытащить карасика или пескаря! Но случилось это редко и не могло развеять дурную славу нашего пруда.

Однажды осенью пруд спустили, чтобы углубить и расчистить. И вот тогда-то по берегам выстроились огромные плетеные корзины, доверху полные живой рыбы. Тяжко раздувая перламутровые жаберные крышки, упруго сгибая хвост, силились выскочить из корзин крупные, литые сазаны, подпрыгивали, будто чувствуя себя уже на сковородке, золотые и серебряные караси, зеркально светлели пескари и плотицы... Как же чист и щедр был наш водоем, если в нем могла дышать и жить вся эта рыбная несметь! Да, он был чист и щедр, как наше детство, он поил нас свежей водой, старый московский пруд, сказочное озеро молодых, давних лет!

# Я ИЗУЧАЮ ЯЗЫКИ

Моей матерью владело одно честолюбивое желание: обучить меня иностранным языкам. Лишних денег в семье не водилось, и мне шел уже седьмой год, когда мама отыскала наконец молодую немку, которая за недорогою плату согласилась давать мне уроки.

— Она будет не только учить Сережу, — говорила мать моему деду, — но и водить его гулять. Это настоящая Грехен: белокурая, голубоглазая, совсем молоденькая и очень милая. Ее зовут Анна Ивановна, она родилась в России и прекрасно говорит по-русски.

— Весьма похвально, — раздувая усы, проворчал дед. — Ну а немецкий она знает?

— Ее фамилия Борхарт, — сказала мама, — самая немецкая фамилия.

Мама не преувеличивала достоинств Анны Ивановны Борхарт, она в самом деле была милая, молоденькая, белокурая и прекрасно говорила по-русски.

Мое воспоминание о первой учительнице похоже на некоторые кубистские портреты Пикассо. В странном, хаотическом, хотя, быть может, закономерном сопряжении плоскостей и линий вдруг проглянет живой влажный глаз, нежная крутизна скулы, смутный намек на какую-то телесность, но все вместе не складывается в цельный и отчетливый образ. С пятилетнего возраста моя жизнь ясно, в мельчайших подробностях освещена памятью, но все связанное с немкой Анной Ивановной видится мне вкраплениями реальности в полубредовый перепут красочных мазков. Помню ярко-синие глаза и светло-льняные, почти белые волосы, помню лиловые шерстяные чулки и серые фетровые ботики, помню обезьяний воротничок шубки. Но

не помню, как она впервые появилась в нашем доме, как приходила и уходила, чем мы занимались с ней во время уроков. А ведь, наверное, она чему-то учила меня, но этого, хоть убей, не помню.

Зато крепко засело в памяти другое. Мы гуляем на Чистых прудах, маленькой лопаточкой я строю из снега домик, рядом пританцовывают серые ботики и лиловые чулки. Я не умею строить: я просто подравниваю сугроб лопаткой, прихлопываю с боков, получается что-то похожее на вздувшийся в духовке сыроватый пирог. Но я втыкаю сверху щепку — это труба, с боков криво рисую похожие на тюремные окошки, и у меня нет никаких сомнений, что я построил дом.

Анна Ивановна молча — она почти все делает молча — берет у меня из рук лопатку, ловко обрезает мое сооружение со всех четырех сторон, и вместо кривых склонов вырастают прямые, стройные стены, затем, набросав поверх свежего снега, она несколькими точными ударами лопатки подводит дом под двускатную крышу. Никакой трубы, никаких рисованных окошек, и все же это настоящий, красивый и уютный домик. Я очарованно гляжу на дивное сооружение. Как жаль, что его нельзя унести с собой!

— Дас хаузхен! — нежно говорит Анна Ивановна.

Я гляжу на нее и вижу лишь васильковое сияние ее глаз.

— Дас хаузхен! — проникновенно повторяет Анна Ивановна. — Домик...

— Дас хаузхен, домик, — лепечу я, блаженно подавленный этим двойным богатством: открывшейся мне тайной созидания и первым словом чужого языка, которое, я знаю, запало в меня навек.

И я думаю сейчас слышал ли я от Анны Ивановны еще какие-либо немецкие слова, кроме слов приветствия: «Гутен Морген» — и прощального слова «ауфвидерзейн»? Но эти слова я знал до нее, от дворовых ребят, и вовсе не считал немецкими.

Но «хаузхен» звучало мне не раз. Сколько таких вот чудесных домиков построили мы с Анной Ивановной и на Чистых прудах, и в Телеграфном переулке, и в Потаповском, и в Сверчковом, и в Армянском! Если бы они не разрушались, в недрах Москвы возник бы новый маленький город. Анна Ивановна никогда не отказывала мне в просьбе построить домик. Миг — и лопатка быстро мелькает в ее руке, и бесформенная глыба снега становится уютным домиком. «Еще один хаузхен», — говорит Анна Ивановна, и мне кажется, это строительство доставляет ей не меньше радости, чем мне. Что я еще помню? Незнакомую мне близость чужой жизни, молчаливой, потаенной и деятельной. Да, Анна Ивановна, при всей своей тихости, была очень деятельна. Пока я рассматривал картинки в толстой немецкой книге, которую Анна Ивановна приносила в потертом портфельчике, — огнедышащие вулканы и сокровища земных недр, жуков и червей, паровые машины и сложные станки, человеческий скелет, мышцы и внутренности, красивых мужчин и женщин верхом на породистых тонконогих конях и в лакированных автомобилях, животных, птиц и рыб, бородавчатую щеку луны и звездное небо, — моя учительница писала письма. Писала и рвала, обрывки прятала в свой портфельчик, снова писала, потом облизывала клейкий край конверта острым розовым язычком и запечатывала письмо. А когда мы шли гулять, то первым делом опускали письмо в синий почтовый ящик на углу Телеграфного переуллка и слушали, как оно, шурша, проскальзывает вниз, на дно ящика. Почти бегом мы устремлялись на почтамт, и Анна Ивановна склоняла свою белокурую голову к полукруглому окошку и о чем-то спрашивала сидящую там седую, стриженную под мальчишку, краснолицую женщину. Выслушав короткий ответ, она медленно, помогая себе руками, распрямлялась и уходила от окошка. Мне казалось, что она не видит меня в эти минуты, и, боясь потеряться в огромном, гулком мире почтамта, я жался к ней, ловил ее локоть. Мы шли на Чис-

тые пруды, и здесь Анна Ивановна строила очередной домик и, будто возвращалась издалека, говорила нежным, разбитым голосом: «Дас хаузхен».

Все сжималось во мне от жалости, я знал, шестилетний дуралей, что она несчастлива, и, право же, довольно далеко добирался в своей угадке по смутным следам ее беды.

Если я, для своих лет, так много угадывал в ней, так взволнованно чувствовал ее неблагополучие, почему же память моя столь неполна и отрывочна? Слишком сильное давление чужой, напряженной, сложной жизни лишило, мне кажется, мою память обычной детской цепкости. Зоркость сердца, проникшего туда, куда ему еще рано было заглядывать, пошла в ущерб зоркости глаза.

Незадолго до конца месяца Анна Ивановна, смущаясь и краснея, попросила у мамы свое скромное вознаграждение вперед. А получив, как в воду канула. Правда, через неделю она прислала наспех нацарапанную записку: пусть мама не беспокоится о деньгах.

— Да я нисколько не беспокоюсь, — огорченно говорила мама, — но бросить нас так внезапно, без предупреждения, как раз когда ты стал делать такие успехи, не ожидала я от Анны Ивановны!

А затем мама вдруг решила, что Анна Ивановна тяжело больна, что она лежит одна, без всякой помощи и мы непременно должны ее проведать. Кто-то помог маме раздобыть ее адрес, и мы отправились через всю Москву в Верхние Котлы. Помню огромный деревянный дом на краю света, лестницы, шаткие, как пароходные трапы, кухню, похожую на фрегат, всю в тяжко влажных парусах стиранных простыней, и клубы пара, и едкий щелочный запах; и странных, растерзанных женщин, возникавших из пара и простыней и кричавших так громко, словно все они терпели бедствие. Наконец крики и длинные жесты обернулись маленькой, похожей на моль старушкой, такой высохшей, пропеченной, легкой, что казалось, хлопни ее ладонью, и старушка рассыплется золотой пылью. Старушка долго

не понимала, чего он нее хотят, а потом сказала зловеще и таинственно:

— Как Бог свят, гноила у меня угол немочка, да под Егория съехала. Вот адресат свой оставила...

Мама переписала адрес, и мы отправились на другой конец города, в Сокольники. Здесь мы попали в девственный мир, в снегу тонула улица, вернее, просека в голоствольном сосняке, в снегу тонули домики, сараи, кусты, а собачьи будки были просто сугробами с черной дырой лаза. И мы по колено тонули в снегу, плутая в перепутанице домовых номеров.

— Где-то здесь должен быть пятый номер! — неуверенно сказала мама, разглядывая груды домишек под номерами 3, 7, 9 и а.

— Да вот же он! — Я показал на маленький, едва видный за сугробами дом без номера, по другую сторону улицы.

— С чего ты взял?

Да я просто знал: ведь сколько раз видел я этот уютный домик, этот «хаузхен», я помогал его строить. Но разве объяснишь это маме?

От беспомощности мама стала доверчивой. Увязая в снегу, мы перешли улицу и толкнули тонко пискнувшую калитку. К крыльцу была протоптана дорожка. Мы двинулись по снежному коридору, но еще не достигли крыльца, как из дома большой розовой птицей вылетела Анна Ивановна, в легком ситцевом платье — красные гвоздики на палевом фоне, с непокрытой снежной головой, и кинулась к нам.

Она не была ни смущена, ни удивлена, только счастлива — конечно, не нашим появлением — и щедро излила на нас свое молодое, через край, счастье. Она обняла маму, склонилась ко мне и, став золотисто-розовой туманностью, просквоженной одним ярко-синим, нестерпимо сияющим маяком глаза, поцеловала меня. Быть может, Пикассо изображал своих женщин в кратком видении поцелуя?

Они с мамой взволнованно, перебивая друг друга, о чем-то говорили, но я слышал лишь интонацию уступок и бла-

городства, внимание мое было занято другим. На крыльцо, придерживая голыми по локоть руками накиннутую на плечи кожаную куртку, вышел рослый молодой человек в клетчатой ковбойке и толстых шерстяных брюках, заправленных в тяжелые горные ботинки. Образ этого юноши запечатлелся во мне с совершенной полнотой и отчетливостью. До сих пор помню я его тонко-загорелое лицо — такой загар бывает лишь от зимнего солнца, каштановые волосы, серые глаза, тяжеловатую нижнюю челюсть, выжидательную, холодную улыбку резко очерченного, сжатого рта, его мускулистые, смуглые руки, покрытые рыжеватым пухом, сильную фигуру с плоским животом, прочно расставленные ноги.

Я смотрел на него и понимал, что мы больше никогда не увидим Анну Ивановну. Она построила свой «хаузхен», и на этот раз не из снега.

Когда умер дед, оказалось, что у него есть небольшие сбережения. Я был уверен, что дед копил мне на велосипед, но доказать этого не мог. Мама нашла деньгам иное применение: в нашем доме появилась миссис Кольберт, «настоящая англичанка».

Миссис Кольберт была маленькая, круглая и крепкая, как кленовый корешок. На смугловатом, румяном лице влажными вишенками темнели живые, зоркие глаза, чуть тронутые сединой волосы были густы и тяжелы, зубы белы как мел..

Январское солнце просвечивало молочный покров неба. В комнате светло, как весной. Окна наполовину оттаяли. Видны крыши под ослепительным снеговым настилом и черные фигурки людей, сбрасывающих лопатами снег.

Миссис Кольберт зевнула, прикрыв рот пальцами. Тщетная предосторожность. Зевок вышел из-под прикрытия и захватил все лицо. Мгновенной судорогой он свел челюсти, округлил ноздри и наполнил слезами глаза. Наслаждение, которое он ей дал, долго не сходило с ее лица слабой, растерянной улыбкой.

В такой день особенно томительна та полная отрешенность от реальной жизни, которая сопутствует первым

урокам иностранного языка. Дерево, стол, человек, дом — призрачный мир начинающего ученика! Рассказы о том, почему у осла длинные уши, а кожа носорога собрана в складки, и бесстрастные фразы: «Я ношу калоши», «Куда ушел Майкл?», «Майкл ушел в школу» — призрачно благополучная среда, неестественная, как лечебная ванна.

Англичанка зевала, я пытался придумать фразу, которая хоть на мгновение вернула бы нас к живой обыденности. Недавно она принесла мне марку Британской империи с почтовым штемпелем, вырванную из конверта, — она знала, что я собираю марки. Верно, она получала письма с родины.

— Миссис Кольберт, а у вас остались родственники в Англии?

Англичанка вздрогнула, словно застигнутая врасплох моим вопросом, черные глаза ее заблестели, все же она не поддавалась сразу. Она прижала пальцы к вискам и мучительно сморщилась.

— Но, но! — воскликнула она. — Скажите мне эту фразу по-английски.

Я сказал как умел.

— О да, у меня там есть дочка.

— Взрослая девушка?

— Очень взрослая! Церере тридцать три года. Она учительница, как мама. Она преподает в колледже.

— Вы очень по ней скучаете? У вас нет других детей?

— Of course, конечно. У меня было два мальчика и две девочки. Марс, Юпитер, Церера и Венус.

— Как? — вскричал я, ощутив, что снова проваливаюсь в тот призрачный мир, который приносила с собой англичанка.

Она решила, что я не понял последнего имени.

— Венера, — пояснила она. — Fine children, славные дети. Я дала им такие красивые имена, чтобы они были счастливы. Прекрасные имена! Муж гордился, что у него такие дети.

Равнодушия как не бывало, она словно вспыхнула изнутри.

— И они были счастливы, ваши дети? — выдавил я наконец. Англичанка повела плечами под тяжелым платком, покрывавшим ее спину, концы его она всегда придерживала рукой у горла:

— No!

Немного помолчав, она продолжала:

— Самый любимый был Марсик. Splendid boy! Он был такой вкусный. Я его мыла в тазу. Он был уже взрослый юноша, у него грудь была черной от волос, но его так приятно было мыть. Такая большая радость — смотреть, как он рос и становился мужчиной. Ему только исполнилось двадцать, когда он получил место в колониях. Он думал вернуться богатым. Но заболел там... — Она зябко передернула плечами. — Как это?

— Малярией?

— No!

— Лихорадкой?

— Да, да, он получил лихорадку. Болезнь вспыхнула, и его не стало. Poor boy, бедный мальчик. А еще слезы не высохли, новое несчастье пришло: умерла Венус, любимая дочь. У меня есть ее фото.

Англичанка порылась в портфеле и достала фотографию. Смуглая девушка лет двадцати пяти лежала на траве. Широко раскрытые глаза и та неестественная улыбка, какая бывает при съемке с большой выдержкой. На белом платье и голой руке легкая тень листьев невидимого дерева. Одна нога подогнута, и натянувшаяся юбка обрисовала полное колено, другая нога, очень прямая, лежала не в лад с телом, словно чужая.

— Она здесь за месяц до смерти. У нее нет ноги, это протез.

— Мисс Кольберт, а как она потеряла ногу?

Англичанка шутливо хлопнула меня по руке:

— Опять вы называете меня мисс, я не девушка — я миссис. Вы спрашиваете, как Венус потеряла ногу. Мы жили не в Лондоне, мы жили в предместье. Венус спешила на ра-

боту, а было много людей. Они тоже спешили сесть в трамвай. Они толкнули Венус, и нога ее попала под колесо. Ах, Венус, роог girl. Она отказала своему жениху, из красивой, толстой девочки стала худой и белой. Надо лечить ее, но было жалко денег. Она лечилась, когда уже поздно было лечиться.

— Да, это неприятная вещь, — сказал я довольно бессмысленно, так как не знал, нужно ли сочувствовать столь далекому горю. Но у вас ведь еще были дети, — прибавил я в утешение.

— Да, Церера и Юпитер. Но они не такие. О, Венус, какая умная и красивая! Это не такие умные и красивые, они пошли больше в папу. После смерти моего мужа я жила у Цереры. Она неплохая девушка, но ее нельзя так любить, как Венус. Когда я вместе с сыном Юпитером уехала из Англии, Церера не захотела ехать со своей матерью. Она осталась в Англии, у нее родился ребенок, а отец ребенка не знает об этом, и она не знает, где отец. Она пишет, что хочет приехать сюда...

Англичанка усмехнулась.

— Скажите, — произнес я, чувствуя трепет перед судьбой, так сурово покаравшей жалких земных богов, — а что случилось с Юпитером?

— Юпитером? Stupid boy! Он приехал сюда вместе со мной. Я его не люблю: он изменил свое имя.

— Разве это такой большой грех?

— У нас это не принято, — сказала англичанка, поджав губы. — Такое красивое имя Юпитер, а он сделал из него Питер, Петр. Он говорит, что все смеялись над его именем. Мне жалко, что он счастливый, а не Марсик и Венус. Он изменил свое имя и стал счастливым почему-то, у него жена и родился ребенок — Василь...

Англичанка взглянула на часы. Минутная стрелка на два деления переступила оплачиваемое время. Англичанка охнула, перехватила платок левой рукой, другую торопливо сунула мне и метнулась к двери...

Я был десятиклассником, когда в младших классах нашей школы ввели французский язык. Несколько лет назад, сдавая в утиль библиотеку покойного деда, я наткнулся на загадочную французскую книжку. «Мемуары г-на д'Артаньяна», — разобрал я с трудом. Я не знал: подлинны ли это мемуары, ведь при дворе Людовика XIV действительно был капитан мушкетеров д'Артаньян, или апокрифические, но меня давно томило желание прочесть книгу, связанную с моим любимым литературным героем. Я стал ходить в первую смену на уроки французского.

Язык преподавал пожилой, из обрусевшего рода, француз Сергей Петрович Лефевр. Почему-то все мы были уверены, что он потомок наполеоновского маршала и знаменитой мадам Сен-Жен. Очарованный моим рвением, этот добрый человек предложил мне брать бесплатно уроки у его племянницы Мари, не столь давно выписанной им из Франции. Я спросил у Сергея Петровича, как мне к ней обращаться: не Мари же и не товарищ Лефевр!

— Зовите ее мадемуазель Лефевр, — ответил он с улыбкой.

Так появилась в моей жизни мадемуазель Мари Лефевр. Первое впечатление от нее было странное. Быть может, имя Мари, да еще в сочетании с «мадемуазель», настроило меня на ожидание встречи с юным, цветущим существом, почти моей сверстницей. Мари Лефевр давно пережила свою первую весну, ей было под тридцать, ее тонкое лицо сохранило молодость, как и мальчишески худая, стройная фигура, но волосы, от природы русые, отливали серебром. Угловатая, хрупкая, беззащитная, как-то внимательно-рассеянная, в тонком, чуть осязательном аромате нежных духов, она напоминала мне зачарованную принцессу из старых французских сказок, и мне хотелось стать принцем, чтобы, совершив ряд диковатых подвигов, снять с нее злые чары. Мне было восемнадцать лет, и, впервые нарушив многолетнюю верность Нине Варакиной, я влюбился в Мари Лефевр.

Любил я ее, как и обычно бывает в юности, глазами. Я смотрел на ее тонкие, длинные, просвечивающие, прозрачно-розовые пальцы, на темную овальную ямку над ключицей, на легкие серебристо-пепельные волосы, но если встречал ответный взгляд ее бледно-фиалковых глаз, то тут же потуплялся и тогда видел тонкую сильную щиколотку и маленькую, острую лакированную туфлю.

Она не подозревала о моей влюбленности, и все же мне удавалось получать от нее свою долю нежности, хотя сама она не знала об этом.

Это случилось впервые, когда под ее диктовку я вывел деревянными пальцами: «Le camarade Petrov». Мадемуазель Лефевр сказала:

— Eh bien, только над «е» надо поставить accent aigu.

— Что? — спросил я вздрогнув.

Лицо француженки улыбалось, в бледно-фиалковых глазах блеснула искорка. «Accent», — повторила она. Затем уголки ее губ дрогнули, губы вытянулись в робкую трубочку, верхняя губа чуть дрожала, и она нежно прошептала: «Aigu» — и звук замер не сразу. Тогда я снова при первом же случае пропустил крючок над закрытым «е», и француженка снова с нежностью, заставившей меня вздрогнуть, произнесла: «Accent aigu!»

Почему это слово звучало на ее чуть увядших губах с такой молодящей нежностью? Есть слова, звучание которых затрагивает самые глубокие слои души. Почему слово «стабилизатор» всегда вызывает у меня улыбку радости, а слово «креатура» заставляет морщиться, словно от кисло-го? Какая-то магия слов, вернее, звуков... Но тогда я не задумывался над этим, я воровал эту нежность, попросту относил ее к себе и улыбался француженке в ответ...

Я понял всю прелесть этого слова, когда научился произносить его. В нем особая, непередаваемая интимность, оно продолговатое, оно соединяет губы собеседников, оно летит с дыханием. Впервые произнеся его вслух, я покраснел, мне казалось, что я сделал признание в любви.

— Accent aigu! — проговорил я задыхаясь.

— Accent aigu, — прошептала она.

Но однажды меня постиг жестокий удар. Написав какое-то слово, в котором, мне казалось, должен стоять «аксантегю», я был остановлен резким голосом Мари Лефевр:

— Не то, не то, — accent grave.

Я не понял ее и смутился. Она взяла из моих рук перо и вывела закорючку над буквой в сторону, обратную знаку любви — accent aigu.

— Accent grave, — сказала она, и на щеках ее проступили сухие трещинки морщин, углы губ некрасиво раздвинулись и опустились.

Укороченное слово звучало отвратительно и резко, как отказ в любви. Я никогда не забывал в дальнейшем ставить этот значок, а она, словно щадя меня, никогда больше не произносила жесткого слова.

Чтобы я привыкал к звучанию живой французской речи, Мари Лефевр рассказывала мне бесстрастным голосом романтические и неправдоподобные истории «из жизни ее знакомых», какие могут возникнуть лишь в возвышенном и неудовлетворенном сердце. Я слушал, поглядывая на ее пальцы, ключицу, волосы, щиколотку и кончик лакированной туфли.

Мы медленно продвигались вперед, уроки утомляли меня бесплодной игрой чувства, и язык постигался туго.

Как-то в начале марта, в первый солнечный день близящейся весны, она пришла еще более угловатая, чем обычно, а на щеках ее тлели нежно-розовые пятна румянца. Она была беспокойна, в ней чувствовалось скрытое волнение.

— Accent aigu, — сказала она, поправляя мою приветственную фразу.

Она вынула из портфельчика маленький, чуть помятый букетик подснежников и протянула мне. Она стала говорить, что на двор пришла весна, в эту пору больные девушки умирают, а здоровые любят и получают счастье. И что у нее на родине, в Авиньоне, все покупают сейчас цветы. У

больных цветы стоят в горшках на окнах, здоровые рвут их в полях и вдевают в петлицы.

— У вас тоже любят цветы, — почему-то печально вздохнула она.

Затем она снова заговорила о весне. О том чудном беспокойстве, какое возникает в сердцах молодых людей, и как грустно спокойствие тех, кто уже никого не любит. И тогда я решаюсь. Я сжимаю букетик подснежников, голос мой словно балансирует на тонкой проволоке и вот-вот сорвется:

— Можете ли вы полюбить, mademoiselle?

Она сделала полуетстраняющий жест, прижав пальцы к вискам, а локти выставив вперед. Затем опустила руки, развернула учебник, и полились строки диктанта, равнодушные, как дробь осеннего дождя:

— C'est l'ouvrier Jvanov. C'est la porte. C'est la pomme... George... — Я был остановлен ее изменившимся голосом. — George любил меня. Он просил у меня поцелуй, только поцелуй... Я была... как это.

— Робкой?

— Нет...

— Гордой, честной, черствой, холодной, бессердечной?..

— Нет, нет, нет! — перебивает она меня. — Добродетельной, добродетельной девушкой. Я сказала ему: я подарю тебе свой первый поцелуй, когда стану твоей женой. *Jl ne va pas à pied. Jl entre dans la cour. Accent aigu.*

— Тут нет, тут нет accent aigu, — поправил я.

— Pardon! *Jl est étudiant.* Но мы не могли стать муж и жена, мы были бедны, и Жорж надо много работать, чтобы стать муж. *Jl va à la fabrique...* Пишите же, это надо писать. Он работал много, у него была слабая грудь, он кашлял. Но он любил меня и хотел стать муж, он все просил: подари мне один поцелуй. Но я была, как это?..

— Добродетельной.

— Да, я была добродетельной девушкой, я говорила: нет...

Она замолчала. Румянец ее щек разбился на хлопья, голос не повиновался, но она пересилила себя и заставила спокойно продиктовать:

— *Jl travaille à la fabrique...*

— Он заболел и не вставал с кровати. Я приходила к нему и приносила цветы, но он твердил: один поцелуй, *une eis*, но я была... — От сдавленного дыхания голос ее перешел в хриплый, шепот, и тогда она снова сказала слова из диктанта, и они поддержали ее: — *Jl dit: c'est le mur, c'est la chaise, c'est la table...* И он до конца просил меня, и умер на моих руках, и, когда глаза его закрылись, я поцеловала его в лоб. Это можно, я была честная девушка, — с торжествующей гордостью сказала она. — Я не нарушила своего слова. — С нестойким спокойствием она продиктовала: — *Camarade Pétrov va à l'université.* — И вдруг отчаянно: — *Jl ne viendra pas de là...* Вы спрашиваете: могу ли я полюбить? *Jl ne viendra pas de là — accent grave.*

*Accent grave!* Нельзя было прямее сказать: нет. Да и на что я мог надеяться? Ну что ж, я останусь ей верен, я отдаю ей бескорыстно всю свою нежность.

— Нет, — говорю я и сопровождаю свои слова взмахом пера, — нет, мадемуазель, я ставлю здесь *accent aigu!*

# ТОРПЕДНЫЙ КАТЕР

...Конференция по разоружению зашла в тупик. Итальянцы требуют равенства своего флота с французским, англичане не хотят поступиться хоть одним кораблем, немцы тайно строят боевой флот, готовясь к реваншу. Можем ли мы оставаться в стороне, ребята? — говорил на сборе отряда наш вожатый Витя Шепелев, и его красивое узкое лицо горело ярким, вишневым густоты румянцем.

— Нет! — пылко вскричала Нина Варакина, но ее восклицание было вызвано не столько тяжелой международной обстановкой, так ясно и твердо обрисованной Виктором, сколько тайной и постоянно прорывающейся влюбленностью в нашего вожатого, в его красоту и румянец.

Все мы невольно заулыбались. Улыбнулся и покраснел еще пламенней сам вожатый. Румянец, то и дело обливавший его лицо, выдавал не смущение или застенчивость, а скрытое напряжение его внутренней жизни, страстность, которую он вынужден был держать в узде. Подавленное мстило за себя, выталкивая ему под тонкую кожу горячую, алую кровь. Мне кажется, наши девочки безотчетно угадывали это, и румянец Шепелева покорял их властнее, чем его серые матовые глаза под длинными ресницами, чем его белые с жемчужным оттенком зубы, чем его высокий рост и стройность, чем его восемнадцать юношеских лет.

— Так что же мы должны сделать, чем ответить на происки империалистов? — в упор спросил Шепелев.

— Собрать еще больше пустых бутылок! — выпалил тихий, застенчивый Ворочилин.

— Нет, этого мало! — серьезно сказал Шепелев.

— Хорошо учиться, — пропищала круглолицая зеленоглазая Кошка — Панютина.

— Это мы должны всегда!

— Послать протест! — выплыл на миг из своих роговых очков с выпуклыми стеклами серьезный, погруженный в себя Павел Глуз.

— Отвечать надо не словом — делом!

— Крепить оборону Родины! — громко сказала Лида Ваккар.

— Конкретнее! — потребовал Шепелев.

Он всегда произносил в иностранных словах ударные «е», как «э» и говорил «пионэр», «тэнор», «сантимэтр», «конкрэтно». И многие наши девочки подражали ему.

В моей душе бродило что-то смутно-героическое, но не складывалось в четкий образ предстоящего нам деяния.

— Мы должны, — медленно произнес Шепелев, — собрать деньги на торпедный катер.

— Я только хотел сказать! — вскричал я: в эту минуту мне и в самом деле казалось, что я хотел это сказать.

— Напрасно удержался, — заметил кто-то ехидно.

Но остальные не обратили внимания на мою неловкую выходку, слишком велико было впечатление, произведенное вожатым. Вот такой он был, Шепелев, он всегда подводил нас вплотную к решению вопроса. Даже странно, почему мы неизменно останавливались у самой последней черты; казалось бы, еще небольшое усилие ума и сердца, и нужное слово будет сказано, но мы терялись, и последнее слово оставалось за нашим вожатым.

— Подписные листы я раздам завтра, каждое звено должно собрать не меньше ста рублей.

— Неужели торпедный катер стоит всего четыреста рублей? — удивился Ворочилин.

Наш отряд включал пионеров пятых классов: «А», «Б», «В», «Г», каждому классу соответствовало звено.

— В одной нашей школе семь отрядов, — ответил Шепелев, — а собирать на торпедный катер будут пионеры и других московских школ.

— Ого! — сказал Ворочилин. — Неужели катер стоит так дорого?

Я поймал на себе гордый взгляд Кольки Карнеева, звеньёвого 5-го «А», и ответил ему таким же гордым взглядом. Я был звеньёвым 5-го «В», и между нашими звеньями, сильнейшими в отряде, шло постоянное соперничество.

— Наше звено соберет сто пятьдесят рублей! — крикнул я.

— Обязательство берет звено, а не звеньевой, — сухо сказал Шепелев.

Я и сам это знал, но уж больно хотелось мне уязвить Карнеева. На сборе звена мы решили, что каждый пионер будет подписывать жильцов своего дома. Большинство ребят обитало в маленьких домишках Покровских переулков, где нельзя было рассчитывать на обильную жатву, но три друга — Грызлов, Панков и Шугаев жили в новом восьмиэтажном доме военных, что в Сверчковом переулке, Ладейников — в таком же большом доме политкаторжан на Покровке, наконец, я — в доме печатников, хотя и трехэтажном, но огромном, выходившем на три переулка — Армянский, Сверчков и Телеграфный. Я был уверен, что мой дом меня не подведет. Основное население, которому дом был обязан своим названием, составляли типографские рабочие: печатники, наборщики, офсетчики, брошюровщики, переплетчики, метранпажи — народ политически грамотным, партийный, многие участвовали в революции и гражданской войне. Конечно, были и другие жильцы, занимавшие некогда огромные квартиры в нашем, тогда еще доходном «доме Константинова». Сейчас их заставили потесниться...

Вечером я отправился в путь. Меня встречали приветливо и серьезно, со строгим интересом к моему поручению. До сих пор памяты мне худые, бледноватые, будто тронутые свинцовым налетом лица, осторожный кашель: многие носили в себе профессиональную болезнь дореволюционных наборщиков — чахотку; внимательные глаза

за металлической оправой очков, глуховатые голоса, расспрашивающие, что за катер и с какой целью он строится. Разговор чаще велся в прихожей или на кухне, куда собирались все обитатели квартиры: главы семей, их жены, иные с грудными детьми на руках, мои дворовые дружки, а иной раз и неприятели. Но и эти последние, уважая дело, которое привело меня к ним, держались вежливо и предупредительно. В рабочих семьях подписывались все, не много, по достатку и возможности, и я понимал, что внесший двадцать копеек был не скупее того, кто жертвовал полтинник, просто сейчас он не мог дать больше. Часто подписывались и жены: на три, пять копеек, сколько у кого оставалось от дневных расходов; они не складывали свои деньги с мужними, вносили их самостоятельно и тоже расписывались на листе. И мои дворовые приятели не оставались в стороне, причем вклад их порой превосходил родительский. Но особенно растрогал меня Борька Соломатин, хотя он внес всего пятачок. Это был очень старый, совсем стершийся, расплющенный пятак, но в том и заключалась его ценность. Борька отдал свой знаменитый биток, которым он обыгрывал весь двор в расшибалку.

В первый вечер я собрал около двадцати рублей. У большинства ребят, как и следовало ожидать, успехи были скромнее. Зато Грызлов, Панков и Шугаев могли похвалиться круглой суммой в пятьдесят рублей. Ладейников не пошел в обход. Он боялся засыпать контрольную по арифметике и весь вечер промучился с задачками. Все же общая сумма приближалась к сотне. Звено Карнеева собрало сорок рублей, остальные того меньше. В этот день мы были героями школы.

На большой перемене мне попался Карнеев.

— Мы думаем взять новое обязательство, — бросил я ему небрежно. — Что скажешь насчет двухсот рублей? .

— А мы уже это сделали, — ответил он спокойно.

Надо было принимать срочные меры — Карнеев что-то задумал.

Павел Глаз был выдающимся математиком: мы проходили арифметику, а он давно вращался в сфере отвлеченных величин.

— Слушай, Глаз, ты не останешься после уроков позаниматься с Ладейниковым? — спросил я его.

— У меня сегодня кружок, — после долгой паузы, понадобившейся ему, чтобы уразуметь мой вопрос, ответил Глаз.

— Можешь разок пропустить. Ведь аврал. На Ладью вся надежда. Порешай с ним задачки, а то Карнеев нас побьет.

— Мы собрали девяносто семь рублей, а они сорок три, — вдруг оживился Глаз. — Значит, через неделю у нас будет шестьсот семьдесят девять рублей, а у них триста один, на триста семьдесят восемь рублей меньше.

— Да, по цифрам это верно, — сказал я, несколько ошеломленный быстротой, с какой были произведены эти подсчеты, — а на деле хорошо бы две сотни собрать. Тут все не так просто... — Но, увидев, как затуманилось и отдалилось лицо Глаза, я не стал пускаться в объяснения. — Одним словом, раз ты сам не ходишь по квартирам, помогай нам своей гениальностью.

— Что же делать! — вздохнул Глаз.

Но Ладейников не успокоился.

— У меня с домашним сочинением паршиво, — сказал он.

Если бы дом политкаторжан не рисовался мне чем-то вроде золотых приисков, я бы по-свойски ответил Ладейникову.

— Да ты что — не можешь написать, как провел лето?

— А чего писать, когда я все лето играл в футбол?

— Лида! — позвал я высокую сухощавую девочку с раскосыми серыми глазами.

Сочинения Лиды Ваккар на вольную тему пользовались особой любовью у нашей учительницы Елизаветы Лукиничны из-за чувствительности, с какой Лида описывала

сельские пейзажи и животных. Если верить Лидиным описаниям, то большая часть жизни лучшей гимнастки пятых классов проходила на берегах ручьев, заросших прудов, среди овечек и козочек.

— Чего тебе? — лениво спросила Лида.

— Лида, помоги этому обалдую написать, как он провел лето.

Лида, столь трогательная в своей прозе, вовсе не отличалась сентиментальностью.

— И не подумаю! — сказала она.

— Но у нас вся надежда на Ладью!

Лида чуть смутилась:

— У меня не выйдет.

— У тебя-то?

— Откуда я знаю, как он хулиганил летом?

— Он тебе расскажет, и он вовсе не хулиганил, правда, Ладья? Он играл в футбол, купался в ручье и пас овец.

— Скорее, его пасли, — вскользь бросила Лида. — Ладно, черт с вами!

— Вот бы мне кто с чертежиком помог... — завел Ладейников.

— Знаешь что — хватит! Помощь помощью, а батрачить на тебя никто не будет...

В следующий вечер я продолжил обход дома. Покончив с нашим двором, я перешел на другой двор и тут сразу же столкнулся с неожиданностью. Дверь мне открыл чистопрудный парень Калабухов, мой самый ожесточенный враг. Мало того, что он принадлежал к враждебному клану, он, как и я, был влюблен в Нину Варакину. По его наущению и с его участием меня не раз жестоко избивали накатке чистопрудные ребята. Но почему он попал в наш дом? Видимо, Калабухова столь же удивило мое появление.

— Ты... ты чего? — проговорил он, заступая мне путь в коридор.

Один на один я не очень боялся Калабухова. Отстранив его плечом, я ответил свободно:

— Деньги на торпедный катер собираю... А ты чего тут делаешь?

— К бабушке пришел... — растерянно произнес Калабухов.

Между тем передняя заполнилась жильцами и уже прозвучал привычный вопрос: «Тебе чего?..» Я хотел ответить, но Калабухов опередил меня:

— Я его знаю, он деньги на торпедный катер собирает! После этого Калабухов забрал у меня лист и сам провел подписку. Когда же передняя опустела, он сунул мне собранные деньги и прошептал с ненавистью:

— Попадись ты мне, зараза, на Чистых прудах!

Утро принесло разочарование. Панков, Груздев и Шугаев столкнулись с конкуренцией: пионеры других школ, живущие в их доме, тоже проводили подписку на катер. Нашим ребятам достались поскребыши, что-то около двадцатки. Маленькие дома Покровских переулков, выжатые досуха, дали всего десять рублей. Весь наш сбор едва достиг полусотни. Звено Карнеева собрало примерно столько же, и разрыв между нашими звеньями сохранился. Мы по-прежнему ходили в героях. Принимая от нас деньги в пионерский комнате, Шепелев растроганно произнес:

— Молодцы, ребята!.. Народ вас не забудет!

За спиной Шепелева, распластанные по стене, скрещивались деревками знамена, над ними сиял золотом пионерский горн. И слова Виктора были как золото, как кумач... Потрясенный, Ладейников дал слово, что немедленно ринется на штурм карманов политкаторжан...

Вечером я снова ходил по дому, но дело у меня не ладилось. Ничего удивительного тут не было. Квартиры с рабочим составом жильцов я уже обошел и сейчас все чаще натывался на мутноватый, отнюдь не пролетарского корня народишко. Помню, я очень долго стучался в маленькую, обитую войлоком дверь. Наконец дверь приоткрылась, в щели, косо перечеркнутой цепочкой, возникла повязанная темным платком старушечья голова. Крошечные, мокрые

глазки, скользнув по мне, обрыскали лестничную площадку. Убедившись, что я один, старуха скинула цепочку и выпустила меня в сумеречную переднюю, припахивающую церковь.

— Чего тебе? — спросила она.

— Я собираю деньги на торпедный катер.

— Чего? — Она повернула и наклонила голову так, что ее большое ухо с мясистой мочкой приблизилось к моим губам.

— Деньги... — как в микрофон, сказал я в это ухо.

Старуха цепко оглядела меня:

— Одет вроде чистенько... Да кто их, нынешних, поймет... Ну-кась, выдь на площадку.

Я шагнул за порог. Старуха накинула дверную цепочку и сказала мне:

— Погоди тут...

Возилась старуха долго. Наконец в щели показалась темная, жилистая рука, держащая какой-то сверток в газетной бумаге.

— Ступай себе с Богом!.. — И дверь захлопнулась.

Я развернул сверток. В нем оказались куски ситничка, позеленевшие корки черного хлеба, маленькая копченая, медного цвета рыбка и сморщенное яблоко. Первым моим движением было постучаться в дверь и швырнуть старухе ее оскорбительное подаяние. Да ну ее к черту! Положив сверток у порога, я постучался в другую дверь.

Мне никто не ответил, видимо, квартира была пустая. Я взбежал этажом выше и нажал кнопку звонка раньше, чем подумал, что сюда-то мне звонить не следует. Здесь жила Валя Гронская.

Лет пять-шесть назад моего деда, врача, вызвали ночью к больной девочке. У девочки оказался дифтерит, она задыхалась. Дед, хороший и опытный врач, принял необходимые меры и, как любили говорить в то время, спас больной жизнь. Девочка эта была Валя Гронская, сказочное существо, которому я издали молчаливо поклонялся. Сколько раз с восторгом и смирением смотрел я, как ее привозят из

гостей или с прогулки, летом — в лакированной пролетке на дурых шинах, зимой — в высоких санях с меховой полостью, разряженную, словно маленькая дама, смуглорумяную, грациозно-капризную, чуждую нашему двору с его винными складами и винным запахом, с толстозадыми битюгами и хмельными краснолицыми возчиками, чуждую мне и моим дворовым сверстникам, всем нашим делам, дружбе, вражде и оттого еще более притягательную.

Хотя мне было тогда семь лет, я не был вовсе лишен социального чувства, меня, внука врача и сына инженера, упорно звали во дворе «буржуем». Мы жили очень скромно, только-только сводя концы с концами, и ничего буржуазного в нашей трудовой семье не было. Меня до черноты в глазах злило, когда Женька Мельников, сын завмага, кругленький, сытенький, добротен и нарядно одетый, отвлекался от бутерброда с ветчиной, чтобы крикнуть мне набитым ртом: «Буржуй!» — «Сам ты буржуй — ветчину жрешь!» — отзывался я, но освободиться за счет Женьки от ненавистной клички мне не удавалось. Я не понимал тогда, что дело тут не в зажиточности, а в моем непролетарском происхождении. Потребовалась вся бескорыстная и самоотверженная деятельность деда, лечившего жильцов нашего дома бесплатно, мои собственные футбольные и хоккейные подвиги, потоки крови из носа Женьки Мельникова и других особо рьяных любителей меня подразнить, чтобы оскорбительное прозвище отпало. И вот мне, так болезненно воспринимавшему слово «буржуй», никогда не приходило в голову отнести его к Вале Гронской.

Как я уже говорил, уважая славный народ, населяющий наш большой дом, дед не брал денег за лечение. Он не отступил от своего правила и в случае с Валей Гронской. Очарованные врачебным искусством и еще больше бескорыстием деда, Гронские решили отблагодарить его через внука и пригласили меня на день рождения Вали.

Из старой отцовской толстовки мне сшили штаны и курточку, и в назначенный день и час, зажимая под мыш-

кой роскошного сытинского издания «Детство и отрочество» Толстого, я вошел в залитый огнями, сверкающий позолотой мебели и гладью зеркал чертог. Я не подозревал, что на свете существует такая роскошь: стены увешаны картинами в золотых багетных рамах, одна из них изображала Валу во весь рост с красным цветком в матово-черных волосах; на высоких постаментах — хрустальные и фарфоровые вазы, на этажерках — фигурки из слоновой кости. Иные стены были затянуты шелковыми тканями, иные украшены лепкой. Сколько там было комнат — не знаю, по-моему, сто. Слепленный, оглушенный, как-то тяжело очарованный, я был в полубреду. Впрочем, во мне хватило ясности понять, что я очень плохо одет по сравнению с другими детьми: бархатными мальчиками и кружевными девочками. Я сознавал также, что жалок в своем поведении: прилепившись к Вале, я следовал за ней, как невзрачная тень. Ей, наверное, хотелось посекретничать с подругами, поговорить о чем-то своем с знакомыми мальчиками, но стоило ей уединиться с кем-либо, как тут же рядом вырастал я, безгласный и настырный со своей ненужной преданностью.

Там играли в фанты, и, конечно, мне выпало петь, и, красный, слепой, полумертвый, я тупо стоял посреди комнаты не в силах раскрыть рта, хотя рыжеволосая Валина тетка, с голыми полными руками в оспенных прививках величиной с медные пятаки, трижды принималась наигрывать на огромном черно-пламенном рояле «В лесу родилась елочка». А когда я наконец решился и тихо фальшиво затянул: «Смело, товарищи, в ногу», на меня зашикали. Оказывается, мой фант пропустили, и сейчас какая-то девочка, ловя воздух маленьким круглым ртом и проглатывая его вместе с началом и концом слов, но громко и самоуверенно читала по-немецки «Лорелею».

А потом в коридоре на меня вдруг стал наскакивать козелком высокий тонкий мальчик с завитой кудряшками головой. То ли его обозлила моя прикованность к Вале, то

ли он почувствовал во мне пария и возжаждал легкой славы — не знаю. Он зажал меня в угол и тыкал в грудь хорошо пахнущей шелковой головой, толкал острым плечиком, а я только ежился, смущенно и жалко улыбаясь. Он был года на два старше меня и на голову выше. Но не это меня останавливало — страшно было нарушить порядок в его бархатном, с кружевным воротничком костюмчике, в его тугих аккуратных кудряшках. И тут я заметил, что Валя со странным интересом следит за упражнениями своего приятеля. Наверное, я делаю страшную глупость, что позволяю ему измываться над собой: мне дана возможность вмиг стать героем, возвыситься в глазах Вали, а я стесняюсь и робею, как девчонка.

И когда он снова боднул меня в грудь, я встретил его ответным ударом плеча в скулу. Он отскочил с удивленным и обиженным видом, затем его тонкое личико скривилось, и он кинулся на меня. Через секунду он лежал на полу в своем костюмчике и кудряшках, а я сидел у него на животе. Он позорно разревелся, и на его рев из гостиной прибежали взрослые. Победа не принесла мне славы. Мальчику все сочувствовали, а на меня смотрели раздраженно и осуждающе. Даже Валя, встретившись со мной взглядом, пренебрежительно дернула плечом и пошла за апельсином для моего противника.

Незаметно выскользнул я из этого богатого и враждебного дома, выскользнул навсегда. Меня обуревали сложные и сильные чувства. Сводились они к одному: я мечтал еще об одной революции, которая покончила бы с такими, как Гронские. Придумывалось хорошо и сладко: вот я въезжаю на белом коне в квартиру Гронских, бью зеркала, рушу обстановку и увожу на луке седла бесчувственное тело Вали, чтобы потом оживить его для новой, прекрасной жизни... С тех пор прошло шесть лет, и не понадобилось новой революции, чтобы лишить Гронских их прежнего величия. Я понял это, едва переступил порог. Они, правда, сохранили свое барахло, но замаскировали его, чтобы оно не

бросалось в глаза: все кресла, стулья, диваны были затянуты полотняными, некогда белыми, а сейчас грязноватыми чехлами. И картины — их стало куда меньше — тоже зачехлены, и люстра с хрустальными висюльками скрыла жаркое сверкание в пыльном мешке, и даже Валя, открывшая мне дверь, со своими туго и гладко зачесанными назад, к пучку, черными волосами, в узком темном платье и серых нарукавниках, вся какая-то сжавшаяся в самой себе, показалась мне зачехленной. А вот старик Гронский, выглянувший в переднюю, и впрямь был облачен в полотняный чехол поверх бумажных брюк и рубашки «смерть прачкам»; да и Валина мать, принесшая из кухни запах прогорклого масла, была зачехлена понизу — так выглядел на ней полотняный фартук, скрывший ее большой живот и толстые ноги.

— Кто там пришел? — спросила она сильным, носовым голосом, в котором звучала раздраженная тревога.

— По-моему, сын доктора Ракитина, — небрежно ответила Валя, хотя она отлично знала меня.

Она сильно изменилась с той далекой поры, но не в худшую сторону: прекрасная девочка стала строго и грустно красивой девушкой. И хотя жажда мести не угасла в моей душе, я поправил ее мягко:

— Не сын, а внук.

— Что ему нужно?

Валя чуть приметно усмехнулась:

— Что тебе нужно?

— Мы собираем деньги на торпедный катер.

— Мы? — Валя высокомерно вскинула бровь. — Ты что, Николай II?

В этом зачехленном обиталище я чувствовал себя посланцем светлого, широкого мира, за моей спиной было море и небо, дирижабли и торпедные катера, Красная Армия и все, чем жили настоящие люди моей страны. Мне легко давалось спокойствие.

— Мы — это московские пионеры, — сказал я.

Короткая улыбка, скорее гримаска, тронула Валины губы:

— Я думала, ты найдешь себе занятие получше, чем побираться по квартирам.

— Мы не побираемся, — сказал я, бессознательно угадав, что сильнее всего Валую задевает словечко «мы». — Мы помогаем строить наш Красный Флот!

Не знаю, произвела ли на Валую впечатление эта звонкая фраза, но старик Гронский ощутил некоторую тревогу. — Дай-ка список! — сказал он. — Это что, приказ, указ, наказ?

— Никакой не приказ, кто хочет, тот и подписывается.

Старик Гронский прочел список и убедился, что тут дело добровольное.

— Раз это не приказ, наказ, указ, — сказал он, возвращая мне подписной лист, — то потрудись закрыть дверь с той стороны.

Странно, почему-то я был уверен, что он непременно подпишется, хотя бы из осторожности. Но его отказ меня не обескуражил. Напротив, было даже приятно, что все четко определилось и нечистые руки Гронского не коснулись нашего дела. В глазах Вали светилось торжество: ей казалось, что ее отец унизил меня.

И вдруг я рассмеялся оттого, что вопреки жалкому Валиному торжеству я все-таки взял реванш. И Валя поняла это — резко наклонив голову, чуть наискось к плечу, она спрятала лицо и быстро прошла в комнату...

Я иду дальше, от двери к двери, с лестницы на лестницу, с этажа на этаж, из подъезда в подъезд. Я вдавливаю круглые кнопки электрических звонков, дергаю за веревочные хвосты старинные колокольчики, отрывающиеся тонким, жалобным треньком, стучусь костяшками пальцев, ребром ладони, кулаками, носком и пяткой ботинка в молчаливые то деревянные, то обитые клеенкой по войлоку, а то и жестью двери. Чаще мне открывают, иногда нет. Чаще мой подписной лист пополняется, иногда нет. Я начинаю замечать, что у двери тоже свое лицо. Есть двери добрые, они непременно широко распахнутся перед тобой

в удачу; есть двери злые — лишь просветят узкой щелью и тут же захлопнутся; есть мертвые двери, раньше, чем толкнешь в них, уже знаешь — они не откроются. Иногда попадают двери безликие: ни звонка, ни колокольчика, ни списка жильцов, ни медной дощечки, ни почтового ящика, никакой царапины, никакой надписи на гладких досках, ни захоженного половичка перед ними, ни железной сетки, ни просто следов...

Вот за такой дверью я натолкнулся на самого странного человека из всех населяющих наш большой дом.

В синеву бледный, с рыжими перьями волос, торчащими вокруг гладкой костяной плечи, с морковными глазами, он поразил, ошеломил меня до испуга. Едва я пробормотал положенную фразу о сборе средств на торпедный катер, как он затрясся от хохота и резким птичьим голосом закричал:

— Что?.. Торпедный катер?.. Катись на легком катере к чертовой матери!

Но тут же вопреки своим словам схватил меня за плечи и втащил в прихожую.

— Зачем тебе катер, мальчик? — кричал он. — Что ты с ним будешь делать? Кататься на Чистых прудах?

Я пробормотал, что катер нужен не мне, а нашему Военно-Морскому Флоту.

Он всплеснул руками:

— Такой маленький, а уже милитарист!

Я решил по созвучию слов, что милитарист нечто вроде милиционера. «Наверное, какой-нибудь кустарь или бывший нэпман, — подумал я. — Это они боятся милиционеров».

— Милиция тут ни при чем, — с достоинством сказал я. — Хотите подписывайтесь, хотите нет.

— Ты плохо агитируешь, мальчик! — вскричал человек. — Ты должен убедить меня, зачаровать, как василиск! Ты знаешь, кто я такой?

«Псих!» — чуть не слетело у меня с языка, но вместо этого я только мотнул головой.

— Я — обыватель, — грустно сказал человек и сел на окованный жестью сундук, занимавший чуть не половину прихожей. — А ты понимаешь, что такое расшевелить обывателя, пробудить его для общественной жизни? — Он пристально посмотрел на меня своими морковными глазами. — Ну а что такое обыватель, это хоть ты знаешь?

— Гад нашей жизни! — твердо ответил я.

— Неплохо! — сказал человек. — За это я дам тебе копейку... Не тебе, не тебе... — замахал он руками, — а на твой дурацкий катер!

Он скрылся в комнате и тут же вернулся, зажимая что-то в кулаке.

— Держи! — он театральным жестом разжал кулак: на ладони лежал новенький рубль. — Бумажная копейка! — засмеялся он радостным, детским смехом.

Окончательно сбитый с толку, я крупно вывел на подписном листе «1 рубль» и сказал:

— Распишитесь.

— Я верю, верю, мальчик, что ты не истратишь мой рубль на мороженое! — закричал человек.

— Распишитесь, пожалуйста, иначе я не могу принять деньги.

Человек взял карандаш и размашисто расписался. Я посмотрел на его подпись и густо покраснел. Едва ли хоть одно имя появлялось в ту пору так часто на афишах, как имя рыжего, вихрастого человека. И ведь я знал, что знаменитый музыкант живет в нашем доме, но принимал за него совсем другого — почтенного, дородного старца с нежной сединой длинных легких волос, ниспадающих из-под старомодной фетровой шляпы на бархатный воротник пальто. Кто же тогда тот старый шарлатан, с благостным достоинством принимавший восторженные взгляды нашей дворовой вольницы? Или рыжий дурачит меня?

— А у вас есть скрипка? — брякнул я.

— Виолончель, мальчик, виолончель! — строго поправил человек. — А теперь, когда мое инкогнито раскрыто,

оставь меня, воинственное дитя. Я создан не для битв. То, что в мир приносит флейта, то уносит барабан...

Сейчас, когда я знал, кто он, его болтовня уже не раздражала меня, так же как и внезапные жесты и весь причудливый облик. Бессознательно я понимал ту вольную игру свободных душевных сил, что присуща щедро одаренным артистическим натурам.

Рубль музыканта оказался моей последней удачей в этот вечер. Подписной лист выглядел жалко. Что оставалось делать? У меня было девять рублей, скопленных на покупку трех томов «Виконта де Бражелона» в издании академии. Я превратил рубль виолончелиста в десять, в конце концов, я и так знал «Бражелона» почти наизусть.

Но в школе меня ждал удар, перед которым померкли мои собственные неудачи. Ладейников собрал всего два рубля, и то рубль получил от матери в награду за сочинение, написанное Лидой Ваккар. Пока мы возились с Ладейниковым, готовя его к контрольной, двое ребят из звена Карнеева обошли дом политкаторжан и собрали обильную жатву. Самое возмутительное было то, что они даже не жили в этом доме. Я хотел крупно поговорить с Карнеевым — его звено собрало снова около пятидесяти рублей, почти догнало нас, — но тут внезапно забрезжил луч надежды.

В нашем классе учился Юра Петров, загадочный парень. Высокий, тонкий, с хрупкими костями, которые он постоянно ломал, то прыгая с лыжного трамплина, то на катке, то занимаясь фигурной ездой на велосипеде, Петров представлял загадку и для учителей, и для нас, товарищей. Он лучше всех играл в баскетбол и в волейбол, лучше всех бегал на коньках и на лыжах, был настоящим виртуозом велосипедного спорта, но он не входил ни в одну команду. На все наши уговоры он отвечал примерно так: «Не могу, ребята. Перед соревнованиями я обязательно что-нибудь сломаю и подведу команду». — «А ты не ломай, поберегись». — «Это мое дело, — отвечал он надменно, — хочу

ломаю, хочу нет». Учился он то прекрасно, то из рук вон плохо. От собраний старался отлынивать, но, когда это не удавалось, всегда брал слово и закатывал такие речи, что казалось, нет более заинтересованного в школьной жизни человека, чем Юрка Петров. Однажды нашему звену поручили сколотить тридцать почтовых ящиков для рационализаторских предложений рабочих и служащих Московского почтамта и написать тридцать призывов. Юрка Петров взялся нам помогать и обнаружил такую ручную умелость, что мы все ящики уступили ему, а сами занялись плакатами. Тогда я сказал: «Юрка, почему ты не вступишь в пионерский отряд?» — «Э, нет, — ответил он, — позволь мне умереть беспартийным». И вот этот Юрка неожиданно попросил у меня подписной лист. Почему-то я сразу поверил, что Юрка — наше спасение, но будет ли это честно в отношении Карнеева?

— Да пусть собирает, — пожал плечами Карнеев, когда я рассказал ему о предложении Петрова.

— Ну а как же соревнование? Петров не пионер.

Карнеев улыбнулся, мне показалось, немного свысока:

— Какая разница, если деньги идут на общее дело?

— А зачем вы у нас дома перебиваете? — вспыхнул я.

— Что, это ваши собственные дома, что ли? — спокойно ответил Карнеев.

— Не валяй дурака! У вас никто не живет в доме политкаторжан, чего вы туда сунулись.

— Мы спорим, как два золотоискателя! — засмеялся Карнеев.

— Ладно, — сказал я примирительно. — В общем, ты прав, дело действительно общее...

Юрка Петров оправдал самые смелые мои надежды: он собрал рекордную сумму — шестьдесят рублей.

Около Лялина переулка недавно открылся маленький нелегальный рынок. Юрка Петров решил обложить данью торговков ранними овощами, варенцом и салом. Он показывал торговкам лист с печатью и коротко бросал: «А ну, тетка,

доставай кошель!» И тетки, видимо, полагая, что этим они откупаются от преследования милиции, раскошелеливались.

Вся эта история отдавала чем-то незаконным. Но Юрка Петров со смехом доказывал, что торпедный катер в равной мере будет защищать и трудовой народ, и этих спекулирующих теток. «Да, но ты обманул их». — «Ничего подобного! Я же не говорил им, что это торговый сбор, а на листе прямо сказано, куда пойдут деньги». Все же подписной лист я у него отобрал. Тем более что Карнеев хоть и посмеялся над Юркиной проделкой, но сказал: «Чистое дело надо делать чисто».

Наше звено лихорадило, случайные всплески удачи не способны были противостоять ровному напору карнеевского звена.

После занятий мы по привычке шли на Чистые пруды обменяться мнениями и составить план очередной кампании. Май в этом году лихорадило, как наше звено. То он синел просторным, чистым небом, гнал из прибитых дорожек бульвара полевые запахи пробуждающейся земли и золотил воды пруда, то насыпал низкие серые облака, сочившиеся колкой изморозью, и морщил свинцовую воду жесткими складками. И мы, то скинув пальто и курточки, то пряча назябшие уши в поднятые воротники, топтались по дорожкам бульвара, тщетно пытаясь проникнуть в тайну карнеевского успеха.

— Они не в одиночку ходят, — говорил Ворочилин, — а всегда группами. Поэтому они никого не боятся. А я вот сунулся один в чужой двор — и сразу по шее заработал.

— Они стихи читают, — добавила Лида Ваккар.

— Какие стихи?

— Да Карнеев написал про торпедный катер. Как он бороздит море на страже наших границ.

— Тоже мне Художественный театр! — усмехнулся Ладейников.

— Ну и что же? — заметил спокойный, основательный Грызлов. — И взрослые агитбригады так делают.

— Чего же вы раньше молчали? — сказал я. — Лида, может, ты напишешь стихи?

— Я прозаик, — сухо ответила Лида.

— А разве прозаики не пишут стихов? Возьми Горького, Алексея Толстого...

— Ну а я вроде Чехова — только прозу.

— Да, — сказал я горько. — Карнеева нам сроду не победить, мы — не те люди!

Я думал подзадорить ребят, но скорее поверг их в уныние.

— Там одна Нинка Варакина чего стоит! — мечтательно проговорил Ладейников.

— А чего она?..

— Да вытаращит свои синие глазищи, — ревниво сказала круглолицая толстушка Кошка, — и все сразу раскисают.

— У нее глаза не синие, а карие, — поправил Грызлов.

Я оглядел женский состав своего звена: хорошие девочки, но вряд ли кто раскиснет от их глаз. Надо же, чтоб так не повезло: ни поэтов, ни красавиц!

— А я петь могу, — вдруг сказал Ладейников, — и на баяне играю.

— Чего ты еще умеешь? — спросил я насмешливо, потому что все еще не мог простить ему дома политкаторжан.

— Ты погоди! — перебила меня Кошка. — А если он будет петь песню про торпедный катер?

— Откуда мы ее возьмем?

— Мотив любой годится, хоть «Юного барабанщика», а слова написать можно.

— Но у нас же никто не умеет писать стихи.

— Хорошие — да, а плохие даже я напишу. Для песни любые слова сойдут.

— И мы будем петь, как слепцы под окнами?

— А вон идет Шепелев, давайте его спросим. Витя! — тоненько закричала Кошка.

Шепелев, шедший по боковой дорожке и, видимо, не замечавший нас, вздрогнул, сдержал шаг, но не оглянулся.

— Виктор! — басисто, в голос, крикнули Ладейников, Грызлов, Панков и Шугаев.

Шепелев остановился, чуть закинул голову, будто стараясь угадать, откуда летит зов, затем повернулся и пошел к нам, зажимая рукой воротник куртки.

Я уже говорил о необыкновенной способности нашего вожатого вспыхивать и краснеть лицом. Но таким пламенеющим я еще никогда его не видел.

— Каюсь, ребята, — сказал он, подходя, — накрыли на месте преступления. — Он приоткрыл ворот куртки: на его длинной, стройной шее не было пионерского галстука.

С рядовых пионеров за такое дело строго спрашивалось, но промашка любимого вожатого показалась нам трогательной. Сам же Виктор не мог оправиться от смущения и все время, пока мы наперебой рассказывали ему о наших планах, горел факелом. Наши соображения казались ему «мировыми».

Впервые на моих глазах Шепелев со всем соглашался, не вносил ни поправок, ни предложений. Он так мучился тем, что нарушил пионерский этикет, что ему не терпелось уйти.

— Можно подумать, он не галстук забыл надеть, а штаны, — заметил Ладейников, когда Виктор, благословив все наши начинания, поспешно удалился.

— Хамило же ты, Ладья! — возмущилась Кошка. — Вите дорога пионерская честь!

— «Пионерская»! — передразнил Ладейниковю — Помешались вы все на Витьке...

Школьная молва трубила о неминуемой победе Карнеева, но мы не вешали носа. Ладейников уже разучил мотив «Юного барабанщика». Кошка обещала на уроке физики дописать последний куплет песни. Мы наметили маршрут и решили отправиться в путь сразу после окончания занятий.

А в раздевалке ко мне подошел Сергиенко, второгодник из звена Карнеева, и сказал:

— Брось, кум, тратить силы, ступай на дно.

— Ты о чем ?

— Разве не знаешь? — говорит мне Сергиенко, а у самого губы белые и подрагивают. — Витька Шепелев проел наши денежки.

Нередко бывает, что при известии о каком-либо несчастном случае, аварии или катастрофе люди задают бессмысленные вопросы, вроде: «В котором часу?» или: «На какой улице?»

— До копейки? — бессмысленно спросил я.

Сергиенко оторопело поглядел на меня и отошел. И тут я увидел, что вокруг все наши: и Карнеев, и Ворочилин, и Глуз, и Лида Ваккар, и Кошка, и Ладейников, и Грызлов, и Панков, и Шугаев, и Нинка Варакина, и глаза у нее красные, будто она плакала, и другие ребята...

Растрату обнаружил председатель нашей базы Мажура, неожиданно вернувшийся с воинского сбора. Мажура запер дверь пионерской комнаты и набил Витьке морду. Что было с Шепелевым дальше, не знаю: с ним больше не встречались...

За мою жизнь мне пришлось видеть немало человеческих падений. С высот величия и власти низвергались в позор и бесславие люди покрупнее нашего пионервожатого. Помню, с какой мукой я и мои сверстники выдирали из сердца Кнута Гамсуна, когда певец Глана и Виктории стал махровым фашистом. И все же никогда не переживал я такой боли... Витька был нашим героем, его похвала или осуждение значили для нас все, мы хотели походить на него, мы даже не ревновали к нему наших девчонок, поголовно в него влюбленных, настолько неоспоримым было его превосходство. Но я думал не только о нем, — я думал, как серьезно и доверчиво вручали нам люди свои деньги, а мы, пусть невольно, обманули их; я думал о бледных, строгих и добрых лицах наборщиков и о Борькином пяточке, единственном его достоянии. К чему были все наши волнения, радости и печали, победный восторг и горечь поражения?

...Все нам было в разные стороны, но, не сговариваясь, мы двинулись к Чистым прудам. И чего нас сюда понесло? Было ветрено, знобко, а возле серой, угрюмой воды еще холодней и неприятней. Кто-то вспомнил, что на этом вот самом месте мы окликнули Витьку Шепелева.

— Как он тогда вертелся, гад! — заметил Ладейников. — Чуюла кошка, чье мясо съела.

— Мы-то думали, он из-за галстука, — невольно усмехнулась Лида.

— А я, кстати, почувствовал, что от него винищем несет, только сам себе не поверил.

— Хватит, раскаркались! — с обидой и злостью крикнула Нина Варакина.

Разговор умолк.

— И чего же мы будем делать? — нарушил наконец молчание унылый голос Ворочилина.

— Как чего? — Карнеев поднял поголубевшее от холода худенькое лицо. — Достанем новые подписные листы и опять соберем деньги.

Мне никогда не забыть, как спокойно, уверенно и прекрасно прозвучали эти простые слова.

— Ну да... конечно... — удивленно пробормотал Ворочилин. — А чего же еще?

Все рассмеялись. Мы думали, что смеемся над наивной растерянностью Ворочилина, а мы смеялись от радостного, гордого чувства...

И тут появилась длинная шарнирная фигура Юрки Петрова:

— Гражданская панихида по товарищу Шепелеву окончена?

— Знаешь, Петров, катись ты со своими шуточками куда подальше! — сказала Лида Ваккар.

— Дальше некуда! — беззаботно ответил Петров. — Я думал, думал и решил прикатиться к вам. Только вот как быть с присягой? Неловко старому, больному человеку говорить: «Я, юный пионер, даю торжественное обещание...»

# ШАМПИНЬОНЫ

Все свое детство я собирал утиль: металлолом, пустые бутылки и с особым усердием бумагу. В стране был бумажный голод, и мы, школьники, испытывали это на себе. Каждый тетрадочный лист нам полагалось использовать с предельной плотностью. Бывало, учителя снижали отметку на контрольной за слишком размашистый почерк. Каким же радостным событием было развернуть новенькую тетрадь или припахивающий клеем альбом для рисования! Изредка тетрадочные листы были плотными, глянцевиными, белыми с голубым отсветом от линеек, чаще — газетно-тонкими, серыми, с крупными волокнами, а то и с плоскими кусочками древесины. Я любил выковыривать из бумаги эти бедные останки погубленных деревьев. Мои тетрадочные листы напоминали сито.

Когда наша новая вожатая Лина Кузьмина объявила «бумажный аврал», для нас это было желанным делом.

— Собирать будем на почтамте? — деловито спросил Карнеев.

— На почтамте само собой, — ответила Лина. — Но каждый должен посмотреть и у себя дома, нет ли старых газет, обоев, всякой, как говорит моя бабушка, лохматуры!

Как важно бывает одно вовремя сказанное слово! После Шепелева у нас сменилось четверо вожатых, и ни одному не удалось поднять дух отряда до прежнего накала, ни с одним не возникло настоящей душевной близости. Каждый новый вожатый, памятуя о позорном падении Шепелева, невольно с первых же шагов старался показать, что он человек совсем иного склада, чем наш бывший, поверженный в грязь кумир. Шепелев был горяч, речист, честолюбив, взрывчат, позерски живописен, притом доступен и

прост. После него к нам приходили какие-то надутые и замороженные молчаливники. Мишурному блеску Шепелева они противопоставляли сдержанность, доходящую до сухости, речистости — немоту, панибратству — недоступность. Возможно, задержись кто-либо из этих вожатых подольше, и лед был бы сломан. Но председателю базы Мажуре не терпелось поднять активность некогда лучшего отряда в школе, и вожатые менялись у нас что ни месяц.

Вот потому незамысловатая шутка Лины Кузьминой вызвала у всех радостную, дружную улыбку. На нас сразу повеяло чем-то простым, добрым, открытым, мы признали в Лине своего человека. А Лина и правда была хоть куда: крепкая, мускулистая, с решительными стальными глазами, и если проглянуть кукушечью пестроту ее веснушчатого лица, то очень красивая: нос с легкой горбинкой, нежный и строгий овал, легкий пушок над чуть вздернутой верхней губой.

И я с бѣлым победным задором крикнул:

— Второе звено, за мной!

Мы пошли на Чистые пруды. Морозы в этом году нагрянули сразу после ноябрьских праздников. На многих деревьях еще сохранились медные листья; тревожимые ветром, они жестко терлись друг о дружку. Снега не было, лишь в желобках твердо скованных песчаных дорожек, у подбоя бурого с зелеными прожилками газона белела сухая крупка. Мы шли, давя каблуками хрусткий ледок, затянувший лужи. Широко и светло блеснул всем своим чистым зеркалом замерзший пруд. По краю, оскальзываясь сбитыми сапогами, словно пробуксовывая, шел сторож со скребком и зачищал неровности.

— Скоро каток откроется! — мечтательно сказала Нина Варакина.

В этом году классы были перетасованы, мы оказались с Ниной в одном классе и в одном звене. И еще несколько ребят из звена Карнеева попало к нам. Но в глубине души они остались верны старым знаменам. Это стало ясно, едва начался разговор.

— Кровь из носа, мы должны побить Карнеева! — сказал я.

— Держи карман шире! — как на пружинке подскочил маленький альбиносик, Костя Чернев.

— Конечно, побьем! — уверенно сказала Лида Ваккар.

— Всегда мы вас били и сейчас побьем! — Чернев яростно вытаращил свои кроличьи глазки.

— Притормози, Костя, — остановил его я. — Ты, кажется, забыл, в чьем ты звене.

— Как в чьем?.. А, ну да... — Чернев не то чтобы смутился, а как-то опечалился.

И я опечалился. Трудно рассчитывать на успех, если и другие ребята, пришедшие к нам из звена Карнеева, разделяют чувства Чернова. Я взглянул на Нину Варакину.

— А тебе не все равно, Чернев, где работать? — лениво проговорила Нина.

— Кабы было все равно, то лазили б в окно... — пропищала Тюрина, «девочка в тигровой шкуре» — она носила шубку из шкуры тигра, убитого ее отцом на Амуре.

Мимо нас, поддавая ногой консервную банку, грохотавшую на твердо промороженной земле, как танк, прошли Калабухов, курносый предводитель чистопрудных Лялик и его адъютант Гулька. Калабухов бросил на меня злобный взгляд — я сидел на скамейке рядом с Ниной, — но воздержался от враждебных действий.

Уже смеркалось, когда, составив план действий, мы двинулись по домам. В лиловатом воздухе, какой бывает в Москве погожим морозным днем поздней осени, мягко таяли деревья, и свет рано зажегшихся фонарей казался серебряным. Мы шли с Ниной по главной аллее в сторону Телеграфного переулка.

— Меня все-таки очень беспокоит Чернев и компания, — говорил я. — Мы должны обязательно победить, а то все развалится. Ребятам надоело, что мы какие-то вторенькие...

— А разве можно приделать человеку чужие руки? — неожиданно спросила Нина.

— Какие руки?

— Ну, помнишь, Конрад Вейдт...

— А, «Руки Орлаха»! Да чепуха все это!

— Какие у него глаза! — сказала Нина. — Я ни у кого не видела таких глаз. Запавшие, огромные...

— Послушай, — прервал я, — может, мы зря включили Чернова, Тюрину и Сергиенко в одну бригаду?

— Ох! — сказала Нина. — Настали веселые времена. Кроме утиля, ты уже ни о чем не можешь говорить!

Это была правда: когда меня что-нибудь захватывало, я, будто лошадь в шорах, уже ничего не видел по сторонам. И тут я понял вдруг, за что еще так люблю пионерскую работу, в особенности авральные дела. В эту пору я немного отдыхал от той постоянной, изнурительной заботы, какой была для меня Нина. Ведь вот я даже не сразу понял, что взамен Витьки Шевелева у меня появился новый соперник — Конрад Вейдт. Все девчонки влюблялись в киноартистов, но отвлеченная любовь не мешала их романам с одноклассниками. А Нина отдавала им свое сердце безраздельно, будто герой мог сойти с экрана и принять ее дар.

Мы замолчали. По освещенной фонарями земле наперез мне текла четкая и стройная Нинина тень. И вот по этой тени я впервые увидел, как сильно изменилась она за годы нашей дружбы. Прежде ее коротенькая, круглая тень катилась колом, потом она стала все утончаться и вот сейчас, повзрослев раньше своей хозяйки, стала тенью маленькой женщины. И я пожалел, что не могу сейчас же ринуться в бумажный водоворот...

Мы перешли линию трамвая. В устье Телеграфного переулка маячили знакомые фигуры: Калабухов, Лялик, Гулька. Они поджидали нас, вернее, меня. Тут не отделаешься маленькой дракой. До чего же не вовремя! Я не смогу явиться завтра на почтамт с разбитым лицом.

— У тебя есть медяки? — спросил я Нину.

— Тебе нельзя сейчас драться, — быстро сказала она, — ступай к Хоркам.

На углу Телеграфного и Чистых прудов в полуподвальном этаже жили два брата с нелепой фамилией Хорок. Старший из них, Миша, учился с нами в одном классе.

— А зачем я к ним пойду? — проговорил я нерешительно.

— У них мать в театре работает, пусть Мишка притащит старые афиши.

— Ну что же! — я улыбнулся. — Благородный повод, чтобы не дать набить себе морду. До завтра! — Я помахал Калабухову рукой и сбежал вниз по крутым ступенькам.

От своей матери, цыганской певицы, братья Хорок унаследовали южную смуглоту лиц, глаза, как влажные маслины, жесткую кудрявость иссиня-черных волос. Старший, Миша, был тучный подросток, с томной округлостью движений, сонно приоткрытым ртом, лентяй и меланхолик. Мне думается, в какой-то мере его меланхолия была порождена однообразной и утомляющей необходимостью сто раз на дню объяснять разным людям, почему он Хорек, а не Хорек, коль уж носит такую фамилию.

Младший, Толя, такой же смуглый, кудрявый и черноглазый, во всем остальном был вовсе не похож на брата: худенький, с подвижными, тонкими мускулами лица, с быстрыми, всегда занятыми руками, полный неиссякаемого любопытства к окружающему. Старший с неохотой влачил по жизни свое заленившееся тело, младший, весь наполненный внутренним движением, был прикован к постели детским параличом.

Когда я вошел, Толя, высоко подпертый подушками, мастерил что-то из кусочков картона.

— Здорово, Ракитин! — закричал он радостно.

Миша валялся на тахте; он только закатил глаза, показав голубые белки, и вздохнул.

— Что скажешь о новой вожатой? — жадно спросил Толя.

— Поживем — увидим, — ответил я удивленно, хотя уже мог бы привыкнуть к тому, что Толе ведомы все

наши школьные дела. — А как продвигается дрессировка Мурзика?

— Неважно. По-моему, Мурзик считает меня никудышным дрессировщиком. — Толя вдруг сделал большие глаза и приложил палец к губам.

Со стороны тахты слышалось сонное бормотание:

Грустно-алый закат смотрел в лицо...

Грустно-алый закат смотрел в лицо...

Я обомлел: Хорек-старший сочинял стихи! Вот уж не думал, что он способен на такой лирический подвиг!

— Грустно-алый закат... — томно простонал Миша и замолк, по-судачьи приоткрыв рот.

— Плохо твое дело, Ракитин, — сказал Толя. — Знаешь, кому посвящены стихи?

— Заткнись! — вяло донеслось с тахты.

— Вон как! — догадался я. — Бедный Конрад Вейдт.

— А что? — заинтересованно спросил Толя. — У Нины новый герой?

— Да... В «Маяке» подряд шли «Человек, который смеется» и «Руки Орлаха»... Братцы, вот какое дело. Ваша мать работает в театре, там до черта старых афиш и вообще всякой лохматуры, — я невольно повторил выражение Лины.

— Опять утиль? — с унылым отчаянием произнес Миша.

— Да, опять! Кстати, почему ты не был на сборе?

Миша не ответил.

— Зубная боль в сердце, — засмеялся Толя. — Грустно-алый закат смотрел в лицо.

— Хотя бы один мешок, — сказал я Мише заискивающе.

— Мешок? — повторил Миша, приподнявшись на локте. — Чтоб я потащил мешок?

— Мешка мало! — решительно сказал Толя, и глаза его загорелись. — Он притащит два мешка!

— Сумасшедший! — пробормотал Миша.

— Мое условие: стихи против двух мешков.

— Стихи? — недоверчиво, с любопытством повторил Миша. — Какие стихи?

— Твои собственные, я только их dokonчу. Идет?

— Идет!

— Пиши! — Толя на миг задумался, сморщил свой маленький смуглый лоб, затем быстро прочел:

Грустно-алый закат смотрел в лицо.

Я сидел у окна и ел яйцо.

Вдруг подходит она, на ней нет лица.

Стало жаль ее, не доел яйца...

Я расхохотался, но Хорок-старший даже не улыбнулся. Он взял карандаш и стал записывать стихи. Я с чувством пожал сухую, горячую Толину руку. Почин был сделан...

На другое утро, до занятий, наша тройка — Нина Варакина, Павлик Аршанский и я отправились на почтамт. В семь часов утра на дворе еще была ночь, устало горели фонари; визгливо скрипнув примороженными петлями, глухо хлопали двери парадных за спешащими на работу людьми. Наш тихий Телеграфный переулок даже в праздники не бывал таким людным. Обгоняя друг друга, шли на работу печатники, наборщики, брошюровщики, офсетчики, переплетчики, населяющие наш большой дом. Той же дорогой, что и мы, шли в утреннюю смену телеграфисты, почтари, продавцы газет и журналов из соседнего дома. Шли рабочие-металлисты из дома напротив, бежали к спасательному кольцу «А» электрики с МОГЭСа, рабочие фабрики «Красный Октябрь», завода «Серп и молот», тяжело шагали в своих робах метростроевцы...

— Помнишь? — сказал Павлик.

Конечно, я помнил. Таким же вот ночным осенним утром мы шли с ним четыре года назад на почтамт, чтобы взять последнюю преграду, отделяющую нас от красных галстуков. Какими мы были маленькими, робкими, как боялись, что нас не пропустят в священные недра почтамта! А сейчас мы ветераны, пионеры последнего года, нас

ждет новая высота — комсомол, и даже поверить трудно, что мы уже такие взрослые...

Мы суем в крошечное окошко пропускной наши ученические билеты. Рослый человек в шинели пожарника и командирской фуражке придирчиво проверяет наши пропуска.

— Мы у вас уже были, — говорит Павлик.

— Что-то не помню, — подозрительно оглядывает нас вахтер.

— Ну как же, четыре года назад!

— Вон куда хватил! — смеется вахтер и отдает нам пропуска.

— А тут до нас ребята не проходили? — спрашиваю я.

— Не видал...

Чудесно! На этот раз Карнеев не успел перебежать нам дорогу.

По крутой лестнице мы поднялись наверх. Миновали площадку и будто из тоннеля вырвались в огромный, светлый простор. Слева, за барьером, в гигантском провале, пустынный по раннему часу зал, где происходят все почтовые операции, над ним возносится стеклянный купол, как на вокзале, справа, в бесконечно повторяющихся светлых помещениях обрабатывается, сортируется, распределяется, пакуется вся корреспонденция, посылки, газеты, журналы, рассылаемые по подписке, брошюры и книги для киосков и ручной продажи. Без усталости шуршат на быстрых роликах резиновые ленты конвейеров, на них плывут разноцветные толстые конверты, пакеты, залитые темной сургучной кровью, татуированные штемпелями и печатями, кипы газет, посылки в фанерных ящиках, иногда голых, иногда в серой холстине, перевязанные бечевой. Ленты передают кладь друг дружке, а затем сбрасывают в темный зев приемника, который мягко обрушит их на конвейер этажом ниже. Бесшумно проносятся электрокары со штабелями газет, попискивают вертким передним колесом ручные тележки.

Волнующее чувство дороги, пространства, расстояний охватило меня. Подобное чувство я всегда испытывал на вокзале. Да почтамт и был вокзалом, не только потому, что его перекрывал вокзальный купол и вся его громада наполнена движением. Как и вокзал, почтамт так же творил разлуки и свидания, расставания и встречи, уносил в широкий мир человеческой радости, надежды, печали; как и вокзал, он был пронизан неведомыми далями, манящим зовом дорог.

Я заметил, что Нина будто замороженная смотрит на плывущий по конвейеру голубой конверт. Там, где под лентой крутился ролик, конверт чуть приподнимался, перекачивался через горбинку и вновь бережно укладывался плашмя; казалось, он наделен самостоятельной устремленностью, словно знает, как важно скорее и в сохранности донести свое содержимое до адресата.

— Ты в первый раз здесь? — спросил я Нину.

— Да. Мне так нравится! Можно, я буду каждый день собирать здесь бумагу?

— На здоровье!

— А почему ты не пишешь мне писем? Они бы тоже плавали на этих лентах, и никто бы не мог догадаться, что там написано.

— Что же мне писать, ты и так все знаешь.

— Может, в письмах будет интереснее?

— Я попробую...

— Иду сдавать, — послышался голос Павлика.

Пока мы разговаривали, он не терял времени даром и уже собрал полный мешок. Мы тоже взялись за дело. Почтамт был золотым дном. Нам попадались целые кипы газет, испорченных бечевой при транспортировке, огромные куски рваной оберточной бумаги, испачканные и, видимо, поэтому списанные в брак брошюры, обрывки картона, негодные конверты, не говоря уже о всякой лохматуре.

Один за другим мы рысью проносили набитые бумагоутилем мешки через двор почтамта на приемочный пункт,

расположенный на углу двора под навесом. Старик приемщик шмякал на весы мешок и, кряхтя от усердия, выписывал корявыми пальцами квитанцию. В помещении было очень тепло, даже жарко, а во дворе, так забитом машинами, что казалось, им сроду не разъехаться, пронзительно холодно. И этот сбивающий дыхание, сухой, морозный холод был удивительно приятен, он подстегивал нас, хотелось скорей набить мешок и окунуться в студеную свежесть двора. Жаль только, что бумага так мало весит, мы перетаскали чертову уйму мешков, а общий вес не достиг и тридцати килограммов.

Но, узнав в школе, сколько собрали другие ребята, мы поняли, что трудились не зря. Все звено Карнеева не собрало и одного пуда!

Удачный рывок на какое-то время вывел нас в герои, только для нас сверкали стальные Ленины глаза. А дальше все удручающе напоминало историю с торпедным катером. Звено Карнеева медленно и неуклонно стало нас нагонять. Я ничего не понимал. Наши бригады добросовестно ходили на почтамт, собирали бумагу по квартирам своих домов. Хорек притащил два мешка со старыми афишами и лоскутьями какой-то толстой разноцветной бумаги, а просвет все сокращался. Тщетно витийствовал я на сборах звена, призывал, умолял, язвил ребят, тщетно рисовал картину страшного позора, который нас ждет, если мы опять окажемся побежденными. Наши звенья так основательно выскребли почтамт, что ежедневная «добыча» в его цехах не превышала четырех-пяти килограммов. Свои дома ребята тоже облазили сверху донизу, и теперь им доставались жалкие поскребыши. Можно было подумать, что Карнеев и его ребята творят бумагу из воздуха.

Как и прежде, бессильный найти новые пути, я обратился к собственным ресурсам. В течение нескольких вечеров мы с Павликом перебирали библиотеку моего покойного деда. Я беспощадно зачислял в утиль ценные книги и альбомы по медицине, комплекты медицинских журналов,

французские романы в желтых обложках, разрозненные тома Британской энциклопедии, труды древних философов, дореволюционные иллюстрированные издания. Да, беспощадно, но не безжалостно. С малых лет я был приучен любить и уважать книгу. У меня мучительно сжималось сердце, когда мы отправляли в грандиозный мешок из-под картофеля толстый том в чудесном переплете, с атласной бумагой и яркими рисунками под тонкой папиросной бумагой, или журнал с фотографиями старинных русских усадеб, парков, фонтанов, садовых клумб. Но передо мной всплывало худенькое насмешливое лицо Карнеева, и жалость отходила. Павлику это давалось едва ли не труднее, чем мне. Почти про каждую книгу он убежденно говорил:

— Ну, эту мы, конечно, оставим...

Я брал у него из рук пухлый том — иногда это оказывался справочник по детским болезням, иногда роман Поля де Кока на французском, иногда анатомический атлас, а то и сборник речей Цицерона или творение древнегреческого философа, судя по скульптурному портрету автора: гологрудого старца с вьющейся бородой и будто закатившимися под лоб пустыми глазами.

Фальшиво-беспечным тоном я говорил «дребедень!» или «устарело!» и швырял книгу в мешок.

Мы с трудом оттащили на приемный пункт два огромных, туго набитых мешка. А потом на сборе звена я говорил, размахивая квитанциями:

— Почему мы с Павликом смогли за день сдать тридцать килограммов, а другие не могут? Сейчас бы поднажать всем дружно, и победа в кармане.

— «Поднажать», «поднажать», только и слышишь! — с непонятной горечью сказал Чернов. — А чего нажимать-то, когда бумаги нету? Нету — и все!

— Просто ты работать не хочешь! — резко возразил я. — Небось у Карнеева так бы не рассуждал.

— Факт, нет! — Чернов вызывающе вскинул свою кроличью мордочку. — Карнеев нас сроду не уговаривал и не

подстегивал. Просто мы собирались и думали, как бы по-лучше, поинтереснее сделать...

— Петух думал, думал да издох! Надо работать, а не трепаться. Мы обогнали Карнеева и не уступим ему!

И все-таки перед последним днем соревнования звено Карнеева снова вышло вперед. И я знал, что Карнееву не пришлось опустошать для этого дедушкину библиотеку, что его ребята не надрывались, как наши, выискивая в своих домах и дворах каждую завалывшуюся бумажонку, что и на почтамт они ходили реже нашего, что ради сбора бумагоутиля они не забросили всю остальную работу. А все-таки они были впереди, пусть не намного, но впереди. На них работали дворовые дружины — изобретение Юрки Петрова. В каждом чистопрудном дворе они сколотили отряды из малышей-дошкольников, которые и занимались сбором бумажного мусора в своем доме. За это карнеевцы водили ребятешек по воскресеньям в зоопарк или на детские утренники в кино «Маяк», кроме того, Юрка Петров обещал им создать школу фигурного катания на коньках.

На совете отряда я обжаловал незаконное использование детского труда, но Лина Кузьмина сказала, что это просто замечательно: ребятешки сызмальства втягиваются в общественную жизнь, и Карнеев с Петровым черт знает какие молодцы!

В последний день наша тройка снова отправилась на почтамт. Если у меня еще оставалась маленькая надежда на успех, то она рассеялась как дым, едва мы вступили в цехи. Наверное, сходное чувство испытывает старатель, когда обнаруживает, что золотоносная жила выработана до конца. Изредка попадаются чешуйки золота, но уже ясно: больше здесь делать нечего. Мы уныло бродили с этажа на этаж, подбирая лоскутки бумаги, даже заглядывали в урны, но мешки оставались тощими, легкими. Смешно было думать, что мы соберем те двенадцать килограммов, которые отделяли нас от Карнеева.

«Проиграли! — стучало у меня в мозгу. — Опять проиграли!..» До боли отчетливо я представил себе торжество Карнеева, уныние наших ребят и ту безнадежную, серую будничность, какая приходит за поражением. Нелегко мне будет теперь расшевелить звено, да и каким авторитетом может пользоваться вожак, идущий от поражения к поражению? Ох как важно было выиграть! Важно не только для меня, но и для всего звена, и чтобы навсегда заткнулся Чернов, подрывающий доверие ребят ко мне!

Вокруг меня громоздились горы бумаг: бумага плыла на резиновых лентах, бумагу развозили на электрокарах и ручных тележках, бумага водопадом низвергалась из широких зевов штолен, соединяющих этажи; бумага пахла, шуршала, шелестела... Я смотрел, как размашисто, грубо хватают работницы кипы газет, чтобы перенести на другое место. Будь бумага из стекла, она разлетелась бы вдребезги и все осколки достались бы мне. А вот развалили целый штабель брошюр, будто дом рухнул. А бумаге хоть бы что! Какой дьявольской прочностью обладают эти тонкие, легче воздуха, листки!

Я стоял в полутемном углу цеха, загроможденном связками брошюр. «Как разводить шампиньоны», — рассеянно ухватил глаз название верхней брошюры. И все другие пачки вокруг меня заключали руководство по разведению шампиньонов. На что тратится бумага! Бумага, которая так нужна нам для сдачи в утиль! Бумага, которая могла бы стать тетрадками в клетку по арифметике и в линейку по русскому языку! Я приподнял одну связку, натренированное плечо определило его вес в четверть пуда. Передо мной было никак не меньше тонны прекрасной бумаги. Ну кто разводит шампиньоны? Я четырнадцать лет прожил на свете и не встречал человека, разводящего шампиньоны. А шампиньоны я видел в Саратове, они росли прямо на мостовой, среди булыжников, перед нашим домом. Никто их там не разводил, они росли сами по себе, в сухой земле, круглые, пыльные, похожие на картофельные клуб-

ни. Целыми семьями погибали они под колесами телег, под копытами лошадей и волов, превращаясь в розоватую кашу.

Я не колебался больше. Четыре пачки, одна за другой, легли на дно моего мешка. Я замаскировал их сверху всяким бумажным мусором и побежал на приемный пункт.

Я не испытывал ни страха перед разоблачением, ни угрызений совести, только огромную, победную радость оттого, что мне так сказочно повезло. И эта радость вспыхнула еще ярче, когда я выбежал во двор. За часы, что мы торчали на почтамте, выпал снег, первый снег этой ранней зимы. Белый, нежный, пушистый, девственно чистый, он покрыл двор, брезентовые крыши и капоты грузовиков, угольно-черные ветви засохшей липы, сиротливо торчащей посреди двора, навес над приемным пунктом. Он принес с собой ту особую прозрачную тишину, какую слышишь лишь при первом снеге, вмиг приглушающем все звуки, шаги, шум колес. С радостной улыбкой вбежал я под навес и уронил тяжёлый мешок на весы.

— Простудишься, труженик! — добродушно сказал старик приемщик, накладывая на отвес круглые плоские медные гирьки.

— Да ничего!.. — беспечно ответил я.

И так же беспечно и радостно смотрел я, как он опорожнял мешок над большим деревянным ящиком, как тяжело вывалились оттуда кипы брошюр и смешались с бумажным мусором. Меня ничуть не тревожило, что приемщик может заметить эти брошюры. И старик не заметил. Он поправил очки с подвязанными ниткой дужками и сел выписывать квитанцию.

Бережливо сложив и спрятав в нагрудный карман квитанцию, удостоверяющую, что мною сдано восемнадцать килограммов бумагоутиля, я вышел из-под навеса. Навстречу мне через двор плелись со своими тощими мешками Нина и Павлик.

— Ты уже? — удивился Павлик.

— Ага! — я небрежно махнул рукой.

Видимо, их мешки были так легки, что я даже не услышал того привычного лязгающего звука, какой издают весы, когда на платформу опускается груз.

— У нас одна квитанция, — смущенно сказал Павлик, выходя с Ниной из-под навеса, — на пять килограммов.

— Значит, всего двадцать три...

Павлик, всегда сдержанный, скупой в проявлении чувств, содрал с головы ушанку, кинул в снег, придавил ногой, затем, не отряхнув, нахлобучил на затылок и двумя руками пожал мне руку

— Ты великий человек! — сказала Нина. — Завтра мы пойдем на каток.

Это была высокая честь. На каток Нину обычно сопровождали старшеклассники.

В проходной мы столкнулись с Карнеевым и еще двумя ребятами из его звена.

— Зря идете, братцы, — сказал им Павлик. — Там пусто.

— Неужто нам ничего не оставили? — улыбнулся Карнеев.

Меня всегда раздражала его улыбка, какая-то слишком легкая, случайная и оттого словно бы пренебрежительная.

«А вдруг он догадается сделать то же, что и я?» — мелькнула испуганная мысль. И тут же я понял, что Карнееву и в голову не придет подобное, хотя бы он сто раз проиграл соревнование. И мне стало душно, словно лежащая в кармане квитанция придавила мне грудь всей обозначенной в ней тяжестью...

— А, где разводят шампиньоны? — спросил я Павлика, когда мы уже приближались к дому.

— Понятия не имею, — удивленно ответил Павлик. — Я думал, грибы нельзя разводить.

— Кроме шампиньонов, — вдруг сказала Нина. — Их разводят во Франции, я читала.

— А у нас разводят?

— Наверное... Они вкусные!

— Да уж и вкусные! — сказал я с болью. — Что я, шампиньонов не видал?

— Видать — видал, а есть — не едал! — пробормотал Павлик.

Нина засмеялась:

— Самые вкусные грибы на свете. Моя бабушка жарит их в сметане — пальчики оближешь!

— Ну и черт с ними! — сказал я.

Лина Кузьмина говорила долго. Отряд вышел на первое место в базе, и Лина, самая молодая вожатая, внутренне ликовала. Маскируя свое ликующее чувство, она с нарочитым спокойствием и ненужной обстоятельностью рассуждала об итогах соревнования. Особенно много внимания уделила она «замечательной инициативе первого звена», привлечшего к сбору бумаги малышей. Можно было подумать, что Петров с Карнеевым открыли новый материк. Она даже обмолвилась, что это самый ценный результат соревнования. Можно было подумать, что победили не мы, а первое звено. И странно: меня это почти не трогало. Хотелось лишь одного, чтобы все скорее кончилось.

Не такой рисовалась мне победа. Я думал, это будет самый счастливый день в моей жизни, а мне было томительно и пусто. Я глядел на знамя, распластанное по стене, на золотой горн. Обычно один их вид подымал мою душу, а сейчас и знамя и горн казались чужими, холодными.

Но вот каким-то будничным голосом Лина сказала:

— Все же победу в соревновании одержало второе звено.

Громко и дружно вспыхнули аплодисменты, словно легкая волна пробежала по кумачовому полотнищу знамени.

— Мне хотелось отметить лучших, — продолжала Лица, — но Ракитин говорит, что лучшие — это все звено!

— Неправда! — вскочил Чернов. — Мы плохо работали. Почти всю бумагу собрал сам Ракитин!

— Не преувеличивай, Чернов, — пробормотал я, скромно потупясь. И тут же до меня дошел другой, ядо-

витый смысл им сказанного. — Неправда! — Без пере-  
дышки, но уже в ином тоне крикнул я. — Все собирали,  
и ты собирал!

— Да что мы собрали! — махнул рукой Чернев и сел.  
Наше звено возмущенно загадело. Прав Чернов или нет,  
сейчас это никого не интересовало, ребят обозлило, что он  
наводит тень на нашу победу.

— Тише, товарищи! — Лина стукнула ладонью по сто-  
лу. — Если звеньевой показывает пример в работе, в этом  
нет ничего плохого...

Дверь приоткрылась, и в щель просунулась повязанная  
платком голова коридорной нянечки:

— Кузьмина, тебя к директору требуют!

— У меня сейчас сбор! — блеснула стальными глазами  
Лица.

— Да я ему говорила, а он велел срочно...

— Подождите, ребята, — сказала Лика и вышла из  
комнаты.

Когда Дина вернулась, глаза ее казались не-стальными,  
а свинцовыми.

Она села за свой столик, сжала виски длинными паль-  
цами, затем тряхнула головой и тихо сказала:

— Большая неприятность, ребята. С почтамта поступи-  
ло заявление: кто-то из пионеров сдал в утиль связки с  
брошкурами.

Вспыхнул короткий смешок и, будто подавленный, смолк.

— А зачем? — удивленно проговорил кто-то.

— Небось для веса, — пояснил Ладейников.

— Чепуха! — громко и брезгливо сказал Карнеев. —  
Никто из наших не мог этого сделать!

— Помолчи, Карнеев! Директор хотел прийти сюда, но  
я сказала, что мы сами разберемся. Кто был сегодня на  
почтамте?

— Я, Цыганов и Васильева, а из второго звена Раки-  
тин, Варакина и Аршанский, — с вызовом ответил Кар-  
неев.

«И чего он лезет? — тоскливо подумал я. — Хочет показать, что он ни при чем? Да на него и так никто не подумает...»

— Ну вот, — сказала Лина, — я обращаюсь к названным товарищам: кто из вас это сделал?

— Я! — прозвенел за моей спиной такой знакомый и любимый голос, что я мгновенно узнал бы его из тысячи голосов.

— Ты, Варакина? — недоверчиво произнесла Лина. — Зачем?

— Надоела возня с мусором, — свободно ответила Нина. — А Ракитину подавай мировой рекорд. Ну я и сунула эти брошюры. Подумаешь, ценность: «Как разводить опенки в сухой местности!»

— А ты понимаешь, Варакина, что ответишь за это пионерским галстуком? — как-то без особого гнева сказала Лина.

Короткое молчание, а затем:

— Да!

Я молчал не потому, что хотел схватиться за спасательный круг, брошенный мне Ниной. Я молчал от счастливой растерянности, от огромного, до боли сладкого чувства, залившего мне душу. Ради меня Нина взяла на себя стыдный и жалкий проступок, не испугалась ни позора, ни кары!

— Варакина тут ни при чем, — сказал я, вставая. — Это делал я.

— Ладно прикрывать-то! — крикнул Ладейников.

— Не валяй дурака! — жестко сказал Карнеев.

Но по тому, как металлически холодно вспыхнули глаза Лины, я понял, что она мне поверила.

— Чем ты докажешь?

— Брошюры назывались: «Как разводить шампиньоны», четыре связки...

Стало очень тихо, лишь за моей спиной любимый голос прошептал:

— Ну и дурак!

— Может, ты потрудишься объяснить, зачем ты это сделал? — со сдержанной яростью проговорила Дина.

Я ничего не ответил Лине, да и не сумел бы я сейчас объяснить, что заставило меня сунуть в мешок брошюры. Я думал в это время: настанет ли день, когда я буду вспоминать об этом как о давно минувшем и мне безразличном?

— Ясно зачем, — раздался насмешливый голос Юрки Петрова. — Чтобы победить в соревновании!

— Честно — кишка тонка, так давай на обмане! — крикнул Чернов.

— Это подло! — с отвращением сказал Карнеев.

И только его слова попали мне в сердце. Чем злее и беспощаднее меня осуждали, тем сильнее крепла во мне уверенность, что все кончится благополучно. Мы столько лет дружили, неужели ребята не понимают, что не просто из тщеславия и самолюбия совершил я свой дурацкий поступок. И когда секретарь отряда, новенькая в нашей школе. Женя Ру— мянцева сказала, что я не достоин носить галстук и меня надо гнать из отряда, я усмехнулся, настолько мне это показалось диким.

— Согласна с предложением Румянцевой, — поднялась из-за стола Лина.

Тогда я тоже встал и, ни на кого не глядя, пошел к двери.

— Ракитин, ты куда? — крикнула Лина.

Я не ответил, и дверь пионерской комнаты захлопнулась за мной.

— Нешто уже кончилось? — спросила меня заспанная уборщица, выдавая мне пальто.

— Нет еще.

— А ты чего раньше времени убер? — проворчала старуха.

Я молча выдернул из рукава шапку, нахлобучил на голову и, не попадая в рукава пальто, выскочил из раздевалки.

На чугунных перилах школьного крыльца лежал пушистый молодой снег. Я сгреб его ладонью и отправил в рот.

Снег мгновенно стоял в холодную, с металлическим привкусом каплю воды. Я с усилием проглотил эту каплю. Затем я побежал на угол Лялина переулка и купил у лоточника две папиросы «Люкс». Моя мать внушила мне священный ужас к курению. Я всерьез думал, что погибну, стоит мне только закурить. Но я выкурил подряд две толстые, крепкие папиросы и ничего не почувствовал, наверное оттого, что не затягивался.

Неужели из-за одной ошибки можно зачеркнуть всю жизнь человека? Еще в первом классе я заболел мечтой о пионерском галстуке. В нашей школе не было звездочки октябрят, и я с огромным трудом пристроился к октябрятам базы ВСНХ. Сборы там проходили вечером, и путешествие от Армянского переулка до площади Ногина требовало мужества. Я не мог попросить у мамы на трамвай, она никогда бы не пустила меня одного в такую даль, да еще вечером. Но однажды у меня оказался в кармане гривенник, и после сбора, в одиннадцатом часу вечера, я вскочил на 21-й номер трамвая. Я обнаружил, что еду не в ту сторону, когда под колесами проухал незнакомый мост, маслянисто отблеснула река и в черноту неба уперлись гигантские черные заводские трубы. В отчаянии я соскочил на полном ходу на булыжную, сразу ускользнувшую из-под ног мостовую, которую я обрел, лишь больно растянувшись на ней всем телом. А потом меня, словно эстафету, передавали друг другу редкие ночные прохожие, пока я, растерзанный, окровавленный и навек потрясенный ночной враждебной громадностью города, не оказался в тихом устье Армянского переулка. Почти год ходил я на площадь Погана, работал там рубанком и стамеской, ножницами и клеем, и за этот год выяснилось, что мои родители не имеют никакого отношения к ВСНХ, и меня выгнали.

Мой сосед по квартире и старый друг Колька Поляков записал меня в звездочку при своей школе. К торжественному дню присяги я красиво оформил ленинский уголок будущего отряда, но к присяге допущен не был, поскольку

выяснилось, что я учусь в другой школе... Да, я в полном смысле слова выстрадал красный галстук и ни за что его не отдам. Вся история моей пионерской жизни прошла у меня перед глазами, пока я слонялся вокруг школы, куря папиросы. И чем больше я думал, тем сильнее убеждался, что я хороший человек и нельзя так поступать со мной. Ведь я хотел, чтобы ребята поверили в себя, гордились своим звеном, злее работали. А тут еще Чернов постоянно совал мне палки в колеса, да и Тюрина... Может, это Карнеев их подучил? Как это он крикнул сегодня: «Подлость!» Тоже мне чистоплюй! Сам настраивает против меня ребят и еще орет!.. Все распиравшие меня чувства слились в одно, огромное, как жизнь, в ненависть к Карнееву. Теперь я знал, что мне делать. Это не спасет, не выручит меня, но я должен это сделать, чтобы жить дальше.

Я быстро вернулся к школе и стал в тени подворотни на другой стороне. Ждать мне пришлось недолго. Вот запахнулась дверь, и, кутаясь в свою тигровую шубку, с крыльца сбежала Тюрина. Я глядел на нее и чувствовал, что с наслаждением продырявил бы еще раз эту полосатую шкурку со всей ее начинкой.

Гурьбой вышли Ладейников, Грызлов, Панков, Сергиенко и сразу погнались по мостовой консервную банку.

Появились Нина Варакина и Павлик. Они о чем-то говорили, озираясь, будто отыскивая кого-то. Я глубже запрятался в подворотню. Но вот Нина почти бегом устремила к Чистым прудам, туда же медленно, поминутно оглядываясь, побрел и Павлик. Потом высыпала большая толпа ребят и растеклась по переулкам. Наконец показался в своей короткой курточке и кепке с пуговкой Карнеев. Мне повезло: он был один. Задумчиво насвистывая и заложив руки в косо прорезанные карманы, он постоял на крыльце, поднял воротничок и быстро сбежал по ступенькам.

Я нагнал его под высоким старинным фонарем:

— Ну-ка, стой! Карнеев остановился, знакомо изогнув тонкие брови.

— Я давно хотел тебе сказать.. Ты... ты сволочь... Я тебя вызываю!

Он как-то странно посмотрел на меня. В его долгом взгляде не было ни растерянности, ни удивления, лишь заинтересованность, будто он хотел решить для себя какую-то загадку.

— Ты с ума сошел! — проговорил он наконец.

— Не увиливай! Я тебя вызываю!.. Что, побежишь жаловаться, любимчик?

Губы Карнеева дернулись, но не сложились в улыбку.

— Тебе хочется сорвать злобу? Не понимаю только, почему ты выбрал меня?

— Ладно трепаться, еще как понимаешь! Кто подначивал ребят против меня? Сволочь!

— Хватит! — с силой сказал Карнеев. — Сумасшедший ты или просто дурак, мне это надоело. Говори, куда идти.

Мы быстро зашагали к Чистым прудам. Там в левом углу, в стороне Покровских ворот, возле заколоченного железного писсуара, находилось наше ристалище. Мы давно выбрали это место, там никто не мог нам помешать — едва ли есть на свете что-либо менее притягательное для людей, чем заколоченная уборная.

Карнеев все время меня обгонял. Можно было подумать, что ему не терпится в драку. Но скорее всего он просто волновался. Уж кто-кто, а Карнеев не был драчун. Ростом чуть повыше меня, но щуплый, худенький, он в неписаном школьном реестре занимал по силе одно из последних мест; слабее его были только Чернов да, пожалуй, Миша Хорок. Я же в шестых классах уступал лишь волжанину Агафонову, но тот мог осилить и восьмиклассника. Карнеев никогда не дрался, его и не задевали. Тронуть Карнеева — значило иметь дело со всем первым звеном, — а там были серьезные люди.

Около бульвара я заметил Павлика и окликнул его. Это было очень кстати: не полагалось драться без свидетелей.

— Ты не возражаешь против Аршанского?

— Конечно, нет! — улыбнулся Карнеев.

Что ни говори, он прекрасно владел собой. И это его мужество, и его слабость, так ощутимая во всей его поджарой фигурке, поколебали мою решимость, мне вдруг расхотелось с ним драться. Я уже не верил, что он подзуживал ребят, впервые за весь этот тягостный вечер я стал сам себе противен.

Павлик, с присущей ему сдержанностью, ни о чем не спросил. Он увидел, куда мы направлялись, и молча пошел рядом. У меня мелькнула надежда, что Карнеев, не привыкший к нашим рыцарским церемониям, скажет Павлику что-нибудь шутовское, я подхвачу и все уладится. Но Карнеев и не думал шутить. Его вынудили принять участие в том, что было противно его натуре, и сейчас он с обычной добросовестностью хотел довести дело до конца. Будь во мне больше истинной смелости, я бы попросил у него прощенья, но на это меня не хватило.

Мы подошли к железному ящику уборной. От нее на землю падала густая темная тень, за пределами тени замороженная земля в тончайшей наледи казалась стеклянной.

— Перчатки снять? — спросил Карнеев.

— Как хотите, — ответил Павлик.

— Можно в перчатках, — сказал я.

— Ну, начинай.

— Нет, ты начинай.

— Ты меня вызвал, ты и начинай.

Я ткнул его кулаком в плечо, и Карнеев бросился на меня. Если бы он не был так безрассуден и отважен, все бы обошлось, я совсем не хотел его бить. Но драка имеет свои законы. Обороняясь от сыпавшихся на меня градом несильных ударов, я совсем не нарочно попал ему в нос. Карнеев упал, но тут же вскочила по лицу его текла кровь. Павлик протянул ему носовой платок.

— Ничего, ничего! — Карнеев попытался улыбнуться.

— Высморкайся, — сказал Павлик, — а то дышать не сможешь.

Карнеев высморкался и вернул платок. Потом он довольно ловко ударил меня в челюсть. Я отступил, он прыгнул вперед и заколотил меня по голове. И тут мне показалось, что он совсем не плохо дерется, и я ударил его по-настоящему, и еще раз. Он снова упал, встал, плюнул кровью и опять пошел на меня. Я ударил его в скулу, он опять упал.

— Хватит! — сказал Павлик, подавая ему руку.

Карнеев поднялся, под глазом у него натекал синяк, по подбородку бежала темная струйка.

— Ничего не хватит! — сказал он с искусственной, жалкой усмешкой.

Я не мог смотреть на его худенькое, разбитое лицо. В горле у меня стоял комок, я чувствовал — еще секунда, и я разревусь. Я умоляюще взглянул на Павлика.

— Хватит! — повторил Павлик.

— Это нечестно! — возмутился Карнеев.

— Ладно, продолжайте.

Теперь я уже злился на Карнеева, злился, что он принуждает меня к драке, принуждает бить его, бить, и жалеть, и мучиться собственной низостью. И только для того, чтобы это скорее кончилось, я перестал себя сдерживать. Кепка слетела с его головы, затем он как-то умудрился потерять перчатку и, падая в очередной раз, ободрал руку о мерзлую землю. Наверное, это было очень больно, он несколько секунд сидел на земле, зажимая кисть коленями, а когда встал, лицо его было совсем белым.

— Кажется, я вышел из строя, — через силу спокойно проговорил он.

— Что, доволен? — спросил я от злобы не на него, а на себя.

Набрав в горсть снега, Павлик протянул его Карнееву. Карнеев умылся снегом, стряхнул с лица пропитавшиеся кровью комочки, вынул чистый носовой платок и утерся.

— Доволен, — сказал он, — я ведь никогда не дрался.

— Ты молодец, — сказал Павлик.

— Чепуха! Будь здоров, Аршанский! — Карнеев сделал приветственный жест рукой, и щуплая фигурка его скрылась в тени деревьев.

— Ты бы еще целоваться с ним полез, — упрекнул я Павлика.

Мой друг не ответил.

— А я рад, что набил ему морду! — сказал я. — Иногда это полезно.

Павлик молчал. Такая была у него манера: если он был в чем-либо не согласен со мной или что-то осуждал во мне, он замолкал и не было возможности его разговаривать.

— Слушай, Великий немой, одно ты можешь сказать мне: чем кончился сбор?

— Лина хотела проголосовать твое исключение, — холодно ответил Павлик, — а Карнеев сказал, что это надо сперва обсудить на совете отряда, так и решили.

— Что же ты раньше молчал?

— А ты спрашивал?

— Теперь он меня угробит!

— Кто?

— Карнеев, кто же еще!

Тут Павлик снова замолчал, и больше мне не удалось вытянуть из него ни слова.

У Меншиковой башни нам встретилась Нина Варакина. Я остановился с ней, а Павлик, не задерживаясь, прошел дальше.

— Ты куда пропал? — спросила Нина.

— Так... ходил... Слушай, как тебе пришло в голову сказать на себя?

Нина засмеялась:

— Я сразу догадалась, что это ты... Мне что — ну, выгонят, потом назад примут, а для тебя — конец света.

— Ну, спасибо.

— Да ладно! А знаешь, мне, по правде говоря, нравится, что ты эти брошюры жажнул! Ей-Богу! Не всякий бы ре-

шился. А я люблю, кто рискует. Победа или смерть! — Она опять засмеялась.

Не знаю, говорила она от души или из желания подбодрить меня, но слова ее не доставили мне радости. Мне совсем не хотелось, чтобы она восхищалась тем, что не было во мне моим, это не приближало, а отдаляло ее от меня.

— Только не ханжи, — будто угадав мои мысли, сказала Нина. — На каток идем?

Я забыл, что сегодня открытие сезона.

— Конечно, пойдем! — сказал я, немного помедлив.

Чтобы не сталкиваться в раздевалке с нашими ребятами, я надел коньки дома и зашагал по хрустким от песка, обледенелым тротуарам к Чистым прудам. Когда я увидел гирлянды лампочек над ледяным полем, услышал музыку, звонко-хрипло рвущуюся из репродукторов, все тягостные переживания оставили меня, тело наполнилось упругой, радостной силой, будто перед ощущением полета.

Я перелез через низкую ограду, проваливаясь по пояс, одолел крутой снежный вал, опоясавший каток, и с отвычки чуть не шлепнулся навзничь, когда лезвия коньков коснулись гладкого зеленоватого льда. Разогнавшись на мысках своих хоккейных коньков, я в резком темпе пробежал метров пятьдесят, четко прошел поворот и понял, что не забыл старую науку. Я круто, на одной ноге затормозил и только успел распрямиться, как кто-то налетел на меня сзади и обнял за плечи.

— А я уж думала, не придешь! — сказала Нина. — Решил сэкономить рубль?

— Да нет... Неохота с нашими встречаться. Ну что, рванем?

— А ты не разучился?

— Увидишь.

Мы взялись наперекрест за руки и побежали в сторону теплушки. Наши коньки согласно резали лед. Бежать было легко и приятно, четкий ритм дарил ощущением единства, какой-то понимающей близости. Но это было только раз-

минкой, пробой сил, так не разовьешь большой скорости. И перед поворотом Нина крикнула сквозь громкую музыку.

— Выходи вперед!

Вот теперь начался настоящий бег. Пригнувшись и закинув левую руку за спину, я пошел неразмашистым, сильным, рубленным шагом. Нина шла за мной шаг в шаг, держась за мою руку. Если идущий позади слабее тебя, все удовольствие пропадает — тащишь его как на буксире. Нина бегала не хуже меня, поскольку же мне приходилось одолевать сопротивление воздуха, ей было легче наращивать скорость. Она была не столько ведомой, сколько толкачом, я все время чувствовал нажим ее руки, и это заставляло меня бежать быстрее и быстрее. Поврозь нам не удалось бы развить такой скорости.

Круг за кругом отмахивали мы по большой дорожке катка, и другие конькобежцы почтительно расступались, освобождая нам путь. Каток был освещен неравномерно: близ теплушки залит огнями, а противоположная сторона тонула во мраке, чуть просквоженном тощим светом лампочек. И мы все время проносились из света в темь, из дня в ночь. На освещенном круге у теплушки толпились наши: Юрка Петров показывал свои фокусы. Мелькнула Тюрина, даже на катке она не расставалась с тигровой шубкой, Ладейников об руку с Лидой Ваккар, маленький Чернов на длиннющих «норвегах». Потом я заметил Карнеева с черной повязкой на глазу — пришел демонстрировать свои раны. Интересно, сказал ли он ребятам, кто ему подбил глаз?

Когда мы снова вынеслись на темную половину катка, я вдруг перестал ощущать нажим Нининой руки и затормозил.

— Устала! — Нина обмахивала варежкой разгоряченное лицо. — Пошли к нашим.

— Не пойду.

— Пошли! Юрка показывает «пистолет» с поворотом.

— Ну и ладно... Слушай, кто это разукрасил Карнеева?

— Не знаю. Хочешь спрошу?

И, не дождавшись ответа, Нина покатила к теплушке. Все было правильно. Не стоило обижаться на Нину. В конце концов, я не был ни Шепелевым, ни Конрадом Вейдтом. И Юрка Петров показывал «пистолет» с поворотом, а это никому из нас не давалось... Я смотрел, как Нина легко бежит по льду в своем красном свитере и красной шапочке, и вдруг безотчетно, спиной почувствовал опасность. Оглянувшись, я увидел, что ко мне приближаются Калабухов, Лялик и Гулька. Все трое были без коньков, их ноги разъезжались, и мне ничего не стоило сбегать к теплушке за подмогой. Но я понял, что не могу этого сделать. Мои товарищи рядом, но я не смею крикнуть им: «На помощь!»

Калабухов придерживался странного правила: если Нины не было рядом со мной, он никогда не начинал драки. Так и сейчас, он хмуро глянул на меня и сказал:

— Мотай отсюда!

В руке он держал тонкий железный прут и этим прутом не больно ударил меня по бедру. Можно было не обратить внимания на жест Калабухова и тихо убраться с катка. Я сам спровоцировал драку, вернее сказать, избиение. Это была какая-то странная месть самому себе. Я выхватил у Калабухова прут и отшвырнул далеко в сугроб. Они взялись за меня все сразу. Коньки не давали мне никакого преимущества, напротив: я только успел ударить Лялика коньком по голени, как тут же был сбит с ног. Я уже не сопротивлялся, только прикрывал лицо и живот.

Было очень скверно возвращаться домой на коньках. Ноги стали ватными, я все время спотыкался и раз упал, больно ударившись локтями. Я уже хотел снять коньки, идти прямо в носках, но не мог развязать смерзшиеся шнурки. А потом я стал видеть чудовищно распухший нос, он розоватым бутром выпирал на моем лице, натянув кожу щек.

— Что с тобой? — в ужасе воскликнула мама, когда я, стуча коньками, вошел в комнату.

— Упал на лицо.

— Что-то ты слишком часто падаешь на лицо. Возьми свинцовую примочку.

Я стоял у окна, промокал нос свинцовой примочкой и опять думал: будет ли такой день, когда я стану вспоминать о нынешней своей беде как о чем-то давно прошедшем и неважном?

Мягко растекался зеленоватый лунный свет по заснеженным крышам, в вышине чернели купола старинной церкви, построенной при Иване Грозном, в окнах домов уютно желтели розовые абажуры. И завтра будут так же лунно зеленеть снег, и чернеть купола, и алеть, желтеть абажуры, и ничего не изменится в окружающем мире, только мне придется начинать жизнь сначала.

Я где-то читал, что мужчина должен уметь проигрывать, что сила человека проверяется поражением. Я виноват и знаю, что виноват, мне нечего рассчитывать на снисхождение. Мужественно и покорно приму я любую кару...

На другой день я не пошел в школу. Я почувствовал, что не смогу появиться на совете отряда. От вчерашнего моего смирения не осталось следа. Все мое существо восставало против того жестокого приговора, который — я почти не сомневался в этом — мне вынесут.

Вместо школы я отправился в кругосветное путешествие по кольцу «А». Незаконность этого маленького путешествия придавала особую остроту и странность всем моим впечатлениям. Казалось, в городской жизни таится какой-то второй, тайный смысл. Не зря так нахлестывали лошадей извозчики, каменно восседавшие в своих толстых шубах на высоких облучках саней: они-то знали то радостно-скрытое, что гнало их седоков в снежные дали улиц. Не зря так отчаянно сигналили машины, яростно прорывая уличную толчею в погоне за неведомым призом. Не зря штурмовали площадки трамваев и дверцы тупорылых автобусов толпы людей — им тоже надо было на какой-то их праздник. Мне казалось, город наполнен счастливыми людьми, счастливыми машинами, счастливыми лошадьми. А

потом вспомнил, что завтра выходной и все вокруг торопится на отдых...

Маленький чистый глазок, отвоеванный мной у затянутого морозом стекла, все время подергивался стрельчатым узором, я отогревал его дыханием и опять видел людей, машины, лошадей с инеем на храпе, но почему-то не узнавал улиц и очень удивился, увидев вдруг стенд кинотеатра «Центральный». А потом, думая, что мы на Гоголевском бульваре, я вдруг обнаружил под самым окошком каменный парапет Москворецкой набережной и проглянул заснеженную белую реку, а потом, не узнав Яузские ворота, я решил, что заехал в какой-то другой, незнакомый провинциальный город, сплошь двухэтажный, с золотыми кренделями над дверьми булочных. А вот уже и Чистые пруды. Мы сделали полный круг, и надо сходить: кондукторша давно косится на меня.

Потом я долго слонялся по двору и понял, что прогульщики самые несчастные люди на свете. До чего же томительно, скучно и пусто болтаться без дела, кажется, что само время остановилось. Во двор то и дело въезжали широкие приземистые сани, груженные бочками с вином. Сизоликие огромные возчики, в брезентовых плащах поверх тулупов на пахучей овчине, без устали ругали все на свете: мороз, своих заиндепевших красноглазых битюгов, друг друга и самих себя. Бочки сползали по каткам в темные недра подвалов, возчики, матерясь, разворачивали сани, визжали полозья, скрипели в вязках оглобли; воробьи слетались на дымящиеся желтые кучи навоза. Когда последние сани съехали со двора и захлопнулись обитые жестью створки подвальных воротец, я понял, что могу вернуться домой: был третий час.

Тут началось самое мучительное. Каждые десять-пятнадцать минут я звонил Павлику и выслушивал все более сухой ответ его матери, что Павлик еще не пришел из школы. Я знал, что совет отряда не может кончиться так скоро, что Павлик прямо из школы зайдет ко мне, и все-

таки звонил. Стемнело, но я не стал зажигать огня. Оттого, что в комнате было темно, особенно ярко сиял снег за окнами.

— Ты чего сидишь в темноте? — спросил Павлик, входя и щелкая выключателем.

Я зажмурился от яркого света и, зевая и протирая глаза, пробормотал:

— Ну, чего там у вас?

— Где? — тоже зевая (он не терпел ломанья), спросил Павлик.

— На совете отряда, идиот!

— Вот так-то лучше! Все в порядке, галстук тебе оставили.

— Не валяй дурака! — закричал я, и рука моя произвольно сжала концы галстука.

— Ну, ну, спокойно.

— Прости, пожалуйста... Не сердись. И расскажи, как все было.

— Поначалу паршиво. Лина требовала: исключить. Румянцева ее поддерживала. Мажура сидел темнее тучи, и все были уверены, что он тоже за исключение... Ну а потом Карнёев толкнул речь...

— Что же он говорил?

— Не стоит передавать — зазнаешься. В общем, он сказал, что пошел бы с тобой в разведку. Тут Мажура засмеялся: «Молодец, хорошо друга защищаешь!» — «А он вовсе мне не друг, товарищ — да, а дружбы у нас нет». — «Почему?» Карнёев покраснел: «И скажу! Сам Ракитин, может, лучше всех в отряде работает, а наладить работу звена не умеет. Ему и обидно...»

— Слушай! — вскричал я. — А ведь он совершенно прав, я действительно никудышный звеньевой!

— Наконец-то понял...

Теперь я понимал. Понимал не только это, но и многое другое; и прежде всего, какая сила в прощении. Все во мне будто осветилось ярким и ровным светом, не осталось ни

одного темного угла, где бы могло притаится что-то мелкое, самолюбивое, жалостливое к себе.

Я подошел к окну, увидел снег, крыши, купола, пятна абажуров и вспомнил, как смотрел на них вчера. Все вышло совсем не так, как мне думалось. Нежданно быстро минула беда, но что-то не минуло, и это останется во мне навсегда, не бедой, не горечью, а новой важной частицей меня самого.

# ЖЕНЯ РУМЯНЦЕВА

Вот и кончился последний урок последнего дня нашей школьной жизни. Впереди еще долгие и трудные экзамены, но уроков у нас никогда не будет. Будут лекции, семинары, коллоквиумы — все такие взрослые слова! — будут вузовские аудитории и лаборатории, но не будет ни классов, ни парт. Десять школьных лет завершились по знакомой хриповатой трели звонка, что возникает внизу, в недрах учительской, и, наливаясь звуком, подымается с некоторым опозданием к нам на шестой этаж, где расположены десятые классы.

Все мы, растроганные, взволнованные, радостные и о чем-то жалеющие, растерянные и смущенные своим мгновенным превращением из школяров во взрослых людей, которым даже можно жениться, слонялись по классам и коридору, словно страшись выйти из школьных стен в мир, ставший бесконечным. И было такое чувство, будто что-то не договорено, не дожито, не исчерпано за прошедшие десять лет, будто этот день застал нас врасплох.

В распахнутые окна изливалась густая небесная синь, грубыми от страсти голосами ворковали голуби на подоконниках, крепко пахло распустившимися деревьями и политым асфальтом.

В класс заглянула Женя Румянцева:

— Сережа, можно тебя на минутку!

Я вышел в коридор. В этот необычный день и Женя показалась мне не совсем обычной. Одета она была, как всегда, несуразно: короткое, выше колен платье, из которого она выросла еще в прошлом году, шерстяная кофточка, не сходявшаяся на груди, а под ней белая с просинью от бесконечных стирок шелковая блузка, тупоносые детские

туфли без каблучков. Казалось, Женя носит вещи младшей сестры. Огромные пепельные волосы Жени были кое-как собраны заколками, шпильками, гребенками вокруг маленького лица и все-таки, закрывали ей лоб и щеки, а одна прядь все время попадала на ее короткий нос, и она раздраженно отмахивала ее прочь. Новым в ней был ровный тонкий румянец, окрасивший ее лицо, да живой близкий блеск больших серых глаз, то серьезно-деловитых, то рассеянно-невидящих.

— Сережа, я хотела тебе сказать: давай встретимся через десять лет.

Шутливость совсем не была свойственна Жене, и я спросил серьезно:

— Зачем?

— Мне интересно, каким ты станешь. — Женя отбросила назойливую прядь. — Ты ведь очень нравился мне все эти годы.

Я думал, что Жене Румянцевой неведомы ни эти слова, ни эти чувства. Вся ее жизнь протекала в двух сферах в напряженной комсомольской работе — она была нашим комсоргом — и в мечтаниях о звездных мирах. Я никогда не слышал, чтобы в свободное от деловых забот время Женя говорила о чем-нибудь другом, кроме звезд, планет, орбит, протуберанцев, космических полетов. Немногие из нас твердо определили свой дальнейший жизненный путь, а Женя с шестого класса знала, что будет астрономом и никем другим.

Между нами никогда не было дружеской близости, учились мы в параллельных классах и сталкивались лишь по комсомольской работе. Несколько лет назад меня за один проступок чуть не выгнали из пионерского отряда. Ребята встали за меня горой, и я сохранил красный галстук. Лишь одна Женя, новенькая в нашей школе, до конца настаивала на моем исключении. Это наложило отпечаток на все мое отношение к ней. Позднее я понял, что Женина беспощадность шла от повышенной требовательности к себе и людям, а вовсе не от злого сердца. Человек до дна про-

зрачный, стойкий и верный, она хотела, чтобы и все вокруг были такими. Я не был «рыцарем без страха и упрека», и сейчас неожиданное ее признание удивило и смутило меня. В поисках разгадки я мысленно пробежал прошлое, но ничего не нашел в нем, кроме одной встречи на Чистых прудах...

Однажды мы собирались в выходной день на Химкинское водохранилище покататься на лодках. Сбор назначили на Чистых прудах, у большой беседки. Но с утра заморосил дождь, и на сборный пункт пришли только мы с Павликом, Нина Варакина и Женя Румянцева. Нина пришла потому, что в выходной день не могла усидеть дома, я пришел из-за Нины, Павлик — из-за меня, а почему пришла Женя, нам было непонятно.

Женя никогда не появлялась на скромных наших пирушках, не ходила с нами в кино, в Парк культуры, в «Эрмитаж». Никто не подозревал Женю в ханжестве, просто у нее не хватало времени: она занималась в астрономическом кружке при МГУ и еще что-то делала в планетарии. Мы уважали эту Женину устремленность и не хотели ей мешать.

И вот мы сошлись в большом сквозном павильоне, под этим гигантским деревянным зонтиком посреди бульвара. Дождь то крупно и шумно остегивал землю, то утончался в почти невидимые и неслышные нити, но не переставал ни на минуту. Серые обложные тучи, без единого просвета, уходили за крыши домов. Нечего было и думать о Химках. Но Женя настойчиво уговаривала нас ехать. Впервые позволила она себе маленькое отступление от обычного строгого распорядка, и надо же, чтобы так не повезло! На путице плюшевой жакетки висел у нее сверточек с бутербродами. Было что-то очень трогательное в этом сверточке. Жене, видимо, и в голову не приходило, что можно позавтракать в закусочной, в кафе или даже в ресторане, как мы это делали во время наших походов. Из жалости к этому сверточку я предложил:

— Давайте покатаемся на пруду, — я показал на старую, рассохшуюся плоскодонку, торчащую носом из-под свай теплушки, — и будем воображать, что мы в Химках.

— Или в Средиземном море, — вставил Павлик.

— Или в Индийском океане, — восторженно подхватила Женя, — или у берегов Гренландии!

— А мы не потонем? — спросила Нина. — Это было бы обидно: я приглашена на премьеру в МХАТ.

Весел не было. Мы подобрали на берегу две дощечки, вычерпали из лодки воду и отправились в кругосветное плавание. Едва ли кому-нибудь из нас, кроме Жени, это доставляло удовольствие. Пока мы с Павликом вяло шлепали дощечками по воде, Женя придумывала трассу нашего путешествия. Вот мы проходим Босфор, через Суэцкий канал попадаем в Красное море, оттуда в Аравийское, оплываем Большие Зондские острова, Филиппины и входим в Тихий океан.

Запоздалая ребячливость Жени была мила и трогательна, но было в ней вместе и что-то жалкое.

— Смотрите! — говорила Женя, указывая туда, где за глянцевыми от дождя ветвями деревьев уныло темнели мокрые колонны кинотеатра «Колизей». — Вон пальмы, лианы, слоны, нас отнесло к берегам Индии!

Мы переглядывались. Как это бывает в семнадцать лет, мы защищали свою внутреннюю жизнь, еще хрупкую, легко ранимую, броней нарочитой насмешливости, легкого цинизма, и нам непонятно было, как можно так наивно обнаруживать себя.

— Мы приближаемся к страшным Соломоновым островам! — зловецим голосом объявила Женя.

— Правильно! — подтвердил Павлик, самый добрый из нас. — А вон и туземцы-людоеды, — он указал на группу чистопрудных ребят, остановившихся прикурить у ограды водоема.

— Пушки на борт! — скомандовала Женя. — Приготовить ядра!

— Женя, очнись, это же колониализм, — сказал я.

— Верно! — улыбнулась Женя, обрадованная, что ее выдумки нашли у нас отклик, и в простоте души не замечая иронии. — Мы должны прийти к ним как добрые друзья, мы принесем им орудия труда, инструменты, лекарства...

— А вместо Библии — учебник Абрамовича и Головенченко, — добавил Павлаик.

Наше скучное плавание сквозь дождь продолжалось. Женя неутомимо командовала: «Право руля!», «Лево руля!», «Поднять паруса!», «Убрать паруса!» — отыскивала путь по звездам: наш компас разбился во время бури. Это дало ей возможность угостить нас лекцией по астрономии, из которой я запомнил лишь, что за экватором звездное небо как бы перевернуто. Потом мы потерпели бедствие, и Женя раздала нам «последние галеты» — свои намокшие бутерброды. Мы понуро жевали их, а Женя говорила о том, как ей нравится жизнь Робинзона.

Я промок, устал, занозил руку — это сделало меня безжалостным, и я сказал, что не знаю более обывательской книги, чем «Робинзон Крузо».

— Вся книга наполнена мелочной заботой о жратве, одежде и утвари. Бесконечные прейскуранты харчей и барахла... Гимн торжествующему быту!..

— А я не знаю ничего более волнующего, чем эти, как ты их назвал, прейскуранты! — говорила Женя со слезами на глазах. — И сколько в книге простора, стихий, мечты...

Наш спор прекратила Нина Варакина, она вдруг закричала:

— Ура! Впереди берег!

— Где? Где? — всполошилась Женя.

— Да вон, у теплушки, — будничным голосом сказала Нина. — Все, приехали! Мальчики, я замерзла, без рюмки коньяка не обойтись.

— Пойдем на Покровку, в летнее кафе, — предложил я.

Женя оторопело поглядела на нас, щеки ее порозовели.

— А что? — мужественно сказала она. — Кутить так кутить! Мы загнали лодку под сваи, выбрались на берег и

тут сразу столкнулись со старым моим знакомцем и недругом Ляликом. За последние годы хулиганствующий подросток побывал в тюрьме и в исправительно-трудовой колонии. Он очень окреп, раздался в плечах, глядел исподлобья и строил из себя матерого бандита. Поравнявшись с нами, Лялик одним плечом толкнул меня, другим Павлика и грязно выругался. Сейчас, в ореоле своей уголовной славы, он знал, что ничем не рискует. Страх нам внушал не он сам, а его репутация. Он подавлял нас мрачным величием своей судьбы, мы чувствовали себя рядом с ним жалкими чистоплюями, маменькиными сынками, куда нам было тягаться с этим отчаянным человеком!

— Не смей ругаться, хулиган! — крикнула Женя, она не знала, кто такой Лялик.

Лялик молча повернулся и пошел на нас. Но Женя перехватила его на подороге. Она нахлобучила ему на нос его старую кепку со сломанным козырьком и сильно толкнула в грудь. Лялик отлетел к огороженному проволокой газону и через проволоку кувыркнулся в траву.

И тут выяснилось, что Лялик просто мальчишка, такой, же, как мы с Павликом, и всему его зловещему виду грош цена.

— Ты чего толкаешься? — пробормотал он жалобно, пытаясь стянуть кепку, налезшую ему на глаза.

А потом мы сидели в летнем кафе, под мокрым полосатым тентом, пили черный кофе с коньяком и закусывали мороженым. Женя, морщась, выцедила одну маленькую рюмку, заколки и шпильки как-то разом выпали из ее огромных густых волос, она раскраснелась и стала громко обзывать себя «кутилой» и «пропащей душой». Нам было немного стыдно за нее, мы боялись, что подавальщица не даст нам больше коньяка, потому что Женя никогда еще не напоминала так девочку-переростка, как в этом кафе, со своими растрепанными волосами, в платье, все время задиравшемся на ее круглых коленях. И еще Женя говорила, что ей хотелось бы погибнуть в первом космическом

полете, потому что космосом нельзя овладеть без жертв, и лучше погибнуть ей, чем другим, более достойным. Мы знали, что она говорит искренне, не подозревая о своем душевном превосходстве, и это унижало нас. Мы не были такими даже под воздействием коньяка, нам нужен был хоть какой-то шанс уцелеть...

Больше Женя не бывала с нами. Мы не раз приглашали ее на наши сборища, но она отказывалась за недосугом. Может, у нее и действительно не хватало времени, ей столько нужно было успеть. А что если в тот единственный раз она пришла из-за меня и из-за меня отступилась, сказав себе с гордой честностью: не вышло...

— Почему же ты раньше молчала, Женя? — спросил я.

— К чему было говорить? Тебе так нравилась Нина!

С ощущением какой-то досадной и грустной утраты я сказал:

— Где же и когда мы встретимся?

— Через десять лет, двадцать девятого мая, в восемь часов вечера, в среднем пролете между колонн Большого театра.

— А если там нечетное число колонн?

— Там восемь колонн, Сережа... К тому времени я буду знаменитым астрономом, — добавила она важно, мечтательно и убежденно. — Если я очень изменюсь, ты узнаешь меня по портретам.

— Что же, к тому времени и я буду знаменитым... — сказал я и осекся. Я совсем не представлял себе, в какой области суждено мне прославиться, и еще не решил даже, в какой институт подавать заявление. — Во всяком случае, я приеду на собственной машине...

Это было глупо, но я не нашелся что сказать.

— Вот и хорошо, — засмеялась Женя, — ты покатаешь меня по городу.

Минули годы. Женя училась в Ленинграде, я ничего не слышал о ней. Зимой 1941 года, жадно ловя известия о судьбе моих друзей, я узнал, что Женя в первый же день

войны бросила институт и пошла в летную школу. Летом 1944 года, находясь в госпитале, я услышал по радио указ о присвоении майору авиации Румянцевой звания Героя Советского Союза. Когда я вернулся с войны, то узнал, что звание Героя было присвоено Жене посмертно.

Жизнь шла дальше, порой я вдруг вспоминал о нашем разговоре, а за несколько дней до срока почувствовал такое острое, щемящее беспокойство, будто все прошедшие годы только и готовился к этой встрече.

Я не стал знаменитым, как обещал Жене, но в одном не обманул ее: у меня был старенький «Опель», купленный за бесценок на свалке трофейных машин. Я надел новый костюм, оседлал своего бензинового конька и поехал к Большому театру. Если бы я встретил там Женю, я бы сказал ей, что после всех шатаний нашел все же свой путь: у меня вышла книга рассказов, сейчас я пишу другую. Это не те книги, которые мне хотелось бы написать, но я верю, что еще напишу их.

Я поставил машину возле сквера, купил у цветочницы ландыши и пошел к среднему пролету между колонн Большого театра. Их и в самом деле было восемь. Я постоял там немного, затем отдал ландыши какой-то худенькой сероглазой девушке в спортивных тапочках и поехал домой...

Мне хотелось на миг остановить время, оглянуться на себя, на прожитые годы, вспомнить девочку в коротком платье и узкой кофточке, тяжелую, неповоротливую плоскодонку, дождик, усеявший желтоватую поверхность пруда колючими отростками, взволнованный крик: «Нас отнесло к Индии!», вспомнить слепоту своей юношеской души, так легко прошедшей мимо того, что могло бы стать судьбой.

# ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Однажды, в начале осени, раздался телефонный звонок — меня просили приехать на литературный вечер в одну из московских школ.

— Где это? — спросил я.

— Да совсем рядом с вашей бывшей школой.

— Откуда вы знаете, где находилась моя школа?

— Одну секунду...

Послышался какой-то шорох, легкий треск в мембране, я думал, трубку передают в другие руки, оказывается, это сработала машина времени: вмиг перенесенный на двадцать лет назад, я рухнул в знакомый голос.

— Здравствуй, Сережа. Тебя еще можно так звать?

— Здравствуй, Нина.

— Ты приедешь к нам?

— К вам?

— Я преподаю здесь физкультуру.

— Конечно, приеду.

— Это бывший Машков переулок, на Чистых прудах.

— Знаю.

— Ну, мы тебя ждем. Спасибо, что согласился.

— Да чепуха...

— Будь здоров.

— До свидания.

И когда уже по ту сторону щелкнул рычажок трубки, я вдруг сказал быстро, испуганным голосом:

— Ну а как ты?!

Мы не виделись с Ниной двадцать лет, со дня окончания школы. Еще до этого мы перестали быть соседями: отец получил квартиру возле Дворца Советов. Готовясь к экзаменам в медицинский институт, я услышал, что Нина

вышла замуж за нашего соученика Юрку Петрова, не за Лемешева, не за Бабочкина, не за Конрада Вейдта, а просто за Юрку Петрова, длинновязого чудака с хрупкими костями, которые он постоянно ломал на велосипедном треке, на лыжном трамплине или на чистопрудном катке. Мне это казалось чудовищной издевкой, тем более что прежде она не испытывала к нему ни малейшей склонности.

После войны мои связи с товарищами по школе совсем оборвались. Самые близкие друзья, такие, как Павлик Аршанский, Борис Ладейников, погибли на фронте, не вернулась и Женя Румянцева; Карнеев навсегда уехал из Москвы — он получил кафедру в Иркутском университете; остальных тоже раскидало по городам и весям. Сохранилась наша старая школа, она служила бы неким собирательным центром, но школьное помещение давно было отдано Академии педагогических наук.

Однажды я встретил на улице маленького белобрысого Чернова, ставшего, к моему глубокому удивлению, дрессировщиком морских львов. Чернов рассказал, что однажды он пытался собрать у себя школьных товарищей, но сразу столкнулся с неодолимым препятствием: наши подруги, скрывшись под фамилиями мужей, стали недостижимы.

Короткий телефонный разговор с Ниной странно расстроил меня. Прошедшие двадцать лет вместили столько крутой и сложной жизни, что без следа стерли память о моей первой и единственной школьной любви, вернее, не память, а то глубокое, непроходящее огорчение, каким была для меня эта первая, совсем незадавшаяся любовь. Впрочем, волнение мое скоро улеглось — двадцать лет, что ни говори, слишком большой срок и для памятливого сердца.

Я немного опоздал на выступление. Нина ждала меня возле школы. Я узнал ее издали — она очень мало изменилась.

— Вот что значит — любовь прошла, — сказала Нина, пожимая мне руку своей маленькой крепкой рукой. —

Раньше ты никогда не опаздывал. Идем скорее, ребята заждались.

Я не могу равнодушно слышать два запаха: школьной дезинфекции с примесью мела и начищенных солдатских сапог, то и другое пробуждает слишком много воспоминаний. Когда мне приходится выступать в школах или в воинских частях, я в первые минуты не могу сосредоточиться. На этот раз моя рассеянность усугублялась тем, что справа от меня, прислонясь к стене и чуть закинув голову, стояла Нина Варакина. Как она моложава, какая у нее стройная, сильная фигура! Глядя на нее, так и чувствуешь свежий воздух физкультурного зала, упругие тела спортивных снарядов, глянцевитую просинь лыжной колеи и то неизменное состояние мышечной бодрости, что совсем незнакомо людям сидячей жизни. Да, она почти не изменилась и все же стала совсем другой. В ней ничего не осталось от прежней девичьей расплывчатости — полная, зрелая завершенность. От нее и вообще веяло покоем обретенной формы, и я подумал, что нам легко, просто и покойно будет говорить о прошлом.

Занятый этими мыслями, я рассеянно следил за тем, как по знаку учительницы литературы к столу выходят один за другим ученики и, смущаясь, глотая слова, бубнят содержание каких-то моих рассказов. А потом я вспомнил, как дьявольски пронизательны дети, и решил не смотреть в Нинину сторону. Совершенно ни к чему давать пищу этим маленьким наблюдателям. Я стал одобрительно кивать головой, улыбаться — словом, всячески показывал свою заинтересованность в происходящем.

Но что-то со мной творилось сегодня, от этой детской аудитории шли странные, тревожные токи. На третьей скамейке с краю сидел полный кудрявый смуглый мальчик и, томно приоткрыв рот, глядел на меня жгучими, с поволокой, глазами южной красавицы. Ни дать ни взять мой школьный друг Миша Хорок! А слева от него тянулась к потолку всем своим длинным, узким телом, длинной худой

шеей и вздернутым носом вылитая Лидка Ваккар, наша лучшая школьная гимнастка и буколическая писательница. И уже, будто наваждение, стало мне казаться, что я вижу Борьку Ладейникова, Павлика, Тюрину и вообще весь свой старый класс. Потом я увидел на задней скамейке большого мальчика, почти юношу, и тут все зашло во мне такой непонятной, щемящей нежностью, что даже в горле зашипало. Странно, все в этом редкостно красивом подростке было мне до боли знакомо: и эти ланьи глаза, продолговатые, влажные, с ресницами, касавшимися щек, когда он моргал, и смело-плавный абрис лица, и прекрасный четкий рот, и ямочка на нежном подбородке. Но я не находил в нем сходства ни с одним из моих бывших друзей. Карнеев, Панков, Грызлов, Ворочилин мелькнули передо мной, никак не связавшись с этим мальчиком. Растроганно следил я за тем, как он улыбается, проводит рукой по светлым волнистым волосам, что-то шепчет соседу, прикрой рот ладонью и кося на меня своим продолговатым, влажным глазом.

Но вот задвигались скамейки, освобожденно зазвенели голоса, и большой мальчик крикнул:

— Мама, я домой! Дашь мне ключи?

— Лови! — откликнулась Нина и кинула ему связку ключей, которую он поймал ловким жестом баскетболиста.

— Так это твой сын? — сказал я Нине, когда мы вышли на улицу.

— Да, мой младший, Борька. Странно, что ты его не узнал, все говорят, мы очень похожи.

— У него Юркин цвет волос, это меня и сбило. Какой он большой, на голову выше других ребят.

— Он второгодник. Весь прошлый год тяжело болел. Мне это стоило десяти лет жизни!

— Но ты прекрасно выглядишь!

— Преподавательница физкультуры обязана хорошо выглядеть.

Впереди показались желтые деревья Чистых прудов, свежо и сильно запахло палой листвой.

— А девочка, похожая на Буратино, это не Лидина дочь? — спросил я.

— Ну да, Машенька Ваккар.

— А черноглазый, смуглый мальчик, вылитый Миша Хорок?..

— А он и есть Миша Хорок.

— Мишин сын?

— Нет, Толин. Ты разве не знаешь? Миша погиб на фронте.

— Неужели его взяли в армию? Он был такой толстый, слабый, все время спал.

— Он проснулся, когда потребовалось. Миша погиб под Берлином, в самом конце... А Толя встал на костыли, кончил институт, женился, родил сына и назвал его Мишей в память о погибшем брате.

— Миша Хорок! Кроткое, безобидное существо! А Павлика ты помнишь?

— Аршанского? Конечно, помню!

— Самый чистый и прекрасный человек на свете! Он и Женя Румянцева лучшие люди, каких я только знал.

— Что же, выходит, те, кого нет, лучше тех, кто остался?

Умение без оглядки идти вперед — завидное свойство, но мне хотелось бы от Нины больше преданности прошлому.

— А ты этого не считаешь? — спросил я.

— Те, кого нет, лучше потому, что их нет. А мы лучше потому, что мы есть. Разве мы тоже не умирали, да и не один раз?

— Ну, это другое!

— Конечно, один раз умереть легче.

Под ногами шуршали опавшие листья: желтые, багряные, золотисто-коричневые, бурые, зеленые с красными прожилками. Тихонько постукивая, зубчатым колесом ка-

тится навстречу нам большой кленовый лист. Трава газона еще зелена и ярка, но будто омертвела, клейко схваченная заморозками. Двадцать лет назад на нашем бульваре так же шуршали листья и цепенела изумрудная трава, так же расточала свой печальный аромат осень, и никуда от этого не денешься! Мы выбрали низенькую скамейку под кустом венгерской сирени, ее листья, опаленные утренниками, были лиловы и шершавы. Усевшись на скамейку с вогнутым сиденьем и далеко откинутой спинкой, я будто погрузился в глубокое кресло. Недоставало лишь этой расслабляющей позы, чтобы окончательно капитулировать перед прошлым. А я не хотел обесценивать, предавать двадцать нелегких лет, и все пережитое, и женщин, которых я любил искренне и трудно. Но я ничего не мог поделать с собой.

— Как же так получилось, ведь Петров тебе никогда не нравился?

— Нет, — ответила Нина спокойно и готовно, она словно ждала, что я об этом заговорю.

— А ты ему нравилась?

— Оказывается, да... Вот как это было. Ты, наверное, помнишь, что Юрка Петров круглый сирота, его воспитывала бабушка. Едва мы кончили школу, как бабушка умерла. А тут и я осталась совсем одна. В тридцать седьмом году посадили отца, а месяцев через восемь взяли мать... Можешь не делать скорбных глаз, дело прошлое. Отец посмертно реабилитирован, мать вернулась, получает пенсию и ходит на лекции в Политехнический музей. Ну а тогда я оказалась в пустоте. Вы все куда-то разбрелись, и тут появился Юрка Петров... Мы решили жить вместе, все-таки легче...

— Ты любишь его?

Нина засмеялась:

— Разве об этом спрашивают после двадцати лет? У нас двое парней, одного ты видел, а другой просто богатырь, на голову выше Юрки, вот такие плечи! Перешел на четвертый курс энергетического и, по-моему, собирается сделать меня бабушкой.

— А Юрка сильно изменился?

— Как тебе сказать? Он совсем лысый...

— Спорт бросил?

— Ему запретили, недостаток фосфора в костях, помнишь, как он все время ломался? У него теперь другое увлечение: аквариумы с золотыми рыбками. Недавно он добился полного кислородного обмена в воде, то-то было радости! — Нина осторожно поглядела на меня. — Ты не думай, он очень хороший инженер, награжден двумя орденами.

— Да я ничего, просто не верится: Юрка Петров, спортсмен, выдумщик, — и вдруг лысина, аквариум с золотыми рыбками...

— Ну, выдумки, положим, остались. Только все, что он выдумывает, строго засекречено. Он, правда, замечательный инженер, может, единственный в своем роде... Почему я словно оправдываюсь перед тобой? Боже мой, Сережа, неужели я опять тебе нравлюсь? Нина как бы наново, внимательно и долго, посмотрела на меня.

— Я бы могла тебя поцеловать, — задумчиво сказала она, — но это будет подло.

— По отношению к Горке Петрову!

— При чем тут Юрка? — она удивленно вскинула брови. — Подло по отношению к тебе. Целоваться с бабушкой. Да это убьет в тебе память о прошлом...

Память о прошлом! Ничто не стало для меня прошлым, и не по-новому влекло меня к Нине. Чистопрудная аллея, по которой мы ходили с ней в детстве, не оборвалась двадцать лет назад, она, неведомо для меня самого, простерлась через всю мою жизнь. А двадцать лет коротки, как вздох. Но я не сказал об этом, я сказал о другом:

— Ты так говоришь о прошлом, словно оно было у нас с тобой...

— Мы не целовались в подворотне и не обнимались в подъезде, все эти маленькие секреты открыл тебе кто-то другой. Но разве я была тебе плохим другом в трудные минуты?

— В трудные минуты ты была прекрасным другом.

— Я вообще была прекрасна только в трудные минуты. А в остальное время — скверная девчонка. Мне все время хотелось нравиться, крутиться среди разных людей, просто так, чтобы растормошить какого-нибудь лентяя! Мне иногда кажется, будто я предчувствовала, что моему крутежу короткий срок, и уписывала за обе щеки. А ты с твоей привязанностью просто меня пугал. Быть с тобой — значило быть всегда хорошей, я знала, что это мне не по силам, а обманывать тебя не хотелось.

— И на том спасибо.

— Нет, серьезно, — сказала Нина. — Ты был слишком целен, слишком прям для меня. Правда, ты раз украл брошюры — и это было прекрасно. Если б ты побольше бесчинствовал!

— Как мы слепы друг к другу! Цельный, прямой человек сменил три института, ни одного не кончил и с отчаяния занялся тем, о чем никогда не думал.

— Напрасно не думал, — заметила Нина. — Помнишь, я еще когда сказала: пиши прозу.

— Ну да, потому что я не смог написать тебе стихов... Женя Румянцева понимала меня лучше, она через десятилетие протянула мне руку.

— Что это значит?

— Она угадала мою смуту, растерянность перед будущим и назначила мне встречу через десять лет. Думала, мне понадобится помощь.

— Ну, рядом с Женей все казались ущербными. Она была образцом!

— Человеком она была! — сказал я с раздражением. — Лучшим из всех нас человеком!

— Есть люди не хуже, — спокойно сказала Нина. — Хотя бы Юрка Петров... Знаешь, сколько он из-за меня натерпелся? Пока мы учились в институте, он ломал свои косточки уже не на стадионе, а на Казанском вокзале, таская мешки. А потом годы не мог устроиться по специаль-

ности, его не брали из-за жены. Чем только он не занимался! Даже чинил электричество в церквах... Знаешь, а тебе очень к лицу седина!

Я понял тайну Нининого обаяния: она была естественна, как сама земля. По аллее, приближаясь к нам, задумчиво брел статный человек в светлом плаще. Его крупное, смугловатое, еще молодое лицо, израненное глубокими морщинами, было важным, сосредоточенным и печальным. Поравнявшись с нами, человек склонил крупную голову и медленным усилием перекроил морщины на своем лице в улыбку. Я ответил на его приветствие.

— Кто это? — заинтересованно шепнула Нина.

— Неужели не узнаешь?

— Господи, мой любимый артист!

Как хорошо знал я эту проникновенную интонацию, эту таинственную бархатистость глаз! Так в разные годы нашей дружбы отзывалась Нина всей глубиной своего существа на имена Конрада Вейдта, Бабочкина, Лемешева и никогда не отзывалась на мое имя.

Я окликнул своего знакомого и представил его Нине. Втроем мы двинулись по боковой аллее в сторону пруда, скоро они оказались впереди, рядом, о чем-то оживленно беседуя, я на полшага сзади.

Потом я немного поотстал. Нина не оглянулась, я мог бы и вовсе исчезнуть, она бы не заметила. За весь этот напоенный воспоминаниями день не ощущал я с такой ясностью, что прошлое вернулось. Спасибо тебе, друг, ничуть не подозревая о том, ты вызвал самый сильный, мучительный и радостный образ моей юности...

Бывает механическая память, очень нужная и полезная; она хранит для нас имена, отчества и фамилии, номера телефонов, адреса, дни рождений, свадебных годовщин наших знакомых, помогает сдавать экзамены по дисциплинам, не требующим особой сообразительности, например по истории, всячески облегчает бытовую жизнь. Этой памяти можно верить: она или есть, или ее нет, тут все ясно. Но вот иная, душевная память являет собой некий род творчества, и полагаться на нее никак нельзя. И чем сильнее подобная память у человека, тем сомнительнее ее показатели. Доверять ей можно лишь с теми внутренними оговорками, с какими мы соглашаемся признавать тождество поэта с его лирическим героем. Конечно, пушкинское «Я помню чудное мгновенье» говорит о невыдуманной любви к женщине и о страдании, которое он испытывал в разлуке с ней. Но если мы будем считать это полной, единственной, исчерпывающей правдой его отношения к Анне Петровне Керн, то как быть с известным письмом, адресованным брату? Душевная память — тоже поэт, она производит отбор, шлифует, обрабатывает явления жизни, прежде чем дать им место в себе. Работа памяти — бессознательное, или, вернее, подсознательное творчество. Это надо твердо знать, когда берешься рассказывать о прошлом, если хочешь оставаться честным в собственных глазах.

Неужели в самом деле могло быть, чтобы всякий раз, когда я выходил к Армянскому переулку из Златоустинского — а это случалось нередко, — небо оказывалось ярко-синим, в белых чистых облаках и угол высокого дома № 7, золотистый от солнца, плыл навстречу им по небесному кобальту? Я имею в виду угол дома на высоте последнего этажа, под кры-

шей. Иногда там блистали сосульки, свешивающиеся с карниза, но чаще вызолоченная гладь стены была по-летнему сухой. Тут я вполне доверяю своей памяти: обычно я шел Златоустинским, возвращаясь с книжного развала у китайской стены, а развал этот существовал от весны до осени. Зимой же я попадал в Златоустинский, лишь когда ходил на плохонький каток при клубе металлистов. Нас, армянских, там не признавали, подвергали гонению, и мы редко отваживались появляться на вражеской территории.

Златоустинский переулок круто подымался к Армянскому булыжной узкой мостовой и плитняком тротуаров. Ныне, реконструированный, он уже не выглядит столь отлогим. Снизу казалось, что Златоустинский упирается в дом № 7. Венчая собой крутизну, дом становился выше и величественней, нежели на самом деле, хотя он и так был самым рослым домом в Армянском переулке. Его светлый угол под крышей, плывущей по сини небес, был так высок, что приходилось задирать голову, дабы любоваться им. И то крошечное головокружение, какое испытываешь, оставаясь долго с задранной головой, входило в ощущение неизменно постигавшего меня счастья, даже усиливало его.

Но отчего испытывал я счастье, что рисовалось моему воображению, наполняло всего меня трепетом, надеждой, восторгом? Выше я обмолвился словом «плыл». Да, угол дома плыл, ибо плыло на него небо с облаками. Самое нехитрое — предположить, что мне зрилось море и нос корабля — непрменные атрибуты детской романтики. До поры я и довольствовался этим простым объяснением, пока вдруг не вспомнил, что никогда не испытывал любви к морю. Сперва я не любил книжки про море, потом — самое море. Оно давило меня своим однообразием. Ну конечно, оно разное: сегодня тихое, завтра бурное, а там и штормовое. Но внутри каждого состояния море одно и то же. Когда тихое, то надоедает своей тихостью, когда штормовое, одуряет однообразием накатов, громких ударов, брызг, каким-то регламентированным беспорядком.

И почему-то все певцы моря не могли убедить меня в пленительности этой стихии. Я не верил их восторгам, казавшимся мне надуманными и холодными. У всех литературных капитанов лучше и трогательнее всего получается возвращение в порт. Да и расставание с берегом нередко удаётся, а потом, какой бы род изображения морского пейзажа они ни избрали: нарочито деловой, лирически сдержанный или бурно эмоциональный, — что-то натужное, фальшивое появляется в их голосе.

Я пишу это не ради того, чтобы признаться в нелюбви к морю, — мне нужно освободить свои воспоминания о пережитых мгновениях счастья от морских ассоциаций. Сколько раз в трудные минуты жизни являлся мне светлый угол дома на ярко блистающей синеве и делал меня счастливым. В странной небрежности к собственной душевной жизни я безмятежно впускал в себя банальный образ корабля и моря. Видимо, и душе угодны штампы для некоторой экономичности работы.

Я задумался над тем, что же в самом деле означает для меня старый символ, лишь недавно, когда на пороге пятидесятилетия меня вновь потянуло к дням детства, к дням своего начала.

Я понял, что опять буду писать рассказы о той поре, хотя бы из одного удовольствия произносить такие забытые названия, как Златоустинский, Петроверигский, Старосадский, Архангельский, Покровка, Маросейка. Ну конечно, и не только ради этого...

Вовсе не раздумывая, откуда войти в утраченный мир, вернее, предоставив раздумье тому закуливному, что определяет многие наши поступки, не оповещая о своей работе поверхностный мозг, выкладывая лишь конечный результат, я не очень удивился, что погружение в прошлое началось с восхождения по Златоустинскому. Очевидно, тайны внезапных наитий счастья хотелось мне коснуться прежде всего.

То был прескверный апрельский день, один из тех дней, когда весна будто признается в своей бессилии настать. Пух-

лые серые тучи, напоминающие грязную вату оконных межрамий, слякоть, скользкий воздух, оседающий противно холодной влагой чужих слез на лице, и под стать окружающему — сырость и мусть на душе. Сейчас все это здорово объясняется давлением — атмосферным и кровяным, но легче почему-то не становится. Я тащился вверх по Златоустинскому тяжелой походкой грузного, пожилого человека, и переулоч не вызывал во мне ни радостных, ни печальных дум. Тут что-то строили, и дощатый забор вокруг стройки и дощатый настил вместо тротуара по четной стороне делали вовсе чужим этот переулок, к тому же сменивший имя.

Добравшись до Армянского, я увидел, что в небесной хмари открылись полынни-просветы и самая большая полынья — синь, подернутая белой кисеей, — приходится как раз на дом № 7. Я сдержал шаг — четкий, резкий угол дома по-прежнему сильно рассекал пространство.

И вовсе не радостная память, не бывшее вспыхнуло во мне, а живое, принадлежащее моей нынешней душе чувство счастья. И уже не властен был надо мною тревожный день черной весны со всем своим ненастьем, и все ненастье состарившегося во мне времени ничего не могло поделать со мной. Оттого, что я знал теперь разгадку тайны, ликование мое ничуть не тускнело. Море, корабль — какая чушь! Прямой срез стены обладал одним свойством: он дарил ощущение, что за ним находится неведомое, манящие, незнанные дали. И не скажешь, что это — пространственные или душевные дали, самая главная любовь или истина, делающая тебя наконец-то равным себе. Ничего не кончилось, впереди еще так много всего! — вот что обещал угол дома посреди неба. Почему этот угол, а не другой? Право, не знаю, да это и не важно. У каждого человека есть свой угол. Ужасно, если его нет. И ужасно, если когда-нибудь я не обнаружу ничего за углом моего дома, — значит, я сдался. Но пока я откликаюсь углу дома в синеве, и верю, что за ним — дали, и слышу их зов, я еще способен к жизни, слезам, творчеству.

# НЕ В ТУ СТОРОНУ

Я был помешан на пионерском галстуке, как д'Артаньян на мушкетерском плаще, и доставался он мне так же непросто. Отчего такое: если человек о чем-либо страстно мечтает, ему требуются сверхгероические усилия, чтобы достичь цели, в то время как другому, ленивому и безразличному, это дается почти даром?

Чтобы рассказ мой был понятен людям сегодняшнего дня, нужно коснуться истории. В пору моего детства некоторые организационные формы еще не окрепли и являли собой нечто студенистое. Никто толком не знал, когда и за какие заслуги человек в возрасте октябрёнка может стать пионером. Во многих школах вообще не было октябрятских «звездочек» и в пионеры принимали сразу, без предварительного искуса, где с третьего класса, где со второго, а бывало, даже с первого, если тебе стукнуло десять. В школе, где я учился, принимали, как правило, с третьего. Но ведь до третьего класса дожить надо, да еще без пионерского галстука!..

Дюма настойчиво подчеркивает, что д'Артаньян грезил о плаще. Конечно, он хотел стать мушкетером не только из-за плаща, особенно вначале, когда еще был способен разбираться в своих чувствах. Им владело честолюбие, желание оказаться поближе к особе короля, манил ореол дерзкой отваги и бретерства, осенявший головы тревиевых забияк, риск и выгоды почетной службы и многое, многое другое. Но потом все слилось в единый символ: расшитый золотом мушкетерский плащ.

Конечно, я жаждал барабана и горна, и красного знамени, и таинственных, недоступных простым смертным сборищ, где говорят только правду, и приветствия, знака

посвященных — ребром ладони ко лбу, и сладкозвучия слов: «Будь готов!», «Всегда готов!», и той озабоченности, что заставляла пионеров оставаться в школьных стенах после уроков, но вскоре все это собралось, как в фокусе, в красном галстуке.

Целый месяц я ухлопал на попытку проникнуть в пионерские ряды через школу в Старосадском переулке, где учился мой друг и сосед по квартире Толька Симаков. Эта школа стояла под боком немецкой кирхи, за одной оградой. Толька сумел каким-то образом зачислить меня в соискатели красного галстука.

Там оформлялась пионерская комната. Стены разделили на квадраты, кандидатов в пионеры разбили по двое и каждой паре выделили участок для оформления в меру эстетического вкуса и идейной зрелости. Пока другие ребята с помощью картофельного клейстера клеили лозунги, малевали, высунув от усердия язык, красные звезды, напоминающие по корявости морские, мы решили поставить дело на серьезную коммерческую ногу. Идея принадлежала мне. Я был чужаком здесь, и нужно было сразу выделиться, чтобы кто-нибудь не поинтересовался, а чего, собственно, путается под ногами этот вялый, безынициативный парнишка из чужой школы?..

Вечером, когда кончался подвоз к винным подвалам, расположенным под нашим домом, и у подвальных зевов громоздились ящики с пустыми бутылками — грузчики не успевали спускать их вниз, — мы с Толькой шарахнули ящик. На такое дело никто еще не отважился. Ну, свистнуть одну-две бутылки — куда ни шло, а чтоб целый ящик, тяжелый, щедро озвученный стеклянной начинкой, да к тому же на глазах сторожа, — ни о чем подобном не упоминалось в дворовых преданиях.

Ящик мы разломали и выбросили, а бутылки сдали. На выручку в чудесном писчебумажном магазине возле Петроверигского переулкa купили репродукции картин, изображающих взятие Зимнего, рейды Первой Конной и юного

Пушкина, читающего стихи на выпускном вечере в лицее, кроме того, бумажные гирлянды, картонные звезды и сельский календарь с могучим трактором, готовым перепахать всю планету. И еще нам сунули в премию автодороговскую афишку. Все это, включая афишку, мы с усердием и гордостью пристроили в нашем квадрате. И слабые угрызения совести испарились без следа — рядом с нашей экспозицией доморощенные потуги соперников казались жалкими.

Мы переборщили. Недаром среди всех человеческих добродетелей особенно превозносится скромность. Тут дело не в этике, а в инстинкте самосохранения. Скромность — спасительная мимикрия, вроде тех хитрых приспособлений, что помогают насекомому притвориться листиком или травинкой и уцелеть среди опасностей мира. Мы не были скромны, и нас постигла кара. Все остальные ребята поняли, что их провели. Среди них было немало обитателей нашего дома, сразу же смекнувших, откуда возникло столь неожиданное богатство. Ну а ребята других домов, где не имелось такого надежного источника дохода, как винные подвалы, тоже не растерялись, — всегда найдется где украсть, была бы охота. Тем более что конторы утильсырья, многочисленные в ту пору, как сыроежки в дождливое лето, охотно принимали в качестве металлолома и утюги, и кастрюли, и сковородки, и подсвечники, и серебряные ложки. Вскоре в школу посыпались многочисленные «сигналы» от пострадавших. В один роковой день стены пионерской комнаты оказались насвежо оклеенными веселенькими обоями с ромашками, — от наших самоотверженных и нечистых усилий не осталось и следа. А мне была сказана злоецащая фраза, до сих пор вызывающая у меня холодок ужаса:

— Танцуй, мальчик, отсюда!..

И я выкатился из этой школы, из пионерской комнаты, где уже коснулся кончиками пальцев красного галстука. Мрачно и укориженно смотрела на меня островерхая кирха, когда, едва удерживаясь от слез, тащился я через церковно-

школьный двор. В вопросе присвоения чужой собственности пионерская и религиозная этика совпадают...

Следующий этап хождения по мукам связан для меня с ВСНХ. Было такое учреждение в дни моего детства и отрочества. Оно помещалось в громадном сером доме на площади Ногина. У моего одноклассника Саши Черняева, полуслеплого очкаря, отец занимал ответственный пост в ВСНХ. Саша устроил меня в пионерский клуб при этом высоком учреждении. Мелюзга, подобная нам, находилась там на положении приготовишек. Для занятий нам выделили две большие комнаты в полуподвальном этаже с широкими окнами, чуть не до форточек утопленными в тротуаре. Смежное помещение с залом, мастерскими и комнатами для умственных игр принадлежало пионерскому отряду. А еще полуподвал приютил дошколят, которых тут обслуживали, воспитывали и развлекали на общественных началах.

Я попал туда в разгар трудовой деятельности, в октябре. К этому времени определились два ближайших кандидата на получение пионерского галстука: рослый, полнозвучный, чуть женственный Гога Рубинов и старообразный, с тощим, истомленным ранней и непосильной мыслью личиком Вася Трушин.

Программа занятий была велика и разнообразна. Каждый вечер мы что-то строга́ли, пилили, сколачивали, делали физическую зарядку, рисовали, оформляли различные стенды, писали плакаты, пели хором «Юного барабанщика», «Взвейтесь кострами, синие ночи», «Смело, товарищи, в ногу», а для разрядки «Милую картошку, пионеров идеал» и «Шандарба, струны Анна приколачивала».

Все это было очень здорово, по-моему, так и надо, чтобы в пионеры принимали людей разносторонне развитых, умеющих работать и руками, и головой, веселых, спортивных и если не поющих, то хотя бы знающих слова песен. Но у меня все пошло вкривь и вкось. Никогда и нигде не чувствовал я себя таким потеряннным и одиноким, как в пионерском по-

луподвале ВСНХ. Я был здесь как на чужбине. Ребят объединяло то, что родители их работали в одном учреждении, к тому же многие жили поблизости, в домах ВСНХ, и учились в одной школе на Солянке. Я же считался инородцем, ибо для юных обитателей площади Ногина и расходящихся от нее лучами улиц за Ильинскими воротами начиналась чужбина, а Лобковский, где находилась моя школа, представлялся чем-то вроде Огненной Земли или острова Тристан-да-Кунья. Слабодушный Саша Черняев, обнаружив мою изолированность, бросил меня на произвол судьбы. Его близорукие, рачьи — за выпуклыми стеклами — глаза вовсе слепли, обращаясь в мою сторону.

И вот что любопытно: в школе я считался выдающимся художником да и вообще ходил в способных и ловких, а здесь оказался дурак дураком. Карандаш и краски меня не слушались, на плакатах буквы сползали под откос, молоток бил только по пальцам, а гвозди гнулись. Даже на зарядке мне никак не удавалось попасть в общий ритм. Я чувствовал себя изгоем, и это вязало мою душу, движения, мысли.

Однажды нам поручили сделать рукоятки для стамесок и покрасить морилкой. Ребята быстро справились с несложным заданием и сдали рукоятки трудовику, так мы называли долговязого малого, занимавшегося с нами столярным делом, а я все возился со своим кривым, убогим изделием. Наконец, решив, что лучше не будет, сунул его в котелок с краской. Странная то была краска, густая, липучая, с отвратительным запахом, к тому же упорно не желавшая высыхать. Раздосадованный моей возней, трудовик выхватил у меня рукоятку и неприлично выругался. Его ладонь приклеилась, и он тщетно пытался стряхнуть мою кривулину. Оказывается, я сунул впопыхах рукоятку в котелок с разведенным столярным клеем.

Другой раз я задумал отличиться в пении. Я обожал всякое пение: хоровое и сольное, громкое и тихое, солдатское особенно, и вечернее, дворовое — на крылечке, и деревенское — уличное под гармонь. И я не знал, что начисто лишен

слуха. Вернее, у меня есть какой-то внутренний слух, позволяющий мгновенно распознавать мелодию, помнить про себя и чутко угадывать малейшую фальшь. Но я ошибался, полагая, что могу воспроизводить звучащую во мне музыку. Раз я услышал, как по пути в баню рота красноармейцев пела «Там вдали за рекой». Когда кончился куплет, чей-то высокий тенор еще долго тянул последнюю ноту, жалобно, чуть дрожаще и пленительно. Я попробовал ему подражать, тянулось, может, хуже, чем у красноармейца, но тоже — будь здоров! Как-никак я мог не дышать без малого три минуты.

И вот, когда в очередной раз наш хор завел «Юного барабанщика», я «подпустил» тенора. Оглушив самого себя, как токующий тетерев, я не заметил, что песня замолкла, а следующему куплету полагалось начинаться внутри долгой, жалобной ноты. Похоже, я уподобился Саше Черняеву в этот роковой момент, ибо не видел, что лица окружающих искажены смехом. Я был так упоен собой, что не услышал и возмущенного вопля хормейстера: «Прекратить хулиганство!» — и очнулся, лишь когда он стал трясти меня за плечи. Но вся его ядовитая брань не произвела на меня такого впечатления, как удручающее открытие, что мне медведь на ухо наступил. А я-то рисовался себе в недалеком героическом будущем ротным запевалой !..

Вместо того чтобы приблизиться к красному галстуку, я еще более отдалился от него. Рубинов и Трушин казались мне недостижимыми образцами. Их пример не вдохновлял, а угнетал. Они были прекрасны и нереальны, как герои Древней Греции, в чьих делах участвовали на равных боги. Что же являли собой эти двое, если остальные ребята, не удостоенные выдвигания, настолько превосходили меня? Все они так замечательно строгали, рисовали, клеили, пели. Но как же строгали, рисовали, клеили и пели те двое? Уму непостижимо! До них было далеко, как до самых далеких звезд.

Чувство отчужденности все нарастало во мне. Я уверился в собственном убожестве и прятался в него, как улитка в свой раковичный домик. Мне уже не хотелось сравняться

с другими ребятами, доказать, что и я чего-то стою. Преувеличивая их антипатию ко мне, я бессознательно копил в себе злобу. Вскоре я почти ненавидел полуподвальную команду. Вместо того чтобы приблизить заветную цель, меня отшвырнули за край надежды.

Как-то раз я заглянул в освещенные окна соседнего с нами, тоже полуподвального помещения и увидел знакомую рыхловатую фигуру, окруженную малышами. Были среди них и такие, что совсем недавно и не очень прочно освоили вертикальный образ жизни, и такие, которым через год-другой в школу. Они что-то строили из кубиков, рисовали цветными карандашами, кроили из бумаги, без дела никто не слонялся. Группа самых крошечных окружала Гогу Рубинова, и он говорил им что-то, порой замолкая в ожидании то ли ответа, то ли подсказки. Они играли в разговорную игру, развивавшую живую речь. Лишь раз Рубинов отвлекся, чтобы вырвать палку у малыша, пытавшегося ударить другого малыша по кумполу. Неторопливый по природе, Рубинов и сейчас не суетился, но поспел в самый раз, когда палка уже готова была опуститься на белобрисое темечко. Затем он вернулся на свое место. Малыши смотрели на него серьезно и доверчиво, как на взрослого человека. Я не отдавал себе отчета, чем заморозило меня это зрелище. Все знают, как сладко подглядывать в освещенные окна. Чувствуешь себя вроде господина Бога, которому открыто все тайное, сокровенное. Но здесь было другое. Ничего особенно интересного, никаких тайн я не мог увидеть. Но что-то поразило меня в Рубинове, от него веяло покоем, тишиной, сосредоточенностью, будто ничего другого в жизни ему и не надо. Обычно все делаешь для какой-то цели. А вот чтоб ни для чего, только ради самого дела — это редко бывает. Почти всегда примешивается постороннее: хочешь отличиться, выставиться, показать себя, заслужить похвалу товарищей или взрослых. Но вдруг находит такое: рисуешь, и начхать — понравится твой рисунок кому-то или нет, рисуешь — и все тут!

Рубинов не знал, что за ним наблюдают, да и плевать он хотел на все, кроме этих ребятишек. Он был весь в них, в разговоре с ними, в наблюдении, чтобы они не проломили друг дружке черепушек палкой, чтоб каждый был занят веселым и добрым делом. Гога Рубинов ничего тут не выгадывал, даже красного галстука, — вот что я тогда с удивлением понял.

В тот вечер мы задержались допоздна: много строгаи, много клеили, долго обсуждали, как лучше подготовиться к приближающимся ноябрьским праздникам, а потом еще пели и слушали революционные стихи, написанные нашими ребятами. Новое унижение для меня. Уже в ту далекую пору обнаружилось мое полнейшее неумение зарифмовать хотя бы четыре строчки. Две — куда ни шло, четверостишие — хоть убей, не получалось. А здешние удалыцы и стихи сочинять горазды. Странно, почему вся многогранная деятельность полуподвала никак не пересекалась с тем, что я умею. А что я умею? Рисовать. Дома и в школе я по-прежнему умею рисовать, а здесь ничего не получается. Может, и с другими моими способностями произойдет то же? В соприкосновении с чуждым и враждебным мне мирком все хорошее во мне искажается, как в кривом зеркале. Холодный и безучастный посреди всеобщего ликования, я отгосковал вечер, который, казалось, никогда не кончится.

В довершение всего куда-то запропастились калоши, и, пока я отыскал их, прошло немало времени. На площади Ногина я оказался в двенадцатом часу. Хорошо, хоть гривенник у меня был, можно доехать на 21-м номере до самого Армянского переулкa. А пешком тут верных полчаса ходу, да и страшновато, я еще никогда так поздно по улицам не ходил. Обычно мы кончали наши занятия в начале десятого.

Я пересек площадь и вышел на трамвайную остановку возле бульвара. И без часов угадывалось, что час поздний. Пустынно. Трамваи ходят редко, но ожидающего народа — раз, два и обчелся.

Я стоял посреди площади, пусть и не ставшей мне родной, как Покровка или Мясницкие ворота, но все же привычной, знакомой, и смутная тревога сгушалась во мне. Громада ВСНХ, китайская стена, уходящая к Москве-реке, горбатая Варварка, сквер, круто вздымающийся к Ильинским воротам, старая церковка с луковичками куполов, жилые дома с тускло освещенными зашторенными окнами, голые деревья и небо с плоской холодной луной — все это таило не то угрозу, не то предостережение. Неужели причина в том, что вечер вот-вот станет ночью, а меня пугало самое слово «ночь», черное, мохнатое, кладбищенское? Я боялся даже ночи за окнами моего дома, населенной бледными крышами и пятиглавием церкви в Армянском переулке. Но там я чувствовал себя под защитой жилья, и это помогало бороться страх. Я боялся и дачной и деревенской ночи, таинственной ночи обретающих одушевленность деревьев, оживающих теней, сбрасывающих сонную одурь болот, лунных полян. Я слишком долго верил во всякую нечисть, хозяйничающую взамен уснувших людей, чтобы, разделавшись с этой наивной верой, обрести полное доверие к ночи. Ну конечно, ведьмы, колдуны, вурдалаки, духи — чепуха, но душа сама населяет ночь призраками, и от этого никуда не денешься.

Как малолюдна огромная площадь, щемяще малолюдна, и чересчур много темного, низкого и вместе — бездонного неба, проблескивающего мелкими недобрыми звездами. Оно вбирает в себя постепенно слепнувшие дома, крыши уже не проглядываются в вышине, слившись с его тьмою. Замирала последняя жизнь вокруг, ночь властно вступала в свои права. Осенний, пронизывающий ветер погнал сухую листву со сквера, загремел цепями урн, завыл в подворотнях и водосточных трубах. Скорее бы подошел трамвай, залитый светом, звенящий, гремящий, теплый, с уютной ворчливой кондукторшей и добрыми усталыми пассажирами. Когда в вагоне много свободных мест, пассажиры всегда добрые. Но трамвая не было...

Пойти пешком? Я представил себе долгий путь по скверу, похожему на кладбище, по темной, мрачной Маросейке, враждебной и жутковатой даже в дневное время, и понял, что должен дожидаться трамвая, сколько бы ни пришлось ждать.

Мой дом стал казаться мне очень далеким и безмерно милым, я впервые понял по-настоящему, как люблю свою комнату с трапедией и старым письменным столом, набитым рисунками, тетрадками, альбомами, инструментами, пистолетами, всякими поделками из дерева, коры, фанеры, проволоки, гербариями, источающими печальный запах засохшего лета. Как люблю я свой продавленный диван и вольтеровское кресло с высокой спинкой и нежно стонущими пружинами, и лампу с шелковым фисташковым абажуром в полукруглых коричневых подпалинах. В носу подозрительно покалывало, а ведь я не успел еще подумать о маме и Вероне...

У меня застыли ноги. Я стал приплясывать, немного пробежался, не отдаляясь особенно от желтого круга света, в котором терпеливо маячило несколько иззябших фигур. Движение прибавило бодрости, я увеличил дистанцию пробежки и вдруг увидел трамвай, загадочно бесшумно и незаметно подкравшийся к остановке. Какой-то трамвай-призрак. Я едва успел вскочить на подножку, как он тронулся.

Хорошо, когда у человека есть гривенник. Кондукторша, чье лицо недобро озаботилось при моем появлении, мигом просветлела, увидев серебряную монетку в протянутой к ней руке. Она крепко вложила мне в ладонь билет, и я уселся по правую сторону от прохода, у окошка. Пустынный прицепной вагон сильно раскачивало, подкидывало на стрелках и стыках рельсов, и мои размышления вскоре стали под стать грезам. Я все время сознавал, что еду в трамвае, к себе домой, что очень поздно, и мои беспокоятся, и мама уже звонила в милицию и в морг. Пребывая внутри этой вполне бытовой тревоги, я одновременно на-

ходилась в странно преображенных событиях минувшего дня. Я был в комнате для малолетних, и Рубинов обходился со мной как с несмышленищем. Он предлагал мне на выбор: пускать мыльные пузыри или сводить переводные картинки. Мне хотелось объяснить ему, что это недоразумение, я сам без пяти минут пионер, но что-то мешало мне. Видимо, слишком резкий толчок выбивал меня в явь, а затем опять Рубинов лез с мыльными пузырями и переводными картинками, и я опять не успевал объясниться с ним.

В какой-то миг трамвай, окошко и наша мелькающая по мостовой тень стали слишком явственными, и я испугался, почему мы так долго едем. Неужели я прозевал свою остановку? Я стал вглядываться в пробегающие мимо дома, темные, низкорослые, с одинокой лампочкой над подворотней. Незнакомые, чужие дома. Маросейка?.. Нет, какими бы чужими, даже враждебными ни казались мне дома на Маросейке, где нас, армянских, жестоко преследовали, они были предвестниками моего родного дома, а эти угрюмые, облезлые строения — их и домами не назовешь — безмерно далеки от привычной мне жизни. Встревоженный, я вышел на заднюю площадку.

Может, где-то разрыли пути и мы делаем крюк? Я лихорадочно соображал, какой объезд может привести нас на Покровку. Ничего не получалось. Любой воображаемый маршрут уводил меня в неизвестность.

— Это двадцать первый? — спросил я кондукторшу.

Она поглядела на меня сверху вниз сонными злыми глазами, вправленными в каленое, с фиолетовым румянцем лица:

— А какой же еще?

Мне чуть полегчало.

— Покровка скоро?

Она вдруг рассердилась:

— Еще чего!.. Ты куда едешь?

На какие-то мгновения мой скромный мозговой аппарат выключился, бессильный справиться со столь противо-

речивой информацией: я действительно еду на двадцать первом, а он идет вовсе не туда, куда следует. Да я же ехал сегодня этим трамваем от Армянского до площади Ногина, не мог же он за вечер изменить маршрут?..

— Тебе в другую сторону, — сочувственно сказал какой-то пассажир.

Боже мой, куда же я заехал?..

И, словно отвечая на мой невысказанный вопрос, возник мост, а под ним река, черная, маслянистая, тускло отблескивающая. Река не принадлежала моему привычку. Чтобы оказаться на реке, нужны были необыкновенные события: праздничная иллюминация, когда меня водили на Москву-реку любоваться МОГЭСом, украшенным лампочками, или весенний паводок, когда по вспухшей воде, ворочаясь, плыли грязные льдины и люди почтительно говорили: «Можайский лед пошел». От моего дома до реки было так же далеко, как от паводка до иллюминации.

Я толком не знаю, какая то была река, наверное, Яуза. Она не показалась мне широкой, а ведь тогда воображение преувеличивало все страшное. А река — это очень страшно. Это рубеж, за ней другой город, незнакомый и опасный. Я хотел спрыгнуть на ходу, но кондукторша и сочувствующий пассажир, будто догадавшись о моем намерении, успели схватить меня за плечи. Кондукторша ругалась на чем свет стоит и грозила отправить меня в милицию, а сочувствующий человек мягко уговаривал дождаться остановки и пересесть на встречный трамвай. Хорошо ему рассуждать, а где возьмешь другой гривенник?

Опять бежали глухие, слепые дома, черные подворотни, редкие фонари, вывески, на которых ничего нельзя разобрать, остановки все не было. И я решил уже кинуться в тьму булыжной мостовой, как в омут, когда трамвай вдруг резко, трескуче затормозил, барабания решеткой по камням.

Я сошел на пустынную остановку посреди совершенно пустой, прямой и бесконечной в оба конца улицы и побе-

жал назад. Шаги мои гулко отдавались в тишине. Я бежал и плакал. Прямо-таки ревел от страха, обиды и тоски по дому. Миновал мост, стараясь не глядеть на маслянистую черную воду, и увидел впереди женщину. Непонятно, откуда она появилась, будто из-под земли выросла. Я сразу перестал плакать, прибавил ходу и нагнал женщину. Она шла, громко разговаривая сама с собой, вернее с незримым собеседником:

— Подумаешь!.. Испугал!.. Возьму и уйду... И пожалуйста... Это уж мое дело... Вот и уйду... И ничего...

Услышав мои шаги, она резко повернулась:

— Ты чего тут?..

— Я заблудился. Мне в Армянский надо...

— Это где ж такое? — по-доброму всполошилась женщина. — Что-то не слыхала.

— Покровка... Маросейка...

— Мать честная!.. Куда ж тебя занесло!

— Я трамвай перепутал.

— Надо же! — женщина рассмеялась звонким, молодым смехом.

Вначале она показалась мне старой. Лицо у нее было мятое, тени под глазами. А сейчас я увидел, что она совсем молодая, только усталая, да и размазалась тушь с ресниц, затенив подглазья и скулы. Она наклонилась, и я почувствовал запах вина.

— Ты плакал? — спросила женщина. — Брось!.. Ничто в мире слезиночки не стоит.

— А вы сами плакали, — сказал я.

— Луку надышалась!.. Ну и плавать!.. Пошли!.. «Ах, Коля, грудь больно, любила — довольно...» — запела она хриловато, но мелодично. — «Сире-ень цвете-от, не пла-ачь при-де-от...» Чего же ты? Подпевай. Или не знаешь?

Мне ли не знать этой песни, нежного и задорного гимна золотых акулловских дней! Не замолкая, звучала она в дачном саду, на реке, в поле, по дороге в лес...

— Знаю, — сказал я, — да нельзя мне.

— Это почему же? Петь каждому можно.

— Слуха совсем нет.

— Беда! Не люблю, кто не поет. А ты бы хоть сам с собой пел, — попросила она.

— Я пою. Сам с собой я всегда пою!

— Ну и правильно! А меня стесняться нечего. Подпевай. «Си-ре-ень цвете-от!..» А, черт!..

Она сильно оступилась, еще раз оступилась, захромала и остановилась, как-то странно согнув ногу.

— Каблук, будь он неладен!..

У нее сломался каблук. Она попыталась приладить его, опершись о мое плечо, но ничего не получилось. Тогда она совсем оторвала каблук и отшвырнула прочь:

— Вот так всегда у меня! Только чего заладится.. Плевать, как-нибудь дотрюхаем.

Мы заковыляли дальше, и тут наперерез нам из переулка вышел пожилой человек в прорезиненном плаще, сапогах и суконной фуражке.

— Эй, дядя! — окликнула его женщина. — Тебя-то и надо! Проводи мальчонку!

Человек остановился. Под крепко пахнущим резиной плащом виднелась военная гимнастерка. Сапоги на нем были старого фасона: высокие, по самую коленную чашечку, и в обтяжку, что подчеркивало кривизну тонких ног.

— Нечего ему по улицам шляться. Спать надо!

— Да заблудился он. Ему на Покровку, — пояснила женщина. — Доведешь?.. — Она наклонилась ко мне, и я снова почувствовал конфетный запах вина. — Ну, прощай!.. А смешно — сколько лет пройдет, ты вырастешь, станешь большим и никогда больше меня не увидишь. И я тебя не увижу. Понимаешь? Мы никогда, никогда с тобой не увидимся. Ни-ко-гда!..

Она выпрямилась и, прихрамывая, пошла через дорогу. Сам не знаю почему, мне вдруг смертельно жаль стало, что мы с ней никогда не увидимся. Вроде бы что тут такого: каждый день встречаешь уйму людей, с которыми тоже

никогда больше не увидишься, и дела до них нет, а вот сейчас мне реветь хотелось оттого, что я больше не увижу этой женщины...

— «Проводи», «проводи!» — сердито ворчал человек. — А спросила, куда я иду?... Мне в другую сторону! — И не в лад своим словам он жестко взял меня за руку.

— Пустите!

— Отставить разговорчики!.. Кто она тебе?

— Никто! — буркнул я.

— Это что еще такое? — загремел он. — «Никто»!.. Каждый есть кто-нибудь. «Никто» — ишь фендрик!..

Я не выносил разносов от посторонних людей, но что-то в его тоне заставило меня прикусить язык. Я вовсе не боялся его и знал, что он меня не бросит, просто увидел этого человека не в суконном картузе, а в буденовке, и не в ночном московском переулке, а в ковыльной степи...

Он здорово разбирался в местности. Мы завернули в проходной двор, затем прошли другим двором, уже не проходным, но с лазом в деревянном заборе, возле таинственно поблескивающей помойки, и вскоре, будто дуновением тепла, я ощутил близость родного предела. Только шли мы как-то странно: сделаем шагов десять и постоим. Вначале я думал, что это нужно ему для выбора направления. Но когда улица круто забрала в гору, человек выпустил мою руку.

— Дальше не пойду. Мотор не тянет, — он постучал по груди, где сердце. — Ступай прямо, никуда не сворачивай, выйдешь к Армянскому. Не боишься?

— Нет! — сказал я по-солдатски готовно и неискренне.

— Молодец! — голос его потеплел. — Терпеть не люблю трусов. Ну, бывай!

Он повернулся и зашагал прочь на своих гнутых ногах кавалериста.

И опять стало грустно. Еще один человек приблизился ко мне и скрылся навсегда. От моей руки, которую он держал, пахло табаком, а от плеча — той женщиной, ее

одеколоном и пудрой. Два человека из ночи оставили на мне свои метки. Но завтра слабые запахи испарятся. Я понюхал свое плечо, втянул табачной горечи от пальцев, вздохнул и пошел совсем не туда, куда меня направил бывший военный.

Почему я это сделал? От растерянности, топографического кретинизма? Нет, тут что-то другое, более сложное. Может, мною двигало неосознанное сожаление, что все так просто разрешилось? Незамысловатость спасения унижала острогу переживаний? Или же я не исчерпал ночи? Мое движение в сторону от дома не было осознанным, я словно играл сам с собою в какую-то запретную для сознания игру. Поднявшись на кручу, где стоял монастырь, освещенный запутавшейся в ветвях рослых вязов луной, я вернул себе холодок опасности. Куда идти? Вдоль монастырской стены? Но это явно уведет меня прочь от дома. Продолжать путь? Наверняка заблудишься. Вернуться туда, где мы расстались с моим провожатым?.. И тут я услышал свист.

С той же стороны, откуда пришел я, поднимался человек. Он был еще далеко от меня, но его длинная тень подбиралась к моим ногам и вдруг исчезла, — монастырская стена отрезала прохожего от луны.

— Kolossal! — восторгался человек. — Wunderbar!.. O, du geheimnißvolles Asien!

— Дяденька, — сказал я фальшиво-нищенским голосом, какого прежде не знал за собой. — Где Покровка?

— Wen gehört diese Stimme? — удивился немец. — Wo bist du, mein Kind?

— Da bin ich! — откликнулось дитя. — Sagen Sie bitte, wo ist Pkrowka?

Как бы гордилась моя мама, из последних сил учившая меня немецкому языку, если б слышала этот непринужденный разговор! Она никогда не спрашивала меня об успехах, убежденная, что я не знаю ни бельмеса. И вот...

Читателю может показаться странным, что я так спокойно и доверчиво обратился к чужеземцу, а не стал вы-

слеживать его как шпиона. Но Гитлер тогда еще не пришел к власти. В иностранце мы охотнее видели революционера, забастовщика, докера, чем врага.

Я не ошибся в немце, хоть он не был ни революционером, ни докером. Он что-то строил на Волге и в Москве находился проездом. Он восторгался нашей столицей, где «Европа обнимается с Азией», а по ночным улицам бродят мальчишки, свободно говорящие по-немецки. Он еще что-то лопотал, но я перестал его понимать. Он говорил слишком быстро и злоупотреблял произношением.

Немец, конечно, понятия не имел, где находится Покровка. После того как я пресек его попытки увести меня назад к Яузе, мы, слегка поплутав в окрестностях монастыря, оказались в Старосадском переулке. Возле немецкой кирхи я сказал, что теперь дойду сам. Я чувствовал, что ему хочется вернуться к монастырю. На кирху он и внимания не обратил.

Немец настаивал на том, чтобы довести меня до самого дома. В этой деликатной борьбе победил я. Мы расстались сердечно. Через несколько минут я был на Покровке. И тут — будто напророчила сердитая кондукторша — я попал в лапы милиции.

По тротуару, от церковки Косьмы и Дамиана, что на углу Старосадского, шагал, четко печатая шаг, молодой милиционер в расчищенных до блеска сапогах. Он весь горел, сверкал, скрипел, потрескивал складской новизной. Дежурил новоиспеченный страж порядка или просто вышел в новенькой форме покрасоваться перед фонарями и звездами — кто его знает. Заметив меня, он свернул под прямым углом и заступил мне путь.

— Что такое? — произнес он грозно. — Детям спать положено! — Его широкое лучезарное, хоть и прихмуренное от сознания своего величия деревенское лицо тоже скрипело мужественной игрой желваков, сцепом челюстей, крепостью скул.

— Я заблудился! Вон мой дом! — я махнул рукой на видневшийся в глубине Армянского переуллка угол моего дома.

— Заблудился? — недоверчиво повторил милиционер. — Адрес местожительства? — От него крепко и вкусно пахло кожей, сукном, ваксой и тройным одеколоном.

— Армянский, дом девять, квартира сорок четыре. А по Сверчкову и Телеграфному — дом один, а квартира тоже сорок четыре.

— Это как понять? — удивился и вроде обиделся милиционер. — Адрес только один должен быть.

— А у нас три адреса, — сказал я с достоинством. — Наш дом в три переулка выходит.

— Надо же! — милиционер хлопнул себя по ляжке, обтянутой синей диагональю. — Только в Москве такое бывает. Три адреса! Ну и городишко!.. Пошли! — И он взял меня за руку.

В испуге я рванулся прочь, но не тут-то было.

— Спокойно! — сказал милиционер. — Обязан, как не подростшего, перевести на другую сторону магистрали.

Он вынул свисток и, хотя улица была пустынна, легонько свистнул, останавливая воображаемое движение.

— Перекресток у Сверчкова осилите или проводить? — спросил милиционер, когда мы оказались на той стороне.

— Осилим, — польщенно сказал я.

— Поглядите налево и начинайте движение. Достигнув середины проезжей части, поглядите направо и, если нет транспорта, продолжайте путь. — Он опять счастливо улыбнулся и козырнул.

Я выполнил его указания и через несколько минут, вихрем взлетев по темной лестнице, дернул веревку колокольчика у наших дверей. Я думал, что долго протомлюсь на лестничной площадке. К нам был один звонок, вернее, один треньк колокольчика. Ржавый и копотный, он давно утратил былое звонкоголосье. Разве услышишь одинокий щелк язычка? А станешь частить, обязательно примчится Данилыч, на ходу напяливая гимнастерку, в надежде, что началась мировая революция и ему предстоит вести полки, или директор подвальчика «Медведь» Фома Зубцов, тепло

одетый, с пакетом в руках, тоже в полной готовности, но отнюдь не революционной.

Напрасно я беспокоился. Едва раздался слабый треньк, дверь распахнулась, — мама и Вероня давно уже поджидали на кухне, когда принесут мой изуродованный труп. Мне всегда предоставляли слово, прежде чем подвергнуть казни. Я быстро рассказал, что произошло.

— Вот что значит лезть с черного хода... — Мама вздохнула, не докончив фразы, но я очень хорошо понял, что она имела в виду.

Прежде чем лечь в постель, я немного постоял у окна, глядя в лицо ночи, переставшей быть страшной. Почему я так боялся ее? В тихой, темной пустынности бродят странные добрые люди, которые не дадут тебе пропасть. Я мысленно пожелал им спокойной ночи: гордой молодой женщине, бывшему военному, которому не спится в мирной тиши, очарованному Москвой немцу и новоиспеченному стражу столичных улиц...

А на другой день вечером я снова пошел в ногинское полуподвалье. Я уже все решил про себя и лишь должен был убедиться, что страх ни при чем в принятом решении. Я был влюблен в свою ночь, но моя готовность к повторению пережитого нуждалась в проверке. И я понял, что боюсь трамвая № 21 и, наверное, долго буду бояться, но это не беда, потому что вскочу на него по первому же внутреннему посылу, не задаваясь вопросом, в какую сторону он идет. В таких делах я не обманывал себя.

Теперь, когда я знал, что больше не приду сюда, полуподвальные ребята казались мне куда симпатичнее. В них не было ни зазнайства, ни гонора, они просто не понимали мальчишка, бросившего школьных друзей, чтоб пролезть в пионеры, как сказала моя мать, с черного хода. Их настороженное чувство ко мне шло от душевной опрятности. Мое время еще не настало. Красный галстук не даст мне другого сердца, я сам должен его обрести, тогда все сбудется. А для этого не нужно царапаться в чужие двери.

Я никому не сказал, что ухожу. Я исчез незаметно, когда все упоенно горланили «Юного барабанщика». И во двор долетало:

И стих наш юный барабанщик,  
Его барабан замолчал...

Я не жалел, что расстаюсь с ними, но к легкости, какую мне сообщило принятое решение, примешивалась печаль. Я буду помнить тихое лицо Рубинова, но меня тут никто не вспомнит. А это плохо. Надо оставлять какой-то след в душах тех, с кем тебя сводит жизнь.

# ИВАН

Иван был сыном тети Поли. В те годы в каждом большом доме обитала такая вот тетя Поля. Не имея постоянной работы, она нанималась поденно: мыть полы, стирать белье, присматривать за детьми, ухаживать за больными. Перед майскими праздниками тетя Поля надраивала окна в квартирах, далеко высовываясь наружу, будто повисая над глубиной двора с его чахлым сквериком, винными подвалами и громадными битюгами, впряженными в широкие, присадистые телеги. Приглашали тетю Полю еще для одного дела: обмывать покойников. Непонятное и жутковатое занятие это наделяло тетю Полю таинственной значительностью. И хоть была она маленькая, тощенькая — соломинкой перешибешь, — ее не отваживались задирать даже такие отчаянные смельчаки, как Вовка Ковбой. А поводов для задиранья тетя Поля давала достаточно: она была богомольной и пьющей. Не монашка, конечно, и не пьяница, но служила и Богу, и зеленому змию. Она хаживала в церковь не только на престольные праздники, но и в обычные, будние дни, святила кулич и пасху, ставила свечки, размашисто крестилась, заслышав колокола старинной церкви в Армянском переулке, и самыми страшными ругательствами в ее устах были «нехристь» и «язычник»...

Выпивала тетя Поля только под воскресенье и на большие советские праздники, но уж непременно. И тогда, молчаливая, замкнутая до угрюмости, она становилась общительной, разговорчивой, даже хвастливой, хотя маленькие глаза ее оставались такими скорбными, будто она вот-вот разрыдается. Но никто не видел тетю Полю плачущей, как никто не видел ее улыбающейся. Она остановилась на пороге улыбки, как и на пороге слез.

Тетя Поля прибыла в наш дом на смену тете Варе, выполнявшей до нее те же обязанности. Тетя Варя, совсем постарев, уехала доживать век к дочери в деревню, а в ее комнату, вернее сказать, каморку под лестницей, по прошествии малого времени вселилась тетя Поля. Это событие памятно мне потому, что во дворе появился новый мальчик Иван, сын тети Поли. Конечно, ничего потрясающего в этом не было, но каждый новый жилец пользовался повышенным вниманием, пока не обретал того или иного места в сложной дворовой иерархии. Я говорю, разумеется, о своих тогдашних сверстниках, но и у взрослых все обстояло сходным образом.

Надо сказать, ассимиляция тети Поли произошла куда проще, нежели ее сына. Самое место вселения сразу определило общественный и социальный смысл тети Поли, и дом, начавший болезненно чувствовать отсутствие тети Вари, обрадовался ее преемнице. И не зря: тетя Поля по всем статьям превосходила болезненную, старчески немощную тетю Варю. Двужильная при своей худобе и малорослости, добросовестная, опрятная, кристально честная и вовсе не жадная к деньгам, тетя Поля ворочала за двоих...

Иван был предметом великой и единственной гордости тети Поли. Когда субботняя стопочка пробуждала в ней душу для общения, доверия и радости, она только о нем и говорила. И какой он послушный, и какой тихий, и какой благодарный. «Ей-Богу, сызмальства такой! — удивлялась она. — Всякое дитя грудь просит, а мой хоть бы пискнул. Не покорми его, так без звука и помер бы!» Если верить тете Поле, выносливая кротость младенца Ивана превосходила подвиги первых христиан. Оставленный ею как-то на морозе, он развязался и «аж посинел весь, уж и сердчишко замерло», когда вернулась мать, но и тут не кричал, не зывал о спасении. Другой раз его, трехлетнего, чуть не расклевали куры. Он о косу порезался, ну а куры, жадные до крови, как кошка до валерьянки, накинулись и давай долбить клювами окровавленную ногу. А он, морщась от боли, молча отпихивал их слабыми своими руками...

Отцом Ивана был водолаз. Он вывез тетю Полю с шестилетним сыном из Солотчи и поселил в Петровско-Разумовском, на квартире у сестры, и ушел на дно, чтобы никогда не вернуться. А тетя Поля, не предаваясь ни гореванию, ни вполне естественной растерянности, съехала от скандальной золовки и определила себе ту жизнь, какой с тех пор и жила, растя и кормя досыта своего Ивана.

О покойном муже тетя Поля не сожалела. Более того, слегка перебрав, пускалась в туманные рассуждения, что, мол, никто не знает, каких благородных кровей ее Иван. Выходило, что отцом Ивана был вовсе не водолаз, а приезжий из Москвы землемер с теодолитом. Легкость, с какой тетя Поля произносила слово «теодолит», делало вполне вероятным, что она не соблюдала верности своему водолазу в пору, когда он более счастливо уходил на дно.

Иван и впрямь был прекрасных кровей, но чисто рязанских, не разбавленных чужими соками. Спелая рожь, небо и парное молоко дали ему свои краски. Летом слабый загар придавал его коже оттенок топленого молока. Этот синеглазый благостный мальчик не имел большого успеха в нашем дворе, населенном городскими детьми, колючими, нервными, с серой кожей, выросшими на бульжнике и асфальте, а не на траве и теплой земле.

Иван казался нам чужестранцем, и мы с упорной детской жестокостью отказывали ему в праве гражданства.

Он не пытался выставиться, ему по *всей* природе чужды были всякие отчаянные подвиги. В нем и вообще проглядывало что-то бабское. Иван не дрался, не гонял голубей, не играл в деньги, не стрелял из рогатки по воробьям и форточкам, не таскал в кармане ни ножа, ни закладки, не воровал винных бутылок, даже не ругался, хотя иные предметы и действия с патриархальной простотой называл словами, не встречающимися в толковых словарях, кроме дореволюционного издания Даля.

Он играл в безобидные игры вроде фантиков, прятки, салок, позже гонял в футбол, хорошо бегал на лыжах, но

никак не мог научиться езде на велосипеде, что-то мастерила и возился с калечными животными. Если определить его главную устремленность — он всегда кому-то помогал. Строил во дворе, за помойкой, превосходные голубятни для наших голубятников, выстругивал деревянные мечи и шпаги, хотя сам чурался сражений, надувал сильными легкими футбольные мячи еще в ту пору, когда его даже загольным кипером не ставили, клеил и накачивал велосипедные шины, запускал с малышами бумажные кораблики по весенним ручьям, был непременно участником всех дворовых мероприятий — от заливки катка до писания трогательных лозунгов ко Дню птиц. Помогать было его призванием. При этом он не выгадывал пользы для себя, кроме, очевидно, некоторого душевного комфорта, но в этом смысле любой добрый, даже самоотверженный поступок эгоистичен. Тут было что-то наследственное. Похоже, и тетя Поля избрала себе занятие не только по необходимости, но и по склонности. Она столько всего умела, что легко могла бы найти постоянную работу. Но ей нравилось быть дворовой «скорой помощью». Может быть, это создавало ей иллюзию наполненной душевной жизни? Нечто сходное происходило с ее сыном. Ему доставляло куда большее удовольствие стараться для кого-то, нежели для самого себя. Наверное, это и есть любовь к людям...

Но признательность не была из нас фонтаном. Ивана безбожно эксплуатировали, обманывали, обирали. Я-то уж на что лопух был, а и то попользовался от Ивановой доброты...

Как-то раз он позвал меня к себе под лестницу сыграть в фантики. У нас во дворе знали игру в кон и пристеночку, а Иван предложил новый способ: фантик кладут на ладонь, затем с силой ударяют рукой снизу по столешнице, чтобы фантик прыгнул на стол. Противник должен, действуя сходным образом, накрыть твой фантик своим. Если он не преуспел, ты получаешь возможность накрыть его фантик.

Существовали фантики разного достоинства. Тонкие, просвечивающие, будто навощенные обертки от «Барба-

риса», «Грушевых», «Прозрачных» не шли в сравнение с плотными, красивыми обертками дорогих шоколадных конфет вроде «Мишек» или «Грильяжа». Менее нарядными и потому менее ценными были обертки «Раковых шеек», тянучек «Коровок». Особенно же ценились фантики зарубежного происхождения. У меня был один — с Дюймовочкой на листе кувшинки.

Клянусь, я не жаждал заполучить жалкие фантики Ивана из тонких оберток дешевых конфеток и не боялся лишиться своих роскошных фантиков, что-то другое двигало мною, когда после его выступления предложил изменить правила. Его фантик будет считаться битым, если мой ляжет на расстоянии хотя бы вершка — растопыренной пятерни. Иван с легкостью согласился, и я без труда побил его фантик. Так оно и пошло. Новое правило ставило начинающего игроу в безнадежное положение: как ни старайся, от растопыренной пятерни не уйдешь. Чрезмерность удачи на миг смутила меня. Но незнакомое упоительное ощущение выигрыша подавило великодушный порыв в самом зачатке. Я никогда не выигрывал, ни в чем. Все мальчишки нашего двора без усталости чем-то менялись. Я действовал, как тот простак из притчи, что доменялся до иголки, начав с коровы, а иголку потерял. Сколько моих пробочных револьверов, ножей, красок, цветных карандашей перекочевало в карманы дворовых приятелей, а Вовка Ковбой ухитрился выменять у меня даже величайшее мое сокровище — смертоносный пистолет монтекристо, который я на ночь клал под подушку. И вот нашелся еще больший простофиля, чем я. Как сладко быть хозяином положения! Я упивался своей находчивостью, змеиным лукавством, железной хваткой. Нельзя сказать, что во время моих разорительных мен с Вовкой Ковбоем и другими мастаками я простодушно гордился собой. Меня не оставляло щемящее чувство несправедливости, какой-то порчи всего миропорядка, которой я бессилен противостоять. Против меня были напор и беспощадность чужой воли, точно ведающей цель, собствен-

ная деликатность, зыбкость стремлений и доброта. Но сейчас я имел дело с превосходящей добротой, щедростью, деликатностью и наслаждался неизведанным чувством волевого превосходства. Я не испытывал ни жалости, ни сочувствия к Ивану, ничего, кроме легкого презрения.

Но вот он поглядел в банку из-под какао «Золотой ярлык», где хранил свой скудный клад, охнул и засмеялся:

— Пусто!

Тут как раз вернулась с работы тетя Поля.

— Маманя, покупай конфет, я все свои фантики продул! — радуясь невесть чему, сообщил Иван.

Маленькое, запертое, будто глядящее внутрь себя лицо тети Поли странно притуманилось:

— Не играй ты с ними, они же всегда тебя объегорят.

— Почему, мамань?

— Да ведь ты же дурачок! — с какой-то сложной интонацией печали, насмешки и нежности сказала тетя Поля...

Гордый своей победой, я развонил по двору, как «ободрал» Ивана, чью непроходимую глупость удостоверила родная мать.

— А он правда дурачок! — обрадованно сказала тонконогая эстонка Лайма. — Иванушка-дурачок!..

Так и прицепилось к Ивану это прозвище и сразу все поставило на свои места. Доброта у детей не в большом почете, хотя они умеют пользоваться ею не хуже взрослых. В Иване нуждались, его одолевали различными просьбами и при этом шпыняли, дразнили, давали «пенделя», чтобы помнил свое место. Обретя прозвище, он вдруг определился для всех, словно бы узаконился. Его перестали задевать, полностью приняли, но в обращении с ним проглядывала та обидная, презрительная ласковость, с какой в народе от века относятся к недоумкам, богом обиженным, чудакам.

Впрочем, не следует так уж преувеличивать обидность клички. Ведь в русских сказках Иванушка-дурачок вовсе не глуп, да и собой парень ражий, но с некоторым отклонением от той самоуверенной дюжинности, что почитается нормой.

Вряд ли стал бы я писать об Иване, оставшемся в моей памяти чем-то вроде плохо пропеченного колобка, если бы не встреча с бывшей девочкой Лаймой, ставшей немолодой женщиной, матерью великовозрастного сына. Встреча произошла чуть более двух лет назад, на пороге моего паломничества в прошлое. С той поры время работает во мне в двух направлениях: вперед и вспять. Я рад, что образы детства не мешают мне жить поступательно, не уводят от жесткого света текущих дней в прозрачный, нежный сумрак былого. Время как бы воссоединяется во мне, и моя жизнь начинает казаться мне цельной, крепко сцепленной внутри себя, а не хаосом, не чередой случайностей. Нельзя воссоздать прошлое искусственно, собирать его, как собирают материал в творческих поездках. Так ничего не получится, ты не вызовешь образ своей прежней души. Прошлое должно оживать внезапно, являться как озарение, иначе оно все равно останется немо. Я не искал Лайму, как не ишу никого, приходя в свой старый двор и оставаясь там обычно неузнанным. Мы столкнулись случайно, и вдруг пробежала искра...

Может показаться странным, почему я, зная вроде бы довольно о мальчике по имени Иван и по прозвищу Иванушка-дурачок, не знал о нем главного. Но я им никогда не интересовался, и все мое знание было случайным. После игры в фантики мы никогда не общались с ним с глазу на глаз. У меня во дворе были другие приятели, и потом я слишком восхищался Вовкой Ковбоем, его лихостью, смуглой разбойной красотой и черной от грязи шеей, чтобы испытать симпатию к чистенькому и тихонькому Ивану. А его поначалу тянуло ко мне, но, почувствовав шипы, он отступился.

Потом одно мелкое обстоятельство подорвало мои связи с двором и окончательно увело из поля зрения Ивана. В нашем дворе открыли парадные двери. Не знаю, почему так случилось, но еще в революцию наш дом был взят с улицы под замок. Жильцы могли пользоваться лишь черным

ходом — крутыми, узкими лестницами, выходящими во двор, точнее, в два обширных двора.

Для меня парадные двери распахнулись в сторону Чистых прудов, где находилась моя школа, новые друзья, новые увлечения. В одном парадном со мной, на этаж ниже, жил мой лучший друг Павлик. Я спускался по широкой, пологой лестнице, над которой торжественно возносился стеклянный купол, под ладонью шелково проскальзывала гладь полированных перил. Павлик ждал меня на площадке. Мы мчались вниз, в тишину Телеграфного переулка, уходящего к Чистым прудам, сюда не долетали шумы нашего двора.

Конечно, иногда я появлялся во дворе, походя, да и то редко. Построили метро, и теперь наша связь с большим московским миром осуществлялась через Кировскую станцию, что у Чистых прудов. Я видел моих мужающих сверстников, среди них непривычно большого Ивана, но если что и привлекало мое внимание, так это чудесное превращение наших девчонок, становящихся девушками.

А затем я переехал в совсем другую, приарбатскую Москву. Вскоре после окончания войны я пришел в свой старый двор, чтобы узнать об участии ребят. Иван погиб одним из первых, в самом начале войны. У него была студенческая отсрочка, он пошел добровольцем. Я почему-то ждал, что так и будет.

Ну а много лет спустя я наткнулся на Лайму, вернее сказать, на пожилую, с сильной проседью, поплывшую, растерзанную женщину, делающую вид, будто она возникла из костлявой, зубастой, как щуренок, девчонки с нашего двора.

«Гадкий утенок» Андерсена написан о Лайме. Не было на свете гаже утенка, чем маленькая Лайма. Кличка Чухна Белоглазая отражала лишь малую подробность ее облика: бесцветье водянистых глаз. Она и вся была бесцветной, будто ее выварили в щелоче: со слабыми бесцветными волосами, бледным крысиным личиком, острыми, вечно побитыми локтями и коленками. Если добавить к этому настырность,

упорное стремление во всем подражать мальчишкам при полном отсутствии ловкости, силы и выносливости, то можно понять, что Лайма не числилась в любимицах двора. Никого не шпыняли так охотно и жестоко, как Лайму. Как только она выдерживала! Быть может, ей казалось, что, пройдя некий искус, она будет принята в дворовое братство. Но ее били, над ней измывались не для того, чтобы проверить ее стойкость, преданность, не за мнимые или истинные провинности, а чтобы отвадить, чтоб духу ее не было. Только Иван, как ему и положено, не обижал Лайму, но она плевать хотела на его доброту, у нее была одна мечта: стать «своим парнем» в дворовой банде. Годам к пятнадцати, пройдя пик своего безобразия, она стала оформляться если не в лебедя, то в лебеденка, грациозно неуклюжего, прелестного. Мы все проглядели ее превращение. Незаметно для нас она сумела поменять молочную карзубость на два ряда жемчужных зубов, чухонское белоглазье — на серые с проголубью удлиненные глаза, приобрести густые пепельные волосы, нежную, чистую кожу, медленную улыбку. Она еще оставалась голенастой и тонкорукрой, но в несовершенстве и угловатости ее фигуры проглядывала будущая стройность.

Как раз в ту пору на нее обратил немилостивое внимание корифей наших двух дворов Вовка Ковбой. В каждом доме есть такой герой: самый сильный, самый храбрый, самый изобретательный. Предводитель, атаман, Оцеола — вождь семиолов. Незавидна судьба тех дворов, где в роли предводителя оказывается человек с низким характером. Наш Вовка брал всем: и силой, и смелостью, и ловкостью, и мозгами, и душевной широтой. Развитый, начитанный, насмешливый, он держал нас в страхе Божьем, сравнительно редко прибегая к кулачной аргументации. Это он берег для девятинских, златоустинских, чистопрудных и прочих враждебных племен. Вместе с тем Вовка считал ниже своего достоинства вникать в наши мелкие дрязги, распри и междоусобицы. Так, ему не приходило в голову заступить-

ся в свое время за Ивана или защитить Лайму. Иван не мог ему нравиться, Лайму он просто не замечал. Вплоть до того времени, когда в Лайме свершилась перемена. Все мы почтительно отступились от новой Лаймы, а Ковбой принялся злобно преследовать ее. Будто осколок кривого зеркала попал ему в глаз, он видел не сегодняшнюю Лайму, а исчезнувшую, издевался над ее прекрасными зубами и прекрасными глазами, над ее длинными ногами и тонкими, нежными руками. От слов он переходил к делу — толчки, тычки, подножки сыпались на беднягу Лайму. Ковбой до-нимал ее не с хулиганским добродушием, а с ненавистью, свирепой ненавистью, ставившей нас в тупик. Чем-то стыдным и жутковатым веяло от поведения Ковбоя.

Все это длилось довольно долго и для меня происходило словно в тумане, ибо настало время открытых парадных дверей. Из тумана донесся до меня слух, что Иван вступился за Лайму, произошла драка, и Вовка Ковбой, израсходовав на Ивана всю свою непонятную злость, оставил Лайму в покое. Кто-то осмеливался утверждать, что Вовка отнюдь не вышел победителем в этой драке, но все его последующее поведение в отношении Ивана — властное, приказательное, сверху вниз — опровергало кощунственное утверждение. Ну а вскоре, как уже говорилось, я распрощался с Армянским переулком, и лишь встреча с немолодой, по-утреннему не прибранной женщиной вернула меня к давно забытой детской истории. Только в старых домах, где живут десятилетиями, проходят гребень жизни и начинают стариться, где бабушки помнят друг дружку пионерками, а дедушки вместе гоняли голубей, отважится женщина выйти во двор в таком затрапезном виде. На Лайме был старенький ситцевый халатик поверх ночной рубашки и шлепанцы на босу ногу. Тяжелые волосы кое-как заколоты шпильками, в уголке рта забылась погасшая сигарета. В руке, напрягшейся голубыми жилками, Лайма держала ведерко с белилами, верно, бегала в москательную лавочку через дорогу, под мышкой — потертую кожаную

сумочку. Увидев меня, Лайма выплюнула окурок, ведро поставила на землю и как-то грустно-осудительно покачала головой. Движение относилось к моим морщинам и к седине, собственный nepотpeбный вид Лайму не смущал. За истекшие годы мы виделись два-три раза, здоровались, обменивались незначащими фразами, а вот сейчас впервые разговорились. И, приняв происшедшую в ней перемену, я вдруг понял, что достаточно Лайме надеть лифчик и пояс, причесаться и слегка подкраситься, она сразу наповал и «бойца с седой головой», и юношу, мечтающего о «настоящей женщине». Глаза у нее по-прежнему были серые с приголубью и свежий, яркий рот.

Вначале мы несли всякий вздор, просто от радости, что встретились, а потом, как обычно бывает у стареющих, давно не видевшихся людей, разговор свернул к главной теме: кто из общих знакомых покинул земную сень. Лайма назвала мне ушедших ветеранов двора и среди других тетю Полю.

— Как она жила? — спросил я. — Не нуждалась?

— Нет. Получала пенсию за Ивана. Ей помогали.

— Все под лестницей?..

— Нет, что ты! Вовка Ковбой ей комнату выхлопотал. Знаешь в квартире Горяниных, угловая? Хорошая комната, светлая. Вовка-то большим начальником стал.

— Слышал... Тяжело ей было?

— Тяжело, — сказала Лайма. — Она крепко зашибала. До самой смерти. Но безобразного ничего не было, она же тихая.

— И сын был тихим, — заметил я.

— Вот уж нет! — тряхнула платиновой головой Лайма. — Он не участвовал в ваших дурацких драках и не катался на буферах, но вовсе не был тихим... Он знал, как мать за него боится, и жалел ее. Ему не нужно было утверждать себя вашими жалкими подвигами.

— Чего ты злишься?

— А правда?.. — сама удивилась Лайма, но продолжала с тем же напором: — Видимо, для меня все это значит

куда больше, чем для тех, кто уехал отсюда. Я прожила здесь жизнь, и самое важное связано для меня с этим домом. Я и войну тут проторчала, то в подвале, то на крыше. Я понимаю, — сказала она, предупреждая мои возражения, — детство ни для кого не проходит бесследно, но ты судишь со стороны...

Лайма не договорила. Подошел долговязый молодой человек с шапкой черных волос, тяжелым смуглым носом и Лаймиными серыми с проголубью глазами:

— Ты скоро?

— Отнеси ведро домой! — приказала Лайма. — Это мой оболтус.

— Иван, — назвал себя молодой человек, подав мне большую теплую руку. Глянул на мать и, не получив новых указаний, забрал ведро и удалился.

— Красивое имя, заметил я, — но довольно редкое у эстонцев.

— Он гибрид. Отец — армянин московского разлива. Я назвала его в честь нашего Ивана, — сказала она с нежностью и легким вызовом.

— Вон что!.. — я начал о чем-то догадываться, — Слушай, что тогда произошло между тобой, Вовкой и Иваном?

— А ты не знаешь?

— Нет.

Лайма улыбнулась:

— Это было самое лучшее в моей жизни. Честное слово!.. Помнишь, как Вовка измывался надо мной! А тут он поймал меня возле помойки и давай за волосы таскать. Я хотела огреть его ведром, он вывернул мне кисть, обезоружил и приказал на коленях просить прощения. Ну а я уперлась. Раньше я и не такое делала — колышки из земли зубами таскала и еще что-то омерзительное. Хорошо вы с девочкой поиграли!.. Ну а тут ни в какую. Умру, а унижаться перед ним не буду. Вовка как рванет мне руку, прямо из плеча выдернул, я заорала. Помнишь, за помойкой дровяной сарай? Иван там как раз ловушку на голубей для Пети Мягкова строил. Мы

слышали его пилу и молоток. Но мне и в голову не пришло на помощь звать, я просто заорала от боли. Иван свесился с крыши: «Брось, Ковбой, будь человеком!» Тот послал его по-дальше и так скрутил мне руку, что я носом землю запахла. Иван спрыгнул вниз, оступился, подошел прихрамывая, губы белые. «Над женщиной издеваться?!» — и двинул Вовку в челюсть. Я обалдела. Главное — не то, что он самому Ковбою в морду дал, а что меня «женщиной» назвал. Мне тогда шестнадцать не было — соплячка. Услышь такое от тебя или от Вовки, я бы не удивилась. Вы оба книжные и могли еще хлестче загнать из подражания какому-нибудь невероятному герою, спасающему свою возлюбленную. Но Иван не был книжным, он был естественным, как трава, как дерево, и в этой обмолвке раскрылась его догадка... Я тоже вдруг все поняла и перестала злиться на Вовку. Он чувствовал, что во мне возникает что-то новое — «женщина», как сказал Иван, это его волновало, мучило, и ему хотелось загнать меня назад, в детство, подавить все темное, страшное в себе самом. Нормальные мальчишки перестали ко мне цепляться, а Вовка, парень страстный и трудный, обрушился на меня, будто я в чем виновата. Это был страх перед взрослостью. И сейчас его тайное, даже от себя тайное, было разгадано, названо вслух, и он прямо-таки озверел. Я всегда презирала ваши паршивые, неумелые, трусливые драки, но там... Ей-Богу, я не видела ничего лучше! Дрались не мальчишки, а молодые мужчины. И они дрались из-за меня. Из-за чего-то высшего во мне... Я боялась, что Ковбой сразу раскровенит Ване лицо, у белокожих всегда слабые носы. Какой там! Вовка не доставал Ивана. Тот принимал его удары локтями, плечом, а сам бил без промаха. Иванова сила была глубже, увесистей, что ли, Вовка рухнул — затылком о помойку. Но все же вскочил, челюсть дрожит, глаза опрокинулись. «Твое счастье, сволочь, что у меня правая вывихнута!» Видать, кому-то нужно было, чтоб Вовка испил свою чашу до дна. Иван тут же сунул правую руку под ремень и выдал Вовке левой. И Вовка не то чтобы сломался, а как бы тебе объяснить?... Другой полез бы снова, получил бы

свое и снова полез, и так до полного омерзения. Это истерика, а не мужество. А Вовка проявил настоящее мужество — принял свое поражение. Он вытер рукавом лицо, сплюнул кровь, кивнул Ивану и пошел прочь. С тех пор он оставил меня в покое, даже перестал замечать. Мы не разговаривали больше года. А с Иваном у них пошло по-прежнему, Вовка все так же командовал, и никто не догадывался, что между ними было...

— Тут ты ошибаешься, какие-то разговоры ходили.

— Смотри ты, помнит! — удивилась Лайма. — Я думала, ты вовсе не от мира сего. Верно, легкая шебуршня началась, по Вовкиной вине. Он хотел предупредить нашу болтовню, а как увидел, что мы молчим, успокоился. В чем-то человек нипочем через себя не переступит. Вовку на многое хватило — он не затаил зла на Ивана. Но ему не пережить бы, узнай ребята, что не он самый сильный. Иван его пощадил, и он ответил Ивану дружбой. Вовка говорил потом, что Иван помог ему перейти в другой, внутренний возраст, если б не сцена у помойки, он бы черт знает до чего дошел. Они, правда, очень подружились. Вовка любил Ивана даже больше, чем Иван его. Потому что Иван любил многих, а Вовка только его и меня.

— А я и не знал, что у вас с Вовкой была любовь.

— Мог бы догадаться — все-таки писатель. Только не подумай чего не надо — самая чистая, возвышенная и дурацкая любовь, какая бывает на свете. А ведь детишкам девятнадцатый годик шел!.. Когда он вернулся с войны, я уже была с Ваганом. Можешь себе представить, Вовка требовал, чтоб я ушла к нему, и даже рвался объясниться с мужем. Я, конечно, не позволила.

— Ну еще бы, ты же Ивана любила, а он не пришел.

У Лаймы вдруг стали молодые скулы. Только женщины умеют так мгновенно и поразительно меняться.

— Нет, нет, ты ошибаешься! Тут другое... Мне вот хотелось, чтобы мой сын был, как Иван. Им нелегко быть, а еще труднее стать... Знаешь, его отец избивал спяна тетю

Полю, отсюда у Ивана такое отвращение к дракам и всякой жестокости. Но когда надо, он шел в бой, будь то у помойки или на московских рубежах. У Ивана все от натуры, а воспитать... Глядишь — вырастила слабака или мокрую курицу. И еще — такие, как Иван, не приходят с войны... Но все равно — после Ивана неохота, чтобы твой сын был другим. Ну а я... что я?... Мало кому удается прожить свою, а не чужую жизнь... — Она щелкнула замком старой кожаной сумочки. — А ты хоть помнишь Ивана, помнишь, как он выглядел?..

Она извлекла из-под рваной подкладки крошечную паспортную фотографию. Я взял карточку и удивился пронизательности Лаймы. Я действительно не помнил Ивана, вернее, не так помнил. С карточки смотрело худощавое, крепкое в скулах и челюстях, большелобое юношеское лицо с прямым добрым взглядом, чуждым мути и смятения, обычно сопутствующим созреванию. Распахнутый ворот рубашки позволял видеть шею и ключицу, и этого было достаточно, чтобы представить, как ладно скроен и крепко сшит был весь телесный состав Ивана. И в который раз поразился я своей детской слепоте. Дешевая сказочка, созданная не без моего участия, скрыла истину человека. Одно лишь было справедливо в придуманном про Ивана — он впрямь был из сказки, только не про Иванушку-дурачка, а про Ивана-царевича.

# НЕПОБЕДИМЫЙ АРСЕНОВ

Фамилия у него была то ли болгарская, то ли грузинского корня. Арсен — народный герой Грузии. Но происходил Петя Арсенов с Ярославщины, и чему был обязан ярославский паренек красивым чужедальним звучанием своей фамилии, так и осталось неизвестным.

Внешний облик Пети Арсенова никак не соответствовал привычному типу ярославца — пригожего, румяного, кучерявого молодца, крепкого и гибкого в плотном теле. Городской заморыш в детстве, к юности он накопил себе какую-то мускулатуру, малость расширился в плечах и с наивной гордостью предлагал всем и каждому пощупать свои бицепсы. Добился он этого великим трудом, железным режимом, тренировкой и усердным посещением боксерского кружка при клубе металлистов. Но румянца и ярославской холености Петя так и не приобрел.

Мы бесконечно гордились Петей Арсеновым: еще бы, не в каждом доме есть свой настоящий боксер! В табели о рангах дворовых силачей он, конечно, занимал первое место. Вернее сказать, он был вне конкурса, его не ставили на одну доску с другими. Он был как бы профессионалом среди любителей, и никому не приходило в голову сравнивать его даже с Вовкой Ковбоем.

Вспоминая дворовую жизнь, я обнаруживаю в ней такую сложную иерархию, что это под стать царскому, а не городскому двору. Сколько лет прошло, а я до сих пор помню табель о рангах наших геркулесов. За Вовкой Ковбоем шел Сенька Захаров, за ним Слава Зубков, затем Сережа Лепковский, внук народного артиста, и так до Борьки Соломатина. А кто шел за Борькой Соломатиним? Надо бы считать — Сахароза, а после того, как я осилил его в

могучем единоборстве на глазах всего двора, место по праву принадлежало мне. Но в том-то вся тонкость, что на Борьке Соломатине кончался один ряд, а с меня после победы над Сахарозой начинался другой. Никому не приходило в голову сказать, что Юрка, мол, идет за Соломатиным. Там одна компания, здесь другая, и была еще третья, начинавшаяся с Мордана и кончавшаяся драчливо-плаксивым Мулей, остальное — безучетная мелюзга. В основе деления лежал возрастной принцип. Ни сила, ни рост, ни развитие — телесное и умственное — не играли никакой роли. Внутри группы можно было перейти с одного места на другое, хотя и с громадными трудностями — в дворовых порядках царил удручающий консерватизм, а вот вклиниться в высший разряд вообще исключалось. Самый паршивенький герцог все равно титулованнее самого распрекрасного графа, и никуда от этого не денешься. Я не учел незыблемости иерархических форм и, упоенный своей победой над Сахарозой, «навтыкал» Борьке Соломатину. Тоже публично, к тому же два раза подряд, ибо, не поверив в поражение, он высморкал кровь и снова полез. Он был много старше меня, но, в отличие от легендарного Зураба, я не пощадил седин богатыря. Кончилось тем, что он разревелся, не от боли, конечно, от унижения. Но напрасно ожидал я лавров. Старшие ребята глядели хмуро и осудительно. Я нарушил правила поведения, нарушил священный устав, привнес анархию в незыблемый миропорядок. Мой дерзкий поступок отрицал право старшинства и все привилегии возраста, научения, жизненного опыта.

И мои одноклассники без всякого энтузиазма приняли эту победу. Нарушение традиций им тоже пришлось не по вкусу. Через день-другой я прочел во взглядах старших ребят не только осуждение, но и что-то опасноватое. Сомнений не оставалось: меня ждет суровое возмездие. Я поднял дерзновенную руку не просто на слабосильного верзилу Соломатина, а на нечто высшее, затрагивающее всю дворовую аристократию, и мне не уйти от расплаты. И когда во

время игры в ножички задиристый шуплый Курица, стоявший в табели на ступень выше Борьки Соломатина, без всякого повода кинулся на меня и повалил, я пересилил искушение выбить дух из его хилого тела. С удивлением, близким печали, я обнаружил, что Курица, хоть и пожилистее и покрепче Борьки Соломатина, тоже слабак, но голос высшего смирения произнес внутри меня: покорись! Курица сплясал победный танец на моих костях и, оглядываясь на своих сверстников, молчаливо наблюдавших экзекуцию, спросил: «Получил? Хватит с тебя?» Он приметно дрейфил. «Хватит», — сказал я и увидел, как потептели лица окружающих. Порядок был восстановлен, слава порядку!..

Гамбургского счета у нас не существовало. Он появился много позже, когда мы подошли к порогу юности. И вот тогда-то рухнули многие репутации. Мне пришлось отставать свое место под солнцем от самых неожиданных искателей славы, сущих сопляков вроде сытенького Женьки Мельникова по кличке Бакалея (его отец заведовал бакалейной лавкой) или жалкого Мули, который набросился на меня, заранее обливаясь слезами. Я в свою очередь припомнил Курице давнишнее надругательство, а заодно придал ему старшего брата и покровителя Лелика. Непомерно вознесся Слава Зубков, сокрушивший великана Захарова, и стал чуть ли не вровень с самим Ковбоем; пожух красивый и рыцарственный Сережа Лепковский; окончательно развалился Борька Соломатин. И все так же недосяжимо высоко и ярко блистала звезда Пети Арсенова — боксера, великого и непобедимого.

А вместе с тем кое-что могло бы навести нас на серьезные подозрения в отношении Петинной непобедимости. Со своих занятий в клубе металлистов он возвращался в жалчайшем виде, весь какой-то обмякший. Синяки под его коричневыми задумчивыми глазами никогда не исчезали, лишь меняли оттенок: от багрового до иссиня-черного и горчичного. Он шел, тяжело волоча ноги, держа в одной бессильно повисшей руке чемоданчик с боксерскими

принадлежностями, в другой — за шнурки — толстые перчатки. Он жаловался, что перчатки не помещаются в чемоданчике. Но мне кажется, что Петя нарочно обходился таким маленьким чемоданчиком, чтоб таскать перчатки отдельно. Пусть все видят, что идет боксер. Скажу прямо, он походил на победителя, лишь когда отправлялся на свои занятия, но никак не на обратном пути. Впрочем, уязвлена бывала лишь его брменная плоть, дух Арсенова не сгибался. И когда к нему обращались с традиционно шутивным: «Ну как, здорово тебе всыпали?» — он, светясь всем своим избитым маленьким лицом, счастливо отвечал: «А то нет? Ребятки будь здоров дают! Да ведь и я малый не промах». И охотно верилось, что он действительно малый хоть куда и умеет за себя постоять. Этому не мешало и последующее его признание: «Я удар плохо держу». Поскольку и это звучало отнюдь не похоронно, а тоже горделиво, как еще одно доказательство счастливой избранности. К тому же мы не очень-то понимали, что значит «плохо держать удар». Лишь много позже дошло до меня, как трудно приходилось Арсенову. И самому классному боксеру нелегко на ринге, если он плохо держит удар. А нашему Арсенову, что ни говори, было далековато до чемпиона мира. Ему приходилось брать подвижностью, чувством дистанции, филигранной защитой, темповой манерой ведения боя. «Где другой проведет один удар, я успеваю выдать серию», — со скромной горделивостью говорил Арсенов. Впоследствии я видел немало таких боксеров и от души сочувствовал им. Они проводили бешеную серию, публика неистовствовала от восторга, а противник, спокойно переждав неопасный смерч, наносил всего один, но сокрушительный удар. И Петя Арсенов после своих серий нередко оказывался на досках ринга. Но всякий раз, придя в себя, он вновь становился непобедимым, ибо непобедимость — это неизменная вера в победу, другой непобедимости не бывает, — всех рано или поздно укладывает на лопатки если не рука более сильного, то рука времени.

К шестнадцати годам обычное мальчишеское лицо Арсенова стало приобретать жутковатую застылость маски. Разбитый, перемолотый нос растекся за положенные пределы, ушные раковины, утратив рельеф, двумя плоскими лепешками прижались к черепу, шрамы стянули кожу, ограничив подвижность лицевых мускулов. Арсенова несказанно радовала перемена в его облике. «Сразу видно: боксер», — говорил он. Но, не ограничиваясь этим всплеском радости, объяснял скрытые выгоды внешнего превращения. Оказывается, самое страшное, когда под удар противника попадают хрящи, — это такая дикая боль, что ее невозможно вытерпеть. А теперь у него ни одного хряща на лице не осталось, он может вертеть, мять свой нос и уши, как будто они тряпичные. Но как-то непохоже было, что обретенное преимущество сильно увеличило победный список Арсенова. Он по-прежнему плохо держал удар. И по-прежнему возвращался из клуба металлистов, еле волоча ноги, с перчатками, повисшими на шнурках в опущенной руке, надвинув кепчонку на заплывшие глаза. Как бы ни был Петя исполнен веры и надежды, не мог же он не переживать постоянных своих поражений, ну хотя бы не задумываться над преследующим его роком! Но как и прежде, стоило обратиться к нему с сочувственным или равнодушно-рассеянным: «Как дела?!» — его разбитые губы трогались улыбкой и уверенно, любовно, радостно он принимался славить свое божество — бокс.

Арсенова угнетало, что ни его воодушевляющий пример, ни пламенная агитация не пробудили ни в одном из нас мечты о ринге. Мы не сомневались, что Петя может уложить любого из нас одной левой, но, видимо, это и отпугивало от боксерской карьеры. Какие же чудо-богатыри его соперники, если Великий Арсенов едва притаскивает ноги из спортзала!

А потом, как я уже говорил, пришло время переоценки ценностей. Поначалу ничто не угрожало Петиней репутации. Но время делает свое дело и не знает пощады. Волна

разъедающего скепсиса докатилась и да Арсенова. Как-то раз, сидя на крылечке и остужая свинцовой примочкой багрово-натекший глаз, он рассказывал ребятам о поездке их боксерской группы в подшефный колхоз. Они ездили туда, чтобы привлечь деревенских ребят к боксу. Против него вышел первый силач, колхозный кузнец. Он размахнулся, ударил, но Петя ушел нырком, и могучий кузнец брякнулся наземь. И так продолжалось, пока кузнец не заплакал от досады и стыда. «А ведь я его пальцем не тронул, вот что значит техника культурного боя, — рассуждал Петя Арсенов. — Правда, — добавил он с обычной добросовестностью, — кузнец был маленько поддавши».

— Правильно! — подхватил Вовка Ковбой. — Потому он и падал. А ты закройся со своей хваленой техникой. Чикаетесь там с грушами и скакалками, а в простой уличной драке вас хрен увидишь!

— Конечно, — улыбнулся Арсенов, — настоящий боксер никогда не полезет в уличную драку. Да нами нельзя.

— Это почему же?

— Убить можем или покалечить, — спокойно пояснил Арсенов.

Вовка так и покатился со смеху.

— Это ты-то убьешь? Да ты в зеркало гляделся когда?

— Я мухач, — без всякого раздражения подтвердил Петя Арсенов, — но поставленный удар и у мухача опасен.

Помню, у меня тогда мелькнуло: неизвестно, как насчет силы удара, а силу характера бокс и впрямь воспитывает.

Ковбой явно лез на рожон. Ему хотелось оскорбить, унижить Петю, а тот вел себя, как настоящий мужчина. Может, Ковбою надоело, что есть кто-то во дворе, считающийся сильнее его, хотя силу эту ничем не доказал. Тогда я еще не знал, какой жестокий ущерб понес недавно Ковбой в столкновении с Иваном. Вовке нужно было победить настоящего боксера, чтобы возродиться в собственных глазах.

Арсенов был натурой слишком идеалистической, чтобы догадываться о коварных расчетах Ковбоя. Все ребята во-

круг давно поняли обмершим сердцем, что Арсенова «вызывают», а тот простодушно пытался убедить Вовку в необыкновенных достоинствах и выгодах бокса.

— Буза! — твердил Ковбой. — Дешевое пижонство.

— Хотел бы я посмотреть, если б на нас с тобой напали ночью бандиты...

— Я дам по рылу — и драла! — дерзко бросил Ковбой. — А ты там останешься.

— Ясно, не удеру.

— Нет, тебя принесут в белых тапочках.

Ребята рассмеялись, и тут до кроткого Пети Арсенова наконец дошло, что над ним издеваются.

— Жаль, что ты не знаешь правил, Ковбой, я показал бы тебе, что такое бокс, хоть ты выше и тяжелее меня. А сила удара — это скорость, помноженная на вес. — И Арсенов радостно улыбнулся.

— Знаю я ваши дурацкие правила, — сказал Ковбой. — Я в парке бокс сто раз смотрел. Не бить ниже пояса, по затылку и открытой перчаткой. И головой не бодаться. Подумаешь, сложная наука!

— Жалко, жалко, что ты больше ничего не знаешь! — покачал головой Арсенов. — А то бы я тебя маленько проэкзаменовал.

— Брось трепаться, ты просто трусишь!

Вот этого Ковбою не следовало говорить. Разбитое лицо Арсенова выбелилось, и черной полумаской стали разбитые глазницы.

— Ты три раунда выдержишь? — спросил он. — Я тебя не изувечу, не бойся. Но ты раз и навсегда поймешь, что такое бокс и какой ты дурак.

Ковбой, конечно, затеял бузу: ему плевать на всякие раунды, он «сделает» Арсенова безо всяких, но тут уже Петя Арсенов сумел настоять на своем. Все будет по правилам: судья, секунданты, три раунда по три минуты с перерывами, как положено. Бой может быть прекращен ввиду явного преимущества, за неправильный удар — дисквалификация.

Пока расчерчивали квадрат ринга в садике, предварительно изгнав оттуда малышей, Арсенов сбегал домой за перчатками, полотенцами и графином с водой. Он успел переодеться: трусы, майка, спортивки, на плечи накинут ветхий мохнатый халат. Этот настоящий боксерский халат произвел на всех нас громадное впечатление.

Вовка ограничился тем, что снял брюки и рубашку, но этого оказалось достаточно, чтобы профессиональный шик Арсенова разом поблек. Сложен был Ковбой, как молодой бог, — широкая плосковатая грудь, чуть покатые сильные плечи, сухие легкие ноги, а мышцы — хоть анатомию изучай, и ровная природная смуглота кожи. Нельзя сказать, что Арсенов был вовсе хляк. Какие-то мускулишки он себе накопил. Когда он приседал, разминаясь, чувствовалось, что связки у него упругие, тренированные. Но уж больно мелок и тощ он был, к тому же с головы до ног усеян рыжими наивными веснушками. Впрочем, непосредственное впечатление наверняка было благоприятнее для Арсенова, чем сейчас, по холодной памяти. Мы верили в непобедимость Арсенова и потому видели его крепкие бицепсы, а не жалкие веснушки, ловкие уверенные движения, а не худые кости.

К моменту, когда судья Сережа Лепковский — он не расставался с книжкой Берроуза «Боксер Билли» и потому считался знатоком бокса — подал сигнал к началу боя, Арсенов не держал зла на Ковбоя и видел в нем лишь благородного соперника. Он священнодействовал, выполняя мелкие ритуальные действия перед началом схватки, его безмерно радовало, что наконец-то он предстанет перед двором во всем величии, покажет мужественную красоту дела, которому так преданно и бескорыстно служил, и, глядишь, уловит для своего храма несколько впечатлительных душ. Я уверен, он любил Вовку, принявшего участие в игре, согласившегося, чтобы все было по правилам, как наверняка любил и других своих соперников, — может, это ему и мешало?..

Но вот они начали. Петя Арсенов знал приемы, ничего не скажешь, и делал из Ковбоя дурака. Маленький рост работал на него. Ковбой бессмысленно молотил руками воздух. Арсенов шутя уходил от его неумелых ударов. Но мне подумалось: а если такой вот удар настигнет Арсенова, пусть случайно, что тогда будет?..

Ответ пришел в третьем раунде. А до этого Арсенов играл с Ковбоем, как кошка с мышкой. Мы, и правда, увидели, что за красота бокс. Одно нас огорчало: Арсенов то ли не хотел, то ли не мог вмазать Ковбою как следует. А может, тут сочеталось одно с другим? Он наносил резкие, сухие удары по корпусу, раз-другой провел удар в голову, но Ковбой только встряхивался, будто его комар укусил, и снова лез вперед. Лишь раз серия коротких, частых, очень четких ударов Арсенова произвела на него впечатление. Он пошел пятнами, стал как-то странно встряхивать головой, будто возвращая мозги на положенное место, а глаза у него подернулись мутной пленкой.

В отличие от Арсенова, который в перерывах расслаблялся, требовал от секунданта Славы Зубкова, чтобы тот подавал ему воздух, смачивал затылок, словом, жил полноценной боксерской жизнью, Вовка сумрачно стоял в своем углу, набычив голову и никак не отзываясь на предложения своего секунданта Ивана оказать ему положенные услуги.

А в третьем раунде он вышел с явным намерением кончать базар. Арсенов продолжал плести свое тонкое кружево, но сейчас это не имело успеха: Вовка лез на него с беспардонным, слепым напором, приличествующим драке у помойки, а не на ринге, пусть и воображаемом. Конечно, он не хотел сознательно нарушать правила, но неосторожность — палка о двух концах. Его размашистый, совсем не боксовый удар угодил Пете по затылку. Это было похоже на удар цепом. И совсем не красиво и не профессионально, а как-то по-лягушачьи бедный Арсенов распластался по земле.

— Неправильный, чего ты смотришь, дурак! — крикнул Слава Зубков судьё.

— Я и сам вижу, дурак! — огрызнулся Сережа Лепковский, но, похоже, он не знал, как поступить.

Запрещенный удар был нанесен так открыто и грубо, что следовало прекратить бой и дисквалифицировать Ковбоя. Но Сережа не решался на столь крайнюю меру. Арсенов поднялся.

— Это случайный! — сказал он Сереже. — Вовка промахнулся. Ты ведь, правда, не хотел? — в голосе его прозвучала мольба.

— Факт, не хотел! Ладно дурочку строить. Подумаешь, обидели мальчика!..

— Бокс! — сказал Сережа Лепковский.

С тех пор я знаю, что такое «плохо держать удар», и знаю, каким необыкновенным мужеством обладал Петя Арсенов, если все же не бросил бокс. После своего падения он делал внешне все то же, что и раньше, но сейчас оставалась лишь видимость приемов, уловок. Он уже не доставал Ковбоя, а Вовкины удары все чаще достигали цели. Но Петя держался, он хотел дотянуть до конца раунда. Даже пытался улыбнуться. Что чувствовал он в эту минуту, когда так беспощадно, грубо и неудержимо рушился миф о Великом, Непобедимом боксере? А может, Петя по-прежнему верил в себя и не допускал мысли о поражении? Его ещехватило на взрыв. Он скользнул под руку Ковбоя и забарабанил по корпусу. Кто-то захолопал в ладоши, кто-то крикнул: «Во дает!» Ковбой улыбался неприятной, злой улыбкой. А потом он ударил. Попади этот удар в цель, все было бы кончено. Но Петя уклонился, и перчатка Ковбоя задела по касательной его лоб. Петина голова так качнулась, будто его рванули сзади за волосы. Ковбой отступил, улыбка сползла, он собирал всего себя для нового и, наверное, последнего удара. И тут на ринг упало полотенце.

— Брек! — крикнул ни к селу ни к городу Сережа Лепковский, ведь боксеры не были в клинче. — Ты чего?.. — растерянно обернулся он к Ивану, выбросившему полотенце.

— Ковбой в гроги, — громко сказал Иван. — Разве ты не видишь? Он же плывет.

— Мне тоже так показалось... — пробормотал смущенный Сережа.

Ковбой кинулся к Ивану:

— Кто плывет?.. Ты чего — спятил?..

— Объявляй победителя! — крикнул Иван судьбе и что-то сказал Ковбою.

И Ковбой ему что-то сказал с белыми от бешенства глазами. Иван ответил очень тихо, но мы все равно не услышали бы — такой стоял шум.

— Победил Арсенов! — крикнул Сережа.

Надо отдать должное душевной чистоте победителя, он без удивления принял свою победу. Поклонился зрителям, поблагодарил судью, кинулся к Вовке, схватил его руку в перчатке двумя руками и сердечно потряс.

— Я тебя не повредил, Ковбой? — спросил он участливо.

Ему ответил Иван:

— Все в порядке, Арсен. А ты бьешь — не гладишь!

— Не я, — скромно сказал Арсенов, — боксёрская выучка.

Сережа Лепковский принялся объяснять непосвященным, что состояние гроги приравнивается к нокауту. Хотя боксер держится на ногах, он не способен к продолжению боя, как говорится, «плывет».

Мы приняли к сведению его объяснение. Но развернувшееся перед нами зрелище не показалось нам убедительным. Слишком много в нем условного. Дать по щеке почему-то запрещено, а в глаз сколько угодно. Берущий верх вдруг объявляется побежденным, потому что он якобы «плывет». А кто его знает, «плывет» он или нет, ему-то самому виднее. Во всяком случае, «плывущий» Ковбой вполне мог прикончить Арсенова, не выбрось Иван полотенце. Конечно, Арсенов показал всякие ловкие штучки, но Ковбою они вовсе ни к чему, чтобы набить рожу кому хочешь.

Петя Арсенов ничего не знал о наших крамольных мыслях, он был полно и светло счастлив...

— Слушай, Ковбой, что сказал тебе Иван, когда ты к нему бросился? — спросил я через тридцать пять лет после описываемых событий.

— Помойка.

— Что значит «помойка»?

— Ну, он напомнил мне о той драке... у помойки, — неохотно пояснил Ковбой.

— А ты?

— Я говорю: не лезь, он мой, дай мне его сделать.

— А он?

— Если, говорит, ты сделаешь его, я сделаю тебя. При всех. Хуже, чем на помойке. Меня это не устраивало, — усмехнулся Ковбой, — и я поздравил победителя.

Разговор происходил недавно, возле той самой помойки, где тихий Иван избил Ковбоя за издевательство над девочкой Лаймой. Прогресс коснулся и этого уголка вселенной. Вместо громадного деревянного ящика, через край заваленного отбросами, — их мощный дурман достигал моих окон на третьем этаже, равном нынешнему пятому, — стояли рядком жестяные амфоры с запирающимися крышками. Изящно, гигиенично, и никакого запаха. Но и никакой поэзии. Сюда не придет дядя Митя, крючник, золотой человек, чтобы, покопавшись железным прутом, загнутым на конце, набить мешок всевозможными ценными отбросами. Дядя Митя обожал детей, вечно возился с ними, одаривал свистульками и оловянными солдатиками, добытыми в том же руднике.

Мы, трое пятидесятилетних людей, — Лайма, Вовка и я — сидели в крошечном садике возле помойки. Садик некогда принадлежал знаменитой Высоцкой, владелице крупнейшей дореволюционной чаеоторговли. Это она сказала крылатую фразу, всплывшую при нэпе: «У кого из нас нет двух-трех миллионов». Выселенная революцией из своих палаток, старуха Высоцкая поселилась в нашем доме, на первом этаже, в комнатах с окнами на помойку. Окна находились под

прямым углом одно к другому, и сметливая старуха поставила заборчик от окна к окну, не только загородившись от помойки, но и выгадав себе треугольный участок, где посеяла траву, посадила цветы и врыла в землю лавочку. Межкоконья она увила плющом и диким виноградом. И хотя весь ее надел был чуть больше тех садиков, что андерсоновские хозяйки выращивали на подоконниках, домовый пролетариат не мог смотреть сквозь пальцы на хищнические действия старой акулы. Потребовали, чтобы Высоцкая сделала свой сад доступным для всех граждан, проживающих в доме. Старуха повиновалась, но повесила объявление, что в открытом для массовых гуляний саду «категорически запрещается ездить на велосипеде».

И вот в этом-то саду мы встретились. Удивительно, что зеленый треугольничек уцелел при всех перестройках дома, даже разросся, — конечно, вверх, по стенам, вширь некуда было. Веточки дикого винограда с красноватыми листьями достигли третьего этажа. У каждого из нас были дом и семья, но то принадлежало настоящему и будущему, нам же хотелось выкроить себе уголок чистого прошлого в сегодняшнем мире. Лайма сказала: «Сады Семирамиды Высоцкой», — и мы сразу поняли: это то, что нам надо. Уединенно, тихо, прохладно, к тому же овеяно дыханием былого. Разросшийся виноград совсем закрыл окна, обеспечив нам укромность. Вот только лавочка оказалась маловата — уж очень мы «выросли», особенно Ковбой. Высокий, стройный юноша стал громадиной, красивой, представительной, но прямо оторопь брала — до чего же много этого человека на белом свете! Мы с Лаймой тоже не былинки, и все же занимаем куда меньше места в пространстве. Я низкоросл, а Лайма, затянутая во все свои дамские штучки, ну, не тростинка, конечно, какой там! — но вполне в норме. К чести Вовки, он не отяжелел, не утратил подвижности. Вообще-то наружность у него как раз по занимаемому посту. Предупреждая всякие шуточки насчет его выдающейся карьеры, Ковбой сказал, едва мы обменялись рукопожатием:

— Давай сразу — чего тебе от меня нужно?

— Чтобы ты вернул мне молодость.

— Вот этого-то я как раз и не могу.

Он ошибался, он делал это — фактом своего присутствия и тем, что сам не вовсе покинул страну детства. По разным причинам не отпускало нас детство. У меня это связано с писательством, а у него — с немолодой женщиной, так старательно затянувшей свое располневшее тело, так естественно соединившей на увядшем лице ухищрения косметики с молодым блеском глаз.

Миновал какой-то рубеж, и сейчас Лайма стареет от встречи к встрече, а видимся мы довольно часто. Интересно, какой видит ее Вовка? Я не верю, что она представляется ему юной девушкой. Чепуха, так в жизни не бывает. Скорее, ему мил и угоден ее нынешний стареющий облик, в котором трогательно проглядывает былое. Он до сих пор любит ее, этот громадный смугло-черный человек без единого седого волоска. Кто-то сказал о Мопассане: печальный бык. Образ на редкость подходит к Вовке с его большой упрямо-лобастой головой, крупными красивыми глазами, могучей шеей, правильнее — выей. Кстати, разве видел кто веселого быка? И в стаде, и на пастбище, и на арене бык всегда печален. Он печален, покрывая корову, ошипывая траву, насаживая на рога несчастную клячу или маленького, испуганного, безжалостного человечка, которому во что бы то ни стало надо его убить. Бык печален, ибо заранее ничего хорошего не ждет от жизни. Но это мешает ему в совершенстве воплощать идею своего существования.

— Мне казалось подлостью, что Иван напомнил мне о той драке, — продолжал разговор Вовка. — Я считал его выше этого...

— Я тоже! — покраснев, воскликнула Лайма. — Я была уверена, что он никогда, никогда этого не делал.

— «Никогда» — фальшивое слово, — сказал Вовка. — Сколько раз я убеждался, что за ним большой или малый обман, порой невольный. Если женщина говорит, что она

«никогда» не изменяла мужу, понимай: она изменяла ему реже, чем могла бы. Они «никогда» не виделись... Да нет же, виделись, случайно раз-другой — на улице, на вокзале, в кафе, у общих знакомых, или почему-то в Ферапонтовом монастыре, или на вершине Эвереста. Вообще все крайние утверждения требуют осторожного подхода. Иван никогда не напоминал о нашей драке, но вот раз напомнил, и правильно сделал. Тогда я этого не понимал. Он не стал объясняться со мной, только сказал: «А ты думал, я позволю его убить?..» Ваня был мудр. У себя в кружке Арсенов проигрывал, — что же, другие лучше держали удар, тоньше маневрировали, все это происходило в горных высях. А здесь — кошмар, конец света, гибель всех идеалов, смерть мечты!.. Я потом был здорово рад, что Ваня меня удержал. Иногда ночью ворочаешься без сна, мысли одолевают, вся прожитая жизнь наваливается. И вспомнишь про Петьку Арсенова — и что-то отпускает внутри. Помните, как в Священном писании: «Удержал ангел господень занесенную руку».

— А какая судьба у Пети Арсенова? — спросил я.

— Погиб. Почти в одно время с Иваном.

— Чуть позже, — поправила Лайма.

— Подробности неизвестны?

— Какие там подробности! Мать получила похоронную: «Пал смертью героя...» Так ведь всегда писали, даже если от шальной пули. И правильно, для каждой матери сын погибает смертью героя... Но знаете, я уверен, что тут слова о геройской смерти надо понимать впрямую. Он погиб так скоро, в самом начале, когда, помните, грудью против танков... Это как раз для Арсенова. Он же был Великий боец, его никто не мог сокрушить, хотя он плохо держал удар. Если когда-нибудь докопаются, что неизвестный боец остановил грудью фашистский танк на подступах к Москве, то не сомневайтесь — это Петя Арсенов... Но если так... если это было, то лишь потому, что раньше другой мальчик, Иван, спас его непобедимое сердце.

# МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ, МОЙ ДРУГ БЕСЦЕННЫЙ

Мы жили в одном подъезде, но не знали друг друга. Далеко не все ребята нашего дома принадлежали к дворовой вольнице. Иные родители, уберегая своих чад от тлетворного влияния двора, отправляли их гулять в чинный сад при Лазаревском институте или в церковный садик, где старые лапчатые клены осеняли гробницу бояр Матвеевых.

Там, изнывая от скуки под надзором дряхлых богомольных нянек, дети украдкой постигали тайны, о которых двор вещал во весь голос. Боязливо и жадно разбирали они на скальные письма на стенах боярской гробницы и пьедестале памятника статскому советнику и кавалеру Лазареву. Мой будущий друг не по своей вине делил участь этих жалких, тепличных детей.

Все ребята Армянского и прилегающих переулков учились в двух рядом расположенных школах по другую сторону Покровки. Одна находилась в Старосадском, под бок у немецкой кирхи, другая — в Спасоглинищевском переулке. Мне не повезло. В год, когда я поступал, наплыв оказался столь велик, что эти школы не смогли принять всех желающих. С группой наших ребят я попал в очень далекую от дома 40-ю школу в Лобковском переулке, за Чистыми прудами.

Мы сразу поняли, что нам придется солоно. Здесь царили чистопрудные, а мы считались чужаками, непрошеными пришельцами. Со временем все станут равны и едины под школьным стягом. Но поначалу здоровый инстинкт самосохранения заставлял нас держаться тесной группой.

Мы объединялись на переменках, гуртом ходили в школу и гуртом возвращались домой. Самым опасным был переход через бульвар, здесь мы держали воинский строй. Достигнув устья Телеграфного переуллка, несколько расслаблялись, за Потаповским, чувствуя себя в полной безопасности, начинали дурачиться, орать песни, бороться, а с наступлением зимы завязывать лихие снежные баталии.

В Телеграфном я впервые заметил этого длинного, тонкого, бледно-веснушчатого мальчика, с большими серо-голубыми глазами в пол-лица. Стоя в сторонке и наклонив голову к плечу, он с тихим независтливым восхищением наблюдал наши молодецкие забавы. Он чуть вздрагивал, когда пущенный дружеской, но чуждой снисхождения рукой снежок залеплял чей-то рот или глазницу, скупно улыбался особо захватским выходкам, слабый румянец скованного возбуждения окрашивал его щеки. И в какой-то момент я поймал себя на том, что слишком громко кричу, преувеличенно жестикулирую, симулирую неуместное, не по игре, бесстрашие. Я понял, что выставляюсь перед незнакомым мальчиком, и возненавидел его. Чего он трется возле нас? Какого черта ему надо? Уж не подослан ли он нашими врагами?.. Но когда я высказал ребятам свои подозрения, меня подняли на смех

— Белены объелся? Да он же из нашего дома!..

Оказалось, мальчик живет в одном подъезде со мной, этажом ниже, и учится в нашей школе, в параллельном классе. Удивительно, что мы никогда не встречались! Я сразу изменил свое отношение к сероглазому мальчику. Его мнимая настырность обернулась тонкой деликатностью: он имел право водить компанию с нами, но не хотел навязываться, терпеливо ожидая, когда его позовут. И я взял это на себя.

Во время очередной снежной битвы я стал швырять в него снежками. Первый снежок, угодивший ему в плечо, смутил и вроде бы огорчил мальчика, следующий — вызвал нерешительную улыбку на его лице, и лишь после третьего поверил он в чудо своего причастия и, захватив горсть снега, пустил в меня ответный снаряд.

Когда схватка кончилась, я спросил его:

— Ты под нами живешь?

— Да, — сказал мальчик. — Наши окна выходят в Телеграфный.

— Значит, ты под тетей Катей живешь? У вас одна комната?

— Две. Вторая темная.

— У нас тоже. Только светлая выходит на помойку. — После этих светских подробностей я решил представиться: — Меня зовут Юра, а тебя?

И мальчик сказал:

— Павлик.

Тому сорок три года... Сколько было потом знакомств, сколько звучало в моих ушах имен, ничто не сравнится с тем мгновением, когда в заснеженном московском переулке долговязый мальчик негромко назвал себя: Павлик.

Каким же запасом индивидуальности обладал этот мальчик, затем юноша — стать взрослым ему не довелось, — если сумел так прочно войти в душу другого человека, отнюдь не пленника прошлого при всей любви к своему детству. Слов нет, я из тех, кто охотно вызывает духов бывшего, но живу я не во мгле минувшего, а на жестком свете настоящего, и Павлик для меня не воспоминание, а соучастник моей жизни. Порой чувство его продолжающегося во мне существования настолько сильно, что я начинаю верить: если твое вещество вошло в вещество того, кто будет жить после тебя, значит, ты не умрешь весь. Пусть это и не бессмертие, но все-таки победа над смертью. Я знаю, что еще не могу написать о Павлике по-настоящему. И неизвестно, смогу ли когда-нибудь написать... Мне очень многое непонятно, ну хотя бы что значит в символике бытия смерть двадцатилетних. И все же он должен быть в этой книге, без него, говоря словами Андрея Платонова, народ моего детства неполон.

Поначалу наше знакомство больше значило для Павлика, нежели для меня. Я уже был искушен в дружбе. Поми-

мо рядовых и добрых друзей, у меня имелся закадычный друг, чернявый, густоволосый, подстриженный под девочку Митя Гребенников. Наша дружба началась в нежном возрасте трех с половиной лет и в описываемую пору насчитывала пятилетнюю давность.

Митя был жителем нашего дома, но с год назад его родители поменяли квартиру. Митя оказался по соседству, в большом шестиэтажном доме на углу Сверчкова и Потаповского, и ужасно заважничал. Дом был, правда, хоть куда, с роскошными парадными, тяжелыми дверями и просторным плавным лифтом. Митя не уставал хвастаться своим домом: «Когда глядишь на Москву с шестого этажа...», «Не понимаю, как люди обходятся без лифта...». Я деликатно напомнил, что совсем недавно он жил в нашем доме и прекрасно обходился без лифта. Глядя на меня влажными, темными, как чернослив, глазами, Митя брезгливо сказал, что это время кажется ему страшным сном. За такое следовало набить морду. Но Митя не только внешне походил на девчонку — он был слабодушный, чувствительный, слезливый, способный к истерическим вспышкам ярости, и на него рука не поднималась. И все-таки я ему всыпал. С истошным ревом он схватил фруктовый нож и попытался меня зарезать. Впрочем, по-женски отходчивый, он чуть ли не на другой день полез мириться. «Наша дружба больше нас самих, мы не имеем права терять ее» — вот какие фразы умел он загибать, и еще похлеще. Отец у него был адвокатом, и Митя унаследовал дар велеречия.

Наша драгоценная дружба едва не рухнула в первый же школьный день. Мы попали в одну школу, и наши матери позаботились усадить нас за одну парту. Когда выбрали классное самоуправление, Митя предложил меня в санитары. А я не назвал его имени, когда выдвигали кандидатуры на другие общественные посты.

Сам не знаю, почему я не сделал этого, то ли от растерянности, то ли мне показалось неудобным называть его, после того как он выкликнул мое имя. Митя не выказал ни

малейшей обиды, но его благодушие рухнуло в ту минуту, когда большинством голосов я был выбран санитаром. В мои обязанности входило носить нарукавный красный крест и осматривать перед уроками руки и шеи учеников, отмечая грязненькие крестиками в тетрадке. Получивший три крестика должен был или вымыться, или привести в школу родителей. Казалось бы, ничего особенно заманчивого в этой должности не было, но у Мити помутился разум от зависти. Целый вечер после злополучных выборов он звонил ко мне домой по телефону и голосом, полным ядовитого сарказма и муки, требовал «товарища санитаря». Я подходил. «Товарищ санитар?» — «Да!» — «А, черт бадянский!» — кричал он и швырял трубку. Лишь от большой злобы можно придумать какого-то «черта бадянского». Я так и не выяснил, что это: фамилия нечистого или какое-то загадочное и отвратительное качество?

К чему я так подробно рассказываю о своих отношениях с другим мальчиком? Митина вздорность, перепады настроения, чувствительные разговоры и всегдашняя готовность к ссоре, хотя бы ради сладости примирения, стали казаться мне неременной принадлежностью дружбы. Сблизившись с Павликом, я долго не понимал, что нашел иную, настоящую дружбу. Мне казалось, что я просто покровительствую робкому чужаку. Поначалу так оно, в известной мере, и было. Павлик недавно переехал в наш дом и ни с кем не свел приятельства, он был из тех несчастных ребятешек, которых выгуливали в лазаревском и церковном садах.

Этой строгостью исчерпалась до дна родительская забота о Павлике. В последующие годы никогда я не видел, чтобы Павлику что либо запрещалось или навязывалось. Он пользовался полной самостоятельностью. Родительской опеке он предоставил своего младшего брата, а себя воспитывал сам. Я вовсе не шучу, так оно было на самом деле. Павлика любили в семье, и он любил родителей, но отказывал им в праве распоряжаться собой, своими интереса-

ми, распорядком дня, знакомствами, привязанностями и перемещениями в пространстве. И тут он был куда свободнее меня, опутанного домашними табу. Тем не менее первую скрипку в наших отношениях играл я. И не только потому, что был местным старожилом. Мое преимущество заключалось в том, что я не догадывался о нашей дружбе. По-прежнему я считал своим лучшим другом Митю Гребенникова. Даже удивительно, как ловко заставлял он меня играть в спектакле под названием «Святая дружба». Ему нравилось ходить со мной в обнимку по школьным коридорам и фотографироваться вместе на Чистых прудах. Я смутно подозревал, что Митя выгадывает на этом какие-то малости: в школе — что там ни говори — ему льстила дружба с «товарищем санитаром», а под прицелом чистопрудного «пушкаря» он наслаждался превосходством своей тонкой девичьей красоты над моей скуластой, широконосой заурядностью. Пока фотограф колдовал под черной тряпкой, чистопрудные кумушки наперебой восторгались Митиными глазами-черносливами, прической с противным названием «бубикопф» и кокетливым черным бантом на груди. «Девочка, ну просто девочка!» — захлебывались они, и ему, дураку, это льстило!

Ко всему еще он оказался ябедой. Однажды классная руководительница велела мне остаться после занятий и учинила грандиозный разнос за игру в деньги. Лишь раз в жизни, в дошкольные времена, играл я в расшибалку, быстро продул семь копеек наличными и еще рубль в долг. Поверив чистосердечному раскаянию, дед помог мне вернуть долг чести, на том и кончилось мое знакомство с азартными играми.

Прижатый в угол, Митя сознался в доносе. Он оговорил меня для моей же пользы, боясь, что дурные склонности вновь пробудятся во мне и погубят мою столь счастливо начавшуюся карьеру — он имел в виду пост санитаря. А затем со слезами в глазах Митя требовал вернуть ему былое доверие ради святой дружбы, что «больше нас самих»,

и пытался вклеить мне иудин поцелуй. Все это выглядело фальшиво, скверно, непорядочно, тем не менее я еще года два, если не больше, участвовал в недостойном фарсе, пока вдруг не понял, что у настоящей дружбы совсем иной адрес. Митя все же был привязан ко мне и тяжело переживал разрыв...

И вот пришел в мою жизнь Павлик. И у дворовых, и у школьных ребят навсегда засело в памяти, что в нашей паре я был ведущим, а Павлик ведомым. Недоброжелатели считали, что Павлик — какой-то принудительный ассортимент ко мне. Это осталось с той поры, когда я «вводил Павлика в свет», сперва во дворе, потом в школе — он перешел в наш класс и вновь оказался в положении чужака. И тут действительно дело было поставлено строго: меня нельзя было пригласить на день рождения, Новый год или другой праздник, не пригласив Павлика. Я покинул футбольную дворовую команду, где считался лучшим бомбардиром, когда Павлика отказались взять хотя бы запасным, и вернулся лишь вместе с ним. Так возникла иллюзия нашего неравенства, которую не могла рассеять вся последующая жизнь. Общественное мнение не склонно к перемене даже перед лицом очевидности.

На самом деле ни один из нас не зависел от другого, но душевное превосходство было на стороне Павлика. Его нравственный кодекс был строже и чище моего. Долгое приятельство с Митей не могло пройти бесследно, я привык к известному моральному соглашательству. Прощение предательства немногим отличается от самого предательства. Павлик не понимал сделок с совестью, тут он становился беспощаден. Нам было лет по четырнадцать, когда я на своей шкуре испытал, каким непримиримым может быть мягкий, покладистый Павлик.

На уроках немецкого я чувствовал себя принцем. Мать не зря надрывалась над пищащей машинкой, выколачивая рубли для оплаты уроков фрейлейн Шульц, омрачавшей мои детские годы. Понятно, что все наши часто менявши-

еся школьные немки души во мне не чаяли. И задержавшаяся дольше других Елена Францевна не являла собой исключения, хотя я никак не соответствовал ее идеалу ученика.

Она требовала в классе не просто тишины и внимания, а молитвенной сосредоточенности, как в храме. Худушая, изжелта-серая, напоминающая лемура громадными темными подглазьями на изможденном, в кулачок, личике, Елена Францевна казалась умирающей от какой-то страшной болезни. Но она была совершенно здорова, никогда не пропускала уроков, даже во время эпидемий гриппа, валивших всех учителей подряд. Она могла наорать на ученика за рассеянный взгляд или случайную улыбку. Куда хуже крика были ее въедливые нотации, она словно кусала тебя обидными словами. Конечно, за глаза ее звали Крысой, — в каждой школе есть своя Крыса, а худая, востренькая, злая Елена Францевна казалась специально созданной для этой клички. Была ли она на самом деле такой злой? У ребят не существовало двух мнений на этот счет. Мне же она представлялась несчастным, издерганным человеком. Но я-то был принцем! Она вызывала меня читать вслух, и маленькое, некрасивое ее лицо молодо розовело, когда я выдавал свое «истинно берлинское произношение».

Но настал и мой черед. Елена Францевна никогда не спрашивала у меня уроков. Мы и так разговаривали с ней по-немецки, чего же еще надо? Вдруг ни с того ни с сего она вызвала меня к доске, будто самого рядового ученика. Как раз перед этим я пропустил несколько дней — то ли болел, то ли прогуливал — и понятия не имел о домашнем задании. Наверное, она все-таки была злойкой и вызвала меня нарочно, чтоб подловить. Но поначалу все шло хорошо. Я проспрягал какой-то глагол, отбарабанил предлоги, требующие дательного падежа, прочел по учебнику тошнотворно назидательную историйку и пересказал содержание.

— Прекрасно, — поджала узкие, бледные губы Елена Францевна. — Теперь стихотворение.

— Какое стихотворение?

— То, которое задано! — отчеканила она ледяным тоном.

— А вы разве задавали?

— Привык на уроках ворон считать! — Удивительно, как легко она заводилась — с пол-оборота. — Здоровенный парень, а дисциплина!

— Да я же не был в школе! Я болел.

Она уставилась на меня окольцованными синевой лемурьими глазами и стала листать классный журнал, пальцы ее дрожали.

— Совершенно верно, ты отсутствовал. А спросить у товарищей, что задано, мозгов не хватило?

Взял бы да и сказал — не хватило. Ну что она могла мне сделать? Поставить «неуд»? Едва ли. И тут я нашел другой выход. О домашних заданиях я спрашивал у Павлика, а он ни словом не обмолвился о стихотворении. Забыл, наверное. Я так и сказал Елене Францевне с легкой усмешкой, призывая и ее отнестись к случившемуся юмористически.

— Встань! — приказала Павлику немка. — Это правда?

Он молча наклонил голову. И я тут же понял, что это неправда. Как раз о немецком я его не спрашивал. О математике, русском, истории, биологии — спрашивал, а готовить немецкие уроки я считал ниже своего достоинства — принц все-таки!

Елена Францевна перенесла свой гнев на Павлика. Он слушал ее по обыкновению молча, не оправдываясь и не огрызаясь, словно все это несколько его не касалось. Спустив пары, немка утомилась и предложила мне прочесть любое стихотворение на выбор... Я рванул шиллеровскую «Перчатку» и заработал жирное «отлично».

Вот так все и обошлось. Ан не обошлось! Когда, довольный и счастливый, я вернулся на свое место, Павлика не оказалось рядом. Исчезли его учебники, тетрадки, вставочка с пером «рондо». Я оглянулся, он сидел за пустой партой, через проход, позади меня.

— Ты чего это?..

Он не ответил. У него были какие-то странные глаза: красные и налитые влагой. Я никогда не видел Павлика плачущим. Даже после жестоких, неравных и неудачных драк, когда и самые сильные ребята плачут — не от боли, а от обиды, он не плакал. Он и сейчас умудрялся держать слезы в глазах, не давая им пролиться, но внутри себя он плакал.

— Брось! — сказал я. — Стоит ли из-за Крысы?..

Он молчал и глядел своими остекленевшими глазами мимо меня. Какое ему дело до Крысы, он и думать о ней забыл. Его предал друг. Спокойно, обыденно и публично, средь бела дня, ради грошовой выгоды предал человек, за которого он, не раздумывая, пошел бы в огонь и в воду.

Никому не хочется признаваться в собственной низости. Я стал уговаривать себя, что поступил правильно. Как ни крути, он все-таки подвел меня, пусть невольно, и мне пришлось защищаться. Ну, покричала на него немка, подумаешь, несчастье, она на всех кричит. Стоит ли вообще придавать значение подобной чепухе?.. А вот окажись Павлик на моем месте, назвал бы он меня? Нет! Он скорее проглотил бы собственный язык. И вдруг я понял, что это не пустые слова. Недавно я прочел книжку про Джордано Бруно «Псы господни». Из всех людей, каких я знал, только Павлик мог бы, как Джордано Бруно... Ради своей правды... А ведь так оно и случилось: подобно Джордано, Павлик кончил жизнь в огне. Он мог спастись, для этого ему достаточно было всего лишь поднять руки...

Почти год держал он меня в отчуждении. Все мои попытки помириться так, «между прочим», успеха не имели. А возможности были: мы учились в одном классе, жили в одном подъезде, наши пути все время пересекались. Надо отдать должное чуткости ребят: они деликатно охраняли нашу разобщенность, помогая избегать ложных положений, разных неловкостей. Учителя и другие взрослые люди, не ведавшие о нашем разрыве, то и дело совершали не-

вольные промахи, по привычке считая нас с Павликом неразлучными. Будь то опыты на уроке химии, занятия в физическом кружке, воскресники, дежурства в учительской или пионерские поручения, нас обязательно зачисляли в одну группу, звено или пару. Ребята неприметно помогали нам разъединиться.

В глубине души я вовсе не испытывал к ним благодарности. Они мешали моему тайному стремлению помириться с Павликом невзначай. Но все равно выпадало немало случаев, когда при обоюдной доброй воле мы могли начать хотя бы суховатое общение, чтобы затем без выяснения отношений и всякой «достоевщины», столь любезной Мите Гребенникову, вработаться в прежнюю дружбу. Ничего не получалось: Павлик не хотел этого. Не только потому, что презирал всякие обходные пути, мелкие уловки и хитрости, все скользкое, уклончивое, двусмысленное — прибежище слабых душ, но и потому, что ему не нужен был тот человек, каким я вдруг раскрылся на уроке немецкого.

Когда же через год я послал ему записку с просьбой о встрече, он без всяких церемоний сразу поднялся ко мне, как делал это прежде. С некоторым смущением я обнаружил, что не должен извиняться, ни хоть словом касаться прошлого. Павлик не хотел, чтобы я нес ответственность за себя прежнего. Он понял, что во мне стала другая кровь, вот и пришел.

Поль Валери сказал: «Писатель вознаграждает себя, как умеет, за какую-то несправедливость судьбы». Сейчас я вознаграждаю себя за несправедливость судьбы к Павлику. Когда мы недавно собирались в нашем старом дворе, я тщетно ждал, что наконец-то услышу о нем добрые и высокие слова. Вспоминали Ивана, вспоминали Арсенова, Толю Симакова, Борьку Соломатина, но хоть бы кто сказал о Павлике. Только письмо его родным отправили, но ведь это не более чем формальность, пусть и благородная...

Его не знали. Редкое душевное целомудрие заставляло Павлика держать на запоре свой внутренний мир. Посто-

ронным людям он казался апатичным, незаинтересованным, безучастно пропускающим бытие мимо себя. Но я-то знаю, как мощно заряжен на жизнь был Павлик, каким сильным, страстным, целенаправленным характером он обладал. Ему так и не пришлось выйти на суд людской. Все, что в нем развивалось, зрело, строилось, не успело обрести форму...

Природа дружбы иная, чем у любви. Легко любить ни за что и очень трудно — за что-нибудь. Дружба не столь безотчетное чувство, хотя и в ней есть своя мистика. Я знаю, что привлекло Павлика ко мне и чем явился для меня он в начале наших отношений. Потом годы окутали нас таким животным теплом, что не осталось места головному рассуждению.

Павлик был мальчик умственный. В своей семье он не имел питательной среды. Его отец был часовщиком, с расширенным и слезящимся от лупы левым глазом. Кроме часов, его ничто на свете не интересовало. Это только в сказках часовщик оваян дыханием романтики и доброго чудачества. Считается, что причастность к таинственной стихии времени выделяет человека из обыденности. Отец Павлика ремонтировал секунды, минуты и часы, но сам жил вне времени, безразличный к его интересам, страстям и борениям. Правда, в иную добрую минуту он с удовольствием вспоминал, что смотрел однажды замечательный спектакль «Коварский и любовь». У Павлика мертвело лицо, когда отец посягал на подобные разговоры.

Его мать производила впечатление женщины, не ведавшей, что изобретено книгопечатание. И это казалось тем более странным, что ее братья были крупными учеными: химик и биолог. Она не поддерживала с ними родственных отношений, а может, они с ней. Впрочем, брат-химик однажды привез Павлику из заграничного вояжа кучу шикарного тряпья. Мать Павлика явилась в мир, так и не очнувшись до конца от темного сна предбытия: тихий голос, отсутствующий взгляд, замедленные жесты, неконтактность с окружающими. Она

свела свою жизнь к минимуму забот. Павлик сделал все от него зависящее, чтобы не попасть в этот малый круг, уступив младшему брату скупое материнское внимание. Но и на нее иной раз находило: она подвигала к пианино вращающуюся табуретку и слабо беспокоила клавиши вялыми пальцами, закрыв глаза бледными, тонкими веками, похожими на птичью пленку. Лицо Павлика мертвело, как и во время культурных диверсий отца.

В нашей семье все думали. Быть может, больше, чем надо. У нас существовал культ книги: дед собирал научную библиотеку, отец — техническую, мы с матерью — художественную литературу и мемуары. О литературе говорили все время, глумясь над известным утверждением, что литературой можно заниматься, но Боже упаси о ней говорить. И конечно, вскормленный такой средой, я был очень книжным мальчиком. Зловещему обаянию двора и акуловской дачи обязан я тем, что не стал книжным червем. Павлику наша настроенность на культуру была необходима как воздух.

Мне же общение с ним давало нечто большее. Он был не только Атосом наших детских игр в мушкетеры, он обладал характером Атоса: несовременным в своей безупречности и благородстве вопреки всему.

С каждым годом мы становились все ближе и дороже друг другу. На пороге юности нас поразил общий недуг — невыясненность устремлений. Вопрос: кем быть? — возник в наших душах куда раньше, нежели его продиктовала жизненная необходимость. Мы оба хотели играть, а не присутствовать безмолвными статистами на сцене жизни. Иные одаренные ребята уже знали свой путь. Математика сама нашла Славу Зубкова, музыка — Тольку Симакова, живопись — Сережу Лепковского, спорт — Арсенова. Другие ребята, не подчиненные рано проснувшемуся дару, знали хотя бы примерное направление своего будущего: инженерия, медицина, педагогика, строительство. Многие наши сверстники, не мучаясь понапрасну, жили изо дня в день: школа, футбол, кино, а там видно будет.

Мы не могли принять такую ползучую жизнь. Неизвестность томила нас. Мы оба хорошо и ровно учились по всем предметам, у нас не было ведущей страсти, чтение — страсть пассивная, нельзя стать просто читателем, так же как и театральным зрителем или посетителем музеев. У нас не было и ярко выраженных способностей, нас интересовало все. Теперь я понимаю, что мы уже тогда числились по ведомству Аполлона, а не иных, серьезных богов, но сами мы охотнее посещали лекции академиков Лазарева и Вавилова, чем спектакли и концерты. Мы искали себя. Застрельщиком поисков был Павлик. Это его осенило, что мы должны варить гуталин. Знаменитый дядя-химик начинал с варки гуталина. И однажды сварил такой замечательный гуталин, что сразу вошел в славу. Нам такого гуталина сварить не удалось, хотя мы продушили всю квартиру вьедливым запахом ваксы. Чтобы жильцы не ругались, мы всем чистили ботинки, а Фоме Зубцову — сапоги. Отец, смеясь, говорил, что так начинал не Лавуазье, а Рокфеллер. Но из нас даже Рокфеллеров не вышло. Наш гуталин не давал блеска, хотя здорово пачкался, и Фома Зубцов всякий раз перечищал свои хромовые сапоги у айсоров на углу Кривоколенного переулка.

Затем мы пытались создать красную тушь. Жидкость оставляла несмываемые пятна на руках, одежде, стенах и грязно-белой шерсти моего пса Джека, но, нанесенная пером на бумагу, обнаруживала непонятную водянистость. Строки бледнели, таяли, и мы уже готовы были поверить, что ненароком создали «симпатическую тушь», но ядовитый цвет не исчезал совсем.

Блистательный пример дяди-химика заставлял нас упорно цепляться за чуждую нам науку. Мы беспощадно били пробирки, переводили химикалии, колбы лопались над спиртовкой, как бомбы, вызывая панику среди соседей, и наконец у Павлика достало мужества сказать: «Хватит добывать стекло из пробирок!» На химии был поставлен крест.

Пришел черед физике, науке будущего. Мы изнуряли себя на лекциях знаменитых ученых, пытались постигнуть тео-

рию относительности, повесив для бодрости на стенке портрет молодого Альберта Эйнштейна, спорили о квантовой теории, не понимая в ней ни шиша, ломали головы над книгами Ноультона, Эддингтона, Брэгга, но едва справлялись даже со школьной физикой, потому что оба были бездарны в математике. Нас выручил... Пастернак. В «Охранной грамоте» я прочел о муках будущего поэта, мечтавшего стать композитором, ноне обладавшего абсолютным слухом. Он отказался от музыки, узнав, что его кумир, гениальный Скрябин, скрывает как нечто стыдное несовершенство своего слуха. Павлик не сразу понял, куда я гну. «Для современного физика математика все равно что абсолютный слух для композитора» — «Правильно! — сказал он и оборвал провода на мостике Уитстона, который начинал собирать. — К черту!.. — А потом добавил задумчиво: — А все-таки Скрябин стал Скрябиным и без абсолютного слуха».

Но Скрябин не мог без музыки, а Пастернак мог — и отступился. Мы тоже могли без физики...

Миновала, поглотив уйму времени и сил, но не захватив души, география с картами, атласами, глобусами, с книгами о Ливингстоне, Стенли, Миклухо-Маклае и Пржевальском; ботаника с гербариями, с тонким, волнующим ароматом засушенных цветов, трав, листьев, с приобретением в складчину слабенького микроскопа; электротехника, отмеченная серией коротких замыканий и одним серьезным пожаром, — были красная машина и тревожный звон колокола, и сперва плоское, затем по-удавьи округлившееся, долгое тело шланга, и бравые, расторопные пожарники в сияющих золотых касках...

Наш отдых от трудов праведных был не менее изнурителен и целенаправлен. «Перерыв!» — объявлял Павлик и ставил на нос кий от настольного бильярда, или стул, или половую щетку, или цветок, если дело происходило летом. Я немедленно следовал его примеру.

Мы увлекались балансированием, посмотрев в мюзикхолле номер австрийского гастролера, мага и волшебника.

Он балансировал на слабо натянутом канате, держа на кончике раскляпанного носа полутораметровый стальной штырь с подносом, на котором стояли кипящий самовар и чайный сервиз. «Этому можно научиться», — задумчиво сказал Павлик, заставив меня поежиться.

Я уже знал, что у Павлика слово не расходится с делом. Знал боками и легким сотрясением мозга. Когда награждали первых девушек-парашютисток, Павлик решил, что ради поддержания мужской чести мы тоже должны совершить прыжок с двумя зонтиками из окна его кухни во двор. Хорошо еще, что мужская честь удовлетворилась прыжком из его кухни, а не из моей, находившейся на этаж выше.

Мы раздобыли зонтики и кинули жребий, кому прыгать первым. Выпало мне. Я не особенно волновался: несколько пробных прыжков с платяного шкафа убедили нас, что зонтики держат не хуже парашюта. Я влез на подоконник, затем стал на карниз. Внизу подо мной светлела полоска асфальта, дальше двор был вымощен булыжником. Я видел круглые картузы возчиков, плешь дворника Валида, макушки играющих в классы девчонок, спины лошадей. И я шагнул туда, к ним, вниз. На мгновение показалось, что плотная струя воздуха подхватила меня, вслед за тем двор со всем, что его населяло, подскочил вверх и ударил меня в пятки. Что-то взболтнулось в голове, и я потерял сознание.

Вокруг меня хлопотали люди, когда сверху примчался Павлик. Поразив всех своим чудовищным бессердечием, он даже не глянул на поверженного друга, схватил зонтики и, убедившись, что они не пострадали, пулей взлетел наверх. Через секунду он распластался рядом со мной. Все же его приземление оказалось удачнее, он отделался потерей половинки переднего зуба...

Не стоит думать, что балансирование — невинная забава, когда этим занимаешься на пару с Павликом. Вот как все это выглядело в ту пору, когда после долгих, беспощадных тренировок мы сравнялись с австрийским виртуозом.

По команде мы разом вскидываем на нос, лоб или подбородок какой-нибудь предмет. Миг-другой — обретен центр равновесия и предмет застывает в совершенной неподвижности. Проходит десять, пятнадцать, двадцать минут, полчаса, голова, откинутаая назад, затекает, пора кончать, но никому не хочется сдаваться.

Приходит мать с покупками. Мы приветствуем ее, не меняя позы. Она идет в темную комнату, переодевается там, достает швейную машинку, что-то шьет, тихонько напевая про себя. Затем прячет машинку в шкаф, выходит и застает нас в той же позе.

— Какой кошмар! — больным голосом говорит она и идет на кухню.

Через некоторое время возвращается с кофейником в руке — ничего не изменилось.

— Господи! Вы посмотрели бы на себя со стороны — законченные идиоты!.. Вас же удар хватит!..

Мать недалеко от истины, в затылке тяжесть: видно, вся кровь скопилась там. Пробую заговорить Павлику зубы: уроки, мол, не сделаны, мне дали на один вечер пьесу Жироду «Троянской войны не будет», — ни ответа, ни привета. Проходит еще минут двадцать. Смерть начинает казаться избавлением, но я еще цепляюсь за жизнь.

— Давай так, — предлагаю я, — считаем до трех, и все!

— Как хочешь, — равнодушно отзывается Павлик.

— Раз, два, три!

Мы враз обретаем свободу. Павлик никогда не мешкает, он не нуждается в такой мелкой победе, но ему хочется, чтобы я тоже научился терпению..

Поиски своего лица продолжались... Меж тем я начал писать рассказы, а Павлик — пробовать силы на подмостках любительской сцены, но почему-то в этих своих занятиях мы уже не стремились к объединению. Я не предлагал Павлику соавторства, а он не уговаривал меня стать его партнером. Наверное, потому, что тут каждый столкнулся со своей судьбой, с единственным делом, которому должен

был служить. Но мы даже самим себе не признавались, что выбор сделан. Мы обманывали себя так искренне, что по окончании школы оба подали заявление в медицинский институт — обычное прибежище тех, кто не ладит с математикой и не верит в себя на гуманитарном поприще. Лишь убедившись в тщете своего жестокого благоразумия, лишенные в непосильной зубрежке возможности заниматься тем, без чего нам жизнь была не в жизнь, мы ринулись на открывшиеся среди года факультеты киноинститута. Я с грехом пополам поступил на сценарный, Павлик провалился на режиссерском. Зато через полгода он блестяще сдал экзамены сразу в три института: в ГИТИС, куда и пошел, в тот же ВГИК, чтобы доказать себе и другим, что может туда поступить, и для спокойствия родителей в историко-архивный. «Что ж, — рассуждал его отец. — Павлик не стал врачом, но, может, я увижу в его постановке «Коварский и любовь»».

Он этого не дождался. В первый день войны ребята Армянского переулка явились в военкомат. Нас с Толей Симаковым забраковали: поначалу война была разборчивой. В сентябре я получил от Павлика кое-как нацарапанную открытку с фронта: «Эти мерзавцы здорово бомбят, но ничего — живем».

А жить ему оставалось совсем немного. Он погиб под Сухиничами. Не от бомбы, не от осколка снаряда, не от прицельной или шальной пули, от своего характера. Немцы предлагали советским солдатам, захваченным врасплох в здании сельсовета, сохранить жизнь, если они положат оружие на деревянный, изрешеченный пулями пол и выйдут по одному с поднятыми руками. Но вот этого-то как раз и не могли сделать бойцы поредевшего отделения, которым командовал Павлик. Потеряв многих людей, немцы подожгли сельсовет, из пламени и дыма еще раздавались выстрелы. Ни один человек не вышел. Так рассказывали местные жители, когда вернулись наши. К тому времени от всей деревни остались лишь зола да угли.

Нет могилы Павлика, нет могилы Толи Симакова. Он погиб в Бжезинке после неудачного побега из лагеря. Серое небо третьей военной зимы приняло в себя еще клубок черного дыма.

Уходя в начале января 1942 года на фронт, я ничего не знал об участи моих друзей.

Четверть века прошло с окончания войны, прожита лучшая, главная часть жизни, а мне до сих пор то чаще, то реже каждый год снится Павлик. Сон — счастливый художник, ему не нужно заботиться о цельности сюжетной ткани, правдоподобию, достоверности, мотивировках, он владеет тайной, заставляющей верить ему, прощать нескладицу и даже явную нелепость. Мне всегда снится одно и то же, меняются лишь второстепенные подробности, улетающие по пробуждении и ничего не значащие в существе сна, — Павлик жив и вернулся. Непонятно, где он был все эти годы, почему не давал о себе знать. Во всяком случае, тут нет ничего зазорного для него, откупленного своей гибелью даже от плена во сне. Подразумевается скорее долгая утрата памяти, летаргия забывшей себя личности — сон пренебрегает точным объяснением. Довольно того, что Павлик жив и вернулся. И хотя меня тревожит и томит невнятность судьбы чудом воскресшего, все меркнет перед громадным счастьем — Павлик жив, жив!.. А затем начинается нечто смутное и безмерно печальное. Павлик не идет ко мне. Я ему не нужен. Возле него как-то дискретно реет его молчаливая мать, равно призрачная и во сне, и в жизни и все же более необходимая вернувшемуся Павлику, чем я, единственный друг. Их осеняет какая-то общая забота, которую мне не дано разделить. Но ведь должны мы отговориться, отплакаться за все эти годы, неужели Павлик не понимает этого, неужели он совсем забыл меня? Нет, он все понимает и ничего не забыл. Он сознательно не идет ко мне, исключает меня из своего нового бытия. За что? Я ни в чем не виноват перед ним, я не сделал ничего плохого, ему не в чем упрекнуть меня. Во

сне я говорю все эти слова кому-то: то ли его матери — в тщетной надежде, что это дискретное существо поможет мне, то ли самому Павлику, но не прямо, а на неслышном человеку языке рыб. Но он-то слышит меня и не отзывается. Вдруг он возникает рядом со мной, холодно кивает и молча проходит мимо.

Я просыпаюсь с мокрым лицом и долго думаю об этом сне, испытывая въяве острую душевную боль. Я перебираю свою жизнь, поступки, отношения с людьми, все наработанное и не нахожу вины за собой, вины, заслуживающей такой казни. Но может быть, там, откуда пришел Павлик, иные мерилы, быть может, мы сами некогда иначе мерили себя?..

С каких-то пор мне стало казаться, что мой грех перед ним — в отсутствии чувства вины. Если мерить мою жизнь последним поступком Павлика, разве могу я считать, что ни в чем не виноват? Нет. Виноват. Виноват во всем: в том, что не отдал своей жизни за друга, не спас, не защитил миллионы погибших, виноват в тюрмах и лагерях, в убийстве президентов и проповедников, в плохих книгах — не только своих; в том, что правда ходит с поджатым хвостом, а ложь и клевета — задрав голову; что в мире не затихают выстрелы, не затухают пожарища, гибнут дети и не счесть обездоленных...

Каждый погибший откупает другого у гибели. Павлик дал себя сжечь, чтобы жил я. А я плохо распорядился его подарком. Не надо отрицать своей вины, мы все виноваты друг перед другом и во сто крат сильнее перед мертвыми. И надо все время помнить об этой своей вине — быть может, тогда исполнится самая святая мечта из всех доступных человеку: вернуть к жизни ушедших...

Минувшим летом грибная страсть занесла меня на край Калужской области. Приятель, купивший там за бесценок брошенный дом в полупустой деревне, обещал мне настоящий грибной рай. Как полагается новоселу, он плохо знал дорогу, и мы долго плутали по каким-то новым шоссе и

старым проселкам. И раз мелькнула, царапнув по сердцу, надпись на дорожном указателе: «До Сухиничей...» — я не разобрал, сколько километров. Наконец мы оказались в молодом смешанном леске — березы, осины, невысокие елочки, и приятель неуверенно, будто советуясь, сказал: «Кажется, здесь».

Может, мы и не туда приехали, но после исхоженных, с примятой, а то и вовсе вытоптанной травой, нищих подмосковных лесов тут нам и впрямь привиделся рай. Грибы попадались разные и все больше не особо ценные: сыроежки, моховики, лисички, но случались и подберезовики, и даже белые. И какой-то приятный был этот лесок: чистый, нехоженный, неломаный, просквоженный солнцем, без паутины и прилипчивых мух. По нему легко ходилось: ни чащобы, ни валежника, ни потных, вязких мест, где нога вдруг по колено проваливается в торф, никаких подвохов не таил молодой приветливый реднячок. Может, потому я почувствовал скорее обиду, нежели боль, напоровшись на что-то острое, скрытое в траве. Инстинктивно я рванулся вперед и чудом удержал равновесие, мои ноги запутались в колючей проволоке, — я увидел свой капкан, на миг приподняв его над травой. Приятель поспешил мне на помощь. Вдвоем мы освободили мои матерчатые туфли и брючины от шипов, а затем извлекли на свет Божий тяжелый моток колючей проволоки, той самой, без которой немислим передний край.

Она лежала у наших ног, частью сухо- и красно-ржавая, частью мокрая, черная, в налете какой-то плесени, безобразная, давно мертвая, но еще способная ужалить. И кто ее знает, служила она нам или противнику, скорее всего, и тем и другим, ну, да не об этом речь...

Я никак не был настроен на встречу с войной. Молодой лес вырос там, где некогда были землянки, окопы, ходы сообщений, пулеметные гнезда, колючая проволока, минные поля и погорелья деревень.

И тут меня снова нагнала и пронзила стрела дорожного знака: «До Сухиничей...» Вот на этой земле, где-то по-

близости, а может, прямо здесь Павлик доживал свою короткую жизнь. Почему-то мне впервые предстало, что в окруженном неприятелем сельсовете творилась не смерть, а последняя жизнь Павлика. Пока все не стало огнем, он жил жизнью мысли и всех чувств, памяти и слов, и маленьких желаний: попить воды, покурить, утереть пот со лба. Он жил и, как всякий живой, обладал своим прошлым, ему являлись лица людей, которых он успел полюбить, и лица тех, кого он не успел возненавидеть, им фоном служили бульвары, переулки, театральные залы, аудитории, казармы. И что-то он задерживал, оставлял с собой, что-то отмахивал как ненужное, мешающее...

Наша ответственность друг перед другом куда больше, чем мы позволяем себе думать. В любой миг нас может призвать и обреченный смерти, и обреченный выбору между добром и злом, и просто усталый человек, и герой перед подвигом, и малый ребенок — это зов на помощь, но одновременно и на суд.

# МЕЛОМАНЫ

С чего началась моя меломания? Не знаю. Но разве могу я сказать, с чего началась фантиковая болезнь, или желудевая мания, или упоительные трамвайные путешествия на окраины Москвы. Мига пленения не замечаешь, а потом кажется, будто так всегда было...

В раннем детстве меня, как полагается, водили на «Сказку о царе Салтане», «Золотого петушка» и для общего развития — на «Князя Игоря». Последний был просто невыносим — сплошное пение и никаких событий. Самое интересное — битва и захват Игоря половцами — происходило за сценой, и нельзя же всерьез считать побегом из плена неторопливый уход князя со сцены. Да и чего стоит бегство, если нет погони? В «Сказке о царе Салтане» я с нетерпением ждал полета шмеля, о чем был заранее предупрежден, но когда полет — вполне сносный — состоялся, смотреть стало нечего. В «Золотом петушке» мне нравилось лишь появление волшебника из зрительного зала и то, что у него таинственно-зловеще светилось лицо с крючковатым носом. Вообще, я был твердо убежден, что хуже оперы на свете только балет. После того как меня сводили на «Коппелию», я потребовал, чтоб в следующий раз все на сцене разговаривали, как нормальные люди, и — никаких танцев, иначе меня в балет не заманишь.

Опера надолго исчезла из моей жизни. Попал я туда снова уже одиннадцатилетним.

Мы с отцом вовсе не собирались в театр, просто бродили по воскресным весенним полуденным улицам, и какой-то помятый человечек предложил нам лишние билеты на «Севильского цирюльника». Отец совершил несколько будничных движений — достал бумажник, порылся в нем,

извлек две старые трешницы, получил билеты, дождался сдачи, и мы прошли сперва в прохладный вестибюль, затем — в зрительный зал и неловко пробрались к своим местам при медленно гаснущем свете.

Я оставался глух к музыке Россини, но каждое появление на сцене невысокого, изящного, юношески стройного, дерзкого, насмешливого и отважного человека, с очаровательно звучащим именем граф Альмавива, наполняло меня неизъяснимым блаженством. Он был напоен щедрой и радостной жизнью, он любил девушку и, чтобы добиться ее, вырвать из цепких лап ревнивого старика, надевал личину то странствующего певца, то монашка, то пьяного армейского офицера и наконец появился в своем истинном великолепии. Его удивительный, теплый голос проникал мне в душу и, вытесняя ее, сам становился нежной, легкой, радостной душой. Когда в зале зажегся свет, я прочел в программе: «Граф Альмавива — С. Я. Лемешев».

Я знаю, любить теноров позволительно чувствительным девицам, а не будущему воину. Но что поделаешь, если будущий воин, даже став седоголовым бывшим воином, все так же любит Лемешева? Неизменная преданность ему сродни моему отношению к Есенину. Есть поэты больше, изысканнее, сложнее, современнее, но таких, как Есенин, нет и не будет. И ту мою жажду, что утоляет он, не дано утолить никому другому.

...И вот я снова иду в оперу. Со мной Павлик, успевший тоже беззаветно полюбить Лемешева, Толька Симаков, предпочитающий «легкий» голос Козловского, и парень с другого двора, Слава Зубков. Он ценил мужественные голоса: бас-баритон и просто бас, а из женских — контральто. Молчаливый, сосредоточенный в себе, Слава вечно погружен в какую-то непосильную, изнуряющую думу. Но выходит он из этого состояния удивительно легко, без того опоминания, которое необходимо и менее сосредоточенному человеку, чтоб перевести себя душевно и физически в другой режим. Только что Слава находился в оце-

пенении, но донесся стук мяча, и он уже в самой гуще футбольной схватки. Так же мгновенно кидался он в драку. Кажется, что ему и дела нет до каких-то там дворовых или междоусобных счетов, и вдруг тихо так вздохнет: «Ну, ладно!» — и обидчик уже отсмаркивает кровавые сопли... Слава был среднего роста, плечистый, чуть кривоногий, но не уродливо, а как лучники, расстреливающие святого Себастьяна на картинах художников раннего Возрождения, — кривизна прочности и легкого, пружинистого шага.

С этим загадочным человеком наша тройца объединилась на почве общего увлечения. Раз за разом сталкиваясь с ним у дверей филиала Большого театра, мы узнали друг в друге единомышленников и стали ходить вместе. Нередко к нам присоединялся Сережа Лепковский, но мы не считали его своим, потому что он пользовался служебным пропуском, который ему устроил дед, знаменитый артист. Иногда увязывалась длинноногая Лайма, мы гнали ее прочь, и она, хныча, тащилась за нами на почтительном расстоянии или шаг в шаг, но по другой стороне улицы.

Мы шли в оперу всегда одним и тем же путем: через Кривоколенный на улицу Кирова, затем на Лубянскую площадь (ныне Дзержинскую) и вниз к Театральной. До Лубянской площади мы принадлежали городской обыденности и как-то не очень верили, что окажемся в нашем волшебном царстве. От угла, где ныне магазин «Детский мир», открывался провал, дно которого — Театральная площадь, там был иной воздух, иные огни, иная жизнь. И каким глубоким казался этот провал! Кружило голову, хотелось зацепиться за стены, иначе сорвешься и полетишь кувыркком в бездну.

Мы шли в театр при полном параде. Наиболее франтовато одевался Толька Симаков: синий шевиотовый костюм-тройка, розовая сорочка, галстук в горошек и черные туфли на резине. Данилыч ничего не жалел для пасынка. По-настоящему же хорошо был одет Павлик. Дядя привез ему из-за границы изумительный пуловер, фисташкового цвета

рубашку, в тон ей галстук и серые гетры. Грубошерстные мосторговские брюки, тщательно отутюженные, не портили ансамбля. Пройдут годы и годы, и безмерно вытянувшийся Павлик будет щеголять все в том же штопаном-перештопаном пуловере, застиранной, потерявшей цвет рубашке, омохрившемся галстуке и неистребимых гетрах. Знаменитый дядя то ли больше не ездил за границу, то ли охладел к племяннику. Уходя на войну, Павлик подарит галстук Тольке, а гетры мне.

Мы со Славой Зубковым одеты на одном уровне: оба в перешитых отцовских толстовках, жестких, кусающихся брюках, брезентовой обуви и черных «бабочках». На вечерние спектакли дети до шестнадцати лет не допускались, и нам надо было за счет внешнего облика добрать недостающих два года. Крошечный Симаков в своей тройке сходил за взрослого лилипута, высокий «заграничный» Павлик не вызывал сомнений, нам же с Зубковым оставалось надеяться на экстравагантную «бабочку», столь любезную старым академикам, метрдоателям и нищим скрипачам в Столешниковом переулке.

В полубреду пересекали мы Театральную площадь, огибали Большой театр и мимо артистического входа, возле которого толпились поклонники отечественных Орфеев, выходили к скромному подъезду филиала. И тут совершалась метаморфоза. Исчезали чинные мальчишки, и вместо них в толпу, осаждающую вход, втискивалось четверо пройдох, нахальных и трусящих, готовых к отпору и бегству. Мы ходили в театр без билетов, как тогда говорили, «на протырку». Билеты стоили дорого, нам таких денег в семье не давали. Конечно, раза два-три в год мы попадали в оперу законным путем: в дни школьных каникул непременно устраивался поход в Большой театр по удешевленным ценам, ну и конечно, разок можно было разорить родителей, но разве это утоляло наш музыкальный голод? Мы ходили в оперу почти каждый день, предпочитая филиал основной сцене, потому что там был не столь жесткий контроль.

Наиболее густо толпа валила за пять-семь минут до звонка, нервозность опаздывающих зрителей сообщалась билетершам, их бдительность притуплялась. Толпа несла себя, как вешний поток щепку, и нередко благополучно доставляла в вестибюль. Наш оперный сезон начинался весной, когда можно было ходить без пальто и не пользоваться гардеробом, где тоже спрашивали билет.

Теперь надо было дожидаться третьего звонка, пулей взлететь на галерку и, не обращая внимания на стражницу облупившихся дверей, скользнуть в блаженный полумрак, уже напоенный первыми звуками увертюры. Сюда загоняли всех, кто не успел занять свои места до третьего звонка, и здешние билетерши билетов не спрашивали.

Конечно, далеко не всегда наше проникновение в театр совершалось так гладко. Глаз у билетерши был острый, наметанный. Обычно с первой попытки удавалось пройти одному Павлику, самому высокому и приметному из нас. Можно было подумать, что на нем шапка-невидимка. Толя Симаков рядом с ним — собачья будка у подножия каланчи, но его обнаруживали и гнали прочь, а длинный Павлик оказывался по другую сторону кордона. Он шел неторопливо, почти не таясь, с рассеяннo-отвлеченным видом, будто высматривал что-то впереди. То ли на билетерш действовала его отвлеченность, нездешность — в народе всегда благоволят к чужакам, — то ли завораживал заграничный вид, но, кем бы ни представлялся им Павлик: юным иностранным принцем или полудиотом, — его, как правило, не трогали.

Симаков, хотя и засыпался порой, чаще преуспевал благодаря своему маленькому росту. Куда хуже, хотя и по разным причинам, обстояли дела у нас с Зубковым. Слава шел напролом. Он не примеривался, не хитрил, не выискивал путей полегче, а в своей обычной манере, будто все решено заранее и остается лишь действовать, с хода врезался в толпу и, не обращая внимания на окрики билетерш, ломил вперед. После двух-трех неудачных заходов он

обычно попадал в руки милиционера. Его благородная прямота казалась билетершам верхом бесстыдства, им мало было прогнать его прочь, хотелось проучить хорошенько наглого безбилетника. Слава пытался уйти от милиционера одним сильным, решительным рывком, но это никогда не удавалось, и, вздохнув: «Ну, ладно!» — он с достоинством покорялся.

Потерпев неудачу, я, в отличие от него, не повторял попыток и ждал антракта. Я всегда боялся унижения, и меня отнюдь не соблазняло путешествие под стражей в театральный подвал. И Слава, и Павлик относились к подобным провалам с философским спокойствием. Выслушав суровую отповедь и пообещав исправиться, они тут же шли «на протырку» в Большой театр. А Толька Симаков при виде милиционера немедленно задавал стрекача.

Грустные то были минуты ожидания антракта. Другие счастливицы всюду наслаждались музыкой, а я с комком в горле томился возле зарешеченной афиши. Герцог Мантуанский — Лемешев, Джильда — Катюльская, Риголетто — Политковский, Марулло — Ханов, Спарифучиль — Дровяников, графиня Чепрано... Боже мой, восемь раз я был на «Риголетто», но никогда не видел графини Чепрано. А ведь это ей объясняется на балу в любви легкомысленный герцог, ее обманутого мужа спрашивает горбатый шут: «Что у вас на голове, граф Чепрано?» — под дружное «ха-ха-ха!» придворных. Я никогда не видел выхода герцога и лишь по радио слышал знаменитую балладу «Та иль эта — я не разбираю». По странному, роковому совпадению мне никогда не удавалось пройти на «Риголетто» к началу. Так же обстояло и с некоторыми другими операми: я слышал «Онегина» без признания Ленского в любви к Ольге, «Фауста» без пролога, где он стар и седобород, я не видел въезда Ивана Грозного на лошади в «Псковитянке», не присутствовал при счастливой любви Князя с дочерью Мельника, будущей Русалкой, и очень поздно сподобился услышать застольную в «Травиате» и дивную арию Виолетты «Жить свободно, жить бес-

печно». А вот с «Трубадуром» мне неизменно везло, и я раз за разом слушал восхитительный «Рассказ Феррандо», старого воина. И с «Флорией Тоской», будь она неладна, мне везло, а там в первом действии слушать нечего.

Попасть в театр во время антракта было легко: люди выходили на улицу покурить, и билетершам лень было вторично проверять билеты. Все же Павлик раздобывал для меня на всякий случай надорванный билет, но то была излишняя предосторожность.

Конечно, неизмеримо сладостнее было оказаться среди тех, кто проходил к началу спектакля, и дело не только в музыке. Ты чувствовал себя ловкачом и баловнем судьбы, мог с высоты своей удачи посочувствовать тем, кто засыпался, ты наслаждался чувством радостного братства с другими счастливыми, среди которых оказывалось немало наших исконных врагов — девятинских. И тут происходило полное взаимное разрушение.

— Говорят, ваш Симаков укусил билетершу за руку? — вежливо обращался к нам парень по кличке Тапочка.

Мы знали, что это вранье, но ценили любезность.

— А вашего Гулька брали два милиционера и пожарник?

— Ну, Гулька все равно удерет, — вмешивался атаман Лялик.

— Он будет здесь! — убежденно говорил Тапочка— Хоть к четвертому действию, но будет.

— Братцы! — спохватывался кто-то. — Программка есть?

— Спятил? Не знаешь, на кого идешь?

— Озеров, Барсова, Сливинский, Златогорова! — обиженно выпаливал заподозренный в невежестве меломан. — Я не посмотрел, кто за оруженосца Манрико...

— Перегудов, морда!..

Да, мы достигли такой изошренности, что знали исполнителей даже самых маленьких партий. Пусть оруженосец Манрико поет всего две фразы, полагалось знать исполнителя не только по фамилии, но и по имени-отчеству.

Благорастворение воздушных масс кончалось с выходом из театра. Мы больше не общались с девятиинскими, хотя и не задевали их. Даже мимо нашего дома в Армянском они шли, не убыстряя шага, их охранял дух Манрико и Леоноры, Каварадосси и Тоски, Рудольфа и Мими...

Чем была для нас опера? Развлечением, удовольствием? Нет, чем-то неизмеримо большим. Мы жили сурово и деловито. Шумный, пыльный двор был бессменной декорацией нашего скудного досуга. Никто из нас не видел ни моря, ни гор, ни чужих городов. Опера уводила нас в пленительный мир, исполненный любви, героизма, самопожертвования, несказанного благородства. В детстве, точнее, на подступах к юности вовсе не первоклассное, тонкое искусство формирует души. На заре жизни нас лепят не Достоевский и Флобер, а Дюма и Жюль Верн, не Серов и Врубель, а Шишкин и Виктор Васнецов, не Бах и Бетховен, а Верди и Пуччини...

По возвращении из театра мы не расходились по домам. Музыка владела нами, томила нас, искала выхода. Мы шли на черный двор, где вдоль задней стены дома, метрах в четырех от нее, выстроились деревянные сараи. Здесь же медленно изгнивали в штабелях доски, бревна и прочий строительный материал, предназначенный для ремонта дома, который никак не мог начаться. Мы выбирали место напротив пустующих с непсковских времен конюшен, чтоб не тревожить жильцов первого этажа. Час был довольно поздний, хотя со двора еще доносились голоса и смех судачащих на крылечках женщин.

Мы никогда не повторяли только что прослушанной оперы. Она слишком чисто звучала в нас, чтобы посягать на нее нашими голосами. Обычно все вкусы сходились на «Риголетто».

Увертюру исполняли слухачи: Колька и Слава. Я особенно любил эту увертюру за ее предельную краткость: несколько нарастающих раскатов, где властвуют трубы и медь, и сразу — дворцовый бал и появление герцога.

Та иль эта — я не разбираю.  
Все они красотою, как звездочки, блещут.  
Мое сердце восторгом трепещет,  
Но не знает докучных цепей...

Это пою я. Пою с поразительным нахальством, бесстыдной выразительностью, самозабвенностью и полным отсутствием слуха. Голос у меня тоже черт те что, какая-то простуженная, носовая фистула. Толька Симаков с его чистым сильным дискантом и абсолютным слухом имел куда больше прав на теноровые партии, но по общему решению ему пришлось взять на себя репертуар сопрано. Контрольные партии поет Слава Зубков, и, конечно, он же ведущий бас. Павлик тешит себя мыслью, что у него глубокий баритон. Он переживает сейчас отроческую ломку голоса и, чтобы не пускать петуха, держит голос не в груди, а в гортани, кажется, что поет удавленник. Впрочем, он не вовсе лишен слуха. Зато я превосхожу всех музыкальной памятью: пусть фальшиво, приблизительно, но я могу пропеть любимую оперу от начала до конца...

Поскольку Джильда появляется лишь во втором действии, Толька Симаков трудится за графиню Чепрано, а Слава изображает всех придворных подряд. Прихрамывая, входит Павлик — Риголетто... Клянусь, я и сейчас испытываю волнение, вспоминая эти спектакли у дровяных сараев. Для нас все там творилось ничуть не менее достоверно, чем на сцене. Нам мерещились дворцовые залы, улицы и кабачки Мантуи, наши плечи ласкал атлас камзолов, бархат и шелк иных одежд. Объясняясь в любви Джильде, я видел не конопатое рыло Симакова, а нежный ангельский лик дочери Риголетто, — в этом смысле и оперная сцена призывала к известному насилию над собой, — мой голос звучал всей искренностью любовного томления:

О полюби меня, дева прелестная!

Я видел горб за плечами Павлика — Риголетто и холодную сталь под черным плащом Спарафучиля — Зубкова.

Но когда из разбойника он перевоплощался в огневую Магдалену, я тоже верил ему.

Ты красавица млада-а-ая,  
Я твой раб на все гото-о-вый.  
Можешь ты одним своим лишь словом  
Боль души моей увра-а-ачевать!..

И Магдалена, набивая себе цену, отвечала чарующим голосом:

Вижу, сударь, без сомнения  
Вы смеетесь надо мной!..

А несчастная, обманутая, брошенная Джильда тосковала:

То же мне твердил, неверный!..

И что-то невнятное хрипел баритоном Риголетто... Мы не огорчались отсутствием аудитории, у нас не могло быть более благородных слушателей, нежели мы сами. И все же на самом дне души теплилась надежда, что голоса наши достигают чужого слуха, но деликатные и благородные слушатели боятся спугнуть очарование.

Впрочем, как-то раз один невольный слушатель нарушил короткое безмолвие, отмечавшее по обыкновению финал знаменитого квартета. Он высунулся из окна третьего этажа, в майке-сетке, с голыми жирными и волосатыми плечами, один из самых презренных людей дома, зубной техник, деляга Коньков по кличке Золотишник, и загремел:

— Будете вы тут орать, мать вашу?! Хотите, чтоб милицию вызвал? — Что-то блеснуло в воздухе, и нас обрызгало холодной водой.

Оперный ансамбль мгновенно распался. Тольку Симанова как ветром сдуло. То была его обычная повадка — при первых признаках опасности дать деру под надежное крыло Данилыча. Я кинулся прочь с тем ликующим чувством, какое во мне всегда вызывал бег. Я здорово бежал и получал почти равное удовольствие от погони и от спаси-

тельного бегства. Я наслаждался и тем, что от меня не уйти, и тем, что меня не догнать. Но сейчас, сразу поняв, что прямой опасности нет, я спетлил бег и вернулся назад. Павлик и вовсе не убегал, он лишь ступил в тень, отбрасываемую сараями, и прижался к водосточной трубе. А Слава Зубков слез с бревен и вышел на самый лунный свет, под окна.

— Я тебя знаю, обормот! — Коньков далеко высунулся наружу, разглядывая Славу. — Ты у меня наплачешься, стервец!

— Бросьте, — спокойно и ясно прозвучал Славин голос. — Зачем шуметь? Мы же никому не мешаем. Разве плохо, когда люди поют?

— Ах ты!.. — зубной техник грязно и долго выругался.

— Ну, ладно... — вздохнул Славка и вдруг взорвался:— Молчать!.. Золотишник!.. Спекулянт!.. Это ты у меня наплачешься, жулябия, сволочь!..

— Ты что... сдурел? — забормотал испуганно Золотишник. — Чего орешь?..

— Замри, гнида! — Славка нагнулся, резко выпрямился, и обломок кирпича раскололся о стену под самым окном Конькова.

Зубной техник отскочил в глубь комнаты, затем показали две голые руки и с натугой притворили створки окна. То была явная капитуляция.

— Если нас отсюда турнут, — задумчиво сказал Слава, — нам хана.

— Здорово ты его!.. — сказал я. — Только вот кирпичом... надо ли?

— Надо, — убежденно сказал Слава, он отвечал мне, но смотрел на Павлика, видимо, больше считаясь с его моральной оценкой. — Иначе нам не петь. Конькова только страхом можно взять. Теперь он знает — пощады не жди.

— Правильно, — сказал Павлик. — Быстро же у тебя голова сработала.

— И руки, — добавил я.

— Подумаешь! — отмахнулся Славка. — Повторим квартет?..

— Джильды нету...

— А, черт!.. Рванем хор из «Трубадура»?

— Это когда куют мечи?

— Ага!

В опере нет более шумной сцены: сподвижники Манрико, готовясь к бою, куют мечи, тяжелые молоты с громом рушатся на металл, рассыпая слепящую искру, и под этот оглушительный аккомпанемент мощно и победно звучит хор:

Нам враг не страшен,  
Нам враг не страшен,  
Нам враг не стра-а-шен!..

Золотишник не появился. Мы отстояли свою оперу между конюшней и дровяным сараем...

Мы продолжали ходить в Большой и филиал и в последующие годы, но пение на задах дома вскоре прекратилось. Мы становились взрослыми и начинали стыдиться непосредственных поступков. Нужна настоящая, чуть усталая взрослость, чтобы снова не бояться быть смешным. Сейчас я с удовольствием пошел бы у дровяных сараев, хотя годы не прибавили мне слуха, да не с кем. Двое из нашего квартета не вернулись с войны. По странному совпадению оба погибли в огне: Толя — в печи. Бжезинки, Павлик — в подожженном гитлеровскими солдатами здании сельсовета, в котором он оборонялся с остатками своего отделения.

О Славе Зубкове я ничего не слышал до самого того дня, когда встретился с ним на дворовом сборище в честь двадцатипятилетия со Дня Победы. В отрочестве нас сблизило увлечение оперой, хотя поклонялись мы разным кумирам, затем пути наши решительно разошлись. Слава страстно увлекался математикой и постоянно решал головоломные задачи, исписывая мелом или куском извести тротуары и стены во дворе. Оказалось, что и прежде непо-

нятная нам Славика погруженность в себя объяснялась тем, что в мозгу у него непрестанно роились цифры и формулы, вступая в сложнейшие и запутаннейшие отношения между собой и требуя его вмешательства. Он спасался от них в спорт, в музыку, но они не давали ему разгуляться, вновь подчиняли себе. Я же терпеть не мог математику, и нам нечего было делать друг с другом. Мы раззнакомились настолько, что даже перестали здороваться. Слава вышел победителем Первой математической олимпиады московских школьников, и все были уверены, что он станет вторым Эваристом Галуа, которого напоминал гением, молодостью и решительным характером. К общему удивлению, он пошел в технический вуз, связав себя не с чистой, а с прикладной математикой. С тех пор я потерял его из виду...

Обнаружив Славу среди ветеранов двора, я испытал к нему большее влечение, нежели к другим друзьям детства. Он напомнил мне о Павлике и Тольке, которых я нес в себе как вечную память.

Славкин облик удивил и огорчил меня. Мы все с годами стали крупнее да и выше ростом, ведь люди растут и после совершеннолетия, а он усох, укоротился — какой-то старый мальчик, чуть надломленный в пояснице, худой, с вылуценным лицом. Единственный из всех он пришел в военной форме, китель сидел на нем мешковато, фуражку он держал под мышкой — был очень жаркий день, и его короткие серые волосы казались не поседевшими, а увядшими. Типичный отставник, приплывший в тихую гавань «без славы и без злата», — определил я его для себя. Правда, такое впечатление он производил издали. Когда нам удалось сойтись, Славин образ усложнился. На его погонах были крупные генеральские звезды. Инженер в генеральском звании — это вовсе не капитан Копейкин, каким он мне сначала привиделся. И весь его облик читался теперь иначе. Он мог позволить себе донашивать старую форму, потому что внешний вид не играл для него никакой роли. Он приехал прямо с работы, это чувствовалось по утомлен-

ному дыханию, теням под глазами, седоватой щетине, проступившей на худых щеках и подбородке, пятнышкам чернил на бледных пальцах. Его «непарадность» можно было в равной мере счесть трогательным доверием к старым друзьям и чуть барственной небрежностью человека, привыкшего к тому, что он не подлежит обсуждению. Я спросил его, помнит ли он о нашем увлечении.

— Да, конечно! — ответил Слава с той мгновенностью и точностью отзыва, что отличали его в детстве, но без всякого тепла.

— А в оперу ходишь?

— Нет! — он улыбнулся. Усохшее лицо его пошло морщинами. Улыбка сразу погасла, но кожа долго не могла разгладиться. — Давным-давно перестал. Не на кого молиться.

— Разве нет хороших певцов?

— Хорошие певцы есть, богов нет.

— Какое же твое хобби?

— Детективные романы на английском языке. Я подсчитал, каждый автор располагает от тысячи до полутора тысяч слов, как раз по мне.

— А не скучно?

— Ничуть. К тому же полезно. Мне английский нужен. Литературная макулатура помогает поддерживать форму.

— А по-русски ты совсем не читаешь?

— Ты, видимо, хочешь спросить, читал ли я тебя? Нет. Но я не читал и других современных писателей, если они существуют. Не хватает времени. — Вдруг он резко обернулся, и чуть обмякшее лицо его жестко подобралось. — Какой вздор! — громко сказал он своим тоже похудевшим, с неприятными стеклянными нотками голосом, заменившим прежний юношеский басок. — Какой пошлый вздор ты несешь!

Это относилось к Любке Горяниной, и я сразу вспомнил то, что безотчетно воспринимал мой слух во время нашего разговора с Зубковым. В скверике посреди двора, как и тридцать лет назад, играли дети, и Любка Горянина

выразила надежду, что этих детей помилует война и все другие опасности, столь щедро выпадавшие на долю нам. Мы только что отправили письма родителям погибших ребят: Павлика, Тольки, Арсенова, Бориса Соломатина, — видимо, это и натолкнуло Любку на ее высказывание.

— Когда люди избавятся от всякой опасности... когда им не нужно будет выбирать, они перестанут быть людьми, — закончил Зубков.

Возникла неловкость: сентиментальная и неприятная фраза Любки не требовала такой серьезной отповеди. Сама Любка даже не поняла, за что он на нее накинулся.

— Да разве я что говорю? — захлопала она глазами, а когда Зубков отвернулся, добавила с сердитой обидой: — Подумаешь, уж и сказать ему ничего нельзя!..

На долю Любки выпала довольно обычная и совсем невеселая женская судьба. Первого мужа она потеряла во время войны, работала на фабрике, растила ребенка, потом вторично вышла замуж — за пьяницу, обманывая себя надеждой, что в семье он перестанет пить, родила двойню и тащила тяжкий семейный воз, не жалуясь и не претендуя на сочувствие.

Почему же никто из нас не заступился за Любку, почему Славика выходка осталась без ответа? Мне кажется, мы смутно почувствовали, что он говорит о чем-то таком важном для себя, чего сейчас лучше и не касаться.

После своей вспышки Слава как-то выпал из общения. К нему обращались — он отвечал, коротко и ясно, так коротко и ясно, что продолжать беседу уже не хотелось. Сам он разговоров не заводил, лишь приглядывался — серьезно и внимательно — к окружающим. Он фотографировался вместе со всеми в дворовом скверике, у винных подвалов, в «саду» старухи Высоцкой и других памятных местах, быстро занимая место в заднем ряду. Глупо считать, будто он отбывал повинность дружбы — зачем ему? — но и никакого растворения в ожившем прошлом у него не получалось. Да он вроде и не стремился к этому.

Стихийно возникло предложение пойти в ресторан «Урал», что за Покровскими воротами. В нашей округе нет других увеселительных заведений, кроме этого мрачного и шумного караван-сарая, а мы хотели соблюсти верность родным местам. Никто не возражал: «Урал» так «Урал», лишь бы вместе. Когда уже совсем собрались, Слава надел фуражку, одернул китель и стал прощаться.

— Не по-товарищески, Слава!

— Брось ломаться!

— Одного вечера не можешь друзьям уделить!..

Он терпеливо выслушал наши упреки и уговоры.

— Ну, ладно, — сказал знакомо. — В ресторане надо пить, а я пас!

— Постой! — остановил его Сережа Лепковский. — Мы решили каждый год собираться в этот день...

— Без меня, — не дал ему договорить Слава, улыбнулся одними глазами, медленно поднес руку к околышу фуражки и сразу пошел прочь.

Оттого, что он хотел держаться прямо, а ему это плохо удавалось, он казался каким-то деревянным и вместе — непрочным.

— Во зазнался! — мстительно сказала Любка Горянина. — Подумаешь, генерал!..

— Ты дура, Любка, — сказала Лайма, — круглая дура.

— Правда твоя! — слезливо-радостно подхватила та. — Всегда я в дурах у тебя ходила, где же мне теперь поумнеть!..

Они всю жизнь прожили на одной лестничной площадке, дверь в дверь, в вечных обидах и ссорах, но обе знали, что быть им рядом до последнего часа. Любка давала сейчас маленькое, несерьезное представление на тему: «Лайма — зверь».

— Заткнись! — прикрикнула Лайма. — Ты что же, не понимаешь, что Славки уже нет?!

— Господи! — сказала Любка Горянина. — Это его в лаборатории угораздило?..

И тут я открыл, что знаю это почти с начала встречи. Его несчастье не было случайностью, вот почему он говорил о выборе... Совсем не трудно представить себе, как все произошло. «Ну, ладно», — вздохнул Слава и сделал тот шаг, что не даст нам больше увидеться с ним. «Надо, — сказал он когда-то под окнами Золотишника, — иначе нам не петь...»

# ЛИВЕНЬ

Ну вот, третьего дня свершилось — мы переехали. Я уже не парень с Армянского, не парень со Сверчкова и не парень с Телеграфного. Надо же, существовать еще недавно, подобно господу Богу, в трех лицах и стать никем! Я не могу считаться парнем с Кропоткинской, меня тут никто не знает, да и вряд ли будет знать — сроднение с улицей начинается через двор, а мне уже поздно начинать дворовую жизнь на новом месте. Я, можно сказать, вышел из того возраста, не за горами институт, лучше уж буду, как прежде, числиться по ведомству своих родных переулков. Тем более что остаюсь доучиваться в старой чистопрудной школе.

До последней минуты я не верил, что мы в самом деле переедем. Отец торжествующе потрясал сперва смотровым ордером, потом въездным, безмерно гордясь своей ловкостью, хотя, по мнению матери, квартиренку на Кропоткинской ему дали лишь потому, что все другие от нее отказались. Квартира и впрямь оказалась не ахти завидной: на первом этаже, крошечная, странной планировки. Кухня не вмещает даже одного человека, зад остается в коридоре, дверь ванной комнаты выходит в столовую, где по совместительству будет спальня родителей. Совершенно отдельная, без всяких совмещений, комната в десять квадратных метров отведена мне, потому что я уже «взрослый человек». Отец с матерью и Вероня перешагнули тот предел взрослости, когда необходима отдельная комната. Конечно, я догадываюсь, почему оказался в привилегированном положении. Предполагается, что ко мне в гости будут приходить девушки. Гости мужского пола охотно довольствовались общей комнатой.

По правде сказать, я вовсе не стремился принимать у себя подруг. Да у меня их и не было. Мои невинные романы носили сезонный характер, я жил по мудрейшему правилу Беранже: «Прощай вино в начале мая, а в сентябре прощай любовь». Вином я не злоупотреблял и в студеную пору, а вот девушки летом неизменно возникали — Афродитами из пены морской на Черноморском побережье, нимфами из подмосковных дубрав. С окончанием каникул наступала пора учения, книг, театров, музеев, серьезной мужской дружбы с Павликом, завязанной на общей цели: найти себя, и я от души желал летним спутницам вернуться в пучину вод или в темь дубрав.

Я не верил в отъезд и не хотел отъезда, не хотел отдельной комнаты. Меня устраивала наша огромная общая квартира с неизмеримо выросшим за годы населением. Я так сжился с каждым ее углом, с длиннющим коленчатым коридором, громадной, чадной, громокипящей кухней, дровяной жаркой ванной и глядевшей оконцем на голубятни уборной! Я любил белый фаянсовый умывальник в нашей комнате с красивыми старинными кранами, изображающими отверстую пасть морских чудовищ; любил наши окна, где по утрам сверкали золотые кресты Николы в Столпах, а в положенный срок зажигался молодой месяц; любил свой письменный стол, изрезанный перочинным ножом и лобзиком, — мой особый мир, незримо, но и нерушимо выделенный из общего пространства комнаты; любил музыку квартиры, тот слабый, затухающий лишь по ночам чудесный гудливый шорох, что слышен в морской раковине, если приложить ее к уху; этот шорох служил фоном для остальных звуков — бури кухонных баталий, тренька дверного колокольчика, песен, пляски, смеха и ярости пиров, балалаечных переборов, залетавших в коридор от Симаковых, и радиовсплесков — от Зубцовых. Я любил не только свою квартиру, но и весь наш большой — на три переулка — дом и его дворовые уголья — царскосельский сад нашего детства и отрочества. Пусть в последние годы я

отстранился от дворовой жизни, но все равно оставался частью ее, восполняя месяцы отчуждения одним прикосновением на бегу. А за воротами сплетались переулки, знакомые каждым углом, изгибом, каждой тумбой, фонарем, деревом, выщербленной асфальта. Я знал там в лицо всех своих сверстников, всех дворников, калек, чудаков, пьяниц, любителей кошек и собак, чистильщиков сапог, бывших богачей, потомков разных усопших знаменитостей. Я мог обнаружить тайное напряжение жизни, где постороннему виделись лишь пустота и скука. Я никогда уже не открою для себя *так* никакой действительности, потому что истинной глубиной обладает лишь мир, родившийся вместе с тобой.

Я продолжал не верить в отъезд, даже когда пришел грузовик и мы — отец, Павлик, Вероня, дворник Валил, шофер и я сам — снесли вниз и погрузили нашу мебель, обнаружившую склонность к саморазрушению, едва ее отторгли от родимых стен. В большой опустевшей комнате остались лишь квадраты и прямоугольники свежих обоев на месте, где стояли шкафы, кровати, комод и драное вольтеровское кресло. Отпечатки казались чуть смазанными в одну сторону, куда ложились тени вещей.

Толя Симаков не принимал участия в проводах. Он подошел ко мне, когда в квартиру с вульгарно-зловещим шумом царевубийц, черпающих бодрость в собственной бесцеремонности, ввалились шофер с дворником рушить наш бедный уют.

— Уезжаешь, да?.. Уезжаешь? — сказал Симаков, всхлипнул, больно ткнул меня кулаком в ребра и убежал в свою комнату.

Он не показался, даже когда все находившиеся в квартире жильцы приняли участие в поимке Джека. Старый, умный, знающий жизнь пес сразу смекнул, что мы уезжаем насовсем, и не захотел следовать за нами. Джек едва ли не больше моего был привязан к дому и двору. Я взял его, когда учился в первом классе, полуторамесячным щеноч-

ком с розовым брюшком, короткой мягкой белой шерсткой, малиновым зевом, обещавшим ангельскую доброту, и черными щечками, намекавшими на родство с фокстерьером. Джек вырос на редкость уродливым, шелудивым, злым и беспородным. Вернее, слишком много пород участвовало в создании такого шедевра, как Джек: такса уделила ему свои короткие кривые лапы, фокс — темный румянец на удлиненной морде, лайка — хвост винтом, бульдог — прикус и мертвую хватку. Джек в зрелом возрасте совмещал в себе качества крысолова — до него наша квартира кишела громадными рыжими крысами-пасюками; сторожа — он начинал лаять задолго до того, как тренькал колокольчик на кухне; ищейки — «Джек, ищи!» — и он находил мамины ночные туфли, отцовские очки, мои карандаши, ластик, пуговицы; охотника — он гениально шел по следу, находя меня при надобности в школе, на чистопрудном катке или футбольном поле в Сыромятниках. К тому же он был первым кавалером двора и окрестностей, ни один чемпион породы не произвел столь многочисленного потомства, как Джек, — его корявые черты проглядывали в молодых терьерах, спаниелях, боксерах и других аристократах, чью голубую кровь он под свежил ядерной плебейской струей.

Малыш Джек достался мне за тридцать копеек, я купил его с рук возле школы у какого-то мальчишки. Митя Гребенников уговорил меня взять его в совладельцы, обещая вернуть пятиалтынный, как только будет при деньгах. Джек должен был жить неделю у меня, неделю у Мити. Но еще до конца первой недели Митя сказал, что уступает мне свою половину щенка, поскольку ему вот-вот должны купить шведку. Родители считают, что шведка и щенок — слишком много для одного мальчика. Этой проклятой шведкой он травил меня все детство. Стоило мне хоть чуточку выиграть, поверить, что жизнь прекрасна, как тут же оказывалось, что не сегодня-завтра Митя становится обладателем шведки, и мою независтливую душу пронзало непри-

вычное, тревожное и острое чувство, весьма сродни самой черной зависти. При этом у меня не было отчетливого образа шведки, Митя говорил, что это вроде пони, но еще лучше.

Итак, Мите — шведка, а мне остался теплый комочек, ласковый, радостный, трепещущий нежной жизнью. Я не заметил, когда у него стал портиться характер. Со мной он сохранил свою приветливость и нежность, но для чужих стал Божьим наказанием. Он сызмальства отличался крайней самостоятельностью и шатался где придется, порой исчезая на два-три дня. Возвращался покусанный, в запекшейся крови, с разорванными ушами. Видимо, в этих странствиях и выработался его жестокий, решительный характер.

И все-таки Джека уважали. Он хватил за ногу мамину приятельницу, балерину Оленину, и та целый месяц не могла танцевать, прокусил щегольские хромовые сапоги старому чекисту, товарищу Данилыча по гражданской войне, тяпнул водопроводчика, терроризировал гостей Зубцовых и цветочницы Кати, но, когда после нападения на водопроводчика нам было предложено избавиться от Джека, вся квартира поднялась на его защиту. И даже молчаливый, необщительный Данилыч, рванув ворот рубашки, сказал, что грудью пойдет за Джека! Нас обязали купить Джеку намордник, тем дело и кончилось. К сожалению, по размерам морды Джека в продаже имелись лишь слабенькие наморднички, вроде кольцевой захлестки на пасть, не мешавшие ему отменно кусаться. Пришлось купить большой, глухой, корзинного типа, намордник для овчарки, невероятно удлинявший его рыло. Джек выглядел настоящим крокодилем. Жизнь его стала вовсе не сладкой. Он потерял возможность не только нападать, но и обороняться. И все же не оставил ни своей лихой, бродячей жизни, ни кавалерских наклонностей. Ох и грызли же его окрестные кобели, прямо в клочья рвали! Но Джек всей своей собачьей душой оставался предан Армянскому — жестокой, но

милой родине. Сейчас я сидел в пустой кабине грузовика — шофер куда-то отлучился, а заарканенный Джек, грузный, старый, с изморщиненным загривком, беспокойно ерзал у меня на коленях, высунув морду в открытое окошко.

Мать с отцом и Вероня уже отправились налегке к новым берегам. Метро от Кировских ворот привезет их прямо к дому. В кузове грузовика, на вещах, сидит Павлик. Он почти спокоен, мы обговорили наше будущее: после школы будем по-прежнему встречаться каждый вечер или у него, или у меня. Я тоже почти спокоен, во всяком случае внешне куда спокойнее Джека.

Подходит Любка Горянина, я впервые замечаю, как она вытянулась. Любка очень долго, в нарушение всех законов природы, отказывалась расти и взрослеть. Сейчас она наверстывала упущенное.

— Жекуля, Жекуля! — пристает она к Джеку. — Увозят тебя, увозят, бедного!.. А ты оставайся, Жек, слышишь?

Джек слышит и, судя по тому, как благодарно лижет худые Любкины руки, охотно последовал бы ее совету.

С этюдником на плече подходит Сережа Лепковский. Он свистит, и Джек, вскинув порванное ухо, поворачивает к нему морду в тщетной надежде, что явился избавитель.

— Здравствуй и прощай, крысолов! — смеется Сережа. — Жаль, что я не портретист, стоило бы написать твою чудную рожу!..

Двор живет обычной жизнью. Гремят телеги, грохочут бочки, всхрапывают битюги, переругиваются грузчики с возчиками. Валид, успевший потратить непредвиденный заработок, неуклюже отдирает ручкой метлы навоз, присохший к асфальту. Играют дети, среди них немало младших братьев и сестер моих друзей-соратников. Резко, остро пахнет прокисшим вином и глухо — листвой.

Мордан подходит, хочет погладить Джека, но вдруг вспоминает о дурацкой дразнилке, которой годы преследует меня:

— Большой, а без гармошки! — говорит он и сразу делает рывок прочь.

Его фраза раздражает и занимает меня своей бессмысленностью: во дворе полно больших ребят, и ни у кого нет гармошки. В деревне такое поддразнивание еще имело бы смысла, но в городе!.. А все-таки жалко, что я никогда больше не услышу: большой, а без гармошки !..

Появляется Арсенов с черными толстыми перчатками в устало повисшей руке. Оглядывает удивленно грузовик, вещи в кузове, Павлика на вещах, нас с Джеком.

— А силен твой кабыздох! — восхищенно говорит Арсенов, улыбаясь половинкой разбитого лица. — Давеча его кобели в лоскутья рвали, а он, бедный, ответить не может. Но молодец, держался, не дал себя нокаутировать! — И Арсенов, волоча ноги, плетется дальше.

Лайма выросла будто из-под земли, откинула загорелой рукой пепельные волосы с лица:

— Джечка, ты чего же нас бросаешь? И не стыдно тебе, не стыдно? — Она целует его, Джек, повизгивая от любви и горя, лижет ей щеки, губы, нос.

— Глисты будут! — кричит Вовка Ковбой.

Он сидит на пустой бочке с таким видом, будто всегда здесь был.

— Не уехал еще? — слышится голос Ивана. — Ну, будь!.. — он крепко встряхивает мою руку. — Ты, в общем.. привыкнешь, понимаешь?.. Хорошие ребята везде есть. А нас не забывай!..

Тут я понял, что и все остальные, хоть и заговаривали с Джеком, на самом деле прощались со мной. Лишь Иван сделал это в открытую.

— Эй, путешественник! — крикнул Ковбой со своей бочки. — Мы завтра в Парк культуры идем, присоединяйся!

Вот что значит атаман! Может, они, правда, собирались в парк, но, скорее всего, Вовка нарочно придумал этот поход. Его слова разом вернули мне утраченное мужество.

Ничего не кончилось, не оборвалось, завтра я опять буду с ними, жизнь продолжается.

— Спасибо, Ковбой, — говорю я. — Где и когда мне быть?

— У центрального входа, в одиннадцать.

Джек вдруг так рванулся из моих рук, что я его едва удержал. Дверца кабины распахнулась, и шофер рывком взлетел на сиденье. Джек загодя почуял его запах и сделал последнюю, отчаянную попытку к бегству.

Грузовик вздрогнул, хрустнули вещи в кузове, и мы тронулись. Джек завыл...

На другой день точно в назначенное время я подходил к центральному входу в парк. Я увидел их издали, с Крымского моста, хотя вокруг роилась толпа и найти их было совсем непросто. В этот по-июльски жаркий и паркий майский день все надели летнее: мужчины — белые рубашки, женщины — светлые кофточки. Наши ничем не выделялись, но мазок, обозначавший их в картине праздничной суеты, ударил меня по глазам лишь мной одним ощутимой яркостью.

Они приехали раньше, чтобы я не ждал в одиночестве, и трогательная их предупредительность заставила меня больно ощутить свою отдельность.

Лучшие люди двора собрались здесь: Вовка Ковбой, Лайма, Иван, Любка Горянина, Сережа Лепковский, Борька Соломатин, ну и, конечно, Павлик. Не хватало лишь Славы Зубкова, но он давно отбился от стаи, да Симакова, не простившего мне предательского отъезда.

Пожимая ребятам руки, я прямо-таки онемел от удивления, когда подчеркнуто стройная зеленоглазая девушка в белой шелковой кофточке, открывавшей высокую, стройную шею и руки до плеч, сказала грудным голосом:

— Ну а со мной ты не хочешь здороваться?

Но я уже протягивал ей руку, угадав в этом прекрасном существе тусклую, как осенние сумерки, девчонку из соседнего подъезда. Валю Зеленцову, с вечно больным, завязанным

горлом. Конечно, я сильно оторвался от двора, но все-таки видел, как мужают ребята, меняются, хорошеют девчонки, но то, что произошло с Валею, можно сравнить лишь с чудом Лайминого превращения. Но и Лаймане изменилась так вот, сразу. Я никогда не дружил с Валею, да и как было дружить с ней, когда она болела одиннадцать месяцев в году, а в последнее время мы и вовсе не встречались. Впрочем, кто знает, может, встречались, только я ее не узнавал.

— Что с тобой случилось? — спросил я.

— Вырезала гланды, — прозвучал невозмутимый ответ.

Ее спокойный, уверенный голос подсказал мне, что Валя давно уже существует в своем нынешнем образе и все мои удивленные восторги прозвучат не слишком уместно.

Мы потолкались у кассы, затем, несомые людским потоком, оказались на территории парка. То было первое солнечное воскресенье, и парк распирало толпой, как трамвай в часы пик. Здесь и в более спокойное время не знаешь, чем себя занять, ну а в таком ходыньском многолюдстве нечего и думать о развлечениях. От каждой тележки с газированной водой вилял длиннющий хвост; у чертова колеса и парашютной вышки каменно застыли утрюмые очереди, под стать хлебным очередям эпохи военного коммунизма; в эстрадном театре и павильоне мотоциклетных гонок по вертикальной стене билеты были распроданы на весь день вперед; в чудовищной тесноте, жаре и поту танцевальной площадки пары склеились, как восточные сладости на лотке; не пробиться было ни в комнату смеха, ни к силомеру-молоту, ни к «умственным играм». И мы просто слонялись, подвластные силовому полю толпы, — куда толкнут, туда и идем. И все же не было в моей жизни лучше прогулки. Я восхищался своими товарищами, такими красивыми, рослыми, подтянутыми и вместе по-спортивному раскованными, свободными. И Валя Зеленцова, и Лайма могли дать фору знаменитой «Девушке с веслом», парковой богине грации. Перед Вовкой Ковбоем и Иваном гипсовый «Дискобол» казался годным разве лишь к нестройной...

Мне было счастливо чувствовать их возле своего плеча и печально, что это все-таки остановка на пути к разъединению. Конечно, они останутся со мной и я с ними, но это будет уже нето, начнется другая жизнь, быть может, не менее захватывающая, но другая...

Впрочем, пока еще длилась эта жизнь: Вовка схлестнулся с атлетическим красавцем блондином, на котором повисли тоже блондинистые, но не от природы, густо намаленные девицы. Над павильоном «Пиво — воды» неуместно в блистании солнечного дня загорелась блеклая электрическая реклама: «Пейте натуральные соки» — и, просуществовав несколько мгновений, погасла, будто поняв свою неуместность.

— Пейте желудочный сок! — громко сказал красавец блондин.

Его крашенные дамы так и покатались от смеха.

— Молодой человек изволит острить? — язвительно сказал Вовка, задетый самоуверенным тоном красавца и неумеренным восторгом девиц. Тот с веселым вызовом обернулся к Вовке:

— Ну, для вас-то я не так уж молод!

Девицы опять покатались.

— Для меня вы всегда останетесь молодым! — Ковбой явно не в форме, ответ так себе, но теперь наш клан раздражается дьявольским хохотом.

— Захотели сильных ощущений? — блондин стряхивает с рук девиц и оценивающе, но и без всякой робости оглядывает Вовкины бицепсы. Вовка присматривается к нему. Но драки не получилось, их разделила толпа.

— А вот в Одессе я видел оригинальную рекламу, — говорит Сережа Лепковский, надеясь развеять кровожадный туман. — «Чтобы сил своих моральных и физических сбережь, пейте соков натуральных, укрепляйте грудь и плечь».

Ребята смеются, а я думаю о том, что Вовка как-никак задел взрослого человека и взрослый, здоровенный парень не счел ниже своего достоинства связаться с Вовкой. Мы

уже не дети, черт возьми, мы можем тягаться со взрослыми, к нам может запросто прийти подруга в гости. Дорогу, дорогу армянским ребятам!..

Мой беззвучный клич пропадает втуне, никто не собирается уступать нам дорогу. Впрочем, ничего бы не изменилось, даже если б я заорал во всю глотку. А вскоре равнодушная и неумолимая толпа разъединяет нас, расклевывает, как стая мальков хлебную корку. Вот уже пропали в людском водовороте Лайма, Иван и Вовка, затем отгрошились Любка Горянина и Борька Соломатин. Еще какое-то время мелькал рядом Сережа Лепковский, но вскоре и его унесло. Мы остались втроем: Валя, Павлик и я.

Надо очень крепко держаться друг за друга, чтобы не потеряться, и, видимо, Павлику это не удалось, мы оказались вдвоем с Валею. В другое время я непременно стал бы искать и нашел Павлика, но сейчас я даже радовался, что он исчез. С каждой минутой во мне росла взволнованная уверенность, что Валя и есть та девушка, которая придет в мою новую, отдельную комнату.

Откуда могло возникнуть подобное чувство в этой давящей, в лавине, увлекающей тебя невесть куда, не давая оглянуться, разобраться, перевести дыхание, понять, где ты и что с тобой? То потерянный, то зовущий на помощь взгляд, радостная улыбка, опережающая короткое сближение, рука, ищущая твою руку, нежная слезка друг за другом, когда, казалось, уследить нет никакой возможности, и то, что после безнадежных разъединений, уже потеряв почти всех друзей, мы вновь неизменно оказывались вместе, — разве этого мало?

И вот, оставшись вдвоем, мы сплели пальцы, теперь нас не растащить, не разорвать, разве что с мясом, ибо мы стали как одна плоть.

Что-то случилось с толпой. Она вся повернулась, будто на оси, в сторону центрального выхода, утратила свою монолитность, пошла щелями, трещинами, разломами и, обретя эти пустоты внутри себя, стала уже не толпой, а множеством испуганных людей. От Крымского моста, закрыв

полнеба, надвигалась в проблесках молний, в глухом, роко-чущем громе громадная иссиня-черная туча. Ее графитный плотный передний край, скрадывая синь неба, приближался к солнцу, недавно миновавшему зенит, а в глубине своей туча была белесой, слабой: верно, выкрошивалась оттуда градом. Ну и туча! Гром., угрюмо ворчавший в ней, казался непричастным к блистанию молний, значит, гроза еще далеко и остается надежда на спасение.

Мы с Валею переглянулись и сперва с прохладцей, затем, подхваченные общей веселой паникой, во весь дух устремились к выходу. После, не теряя скорости, мы мчались к мосту, на серебряных ребрах которого молнии вспыхивали автогенной сваркой.

Мы были на мосту, когда гроза, покончив с пустыми угрозами, во весь голос заявила о серьезности своих намерений. Длинная отвесная молния упала на город, далеко, за Остоженкой, — странен был ее отблеск в фольге застывшей реки, — и тут же, без проволоки, грянул такой громище, что виски заломило. И, не дав оправиться от потрясения, другая молния пересчитала подвесы моста, и гром прозвучал в самом металле.

Мы не обогнали грозы. Уже в виду станции метро с голым, обобраным окрестом — исчезли все газировщицы, мороженщицы, цветочницы и папиросницы, — нас затопил огромный ливень. Он возвестил о себе дробью тяжелых, полновесных ударов, будто не дождевые капли окропили крыши, стены, листву деревьев, асфальт, а ртутные виноградины — пригоршнями из могучей длани. И сразу рухнул поток. Дождь бил в полуоткрытый от усталости рот, словно струя вина из бурдюка. Одежда приклеилась к телу, волосы облепили лоб, виски, щеки, в туфлях смачно, жирно зачавкало. Ни к чему стало торопиться. Мы, как водяные, уже не мыслили себе иного состояния, кроме такого вот, вдрызг измокшего. И мы пошли неспешным, прогулочным шагом. Нас все время обгоняли люди, и к метро мы подошли почти в одиночестве.

Очутившись в прохладно-мраморной суши вестибюля, мы глянули друг на друга и рассмеялись. Ничего не скажешь — хороши! Пока я бегал за билетами, Валя успела отжать волосы и даже закрепить их наподобие прически. Стряхнув с одежды влагу и утеревшись кое-как носовыми платками, мы побежали к поезду.

Но в вагоне мы почему-то опять потекли, и сухие пассажиры поспешно раздались, окружив нас почтительной пустотой. Нам было радостно и весело, словно мы приняли участие в чем-то необыкновенно хорошем и справедливом. Да так оно и есть: если бы не ливень, нам пришлось бы проделать бесчисленные километры навстречу друг другу. А ливень свел нас и повенчал без сватовства и стовора...

Когда мы вышли на Кировской, ливень утих, и сейчас сеялся мелкий грибной дождик, подсвеченный солнцем из-за тучи, отваливающейся к Сретенскому бульвару. Но улицы были странно пустынные, люди не верили, что чудовищная гроза отбомбилась и не пойдет на новый заход.

А может, это и правда лишь временное затишье? Со стороны Покровских ворот напозвала свинцовая пелена, обещающая уже не ливень, а нудный, затяжной дождь. Мы побежали бульваром к Телеграфному переулку. Подножия деревьев обметаны тающими градинами, ожерелья из градин тянутся по закрайкам газона, и трава выбелена градом. Мы уже приближались к дому, когда солнце скрылось и дождь припустил, колючий и холодный.

Мы долго стояли в Валином подъезде, она чуть в глубине, невидная с улицы, а я на самом пороге, упершись рукой в дверной косяк. Эта поза возникла у меня непроизвольно, тело само нашло ее, и лишь спустя какое-то время я вспомнил, что так нередко стояли в подъездах многие наши старшие ребята. Пробегая через двор, я рассеянно удивлялся: охота же им так бесцельно подпирать двери! А теперь пришел мой черед, и у меня не возникает сомнения в значительности и необходимости такого вот подпираания дверей.

Бурлили ручьи, садик посреди двора стал озерком, текло с карнизов, хлестало из труб, а расточительные небеса еще поддавали во всю эту мокреть.

Валино лицо побледнело, а глаза казались темными от расширившихся зрачков.

— Тебе холодно!

— Н-нет, ничего! — ее зубы выбили дробь. — Нет, мне совсем не холодно!

Она не могла пригласить меня к себе, но готова была трястись от холода, чтобы длилась наша встреча под шум дождя. И я решил: :

— Валя, ты придешь ко мне?.. — И поспешно, чтобы не дать ей сразу отказаться, добавил: — Я живу теперь один, ну, конечно, не один, но у меня своя комната, совсем отдельная. Ко мне просто доехать, это у метро «Дворец Советов»...

— Зачем так много слов? — Валя провела ладонью по моей щеке.

— Ты придешь?

— Какой у меня сегодня удивительный день! — она засмеялась. — Ты зовешь к себе, а утром Павлик признался в любви.

— Ну, что ты! — у меня вдруг сохлось горло. — При чем тут Павлик? Он мне ничего не говорил...

— Так уж он тебе все докладывает?.. Он давно ко мне не ровно дышит.

Она говорила правду, я это сразу почувствовал, как и то, что Павлик ей не нравится. Но вот беда, он мне нравится... И видно, далеко ушла та пора, когда я легко мог наступить на его сердце.

— Все правильно! — сказал я. — А как же еще могло быть!

— О чем ты? — она мгновенно насторожилась.

Но как было объяснить ей мистику нашей дружбы с Павликом? Мы так сроднились, так срослись, что совпадаем почти во всем. У нас с ним, как в песне: «Весело было нам, все делили пополам». Мы делили книги, музыку, меч-

ты, надежды, неудачи, отношения к людям. У нас общий вкус, общие мерилa поступков, событий, истории. Нас волнуют одни и те же женщины в литературе, в живописи, в кинофильмах и на улице. Если мы не одновременно делаем какое-либо открытие, то наталкиваем друг друга на него — прямо, или исподволь, или безотчетно. И можно смело утверждать, что мы с Валеи не стояли бы здесь, если б утром ей не объяснился в любви Павлик. Сам того не желая, он открыл мне Валею.

Откуда мне было известно, что рвать надо сразу, как бинт, присохший к ране. Мгновенная боль легче медленно-го терзания. Ничего такого не было в моем душевном опыте, но почему-то я это знал.

— Ладно! — сказал я. — Пошел!

— Что ты врут?.. Ведь дождь... — Голос прозвучал нерешительно, она меня отпускала...

Что случилось в природе? Описывая крути, гроза вновь и вновь заходила на город. Она начисто израсходовала взрывчатку — ее слабые, редкие сполохи творятся в тишине, — но неустанно выжимает одну тучу за другой на тонущую и без того Москву. Мужественные мои сограждане решили не отсиживаться дома и принялись осваивать тритонье существование. На улицах, ставших реками, полно народу.

Мутная, глинистая, бурая впрожелть вода неслась по улице Кирова, вливалась в озеро на Дзержинской площади, водопадом низвергалась к Театральной, но, перехваченная могучим потоком с Неглинной, билась и пенилась против ресторана «Метрополь», как над порогами.

Вода несла какие-то зазевавшиеся предметы: складной стульчик магазинного сторожа, метлу, детскую куклу, зонтик, всевозможный мелкий сор. Ее пытались перехватить, обуздать, открывали люки, заслонки, но она не замечала жалких ловушек. Стояли заглохшие, по дверь в воде, машины. Трамваи дергались и тут же замирали. У Манежа упавшая лошадь тянулась из воды худой шеей, возчик и доброты, по пояс в воде, пытались ей помочь.

Увидев, что многие люди идут босиком, держа ботинки в руке, я тоже разулся, закатал брюки и впервые в жизни коснулся босыми ногами московской тверди. Теплая вода щекочуще обтекала ноги. Я вдруг почувствовал необыкновенное доверие к взбаламученному городу, чей асфальт мягко, как акуловский большак, ложился под мои ступни. Я выпустил из рук спасательный круг Армянского переулка. Не надо цепляться за прошлое. Если ты жил в нем глубоко и сильно, оно все равно останется с тобой. Девушка, которая рано или поздно придет в мою комнату, не будет Вале́й Зеленцовой, но и Валя уже случилась, вспышкой, мгновеньем, спасибо ей...

Так шел я босиком по всплывшей Москве, будто из леса после дождя, когда усталым ногам чудесно ступать по теплым лужам, — в той легкой печали, без которой нет истинного счастья...

Я написал эти слова и задумался. Счастье?.. Да правда ли чувствовал я счастье, или надеяю им сейчас, из дали лет, свою молодость? Уж больно плохо оборудовано для счастья было то грозное время, когда, опробовав оружие в Испании, фашизм готовил мировую бойню. Да, это так, но счастье все-таки было, и не с молодого дуру и не сослепу. Мы знали — говорю от лица своих сверстников, — что решающая схватка с фашизмом неизбежна, что мы зреем жатвой будущей кровавой и беспощадной войны, но мы держались, как жители гор, сызмальства ведающие свою предназначенность долговому веку. И это правда. Правда целого поколения...

А дома меня ждало печальное известие: пропал Джек. Ушел с утра и не вернулся.

— Придет! Он и раньше так делал.

— Ну, что ты сравниваешь! — сказала мать. — Там ему было все знакомо, а здесь... Ему же ничем здесь не пахнет. Наверное, он ушел туда.

— Куда? — спросил я тупо.

— Домой. В Армянский.

Мать была права, Джек отправился назад, к старому порогу, потому что не признавал другого места своим домом. Он же не владел человеческим даром самоуверждения, и его преданное сердце невозможно было обмануть.

— А может, он доберется?

— В такой ливень!..

Я вспомнил потоки воды на улицах, распахнутые люки, а ведь среди многочисленных предков Джека не было водолаза...

# ВОРОБЬИ ПОД КРЫШЕЙ

Я столько раз то сливался, то разъединялся с этим человеком, не порывая окончательно, что в конце концов и сам перестал понимать, где я, где он, где мы, то есть сцеп, слияние его и меня. Он назывался разными именами, был и моим тезкой, раз даже носил мою фамилию, что вовсе не означало, как я сейчас понимаю, полного соответствия мне. Но я долго заблуждался, будто управляю им, пробуждаю к жизни и опускаю в закат, что вне моей воли он не существует. С некоторых пор я обнаружил, что совсем запутался с ним, хуже — он обрел странную и возмутительную самостоятельность, стал ничуть не менее реален, нежели его создатель. Теперь он всякий раз сам называет себя. Я собираюсь писать вовсе не о себе, задумываюсь, как бы выразительнее назвать своего героя, но кто-то нашептывает мне в ухо: это Петров или Гущин, и в нарочитой простоте фамилии, годной скорее для псевдонима, нежели для родового имени, открывается, что не существующий вроде бы еще персонаж уже знает, кто он, и намеревается представлять меня, а не жить собственной, обособленной жизнью.

Вот и сейчас я хотел писать от первого лица, от Я, своего собственного, а не условного. Я. Не рассказ — быль, подлинный случай, как мы зашли с женой в плохонький рыбный ресторанчик на Чистых прудах, на самом берегу водоема, где раньше, в мои школьные годы, находилась теплушка чистопрудного катка с пупырчатым, потрескавшимся естественным льдом. И вдруг обнаружилось, что нельзя рассказать об этом без подмены себя кем-то другим, очень похожим, но не настолько, чтобы он знал обо мне все. Убей меня Бог, если я понимаю, почему это так и почему он вдруг назвался Сергеевым, но он научил меня

принимать все его превращения на веру и не спорить. Иначе вообще ни черта не получится.

Итак, Сергеев поехал с женой на Чистые пруды, где он родился, рос и учился в школе, поставил машину напротив ресторана, чтобы видеть, как ее будут угонять, и перевел жену по люто скользкой декабрьской наледи через улицу и рельсы все той же «Аннушки», что прогремела сквозь его детство своими одинокими, бесприцепными вагончиками, без устали колющими центр города. Его умилило, что в мире, где все переменилось, подчас неузнаваемо, сохранился очажок верности: старый трамвай все так же мчится мимо старых деревьев, старого бульвара. Сергееву хотелось сказать об этом жене, но ведь она была ленинградка и это чисто московское умиление едва ли найдет отклик в ее душе. Естественно возникал вопрос: для чего вообще потащил он жену в этот второразрядный ресторан на берегу неопрятного по гнилостной поре пруда? Осень залезла в зиму и упорно не давала ей Отбелить изгвазданный ноябрем город. Только ляжет снег на крышу, деревья, мостовую и тротуары, как тут же с низкого сумрачного неба начинает сочиться какая-то черная жижа — дождь, растворивший в себе копоть, сажу, содержимое автомобильных выхлопов, и снег замешивается в отвратительную черно-желто-серую кашу; к вечеру мороз напекает на ней корочку, а мостовую затягивает ледяной пленкой, поверх которой растекается вода. Ни ходить, ни ездить, ни дышать, ни жить нельзя. Крайне неподходящая погода для паломничества в прошлое.

Сергеев с женой происходили не только из разных земель, таких во всем разных, как Москва и Ленинград, но также из разных эпох — она родилась в год, когда он кончил школу. Друг друга они нашли после крушения и старались не слишком ворошить прошлое. Хоть ты и выбрался из-под обломков с рожей в крови, в синяках и ссадинах, надо делать вид, будто шел навстречу другому легкой, скользкой и величавой поступью, как небожитель по солнеч-

ному лучу. Это не просто требование хорошего тона, опрятность поведения, а нечто более важное, что должно спасти и возвысить союз на обломках. Но кроме недавнего прошлого, обратившегося в гору мусора, у Сергеева существовало и другое, представлявшееся ему непреходящей ценностью: его детство. И Сергееву, неизменно находившему нравственную опору в днях своего начала, захотелось ввести туда жену. Без детства он не полон, не равен себе, настоящему. Быть же полным, быть самим собой в глазах любимой — стремление естественное и не нуждающееся в расшифровке. Но он никогда не подмечал сходных намерений у жены. Не то чтобы она старалась загородить свою раннюю жизнь от него, исключала прошлое сознательным усилием, нет, когда клочки былого взметывались тополиным пухом, она позволяла им сколько угодно залетать в окно. Но никогда не трясла дерева собственноручно. Они были разные люди. Он мог по праву сказать о себе навязшую в зубах фразу Экзюпери: я из страны своего детства. Она не посягала на подобные утверждения.

Конечно, лучше бы перед ними оказалась старая теплушка с маленькой раздевалкой и русской — это в центре Москвы-то! — печью, насквозь продуваемая во все концы, грязноватая, прокуренная, пахнущая печным угаром, мокрым снегом и жареными на машинном масле пирожками с повидлом — бедный и прекрасный запах детства начала тридцатых годов, — нежели современный с виду рыбный дворец, лишенный и связи с прошлым, и какой-либо характеристики, что послужила бы вызовом былому. Но его омывали прихваченные ледяными стрелками темные воды пруда, а из окон можно оглянуть бульвар в сиротливости стыка осени и зимы — голые черные деревья, мокрые зеленые скамейки, расквашенные рыжие дорожки, редкие торопливые прохожие, а по другую сторону бульвара — «Колизей», некогда великий «иллюзион» всех окрестных ребят, ныне утраченный, как утрачиваются все иллюзии, — его перестраивали под театр.

Вошли они в ресторан, поднялись на второй этаж, где находился гардероб. Седоусый швейцар объявил с таким видом, будто речь шла о великом достоинстве заведения, выделявшем его среди всех подобных: «У нас не топят!» В застекленной двери виднелся просторный караван-сарай с высоченным потолком, под которым летали какие-то птицы. Сергеев отнес последнее за счет игры зрения. Но от пустынности и выси помещения с реющими под небесами на стропилах птицами пахло мозжащей студью. «Бр-р!» — сказала жена и зябко потеряла руки. «Вообще не топят или только сейчас?» — зачем-то спросил Сергеев. «Вообще топят. Котел на ремонте», — пояснил швейцар. «Значит, можно не раздеваться?» — сделал вывод Сергеев. «Как же так? — обиделся швейцар. — Небось в ресторан пришли, не в забегаловку». Продолжать дискуссию не имело смысла. Еще немного, и все духи, если они навещают это место, отлетят навсегда. «Возьми мое кашне, — сказал Сергеев жене. — Шапку не снимай, а там я тебе дам пиджак». — «Дай мне лучше джемпер, — сказала она. — Мне хватит». Она говорила очень серьезно, без тени улыбки. Как все ленинградцы, пережившие в детстве блокаду, она легко мерзла, легко простужалась и легко уставала. Чего-то недополучивший в пору формирования организм не обладал ни выносливостью, ни сопротивляемостью.

Под негодующим взглядом швейцара, уважавшего студеное место, где он служил верой и правдой, Сергеев снял пиджак, стянул через голову джемпер и вместе с шарфом отдал жене.

Почему-то гардеробщик выдал ему два номерка, сопроводив это небольшой лекцией по поводу отсутствия вешалки на кожаной курточке жены. «Не дам я изгадить себе настроение», — думал Сергеев, отмалчиваясь на словесные извержения гардеробщика.

Они прошли в зал и заняли столик почти в центре, чтобы вокруг были окна с темнеющим за ними чистопрудным миром. Настроенный на дальнейшее «сопротивление

материала», Сергеев был приятно удивлен, умягчен и рас-  
троган покорной вежливостью молоденькой официантки.

— Пожалуйста, не спрашивайте ничего рыбного! —  
попросила она, беспомощно прижав посинелые кулачки к  
груди.

И все же в меню оказались незачеркнутыми селедка с  
картошкой и уха по-рыбацки...

— Твое здоровье! — сказал Сергеев.

— Твое здоровье! — сказала жена.

Она понимала, что для мужа это не просто очередной  
ужин в ресторане. и вопреки обыкновению выпила рюмку  
до дна.

Водка согрела, но ненадолго. Стынь огромного нетоп-  
ленного помещения уже успела пробраться до костей. Серге-  
ев подумал, что им долго не выдержать. Он ошибался. Хо-  
лод, все глубже внедряясь в тело и становясь условием здеш-  
него существования, докучал меньше и меньше. Вот так  
здесь полагалось жить: дыша паром изо рта, напрягаясь  
против холода, пошевеливая пальцами ног, чтоб не занеме-  
ли, превозмогая зубную дробь и радуясь короткому прито-  
ку тепла с очередным глотком.

Неожиданно и громко ударила музыка, и во все сторо-  
ны заметались птицы, обитавшие под крышей. Сергеев не  
поверил в них поначалу, но птицы действительно были, и  
сейчас их большие тени заскользили по белым скатертям  
столиков, по светлому пластику, устилавшему пол, по сте-  
нам и долгим занавескам. И случилось, что на белизне сте-  
ны или занавески темная трепещущая тень съеживалась,  
уплотнялась и вдруг рождала из себя маленькое тело воро-  
бья.

— Какие воспитанные воробьи, — заметила жена. —  
Они совсем не пачкают.

Сергеев обычно хорошо держал выпивку, но сейчас его  
повело с двух рюмок. Водочные градусы соединились с ка-  
ким-то другим жаром, волнами окатывающим настывшее  
нутро, и он понял, что заболевает. Он простудился раньше,

конечно, еще до прихода сюда, а промозглый холод этого сарая выгнал нездоровье наружу.

Но почему-то ему не хотелось делать пресловутое гетевское усилие, чтобы изгнать болезнь или хотя бы не дать ей окончательно завладеть собой. Не хотелось ему и сопротивляться быстрому захмелению, объяснявшемуся, конечно, жаром. Ему нравилось отдаться волнам недуга и хмеля, спокойно ждать, куда вынесет. Но замечание жены встряхнуло его и огорчило: значит, она не поняла, в какой очарованный мир ее привели. Ей, верно, кажется, что неотопливаемый среди зимы ресторан, по которому вольготно летают воробьи, принадлежит московскому привычью, разряду бытовых нелепиц, столь частых в нашей жизни. Неужели она не понимает, что все это атрибуты тех непременных, всегда чуть нелепых, ребячливых, плоско-театральных условностей, с которыми от века обставляется каждое посвящение?

— Это вовсе не воробьи, — сказал он, морща лицо. — Это детские души... Души чистопрудных мальчишек и девочек, которых уже нет.

Жена никак не отозвалась и стала разливать уху по тарелкам. Пара от серебристой жидкости не шло. Сергеев задумался: а существует ли на самом деле взаимопонимание близких людей или все говорят на разных языках и только притворяются удобства и дела ради, будто понимают друг друга? Речь идет не о простых и грубых житейских очевидностях, без которых была бы невозможна практическая жизнь, — тут люди как-то договариваются, — а о том, что уходит в тайну духа. Бывает ли тут постижение или хотя бы интуитивный охват чужой заботы, тревоги, муки? Для него нет никого ближе сидящей рядом с ним женщины, неторопливо, с воспитанной красотой движений и легким отворачиванием поглощающей остывшую уху, но слышит ли она его?..

Ему не нужно было ничего рассказывать о державе, именуемой Чистые пруды, ну хотя бы потому, что это самый бездарный и безнадежный способ ввести другого че-

ловека в свой мир, пусть даже нарочитому рассказу помогают удачные декорации. Вот если бы она поверила, что воробы — это души ушедших!.. Ну а сам-то он верит? Да, он мог бы заплакать в доказательство своей веры.

Она отставила тарелку, придвинула судок с мясом и, не попробовав, принялась энергично солить и перчить. Ей всегда было не солоно и не перчено даже в грузинских ресторанах, где пища обжигает рот. Это было странно: люди, пережившие блокаду, не любят острой еды, пряных соусов, крепких приправ. Все ее действия обнаруживали если и не нарочитую, то естественную и оттого еще более обидную приверженность к твердой почве. Она не шла за ним не потому, что не могла, а потому, что не хотела. И было непонятно и чуть жутковато такое упорство в кротком человеке, в женщине, наделенной той высшей женственностью, что и на своем пределе — идиотизме Душеньки — все равно пленительна.

А может, она ревнует к детству, как другие ревнуют к бывшей жене и всему тому кругу, что был связан с ней? Да нет, ревновать пожилого человека к детству — это не от серьезной, доброкачественной жизни. Она же всем прямым и строгим существом своим была отрицанием мнимостей праздной душевной игры. Истина в другом. Почему она сама никогда не вспоминала хоть о каких-то малостях и милостях дней своего начала?

— Слушай, а у тебя было детство? — спросил Сергеев. — Где твои Чистые пруды?

— Мое детство, мои Чистые пруды, — медленно произнесла она, — это Пискаревское кладбище..

То был удар под ложечку. Нокаутирующий удар. Но у него, как у каждого поверженного на доски ринга, было десять секунд, чтобы встать. Весь вопрос в том, сумеет ли он встать. Нет, не сумел.... Когда же через некоторое время он взялся с другой стороны, она решительно отвергла букет софистики, подобранный, надо сказать, умело и со вкусом. Не пошла ни на какие уступки. А ведь от нее требова-

лось не так уже много: отказаться от слишком крайних утверждений, что-то смягчить, где-то признать законность спасительного «но» и что жизнь не однолинейна...

— Однолинейна — не однолинейна... Все крайние утверждения условны. Не условно вот что. Я пошла на большой перемене домой поесть студня из столярного клея. Школа находилась на Кировском, почти напротив дома. Помнишь скверик за улицей Скороходова? Вот на этом самом месте. Я стояла у окна, когда попала бомба. Взрывная волна ударила наш дом по первым двум этажам, а у нас даже стекла не вылетели. Я доела клей и побежала на улицу. Тревогу не объявляли — это был случайный самолет. Я видела, как выдавали родителям то, что осталось от моих подруг. Никто не знал, получил он родную частицу или чужую. Нашей школе отвели целый участок на Пискаревском кладбище. Потом я много раз бывала там, в последний раз уже после блокады, когда провожала своего отца.

— Тебе было всего двенадцать лет, когда кончилась война, — сказал Сергеев.

— Что ты! Гораздо больше, чем сейчас. А потом я все время болела. Вернее, не могла выздороветь. Когда же выздоровела... считалось, что выздоровела... то была уже взрослой девушкой. Я и сама не заметила, как это произошло. Впрочем, у меня было и другое детство, судя по шраму на ноге. Перед войной мне подарили замечательный набор для игр в песочек — всякие формочки, лопаточки — и повели в Александровский сад. Я стала печь куличи, но испугалась большой собаки, с размаху плюхнулась на железную пирожницу с острыми краями и разрежала ногу до кости. Это было в июне сорок первого. Я рассказываю с маминих слов. Я не помню ничего довоенного. Мне отшибло память первой же бомбежкой... А вообще мне нравятся люди, которые нежно вспоминают свое детство...

— Тогда почему же?..

— Кто это сказал: дурно считать взрослую жизнь не в меру разросшейся ботвой на сладком клубне детства? Бе-

гун, который все время оглядывается назад, в конце концов проигрывает.

— А почему ты решила, что я хочу выиграть?

— Раз бежишь, значит, хочешь.

Выходит, она отстаивала эту пустоту за плечами. Виновата в том война, но человеку все его, даже навязанное силой, против воли, становится настолько своим, кровным, что он готов защищать ущерб как некую привилегию. Ну а ему, Сергееву, дорого и важно, что за окнами ресторана он видит дорожки, протянувшиеся через всю его жизнь. Они, словно ручьи, втекающие в реки, вливались и вливаются во все большие дороги его жизни и делятся в них. И как хорошо, что наступление нового не означает для него отмирания старого, что корни его неизменно оставались в той самой почве, куда его бросили семечком. Ушедшее соединяется в нем с сущим и вот с этой ленинградской женщиной без детства, и потому его бытие полно, плотно и завершено, как яблоко. Как спелое, тяжелое, прохладное, округлое антоновское яблоко!

— Все это так, — сказала она, будто читала его мысли, — но в детстве ты просто жил, а в остальные годы все примеривал к детству, проводил параллели, и, конечно, не в пользу настоящего. Лишь потерянный рай — истинный рай, это общеизвестно, но есть что-то страшно несправедливое и бесплодное в этом упорном сопоставлении сегодняшнего с вчерашним. У человека бытового это оборачивается черствостью и притуплением зоркости к окружающему, у человека творческого — инфантильностью. Разве живые могут соперничать с мертвыми, разве то, чем ты обладаешь сейчас, может сравниться с потерянным ушедшим, миновавшим? Слишком крепко засевшее в человеке детство обесценивает настоящее, ну, если и не обесценивает, то мешает ему.

— Чего же ты хочешь? — спросил Сергеев. Голова пухла и трещала от выпитого, температуры и ее упрямого многословия, за которым он не мог уследить.

— Чтобы ты шел, а не пятился. Детство — это праздник, который всегда с тобой, так и носи его свободно и легко. Что ты все время хлопаешь себя по карманам? Никто не украдет твою сокровище, его просто нельзя украсть. Но чем дальше, тем вернее и безнадежнее это сокровище будет становиться просто, ношей, тяжелой, обременительной, вяжущей по рукам и ногам. Тебе просто не хватает мужества...

— Ну, знаешь! — перебил он возмущенно и поднял голову, пудовую, как пушечное ядро. — Что ты сказала?

— Я ничего не говорила.

— Как не говорила?

— Так. А ты, кажется, уснул... Плохо себя чувствуешь?.. — спросила она с тревогой. — Зачем я у тебя джемпер отобрала!..

— Чепуха! Я уже пришел простуженным.

— Бедный паломник! — сказала она с нежностью. — Бедный, бедный паломник!

— Ты правда ничего не говорила? — спросил он подозрительно.

Она чуть пожала плечами:

— Что-то говорила...

Сергеев внимательно посмотрел — на жену. Худое большеглазое лицо, твердая нежность довольно большого рта, тонкие длинные пальцы. Он будто впервые увидел хрупкую силу женщины, которую любил. Последней в его жизни женщины, той, что закроет ему глаза. Ей совсем немного нужно было от него — к тому, что уже имела, еще немного взрослости.

Около трех месяцев воевал он на Ленинградском фронте, один день провел в блокадном городе, увидев и слишком много, и слишком мало (там была девочка, питающаяся клеем, — его будущая жена), но лишь через десять лет после войны пришел на Пискаревское кладбище. К воротам было прибито объявление на бледно-зеленой фанерной доске с длинным списком запретов.

Ни на одном другом кладбище Сергеев не встречал ничего подобного. Возможно, он был просто невнимателен. Возможно и другое. Пискаревское кладбище — самое молодое кладбище в стране, не по собственному возрасту, а по возрасту тех, кто там покоится. На всех кладбищах преобладают могилы стариков, тут же в подавляющем большинстве погребены люди, далеко не изжившие своего века. Не счесть и тех, что только начинали жить, — их хоронили целыми школами, детскими садами. Недоигравшие, недосмеявшиеся, недопевшие, недолюбившие. Этим недобором насыщен кладбищенский воздух, и близкие невольно отзываются беззвучной жалобе ушедших и не своей утечи ради, а за них хотят спеть, станцевать, ударить по мячу, рвануть струны, промчаться на велосипеде...

Друг мой Сергеев, ты все равно никогда не предашь это серое небо, низко нависшее над Чистыми прудами, эти голые деревья, эти дорожки, и зеленые скамейки, и замирающее эхо тех голосов, что слышны только посвященным, но слишком большая любовь к минувшему отнимает что-то у настоящего, которому эта любовь нужнее... Он резко поднялся.

Испуганные тени метнулись над их головой.

— Прощайте, воробьи! — сказал Сергеев.

# КАПЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ

Мы собрались в Кратово на велосипедах. Дело было под Первое мая. И надо же, в канун праздника, когда душа уже настроена на гулевой лад и в мыслях легкость необыкновенная, математик Михаил Леонидович закатил нам контрольную по тригонометрии. А мы-то хотели отпроситься с последних уроков!..

Задачки, правда, оказались несложные. Я отнюдь не блистал в математике и то решил их без труда. И Лиза Кретова решила, и Саша Сидоров, ну а Леня Бармин и свои решил, и соседовы. Как назло, заело у командора пробега Бориса Ладейникова, едва ли не самого сильного в классе по математике. Пожалуй, лишь Леня Бармин мог с ним потягаться. Ну, Леня и остался на высоте, а Борис марал листок за листком, ерзал, вертелся, строил отчаянные рожи и ни черта не мог из себя выдавить:

Видимо, почувствовав уколы совести, Михаил Леонидович разрешил нам по сдаче контрольной сматываться домой. Поблажка немалая, ибо на контрольную было отпущено два урока. И вот, вместо того чтобы накручивать километры, мы бездарно торчали в классе, тщетно пытаюсь оказать помощь нашему занемогшему товарищу. Его парта стояла впритык к учительскому столику. Михаил Леонидович, прикрыв глаза за стеклами очков толстыми веками, казался погруженным в дрему, но мы-то знали коварство этой мнимой отрешенности. Он, как лев, всегда был готов к прыжку. Все-таки Лиза Кретова отважилась подбросить к парте Бориса туго свернутый бумажный шарик. Толстые веки учителя дрогнули, но он никак не отозвался на Лизину выходку, поскольку Ладейников шарика не заметил.

Леня Бармин с решительным видом поднялся и, прихватив тетрадку, направился к учительскому столу. Проходя мимо Ладейникова, он уронил на парту промокашку с решением задач. Борис тупо-негодующе глянул на Леню и смахнул промокашку на пол. Красный от злости, Леня громко захлопнул за собою дверь.

— Промокашка! — шепнул я Ладейникову. — Промокашка, дурак!..

— Что вам нужно? — не размыкая век, спросил Михаил Леонидович.

— Промокашку, — растерянно отозвался я.

Михаил Леонидович жестами слепца нашарил на столе промокашку и протянул мне.

Я принялся старательно промокать давно просохшие чернила.

Лиза Кретова сказала громко:

— Будь любезен, Борис, передай Михаилу Леонидовичу, — и сунула ему раскрытую на контрольной тетрадку.

Это было сделано с тем невероятным нахальством, на какое оказываются порой способны лишь самые тихие ученики.

— Ишь барыня нашлась! — сердито отмахнулся Ладейников.

Лизе ничего не оставалось, как самой отнести контрольную и покинуть класс. За ней последовал я: нельзя же промокать до бесконечности! Уходя, я заметил, что возле Ладейникова вырос Саша Сидоров с торчащей из кармана шпартгалкой. Может, луч света наконец-то прорежет мрак, окутавший рассудок Ладейникова?..

Губастый, добродушный Саша Сидоров вышел из класса и аккуратно порвал испещренный тригонометрическими значками листок.

— Боря законченный идиот, — безгневно сказал Саша. — Шпартгалку видели все, в первую очередь Михаил Леонидович, все, кроме Ладьи.

— Братцы, а может, кратовская дача — плод больного воображения Ладейникова? — сказал я.

— И озеро тоже? — подхватил Саша Сидоров.

— И само Кратово? — свирепо заключил Леня.

— Кратово, во всяком случае, существует, — сказала Лиза. — Я жила на даче по Казанской дороге. В Ильинском. За ним — Отдых, дальше — Кратово.

— Теперь мы засветло не доедем.

— Мы бы и так не доехали.

— Хватит трепаться, — прервал Леня. — Все на колесах?

— Все.

— Кроме меня, — сказал Леня. — Но мне рядом.

Он побежал за велосипедом, а Саша Сидоров сообщил с грустным видом:

— Я поеду на недомерке.

— На каком еще недомерке?

— На дамском. Для девочек-подростков. С щитком на передаче, чтоб юбку не порвало, но без рамы.

— Как это без рамы?

— Без верхней стойки рамы. Знаешь, на которой пацанов возят...

— На кой она тебе? Ты же не повезешь пацана в Кратово.

— Нет, конечно. Он еще и без крыльев.

— Где ты такого уroda раскопал?

— Соседи дали. У меня своего нету.

Одновременно со звонком из класса выскочил красный, потный, взъерошенный Ладейников:

— Решил-таки, чтоб вам пусто было!

— Ну ты хорош!.. — начал Саша Сидоров.

— Это вы хороши! — возмущенно перебил Ладейников. — А еще товарищи! Подсказать не могли?

— Ребята правы, ты ненормальный, — тихо сказала Лиза. — Тебе подсказывали со всех сторон — и устно и письменно.

— Правда, что ль? — смутился Ладейников.

Ему не ответили.

— Ну ладно... Видать, затмение нашло... Поехали?

— А не поздно?

— Какой поздно?.. Четырех нету. Я только за велосипе-дом сбегая.

— Что же ты раньше думал?

Ладейников не ответил. Перескакивая через три ступеньки, он помчался по широкой, со стертymi ступеньками лестнице вниз. Он жил в двух шагах от школы, в громадном доме политкаторжан, на углу улицы Машкова и Покровки. И все же прошло не меньше получаса, пока он вернулся. За это время Борис приобрел нового спутника — Алика Капранова, с которым жил дверь в дверь.

Алик недавно пришел в нашу школу и успел стать заметной фигурой. Впрочем, попробуй его не заметить — Алик прямо-таки ослеплял своей невиданной элегантностью. В ту пору лыжный костюм был чем-то вроде школьной формы и у парней и у девушек. Алик же щеголял заграничными замшевыми курточками, брюками гольф, ботинками на толстом, упругом каучуке, придававшем шагу кошачью мягкость. Его отец работал в каком-то торгпредстве за рубежом, и Алик ездил к родителям каждое лето на каникулы — «прибарахлиться», говорил он небрежно. В доме политкаторжан Алик оказался не в силу революционных заслуг «предков», а по обмену. Он жил там с молодой энергичной черноусой бабушкой, души не чаявшей в красавце внуке.

Конечно, нарядными курточками можно вызвать у окружающих лишь короткий, чуть иронический интерес, популярности на этом не заработаешь. Но стройный, мускулистый, природно смуглый, легко и нежно, будто невзначай, улыбающийся Алик брал всем: прекрасно играл в футбол, бегал на коньках, ездил на велосипеде и был знаком с боксом. В последнем не преминули убедиться те задиристые ребята, которым экзотичность Алика представилась

дряблой незащищенностью. Алик с беспечной улыбкой и без всякой злобы расквасил несколько носов и тем утвердил себя даже в самых недоверчивых душах.

Учился Алик хорошо и без малейшего напряжения. Он не лез в отличники и мог спокойно засыпаться, не приготовив урока, о чем сразу же говорил учителю со своей обычной легкой улыбкой, словно призывавшей собеседника не принимать его слов близко к сердцу. Учителей эта усмешечка отнюдь не смягчала, скорее наоборот, но ребятам нравилась как проявление душевной свободы. В ней проглядывала какая-то взрослость, нам еще недоступная...

— А я не помешаю? — улыбаясь, спросил Алик. — Там вроде и так места мало.

— Ничего, потеснимся, — сказал Саша Сидоров.

— Мы же солдаты! — подхватил Ладейников, собиравшийся перейти в спецшколу, где готовили к военной профессии.

— Лиза тоже солдат? — спросил Алик.

— Лиза наша боевая подруга! — радостно сказал Саша.

— Вот уж нет! — пренебрежительно фыркнула сухопарая, вся из острых углов Лиза...

Велосипед Алика стоял возле гардеробной, прислоненный к стене. БСА — бог велосипедов, не бездушный механизм, а одухотворенное, трепетное существо, все нацеленное на движение, с характером прямым, стремительным и чуть нервным — олененок с дивным изгибом молодых рогов.

Наших ребят привлекали в нем признаки совершенной машинерии: конструкция рамы, мощная передача, рассчитанная на две скорости, форма седла, замечательный карбидный фонарь, никель ободьев; меня же волновал его цельный образ, приближенность к живому существу.

Наши велосипеды не шли ни в какое сравнение с этим красавцем — крепкие, тяжеловатые трудяги, вполне надежные, но без полета. Впрочем, наши машины несказанно выиграла, как только Саша Сидоров выкатил своего

недомерка. Это был почти что детский велосипедик; удивляло мужество нашего друга, пускающегося в дальний и трудный путь на такой игрушке.

У каждого из нас к багажнику был прикручен пакет с бутербродами, полотенцем, мылом и зубной щеткой. У Саши багажник отсутствовал, и свои припасы он сложил в рюкзачок, который повесил за спину.

Мы думали, Алик отправляется в путь налегкѣ, но оказалось, что он, как и всегда, экипирован лучше нас. Во внутреннем кармане кожаной курточки у него помещался маленький несессер, содержащий все необходимое для утреннего туалета и множество предметов, для утреннего туалета вовсе не нужных, — какие-то пилочки, щипчики, ноженки. Другой карман был заполнен плоским пакетом с сэндвичами — так Алик называл бутерброды.

— Ну а как у вас насчет горючего? — поинтересовался Саша.

— Да ну его! — отмахнулся Ладейников и непоследовательно добавил: — Там достанем.

— Если вы собираетесь пить, я не поеду, — чопорно сказала Лиза.

— Нашла пьяниц!..

Алик достал из заднего кармана брюк плоскую флягу, отвинтил металлическую пробку и сунул под нос Сидорову.

— Мировой парфюм! — Из уважения к тонкому незнакомому запаху Саша назвал его заграничным словом. — Что это?

— Джин с апельсиновым соком.

— Джин?.. Надо же!..

— У Диккенса все прачки хлещут джин, — заметил Леня.

— Это можжевеловая водка, — пояснил Алик.

— Слушай, а почему фляжка так выгнута?

— Как раз по заднице, — определил Леня.

— Правильно! — улыбнулся Алик — Это очень удобно.

— Если вы будете ругаться, — сказала Лиза, — я не поеду.

— Вы не находите, что боевая подруга становится утомительной? — сказал Леня.

— Ладно тебе! — вмешался Ладейников. — Брось, Лизка, что ты цепляешься? Будто не знаешь нас...

— Я, кажется, никого не трогаю, — поджала бескровные губы Лиза.

Я поглядел на нее, такую бледную и костлявую, смехотворно оберегающую достоинство своей женской сути, которую мы в ней никак не ощущали, и впервые от души пожалел Лизу...

И вот мы приняли старт от дверей школы. Наш путь лежал через Покровку и Маросейку на площадь Ногина, отсюда по Солянке к Верхней Болвановке, изящно переименованной в Верхнюю Радищевскую, и мимо церкви Николы в Болвановке, наперерез площади, на Таганскую, а там за мостом вскоре начинается узенькое Рязанское шоссе.

Мы заметили недоброе еще на Яузской набережной. Но трудно было решить, что́ это — надвигающаяся издали грозовая туча или дымная хмарь, тяжкие испарения жаркого весеннего дня, скопившиеся над промышленным районом города. В тучу как-то не верилось — слишком рано даже для самых ранних гроз, да и не хотелось верить, но, когда мы вырвались из тесноты бывшей Болвановки в малый простор Таганской площади, все небо впереди нас было обложено глухой, впрочернь, синевой явно не земного происхождения. Громада тучи была молчалива и недвижима, как стена. Каждая туча обладает движением, подвластным ветру, внутри же не смещаются слои облаков, туча наползает, строится, разрушается, послойно обгоняет самое себя, в ней ворочается, покряхтывает гром, ее озаряют сполохи, а этот мрачный полог был лишен какого-либо движения, жизни. А что если это всего лишь столь частая в апреле пасмурная наволочь, возведенная игрой солнечных лучей в ранг грозовой тучи?..

Хотелось так думать: уж слишком это несправедливо — целую неделю готовиться к поездке, пройти пытки контрольной, выехать с песней в душе и разбиться мордой о небесный заслон. И мы продолжали крутить педали, пригнув головы к рулю, не столько от усердия, сколько для того, чтобы не видеть тучу. Пустая уловка — мы все равно двигались прямо на нее, будто собираясь протаранить иссиня-черную массу лбами наших упрямо склоненных голов.

Внезапно похолодало, и обочь шоссе взметнулась сухая пыль. Мы не знали, радоваться этому оживлению или печалиться, развеет ветер тучу, отгонит прочь или, стронув с места, двинет всей массой навстречу нам.

С каждой минутой ветер задувал все сильнее. Тропинки вдоль деревянных домиков по сторонам шоссе и немощные улицы окраины разом опустели, явив тем самым праздную суть недавней сутолоки. И тут что-то сдвинулось в угрюмой громадине, сердцевина чуть высветилась, а края обозначились тускло-желтым контуром, и глухое бормотание грозной печалью другой вселенной сдавило душу.

На миг я словно выпал из действительности и чуть не врезался в Сашу Сидорова, лихорадочно накручивающего педали своего детского велосипедика. Бедняге приходилось трудиться с двойной нагрузкой, чтобы выжимать из слабой передачи необходимую скорость. И тут я увидел, что Саша тормозит, упираясь левой ногой в шину. Оказывается, шедшие впереди спешили и держат совет. Я соскочил с велосипеда.

— Неужели вам охота вымокнуть? — улыбаясь, говорил Алик.

— Кому охота!.. — протянул Ладейников. — Да ведь.. как же так?..

— Очень просто! Если поднажать, вернемся до грозы. Пойдем ко мне. Будем слушать пластинки, щелкать орехи и потягивать джин с соком. Как ты, Лиза?..

— Как все, — коротко ответила та.

— Сашка?..

— Я что?.. Я не против, если другие..

— Другие против, — сухо прервал Леня Бармин.

— Леня — романтик, — улыбнулся Алик. — Но вы-то разумные люди! А Сашке и вообще не доехать!

— Это почему же? — вскинулся Саша.

— Самокат не выдержит.

— А ты отдай ему БСА, — предложил Леня.

— Ну нет! — засмеялся Алик. — Есть правило: велосипед, бритву и жену товарищам не одалживают... Ну, счастливо, друзья! Будьте осторожны. Берегите Лизу. — Не коснувшись педали, он вскочил на велосипед и, приподнявшись над седлом, взгорбив спину, помчался назад.

Мы долго глядели ему вслед, втайне завидуя его решительности, умению вверяться охраняющему инстинкту. Он снова доказал свою взрослость. Никого из нас не соблазнила перспектива холодной бани. Что же заставляло нас ехать дальше?..

— Баба! — презрительно уронил Леня.

— Нет, — заступился Ладейников. — Он просто за машину боится.

— Брось, что ей сделается?..

— Поехали, — сказал Саша, — уже темнеет.

И мы поехали, прямо в тучу, в порождаемый ею мрак, в наливающиеся громовые раскаты, в сполохи, пронизывающие бледным сиянием ее толщу.

Чуть замешкавшись, я увидел своих товарищей словно со стороны, и с фотографической четкостью они легли в мою память. Первым шел Ладейников в защитного цвета рубашке с закатанными рукавами и коротких штанах, застегивающихся на пуговицы под коленями. Методично и сильно напрягались голые крепкие икры. У него был низкий руль, круто выгнутый на манер гоночного, что определяло его посадку с наклоном-навесом вперед, дабы освободить заднее колесо. Иероглиф его фигуры читался так: целеустремленность и простота.

Чуть отставая, бок о бок, шли Леня и Лиза. В посадке Лени, нарочито молодцеватой, с форсом, чувствовалась скованность. Леня не был заядлым велосипедистом, но очень хотел казаться таким. Его выдавали руки, судорожно сжимающие руль возле стойки.

В отличие от него, Лиза являла совершенную свободу позы. Она сидела очень прямо на низко опущенном седле, но в этой прямизне не было напряженности, ее тонкие пальцы едва касались роговых рукояток руля. Худые ноги работали с ритмичностью машинных рычагов. Наверное, у нее крепкие кости, потому что мускулов под бледной, в голубых прожилках кожей вовсе не заметно. И у нее железное, спокойное сердце, не ведающее усталости. Но если б она и устала, никто бы этого не заметил. Ее внутренний закон — не обременять собой окружающих. Все свое она носит в себе. И при этом Лиза чутка к обиде, значит, самолюбива. На Лизе серый джемпер, серая шевиотовая юбка и серые спортивные туфли. И в этом сказывается ее стремление не привлекать внимания, оставаться в тени.

За ними, яростно крутя педали, поспешал бедный Саша. Он смешно скрючился на низком седле — поза эта порождена необходимостью, иначе его колени будут тыкаться в руль. В рюкзаке за спиной что-то встряхивается, позвякивает, клетчатая кепчонка сползает на нос. Он расстегнул толстовку, полы развеваются по ветру. Врозь торчат носки разношенных штиблет. Саша напоминает популярного клоуна Мишеля, выезжавшего на арену на крошечном велосипеде, который он потом прятал в карман необъятных штанов.

Сполохи погасли, стих ветер. И лишь верхушки берез тихо раскачивались какой-то своей силой. Тягостная, недобрая тишина простерлась над землей. И слышно, как шуршат шины наших велосипедов. Редко навстречу нам или в обгон проносились грузовики. В домишках зажегся неурочный свет. Сумрак стремительно стучался вокруг нас, но если оглянуться назад, то над покинутой Москвой горит

солнечный праздник. Этот праздник не про нашу честь. Он светит Алику, во все лопатки удирающему к дому.

Тонкая молния расщепила тучу, и чудовищный гром сотряс мироздание. Где-то завывала собака, заблеяли овцы и с отчаянной печалью заревела корова. Туча утратила плотность, обмякла, посерела, заклубилась. Шоссе впереди обрезалось дождевым завесом. Первые крупные капли окропили асфальт у самых колес, и он будто зацвел, запах, и на всей скорости мы съехались с ливнем.

Поблизости не было ни укрытия, ни деревьев, да и какой толк укрываться, когда мы враз промокли до нитки! И прав был Ладейников, что, не оглядываясь, продолжал мчаться вперед, увлекая нас за собой. Надо было ломить вперед, чтобы скорее пронизать толщу ливня. Мы ехали почти вслепую, не видать ничего, кроме исхлестанных ливнем рук на руле и чеки для карбидного фонаря. Белесый сумрак озарялся вспышками молний, слепивших, а не помогавших что-либо увидеть. Впрочем, порой я различал перед собой темное, зыбкое тело, представлявшееся мне то собакой, то ворохом грязного тряпья, то какой-то реющей нежитью и бывшее на самом деле моим другом Сашей Сидоровым.

Нам выпала глубоко эшелонированная гроза. Стоило вырваться из одного ливня, как сразу, предшествуемый ударом грома, обрушивался другой, столь же сокрушительный. Это было так основательно и бескомпромиссно оформлено, что лишало всякой надежды на спасение, даже на передышку. Мы не пытались ни словчить, ни защититься, ни выйти из игры. Ливень лишил нас окружающего мира, словно заключил в душный целлофановый мешок. Исчезло даже оконтуренное пятно Сашиного тела, словно растворилось в дожде. Мне стало не по себе, я с силой нажал на педали, дождь еще злее заколотил по голове, плечам, спине. Внезапно впереди выросла темная гряда, я резко затормозил, машину кинуло в сторону, кто-то схватил меня поперек туловища, не дав упасть.

— Осторожнее, черт! — услышался голос Лени Бармина, влажный, как и все вокруг.

На асфальте сидел Ладейников, весь в желтой грязи, с рассеченной губой и разбитым носом.

— На глину заехал, — пояснил Леня.

— Откуда тут глина?

— А дьявол ее знает! Грузовики шинами натаскали.

— Ладыя, как ты?..

— Как видишь, — проворчал Ладейников, высмаркивая кровь.

— А ехать-то сможешь?

— Сейчас узнаем. — Ладейников еще раз мощно высморкался, обмыл дождем губы, встал и рывком поднял велосипед.

— Восьмерки нет? — спросила Лиза.

Он крутанул переднее колесо, потом заднее:

— Нормально! — И погладил велосипед по седлу. — Выносливая скотина.

— Это ты выносливая скотина! — душевно сказал Саша. — Ничего не повредил?

— Пошел ты знаешь куда!..

— Ну, ну!.. — предостерегающе сказала Лиза. — А то я не поеду...

— Ты не заметила, девочка, что уже едешь? — спросил Леня.

— Я и повернуть могу...

— Не выйдет! Мы отвечаем за тебя перед Аликом.

— Как остроумно!..

Мимо пронесся ошалелый грузовик, обдав нас потоком рыжей воды из колдобины.

— Это еще остроумней, — заметил Ладейников. — Воды нам как раз не хватало. — И он вскочил на велосипед...

Гроза перестала нас трепать где-то за Малаховкой. Ливень с громом и молниями отвалился к Москве, а нам остался спокойный холодный дождь. Потом дождь утончился, стал нитяным, едва ощутимым, словно влажная паутина.

ка касалась лица. Возникла окрестность — дачи, заборы, сосны, кусты акаций, скворечни. Вернулась лента шоссе, и я увидел уже не призрачного, а вполне материального Сашу Сидорова и понял, как нужны велосипеду крылья. Бьющая из-под заднего колеса струйка грязи, не встречая препятствия, накрывала Сашину спину. Он был забрызган от брюк до клетчатой кепчонки, ошметья глины облепили уныло обвисший рюкзак. Прежде ливень смывал с него грязь, а теперешний тощий дождишко лишь разводил ее пожиже.

Шум и сумбур грозы, затихший в просторе, утомился и во мне самом. Я стал вновь отчетливо и ясно воспринимать окружающее. У меня не было часов, но я знал, что еще не поздно и длится долгий предмайский день. Это серое, обложное небо нанесло ранний сумрак, в котором сплывались лишённые четких контуров дома, деревья, заборы, кусты, сараи. Стоило мне чуть отпустить моих друзей, и они становились сгустками тьмы в серой прорези сужившегося за Малаховкой шоссе. Лишь небо над зубцами леса сохраняло тусклую безлесость, надевая отчетливым существованием то, что попадало на его фон: геодезическую вышку, телеграфные столбы, верхушку одинокой сосны.

Асфальт сменился булыжником, меж лобастыми камнями зияли трещины, выщерблины, а порой и опасные колдобины, полные жидкой грязи. Ведущий снизил скорость, и мне полегчало. Я держался последним вовсе не из благородных побуждений страховать Сашу на его недомерке, а потому, что такие расстояния вообще не для меня. У меня короткое дыхание. Я способен на рывок, на вспышку, а не на длительное усилие. Обогнать трамвай или легковую машину на Чистых прудах было как раз по мне. Ребята считали меня классным велосипедистом, но я-то знал скудость своих возможностей. Когда мы пускались в путь, у меня вовсе не было уверенности, что выдержу марафонскую дистанцию. Но мы проехали две трети пути, к тому же самого мучительного, и теперь я не сомневался, что

доберусь до финиша, тем более на ограниченных дорожной скоростях.

Стемнело.

В ту пору я еще не знал, что страдаю куриной слепотой. Мне думалось, все люди так же плохо ориентируются в темноте, как и я, путают правую сторону с левой, близкое с далеким, а в глазах у них рябится точечная красноватая мгла. Я считал — Ладейников придерживается верного направления лишь потому, что знает дорогу, а не потому, что *видит* ее. А остальные, подобно мне, ориентируются скорее на слух и лишь изредка — по взлеску какой-либо металлической детали на машине впереди идущего. Меня убеждало в равенстве с товарищами и то, что я падал не чаще их и, уж во всяком случае, реже нашего лидера. Тогда ничего не ведали о локаторах, помогающих летучим мышам и прочим ночным тварям передвигаться в крошечной тьме. Наверное, у меня тоже были какие-то локаторы, дававшие возможность вслепую держаться дороги.

Окружающее обрело частичную видимость и сорганизовалось в подобие реальной ночи, когда впереди замелькали станционные огни: красные и зеленые — семафоров, желтые — платформ и пристанционных строений.

Роящаяся вокруг меня красноватая, воспаленная мгла замерла, погас багрец, она стала устойчивой тьмой земли и тьмой хмурого, но уже переставшего сочиться неба, и порой между двумя пластами тьмы я различал чернь сосновых крон.

А вот и железнодорожное полотно — мокрое, глянцевитое, будто налакированное, густо пахнущее варом, шлаком и железным теплом рельсов. Шлагбаум был поднят, мы с ходу, чуть спотыкаясь на рельсах, торчащих меж досками настила, переехали на другую сторону и двинулись Параллельно железной дороге, почти впритык к штaketнику вытянувшихся вдоль полотна дач. Велосипед сильно подкидывало на узловатых корнях сосен, порой из-под колеса упруго выстреливала шишка, влажная сосновая ветвь с размаху ударяла по глазам, за ноги цеплялись колючие

ветки можжевельника и какие-то мертвые, сухие стебли. Но ехать здесь приятно: штакетник торопливо бежал вспять, создавая иллюзию высокой скорости.

Я не сразу осознал, что отчетливо вижу и планки штакетника, и фольговый блеск луж, и ветви в серебряном поту, и даже узловатые гладкие корни поперек тропы. На небе зажглись звезды, и молодой месяц, чуть приныривая, бежал сквозь дымку облаков.

Я возликовал. Все дурное осталось позади. Плевать на мокрую одежду, противно облепившую тело, на усталость в одеревеневших икрах, на одышку — путешествие стало прекрасным и гордым, каким оно и рисовалось в мечтах...

Кратово давно спало, когда мы въехали на его темные, печальные улицы с еще заколоченными дачами в окружении черных, голых чуть не до маковок, словно обгорелых, сосен.

Неожиданно и нелепо вырос квартал высоких городских домов, за которыми недобро поблескивала большая вода. Мы свернули туда и вскоре спешили у неосвещенного, молчаливого подъезда.

Наморозившееся за зиму жилье не отличалось уютом, но мы были рады и такому. В жилой комнате стояли две коечки, да из чулана, предназначенного Лизе, Борис притащил раскладушку и груды всякого тряпья на укрытие. Мы думали согреться чайком, благо на кухне имелся примус, но не обнаружили ни чайника, ни керосина, ни даже спичек. Дом казался необитаемым, к тому же слишком поздно было ломиться к незнакомым людям. Решили обойтись без чая. Кто-то вспомнил о джине с апельсиновым соком. Какие же мы дураки, что не отобрали у Алика фляжку!

— Так бы он ее и отдал! — скептически заметил Леня. — Велосипед, бритву, жену и фляжку с джином приятелям не одалживают... А правда, что человек раскрывается в дороге...

— Нечего хвалиться! — одернул его Ладейников. — Уж если кто и герой, так это Сашка.

— Да ладно! — толстые Сашины губы растянулись доброй, смущенной улыбке. — Я плохо шел. И не в драндулете дело. Врачи говорят, у меня капельное сердце.

— Это что такое?

— Ну, слишком маленькое для моего организма.

— Это у тебя-то маленькое сердце? — серые глаза Ладейникова потемнели от нежности. — Да у тебя громадное сердце! У тебя сердце богатыря!

— Хватит смеяться... — проворчал Саша.

— Лиза, ты не хочешь взглянуть на свою келью? — сказал Леня Бармин.

— Я вам мешаю? — Лизин голос омертвел от обиды.

— Мне лично нисколько. Я могу раздеться и при тебе.

Лиза выскочила из комнаты. Мы скинули мокрую одежду и, отжав, развесили на спинках стульев и коек. Вымывшись в кухне над раковиной и растеревшись докрасна, завернулись в одеяла. Нам с Леной достались серые шерстяные одеяльца армейского образца, а Саше — какая-то ватная рванина, превратившая его не то в цыгана, не то в горного пастуха. Борис остался в трусах. Он закалял свое тело и даже в крещенские морозы ходил в школу в одной суконной рубашке. Завидно хорошо сложен был Борис — развернутые плечи, плоский живот, длинные, мускулистые ноги.

Когда с переодеванием было покончено, мы принялись собирать на стол. И тут настала Сашин минута.

— Конечно, всем на все наплевать, один Сидоров заботится о товарищах! — и жестом фокусника извлек из рюкзака четвертинку «Зверобоя».

Наши радостные вопли привлекли Лизу.

— Водка! — сказала она трагическим голосом. — Я немедленно возвращаюсь в Москву.

Надо было видеть Лизу, обернутую в старую занавеску, с тюрбаном на голове и цветастой тряпкой вокруг плеч, чтобы понять всю нелепость этого заявления.

— Ты с ума сошла? Что значит четвертинка для таких орлов, как мы?!

— Это же просто для угреву!

Что случилось с Лизой? Она на себя не похожа. Все время одергивает нас, словно боится, что мы перейдем какую-то грань. Неужели Лиза не понимает, что она для нас — «свой парень» и ничего больше?..

Мы выпили, повторили, и хмель затуманил наши непривычные к спиртному головы.

— Ах как хорошо! — умиленно сказал Саша. — Вот для этого мы и ехали.

— Уже рассиропился? — усмехнулся Леня. — Немного же тебе надо!

— Да, я сентиментальный человек! Может, это и смешно, ну так смейтесь на здоровье, я не обижусь... Ты, Ленька, мечтаешь покорить мир, а я знаете с чем мечтаю?

— О чем?

— Я мечтаю... как мы с сыном после бани первую кружку пива выпьем. Понимаете, будем мы сидеть в простынках, на плюшевом диване, в Сандунах, распаренные, красные, пахнущие веником, и банщик принесет нам пару жигулевского. И я скажу: «Поехали, сынок». А он скажет: «Будь здоров, батя!»

— Надо ж! — удивился Ладейников. — Как расписал! Ты в писатели метишь, Сашка?

— Нет... Понимаешь, я ведь без отца рос. И мне интересно, как это у отца с сыном бывает. И люблю я детей. Всех. И своих и чужих...

— Да какие у тебя дети, чудило?

— Это я так, о будущем... Я, наверное, учителем стану или воспитателем... Но не о том речь. Тут профессия, а вот какую ты себе в жизни награду ждешь?.. Леньке прижизненный памятник подавай. Ладье, конечно, чтоб вся грудь, в орденах, а мне — выпить с сыночком пива после бани... Глупости я говорю?.. Опьянел. Эх, жаль гитарки нет...

— Постой, — сказал Леня. — С чего ты взял, что я мечтаю о памятнике, да еще прижизненном? Знаете, кем я хочу быть? Конферансье! — И обвел нас сердито-недоуменным взглядом.

— Ты это серьезно? — нарушил тяжелую паузу Ладейников. — Разве есть такая специальность?

— А как же! Конферансье — артист. Он артист по смеху. Мне иногда снится, будто я острою, и так здорово, что все кругом — в лежку! И я такое счастье чувствую, даже передать невозможно.

Мне показалось, что Леня уже жалел о своей откровенности, но, как человек сильный и гордый, решил не отступать.

— А я тебя понимаю, — вдруг сказала Лиза. — Это правда здорово, когда все смеются. Ведь людям чаще всего грустно.

Поддержка Лизы ничего не изменила. Ощущение неловкости и досады осталось. Трудно было представить себе нашего умного, начитанного, технически одаренного Леню в черном фраке, с белой пластроновой грудью, откалывающего с эстрады дежурные шуточки.

— А ты, Лиза, кем будешь? — спросил Саша, уводя разговор от огорчительной темы.

— Ей-Богу, не знаю. У меня нет никаких способностей.

— Почему, ты чертишь здорово! — возразил Ладейников.

— Похуже тебя...

Кем станет Ладейников, не вызывало сомнений: он был из военной семьи, и его переход в спецучилище подтверждал верность семейной традиции.

— Слушай, Ладья, — сказал Леня. — Какое ты имеешь отношение к политкаторжанам? Ведь твои предки не столько сокрушали царизм, сколько сражались за веру, царя и отечество?

— Мой отец был начдивом гражданской войны, — сухо ответил Борис.

— Ну а твой дедушка?

— Он герой Плевны, — в том же тоне сказал Ладейников. — По отцу у меня все военные, а по матери — узники царских тюрем. Тебе все ясно?

С чуткостью доброй души Саша поспешил переменить разговор:

— А ты, Юрка, кем себя видишь?

Я не знал, что сказать. Совсем недавно, месяца два назад, в моей жизни произошло одно неожиданное событие: я написал рассказ. По чести, я толком не знал, можно ли это сочинение назвать рассказом. Я просто описал лыжную прогулку в подмосковную Лосинку, куда мы ездили всем классом. Я и сам не знаю, почему мне вдруг вздумалось описать эту прогулку. Там не случилось ничего примечательного: ни драки, ни какой-нибудь любовной истории. И я никогда прежде не помышлял о писании. А тут отец меня подначил, и я взял да накатал рассказ. И с глубочайшим изумлением обнаружил, что от самой необходимости перенести на бумагу несложные впечатления дня, черты хорошо знакомых людей странно расширились и углубились все связанные с этим обычным зимним днем переживания и наблюдения. Кажется, я по-настоящему осознал тогда, что люблю природу, мучительно, до слез, люблю деревья, снег, небо, замерзшую речку, черные прутья кустов. И еще много других открытий и в окружающем, и в себе самом сделал я, когда стал писать первый в моей жизни рассказ. Я чувствовал, что со мной случилось что-то важное, но говорить об этом не мог. Признаться, что ты хочешь стать писателем, еще стыднее, чем признаться в желании стать конферансье. И я ушел от ответа:

— Я — как Лиза.

— Видал, какие хитрые рожи! — обратился Леня к Саше. — Мы с тобой вывернули всю требуху наружу, а эти гады скрытничают. Ну и черт с вами! Мы про вас и так все знаем. Лиза будет знаменитой шпионкой, вроде Мата Хари, а Юрка — водолазом-надомником. Давайте спать.

Предложение было дружно принято. Пожелав нам спокойной ночи, Лиза удалилась в свою девичью келью. Леня с Сашей затеяли бороться нагишом. Леня восторженно кри-

чал, что мы присутствуем при возрождении эллинского культа. Я помог Ладейникову убрать со стола и завалился на койку. Леня и Саша еще долго плескались на кухне, смывая борцовский пот, затем сквозь дрему я ощутил увесистый толчок в спину и машинально отвалился к стене. «Разлегся, как Евгений Онегин...» — то ли послышался мне, то ли приснился Сашин голос.

Среди ночи я проснулся как встрепанный, перелез через мерно похрапывающего Сашу, наткнулся на стул, ударился о косяк и окунулся в холод прихожей. Боясь разбудить ребят, я не зажег света в комнате и шарил руками по стене, пытаясь нащупать выключатель. Внезапно я услышал глухой, странный голос Ладейникова:

— Не умирай!.. Прошу тебя, не умирай!..

И в ответ тихий, как шелест листьев, незнакомый, хотя и сразу узнаваемый, голос Лизы:

— А что же мне делать? Что же мне делать, скажи!..

— Ждать, — прозвучало коротко, как удар.

— Я не верю... Не тебе, нет, жизни не верю, времени. Сколько ты будешь в этой специальной школе, год, два?.. А потом тебя куда-то ушлют...

— Почему непременно ушлют?

— Военных всегда куда-то отсылают... И я не смогу поехать за тобой. Мать беспомощна, как ребенок... Ты и сам знаешь.

— Я кончу училище, получу звание и заберу тебя к себе. Вместе с матерью. Или сам вернусь в Москву.

По правилам приличия мне полагалось или убраться восвояси, или легким покашливанием предупредить о присутствии постороннего. Но я был настолько потрясен, что никакие этические соображения не шли мне в голову. Я прирос к месту в тяжком обаянии, почти столбняке. Лиза Кретова любит Ладейникова, а он любит ее. Требовалась срочная переоценка ценностей. Лиза защищала свою вовсе не мнимую, а истинную женственность от посягательств нашей слепой, незрелой развязности. Она уже знала свою

суть, высокую и горестную суть женщины. Какие же мы все слепые идиоты!

— Неужели ты ничего другого не хочешь в жизни? — говорила Лиза. — Военные такие ограниченные!..

— И я ограниченный. Разве ты не замечала?

— Нет. Ты упрямый, но не ограниченный. И ведь если будет война, все и так пойдут — и военные и штатские. Тебе что — форма нужна и пистолет на боку?

— Честно? Да, и форма, и пистолет, и запах казармы... Я все детство прожил в казармах.

— Жаль, что ты не в материнскую родню пошел!

— Не стоит жалеть, они же все сидели... Хватит об этом, ты сама знаешь, что мне нельзя иначе.

— Просто ты меня не любишь! — И Лиза заплакала.

Тут я наконец очухался и, моля Бога, чтоб не скрипнули половицы, вернулся в комнату, перелез через Сидорова и затих возле холодной стены. И странно, я совсем забыл о причине, побудившей меня выйти в коридор.

На другое утро я тщетно приглядывался к Лизе и Борису — ничто в их повадке не напоминало о ночном объяснении. Они были так же просты, естественны друг с другом, как и всегда. Но потом мне стало казаться, что их незамысловатое общение исполнено тайного смысла. Она протянула ему вилку, он разделил на двоих бутерброд с сыром — можно многое сказать самыми простыми жестами...

Было ясно, что делать нам в Кратове нечего. Одежда не просохла, тело ломило после неудобного, тесного сна, хотелось чаю и свежего хлеба, хотелось под горячий душ, короче, хотелось домой. Но все же мы решили уплатить дань озеру. А потом сразу рвануть в Москву.

День выдался теплый, на солнце даже жаркий и вместе с тем какой-то знобкий. То пахнет ветром, то от земли потянет стужью истаявшего снега, но, скорее всего, холод засел в нас самих. И когда пришли к большому, пустынному, цвета вороненой стали озеру, желающих купаться ока-

залось всего двое: Ладейников и Леня. Ладейников вообще не знал, что такое холод, а Леней двигало мужское самолюбие: как это, Борис может, а он нет! Ладейников, раздевшийся еще по пути, нырнул с берегового бугра и пошел отмахивать саженками. Леня долго томился на берегу, не решаясь войти в ледяную воду. Наконец он все же окунулся с диким воплем и пулей выскочил на берег. Мы скопом принялись его растирать.

Вышел из воды Ладейников и прямо на мокрое тело натянул одежду.

Мы двинулись в обратный путь. Сперва по влажной прошлогодней траве, затем по крупитчатому песку дорожек в плоских рыжих лужах. Нас задевали влажные лапы сосен из-за оград, и вскоре мы вымокли по-вчерашнему. За Малаховкой, когда перед нами легло прямое шоссе на Москву, Ладейников сложил с себя полномочия командора.

— Доберетесь? Тогда я нажму. У меня дела в Москве. До скорого! — И устремился вперед.

— Если не обидитесь, — сказала Лиза, — я тоже... Как ты, Саша? Хочешь, поменяемся велосипедами?

— Да ты длиннее меня. Куда ноги денешь?

— Найду.

— Не болтай! — рассердился Саша. — Жми!

И Лиза нажала. Мы видели, как она догнала Ладейникова и пошла рядом с ним, колесо в колесо, по осевой шоссе.

— Хороши! — восхитился Леня. — А я, неисправимый гуманист, связался с инвалидами!

— Жми!

— Я пошутил.

— Жми! Мне лучше, если никто не висит над душой, — сказал Саша.

Я смотрел вслед Лизе и Борису. Они не истаивали вдаль, а будто вырастали над далью, одни посреди пустынного воскресного шоссе. Мне представилось, что они мчатся к

чему-то хорошему, светлому, в долгую, радостную жизнь. Я ошибался. Борису Ладейникову оставалось жить менее четырех лет. Он погиб в самом начале войны. И не так, как приличествовало бы погибнуть потомственному воину, ведя бойцов в атаку или командуя батареей в изнеможении долгой обороны, а штрафником, осужденным военным трибуналом. Он был накануне получения первого командирского звания, когда во время его дежурства по летнему лагерю со склада украли несколько мешков картошки. Закон военного времени суров. Тюремный срок, конечно, заменили передовой. Он не вернулся из первого же боя. Когда после войны мы пришли к старикам Ладейниковым сказать, что помним и любим их сына, отец Бориса, маленький, сухопарый, с седым ежиком, спросил, заглядывая нам в глаза:

— А вам известно, что Борис кровью искупил свою вину?

— Да какая там вина... — поморщился Леня.

— Он получил заслуженное наказание, — жестко сказал старик Ладейников. — Но теперь на его воинской чести нет пятна.

Вот такая закваска была у нашего погибшего друга...

...Леня умчался вперед, и мы остались вдвоем с Сашей.

— Ты бы тоже мотал, — посоветовал Саша. — Я не обижусь.

— А я вовсе не из-за тебя. Не могу быстро ехать. Дыхания не хватает.

— Правда, что ль? А по Чистым носишься — будь здоров?

— Я спринтер.

— Ладно. Как-нибудь дотрюхаем...

И мы дотрюхали — не спеша — в сегодняшний день. Мой старый школьный друг называет себя обывателем. Если это слово выражает человека, работающего в будни, гуляющего в праздники, любящего жену и воспитывающего сына, откладывающего деньги на покупку пары ботинок, шумно

болеющего на стадионе, не чурающегося рюмки водки и кружки пива, пребывающего в мире с окружающими и самим собой и никому не испортившего жизни, то Саша самый настоящий обыватель. Правда, этот обыватель провел четыре года на фронте, болел пеллагрой и цингой, был тяжело ранен в самом конце войны и потому с опозданием начал столь милую ему жизнь обывателя.

Саша очень хороший редактор крупного московского издательства, редактор, чувствующий и щадящий писательское слово. Недавно он получил трехкомнатную квартиру неподалеку от печальных останков Царицынского дворца. Отдаленность от центра не мешает Саше каждую субботу ездить с сыном в Сандуны, париться и освежаться жигулевским пивом, толкуя о футболе, новых книгах, шахматах, космосе и повышении цен на спиртное...

Ну а что же случилось с тем смуглым мальчиком, который оставил нас в самом начале Рязанского шоссе и унесся на своем замечательном велосипеде прочь от грозы, ливня, падений на асфальт, ночевки в промозглом необиталище, откровенностей, которых потом стыдно? Он умчался навсегда не только от нашей компании, но и от нашей школы и дома политкаторжан, от доброго покровительства Ладейникова, от Чистых прудов. Родители его получили квартиру в далеком районе Москвы, и, вечный странник, он перешел в другую школу, без сожаления расставшись с той жизнью, которую не успел полюбить.

Жестоким январем сорок второго года его свежий, мягкий голос окликнул меня возле поезда-типографии фронтовой газеты, стоявшего в тупике на станции Малая Вишера.

В ту пору я служил в отделе контрпропаганды фронта и временно замещал ответственного секретаря газеты для войск противника. У нас не было своей базы, мы печатались в типографии русской газеты. Начальник типографии, вольнонаемный не только по официальному положению, но и по духу, бесился от злобы, что ему навязали дополни-

тельную нагрузку. Путь к ротационной машине лежал через грандиозный хамеж, ругань, чуть ли не драку.

Заряженный этим человеком, я отметил встречу с Аликом гневным выпадом против вольнонаемных — будь моя воля, я бы их всех в один мешок и...

— Но я тоже вольнонаемный! — рассмеялся он своим легким нечаянным смехом.

Он был в командирской двубортной шинели, меховой ушанке и заказных бурках. Отсутствие знаков различия в петлицах ни о чем не говорило. В то время многие средние командиры нарочно не носили кубиков, чтобы их принимали за капитанов. Сам я был лейтенантом, но моя солдатская шинель на крючочках, валенки «б. у.» и шапка с поддельной цигейкой не шли ни в какое сравнение с экипировкой Алика.

— Извини, я не знал... — пробормотал я.

— Да брось ты! — засмеялся Алик. — Меня обещали аттестовать в ПУРе.

Он находился тут по доброй воле. Ушел с третьего курса литературного факультета МГУ и получил назначение во фронтową газету на должность литсотрудника. Но вольнонаемным нет хода. Его не пускают в части, он сиднем сидит в купе и правит чужие корреспонденции, у него оклад машинистки, он не получает ни командирского допайка, ни винной порции, зато бомбят его тут на рельсах, как самого настоящего кадровика. Он рассказывал о своих горестях весело, насмешливо, хотя чувствовалось, что он не на шутку уязвлен своим положением. Дело, разумеется, не в окладе, не в допайке и винной порции, а в постоянном ощущении неравенства с другими работниками. Главное же — ему хотелось ездить на передовую, писать о бойцах, стать настоящим фронтовым журналистом.

Мы еще поговорили с Аликом, и стало ясно, что у нас нет общего прошлого, хотя он и помнил имена школьных ребят и учителей. Я рассказал ему о судьбе Ладейникова.

— Сколько прекрасных ребят погибло!.. — сказал он со вздохом.

Он и Ладейникова помнил только по имени...

Я надолго потерял Алика из виду. Вскоре после нашей встречи меня задело осколком мины по каске, когда я вел рупорную передачу из ничьей земли. Не было ни крови, ни боли, но я, как говорил Эдисон, стал слышать меньше глупостей. Я стал их слышать так мало, что меня направили в Москву, на консультацию к ушникам.

Поезд сильно опаздывал: под Бологим немцы разбомбили пути. Вагонную тоску мне помог скоротать пехотный старшина, парень моих лет, но по жизненному опыту годившийся мне в отцы. Он был из московского пригорода Чухлинка и почему-то необыкновенно гордился этим обстоятельством.

В Москву мы прибыли в близости комендантского часа. Я предложил старшине переночевать у меня, до дому ему все равно не добраться. Он деликатно отказался:

— Там ваши родители, а может, и подруга жизни. Зачем же мешать встрече?

— Неужели так охота ночевать в комендатуре?

Он озорно сверкнул глазами:

— Для парня с Чухлинки найдется что-нибудь повеселее комендатуры!

Что он имел в виду, стало ясно, когда поезд наконец-то причалил к темной, в синем маскировочном свете платформе Ленинградского вокзала. К этому так безбожно запоздавшему поезду вышло много встречающих — сплошь женщины. В валенках и шерстяных платках, повязанных крест-накрест через грудь, с бледными, накрашенными лицами. Иные из них знали, кого встречают, и с рыданием повисали на своих близких, но большинство с деловитостью носильщиков шныряли среди приезжих, ждуще заглядывали в незнакомые небритые лица, ловя ответный знак. У этих женщин не было ничего, кроме жилого угла,

где военный человек мог переночевать, или задержаться на день-другой, или провести отпуск — как приглянется.

Я видел, как молодая, кургузенькая, на крепких ножках женщина подхватила моего старшину, и они, перебрасываясь шутками, будто век знакомы, ладно, в ногу зашагали к выходу. Старшина обернулся и крикнул мне что-то прощально-веселое, кургузенькая тоже оглянулась, смеясь, и помахала рукой. Я не ответил. В одной из женщин на перроне я вдруг узнал Лизу. Нашу Лизу. На ней был платок, повязанный крест-накрест, и валенки, не прикрывавшие костлявых коленок. Ее худое, еще более заострившееся лицо было словно углем перечеркнуто между носом и подбородком — так выглядела помада в сине-мертвенном свете. Она тоже присматривалась к военной братии и убыстряла шаг, заметив ответное внимание, и отставала, не дождавшись подтверждения. И по мне скользнул ее ищущее-рассеянный взгляд. Она не узнала меня. Я поспешно шагнул за колонну. Мне нужно было заново принять эту Лизу.

— ...Ну, здравствуй, Лиза!

Она сразу заплакала, тихо и горестно, словно этот плач давно стоял в ней у самого горла, у самых глаз и ждал лишь малого знака, чтобы пролиться. Я поцеловал ее в холодную щеку и в запястье между обтрепанным рукавом и самовязаной варежкой. Мы поехали к ней на синем трамвае не то на Тихвинскую, не то на Палиху — я плохо знаю этот район, и я гладил и целовал ее руки, пока она не перестала плакать. А потом мы пили чай с фронтовыми припасами, курили табак «Кафли» и примиряли настоящее с прошлым, а за дверью маленькой темной комнаты трудно дышала ее парализованная мать и смешно всхлебывало во сне другое существо — побег сероглазого юноши, героя, не осуществившего себя в подвиге. И так мы сидели, не смыкая глаз, до самого утра, когда за черно— зашторенными окнами зазвенели трамваи и мне нужно было возвращаться в свою жизнь...

— ...Почему ты не подошел ко мне? — были первые слова Лизы, когда через десять лет после войны мы встретились в нашей старой школе на вечере уцелевших ветеранов. — Почему ты не подошел ко мне на вокзале?

— Не знаю.

— А я бы подошла к тебе, будь ты в любом унижении, любой беде, любой грязи!..

То была правда, и чего бы я только не отдал, чтоб перебелить эту страницу жизни. Но ведь так не бывает...

Лиза вернула себе свой школьный облик: худенькая, прозрачная, очень юная. Но ее нелепая девичья худоба стала прочной худобой, тонкой силой зрелой женщины.

— Что было потом... после того дня? — спросил я.

— Все то же... А летом умерла мама. Я поместила Борьку в детдом и ушла на фронт. Сандружинницей. Там вышла замуж.

— Борька знает о своем настоящем отце?

Лиза долго молчала.

— Нет... Так проще. Муж принял его как родного. Зачем было беречь маленькую душу?

— Вы с мужем познакомились на фронте?

Тихие глаза Лизы блеснули странным торжеством:

— Нет! Он меня там нашел, а познакомились мы раньше, на вокзале...

..Я не задержался в Москве. Врачи пришли к выводу, что слух вернется ко мне, я лишь не буду слышать левым ухом «высокочастотных звуков», тонкого свиста, например. А на кой он мне сдался? В крайнем случае буду слушать тонкий свист правым ухом. И я вернулся на фронт. В отделе меня встретили так, будто я отлучался в АХО за гороховым концентратом, и сразу отправили в часть. Кому-то пришлось в голову, что материал для листовок и газет надо брать у свежих фрицев, только что взятых в плен, с пылу, с жару. А к нам попадали фрицы, уже прошедшие обработку не только по линии контрпропаганды, но и разведотде-

ла. Вот я и отправился за свежими фрицами. Предполагалось, что такие появятся после боя за стратегическую высоту на участке одного из полков.

Я добрался до НП полка, когда уже кончилась артиллерийская подготовка и через заснеженное поле к роще, за которой находились немецкие позиции, двинулись танки с автоматчиками на броне. Фронт стоял в долгой обороне, и этот невидный бой местного значения привлек на НП заскучавших в безделье корреспондентов, в том числе и московских. Последнее обстоятельство крайне волновало капитана, заменившего в этом бою раненного накануне командира полка. Он «работал» полководца: много кричал, матерился, то и дело прилипал к биноклю, хотя смотреть было не на что. Когда танки скрылись в роще и донеслось слабое, высокое, как девичий хор, «ура», из командирской землянки вышел молодой человек в распахнутом полушубке и сбитой на затылок ушанке, спереди на ремне, затрудняя ему шаг, тяжело висел маузер в деревянной кобуре. Это был Алик. Увидев меня, он вспыхнул улыбкой и глазами, прижался теплой от печурки щекой к моей намерзшей щеке и с комической печалью сообщил, что прибыл сюда все еще на положении вольнонаемного.

— Лиха беда начало!

— Я тоже так думаю, — сказал он рассеянно. — Правда, есть еще поговорка: первый блин комом.

— О чем ты?

— Я послан на позитивный, как выражаются газетчики, материал, а тут...

Но и до моих ушей долетел срывающийся голос капитана из землянки:

— Заклинило?.. Ты понимаешь, мать твою, что говоришь?!

Броневой снарядом заклинило башню нашего тяжелого танка. Он вышел из боя.

— Танки задержались с выходом, — пояснил Алик. — Немцы успели очухаться после артподготовки...

Потом был тот провал пустоты, какой всегда наступает в неудачном бою: на НП царит неразбериха, все бессмысленно мотаются из землянки в траншею и обратно, передают друг другу противоречивые слухи, безостановочно верещит телефон, орет связной чьи-то позывные, и происходящее начинает казаться несерьезным и несмертельным, будто незадавшаяся военная игра, в которой партнерам не объяснили как следует правил. Кончается же все печально — появлением похоронной команды из старослужащих бойцов с лопатами. На этот раз дело обернулось иначе: справа от рожи возникли четыре металлические коробочки и, попыхивая синеватым дымком, двинулись в направлении НП. И кто-то сказал со смешливым удивлением, будто о неожиданном сюрпризе:

— Мать честная, немецкие танки!

И капитан, выглянув из землянки, подтвердил со вкусом боевой ярости:

— Немцы перешли в контратаку. Сейчас мы им покажем кузькину мать!

Алик был на этот счет иного мнения:

— Если капитан обороняется, как наступает, — дело табак. — И прошел в землянку.

Металлические коробочки ползли и ползли, все еще игрушечные, медлительные, неповоротливые и вполне безопасные. Они издавали слабое жужжание.

Вернулся Алик:

— Сейчас их остановят. Нашим артиллеристам поможет правый сосед. Задумано хорошо. Посмотрим, каково будет исполнение.

В траншее появились бойцы с длинной, узкой трубой — противотанковым ружьем и стали устанавливать ее на бруствере. Из леса, позади НП, ударили пушки. Снаряды прошли низко над головой, заставив всех нас невольно пригнуться, и разорвались перед металлическими коробочками, взметнув грязный снег. Те продолжали ползти вперед. И в какой-то миг вдруг стало видно, что никакие это не

коробочки, а танки, жующие снег и землю челюстями своих гусениц, с закамуфлированной, иссеченной, обожженной броней и установленными прямо на НП стволами орудий.

Откуда-то сбоку хлопнула полковая пушчонка. Затем еще одна. Танки продолжали идти вперед. Они ревели, вздымая грязевые фантаны.

Я заметил, что некоторые командиры вытащили из кобур пистолеты, и последовал их примеру.

— Ты что, собираешься стрелять из своего пугача? — спросил Алик, с сомнением разглядывая мой наган.

— А что?

— Он разорвется при первом же выстреле! Ты его чистил когда-нибудь?

Я не успел ответить. Передний танк плюнул огнем, снаряд провизжал над траншеей и угодил в сосну на опушке леса.

— Все ясно, — сказал Алик. — Здесь делать нечего. Пошли!

— Ну что ты! Неудобно...

— Почему? От нас никакой пользы. Только путаемся под ногами. Твоя пушка опасна лишь для окружающих, а мой маузер заряжен шоколадными батонами...

— Никто же не уходит...

— Ну, это меня не касается. Я вольнонаемный... Не валяй дурака, пойдем! Брось свое мальчишество!

Четверо бойцов в грязных маскахалатах поползли со связками гранат к узкоколейному полотну, перерезавшему путь танкам.

— Я пошел! — Алик запахнул полушубок, застегнул крючки, поглубже надвинул ушанку. — Не лезь на рожон. Береги себя.

Он двинулся по ходу сообщения. Навстречу ему попались еще два бойца с гранатами. Вжавшись в стенку, он пропустил их, затем по вырубленным в земле ступенькам поднялся наверх, огляделся и, чуть пригнувшись, нетороп-

ливо зашагал к лесу. Я следил за ним с каким-то сложным, жгучим чувством, включавшим и дикую зависть, и обиду, и злость на себя, и невыносимый, до слез, восторг перед тем, что он уходит в жизнь...

Я не знаю, почему немецкие танки не достигли НП и повернули назад. Возможно, там командовал тоже какой-нибудь исполняющий обязанности, а может, помешал наш артиллерийский огонь. Во всяком случае, до гранат, ПТР и личного оружия дело не дошло.

— Вражеская контратака отбита! — осветившись наивной улыбкой, возвестил капитан.

— Пошли шамать, — предложил мне крупнотельный, осанистый корреспондент ТАСС.

Мы наткнулись на Алика шагах в пятидесяти от НП. Он лежал навзничь под высокой обгорелой сосной, и губы его чуть раздвинулись в улыбке. Он, видно, не понял, что произошло, и улыбнулся нелепой случайности, наступившей его там, где он считал себя в безопасности, и называвшейся смертью. Он казался целым и невредимым, и, лишь перевернув его лицом вниз, мы обнаружили крошечную дырочку в тулупе под лопаткой. Пуля немецкого снайпера вошла через спину прямо в сердце, в его капельное сердце, привыкшее спасать себя бегством...

На встрече школьных друзей я рассказал о его гибели Лене Бармину. Тот так и не стал конференсье, хотя пытался направить судьбу в желанное русло. Щадя своих родителей, он после школы поступил в энергетический институт, выбрав его за самую мощную самодеятельность. На фронт его не пустили: он был нужнее в тылу. Но сразу после победы, уже будучи кандидатом технических наук, Леня пытался поступить в Московское эстрадное училище и не прошел по конкурсу. Сейчас он уже доктор технических наук и смирился со своей участью.

— Трагедия нашего поколения в том, — говорил он, — что в нашу пору не было КВН.

А про Алика Капранова Леня сразу все понял, хотя я ему и не все рассказал.

— Он был красивый, — задумчиво сказал Леня. — Удивительно красивый и ладный парень. С чудесной улыбкой. И хорошей головой... А мы сволочи! Паршивые сволочи!

— Это почему же?..

— Да потому! Кой черт мы не набили ему рожу на Рязанке? Надо было набить ему рожу и заставить ехать с нами. Господи, какого парня проворонили! Никогда себе не прощу!..

# КАК ТРУДНО БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ!

Ни одна женщина не вступала в мою душу так решительно и властно, как первая учительница Мария Владимировна.

Я смутно помню сумбур, предварявший начало занятий. Мы долго томились сперва в тесном вестибюле школы, потом на широкой, с низкими обшарпанными ступенями лестнице, откуда нас прогнали назад в вестибюль, в жестокую давящую, и вдруг кто-то крикнул: «Теперь можно!» — и мы опрометью кинулись по лестнице на второй этаж, и моя мама на бегу спрашивала о чем-то других мам, а те спрашивали ее, и мы скопом ворвались в класс, где за партами сидели ученики, а за столиком клевала носом дряхлая учительница с белыми легкими волосами, и мамы закричали хором: «Извините, пожалуйста!» — и выволокли нас в коридор.

Я уже начал беспокоиться, что меня не приняли в школу и не будет никаких уроков, вызовов к доске, учебников, тетрадей, домашних заданий, отметок — словом, всего, о чем я так страстно мечтал целый год. Но тут распахнулись высокие двустворчатые двери другого класса, прямо против лестницы, и в воздухе родились слова: «Первый «В», сюда!» Еще не ведая своего литеры, я почему-то решил, что призыв относится ко мне, и не ошибся. Мамины пальцы, державшие мою руку, разжались, она легонько подтолкнула меня в спину, словно к воде, я ринулся в распахнутые двери, вернее, в пробку, мигом их закупорившую. Мертвой хваткой в меня вцепился мой закадычный дворовый друг Митя Гребенников, слабак и плакса, и, почувствовав ответ-

ственность за него, я разом забыл об оставленной маме, стал лягаться, толкаться, ломить напропалую, мы ввалились в светлую, просторную комнату класса и захватили одну из передних парт.

Шум стоял оглушительный — орали, топали, хлопали крышками парт. Внезапно наступила мертвая тишина, и все взгляды с дружным испугом обратились к приоткрывшейся двери. Массивная медная ручка тихо поворачивалась вверх-вниз. Дверь притворилась, оставив лишь узенькую щелочку, мы сидели не дыша, замороженные странными маневрами. Затем дверь решительно, но несуетливо распахнулась, и в класс вступила Хозяйка. Среднего роста, средней полноты женщина, с высокой грудью, подчеркнута прямой спиной и гордо посаженной головой. Ноги она ставила по-балетному: пятки сближены, носки врозь. При ее дородности и неспешности всех движений эта походка сообщала величавость — она не просто шла, а выступала, как в торжественном шествии.

Лицо у Марии Владимировны было стойкого красноватого оттенка. Эта напоминающая ожог краснота захватывала уши, шею и грудь в вырезе платья. Очевидно, сосуды у нее залегали близко к поверхности кожи. Когда Мария Владимировна бледнела, на щеках отчетливо проступала тончайшая лиловая сеточка. А вообще Мария Владимировна была красива: совершенный по четкости и лаконизму профиль, глаза чуть темнее березового сока, небольшие, но яркие, блестящие, суховатый, строгий рот. Прическу она носила гладкую, с тугим пучком; густые, пушистые, пепельные с прозолотью волосы нарушали порядок и обводили голову зыбким контуром, загоравшимся на солнце наподобие нимба. Это случилось в первый же день. Производя переключку, Мария Владимировна с журналом в руках стала против окна, и солнечный луч вспыхнул в пушистом обводе ее головы.

«Не сотвори себе кумира», — гласит заповедь. В детстве я только тем и занимался, что творил себе кумиров.

Языческое стремление обожествлять окружающее было столь сильно во мне, как будто я происходил с берегов Ганга. Я жил в поклонении многим богам. Кроме богов домашних, к ним принадлежали юный велосипедист Батаен, теннисист Правдин, Хосе-Рауль Капабланка, мушкетеры Александра Дюма, наш сосед Данилыч — бог гражданской войны, голкипер Соколов, Вовка Ковбой, дворовый атаман, и Колька Глушаев, его дачный заместитель, мой дом, выходящий на три переулка, Меншикова башня — за грозную высоту, Абрикосовский сад, рысак Хапун из конюшни в нашем дворе, пистолет «монтекристо», красный цвет, городки и шестилетняя девочка Ляля, обмазанная шоколадом.

В тот ясный, жесткий, начавшийся с заморозков первый день сентября все прежние кумиры умалились, сникли, отшатнулись в тень, многие с тем, чтобы уже никогда не вернуться, и державно воссиял образ отнюдь не христианской, а языческой Марии.

Я радостно и беззаветно вручил свою судьбу новому кумиру — величавой женщине с ореолом вокруг головы, с прямым, спокойно-строгим, нелюбопытствующим взором, с чеканной серебряной брошкой, лежащей плашмя на высокой, тихо дышащей груди.

Как трудно быть учителем! Проходить ежедневный контроль десятков пар внимательных, острых, всевидящих и зачастую недоброжелательных глаз. Любое упущение в костюме, прическе, повадке немедленно отмечается и заносится в тот устный кондуит, который школьники ведут на учителей с большей неутомимостью, нежели учителя на них.

Ученики знают все свойства и слабости учителей: такой-то не враг рюмке, а такая-то ходит на свидания, такой-то перекидывается по вечерам в картишки, а такая-то помещана на оперных певцах. Они знают не только, как учитель провел выходной день, но и как он спал, какие у него отношения в семье, здоров ли он или скрывает недуг,

заслуживает уважения или только работает под образцового гражданина в школьных стенах. Знают его заветную страсть: собирание марок, игру на скрипке, сочинительство, танцы. За версту чуют пролаз, карьеристов и тех, кто не любит своей профессии.

Мария Владимировна была безукоризненна во всем. Едва ли не единственная учительница нашей большой школы, она не носила клички. На ее уроках царила тишина, хотя она отнюдь не принадлежала к страшилам. Она никогда не повышала голоса, не отчитывала провинившихся и уж конечно не выставляла за дверь. Лишь в редких случаях делала она замечание, обычно же ограничивалась взглядом, чаще просто укоризненным, порой кратко-грозным, как взблеск молнии, иногда же томительно-долгим, так что хотелось сквозь землю провалиться, исчезнуть, развеяться прахом. Это было известно мне из чужого опыта. За все годы я ни разу не удостоивался такого взгляда, да, уверен, и не выдержал бы его. Взгляд обычно сопровождался неразвернутой, презрительно-горькой улыбкой, а предшествовал ему прилив крови к почти не защищенным кожей сосудам Марии Владимировны.

Вообще Мария Владимировна легко краснела, но не от смущения, неуверенности или радости, а лишь от недовольства или скрытого гнева. Мне кажется, Мария Владимировна держала нас в повиновении прежде всего этим румянцем, как водителей — красный свет светофора. Мы так же замирали при его появлении, не доводя дела до нарушения.

Но, конечно же, не на страхе строились ее отношения с классом. Она владела бесценным даром подчинять себе молодые души. Весь класс в той или иной мере был влюблен в Марию Владимировну — и мальчишки и девчонки.

Она достигала этого минимумом усилий: всегдашней подтянутостью — ни малейшей небрежности в одежде, жестах, интонации, — ровным поведением, образцовостью всего внутреннего и внешнего облика. В ее лишенной скуп-

ного педантизма строгости была торжественность высокого и скромного праздника, исключаящего панибратство и даже намек на вульгарность. Она умела подать себя, заставить ценить малейший знак своего внимания, не то что благоволения. Добрая улыбка Марии Владимировны могла сделать человека счастливым.

Она избегала прикосновения к ученикам. В младших классах девочки и даже некоторые мальчишки любили виснуть на учителях; да и сами учителя не прочь были в доверительном разговоре обнять ученика за плечи. Этот прием особенно рекомендуется при объяснении с отъявленным хулиганом и должен вызвать раскаяние в заблудшей душе, а также при шепотке с малолетними стукачами, готовыми за теплоту учительского доверия предать всех товарищей, выдать все тайны. Мария Владимировна так себя поставила, что и самые липучие девочки не осмеливались коснуться ее, не то что обнять или повиснуть на талии.

И последнее, на чем стоял ее авторитет, хотя с этого следовало бы начать: она была отличным педагогом и справедливым человеком. Она превосходно объясняла, обладала красивым, четким почерком, грудным, звучным голосом, пробивавшим всякую сонную лень, и умелыми руками — в старших классах Мария Владимировна преподавала труд. И всегда выставляла тебе ту отметку, которую по совести ты сам поставил бы себе.

Но, пожалуй, все перечисленное не вознесло бы Марию Владимировну так высоко в наших душах, если б не покров тайны, окутывающий ее статную фигуру. Никто ничего не знал про нее, кроме каких-то плоских очевидностей: живет возле Красных ворот, не замужем, бездетна — вот и все. За этим куцым знанием простирались дали неведения. Как случилось, что такая прекрасная женщина, как Мария Владимировна, лишена мужа, семьи? Все остальные классные руководительницы имели мужей.

Видимо, прежде Мария Владимировна была замужем, но что-то случилось в ее жизни, какая-то драма, и она ос-

талась одна. В первом-втором классах мы, конечно, не задавались подобными вопросами, в третьем нас стало волновать непонятное одиночество Марии Владимировны, в четвертом мы уже подвергали это одиночество серьезному сомнению. Мы полагали, что у Марии Владимировны есть тайна. Наше уважение к ней не позволяло нам обсуждать ее тайну друг с другом, как, скажем, очередной запой Михаила Леонидовича, развод Агнии Федоровны со старым мужем или влюбленность преподавательницы физкультуры в красавца завуча. Но каждый про себя бился над загадкой Марии Владимировны. Что касается меня, то я думал об этом постоянно и легко угадывал настроенных на ту же волну.

Жизнь Марии Владимировны за стенами школы была повита туманом. Что она делает, когда не сидит над нашими неопрытными тетрадками? Куда ходит? С кем встречается, дружит? Каковы ее увлечения? Мария Владимировна была хорошо осведомлена не только о новых спектаклях, фильмах, выставках, но и о таких, казалось бы, необязательных для нее событиях, как футбольный матч «Спартак» — «Локомотив», гастроль иллюзиониста Кефало или рекордный прыжок Виталия Лазаренко. Может, она просто читала «Вечернюю Москву» и обладала хорошей механической памятью? А может, считала нужным быть в курсе той жизни, что занимает ее учеников? Но не исключено, что она сама была футбольной болельщицей или страстной театралкой, что в юности снималась в кино, что ее распиливал в деревянном ящике муж-фокусник, пока не бросил ради девочки-акробатки или же она сама ушла от него с укротителем львов, вскоре растерзанным хищниками. Клянусь, мне и такая чепуха приходила в голову.

Почему нам казалось, что у Марии Владимировны должна быть особая, странная, необыкновенная жизнь? Ну, хотя бы потому, что она не растрачивала себя в классе, как другие учителя. Она давала нам не меньше, может быть, даже больше своих коллег, но душа ее оставалась сохранной, сво-

бодной, не выкипала, как, скажем, у вечно взволнованной, громогласной, переходящей от гнева к восторгу и вновь впадающей во гнев Анны Дмитриевны. Она не уставала, как рыхлая, добрая и бессильная Софья Николаевна, кончавшая всякий школьный день валерьянкой или другими каплями. Да и все наши учительницы, немолодые, к тому же обремененные домашними заботами, напрочь выдыхались к концу учебного дня. За исключением юной и легкомысленной Елены Михайловны. Но с той все было ясно. У школьных дверей ее поджидал муж-летчик, они сразу отправлялись в кино, или в сад «Эрмитаж», или на каток, если дело было зимой.

Ну а куда направляла свой неспешный, торжественный шаг Мария Владимировна? Неужели просто домой?.. Вот она приходит в свою пустую, одинокую комнату в густонаселенной квартире, пропахшей кухней, раздевается, повязывает фартук и начинает разогревать на примусе вчерашний суп и заготовленные впрок биточки, а потом валяется на кушетке, проглядывая «Вечерку», особенно внимательно последнюю страницу, где хроника и реклама кино, театров, цирка, объявления о смерти и перемене фамилий... Такую картину мы не могли представить себе. Нет, нет, тут все должно быть напоено ароматом недоступной для нас, манящей взрослой жизни, осуществляющей себя сильно и смело.

Однажды — уже третьеклассником — мартовским лиловым подвечером я долго шел за Марией Владимировной путаницей переулков, что оплела Москву между Чистыми прудами и Садовой. Это получилось как-то само собой, мне и в голову не приходило выслеживать ее. Я направился к больному товарищу и где-то в устье Мыльникова переулка чуть не наскочил на свою учительницу. Не знаю, почему все обмерло во мне, будто я совершил невесть какую нескромность. Я замер и молил Бога, чтобы она не обернулась. Мне казалось, если она приметит меня и заговорит, случится непоправимая беда: я или онемею, или лишусь

сознания, или разревусь, или выкажу такую непроходимую тупость, что мне не жить после этого. Но Мария Владимировна не оглянулась.

Она держала себя на улице, как в классе: так же строго и празднично несла свою гордо посаженную голову. Она двигалась размеренно и неспешно, глядя прямо перед собой, непричастная к окружающей среде, как в школьном коридоре на большой перемене. И я не заметил, чтобы в многолюдстве часа пик кто-нибудь толкнул ее или хотя бы задел локтем. Переходя улицу, Мария Владимировна не замедляла шага, не оглядывалась по сторонам, а спокойно шла наперерез потоку машин, телег, пролеток. Но она так же не мешала движению транспорта, как и ей не мешало уличное движение.

Я брел за ней будто зачарованный. Меня толкали, чуть не сбивали с ног спешащие с работы люди, обругал ломовик, извозчик пытался огреть кнутом. Неуязвимость Марии Владимировны не распространялась на ее ученика.

Я не отдавал себе отчета, зачем иду, на что рассчитываю, какую преследую цель. Да и не было у меня ни цели, ни расчета. Невысокая, статная женская фигура в темном пальто с рыжеватым мехом влекла меня на невидимом буксире. Чем дальше мы шли, тем сильнее росло во мне волнение. Мы к чему-то приближались. К ее дому?.. К дому, где ее ждут?.. К назначенному месту встречи?..

Вдруг Мария Владимировна повернулась и пошла прямо в блеск громадных низких окон. Мне и в голову не пришло, что целью маневра Марии Владимировны могла быть просто витрина галантерейного магазина. Я полагал, что она собирается проникнуть в дом сквозь толстое стекло, и готов был узреть чудо. В последний миг Мария Владимировна раздумала окунуться в стихию стекла и стала что-то рассматривать там. Я замер у ближайшей водосточной трубы. Лицо ее оставалось непроницаемым, лишь дрогнула бровь, обнаружив скрытую душевную работу. Мария Владимировна отстранилась от витрины и тем же строгим

шагом пошла дальше. Я подскочил к стеклу — обычные товары галантерейного магазина: сумочки, кошелечки, пуговицы на картонках, гребешки, ножницы, головные щетки, катушки с нитками, наборы иголок. Что заинтересовало тут Марию Владимировну? Почему она вскинула бровь — движение, какого она никогда не позволяла себе в классе? Мне стало совестно. Я подглядел нечто такое, что не принадлежало Марии Владимировне — педагогу и классной руководительнице, а лишь Марии Владимировне — женщине. Это нехорошо, я воспользовался беззащитностью человека, не ведающего, что за ним следят. И я не пошел дальше.

Как много значит время на заре жизни! Сейчас годы ничего не меняют во мне, кроме физического самочувствия. А как поразительно много происходит в растущем человеческом существе за какие-нибудь полгода на пороге отрочества! Мне было около одиннадцати, когда выслеживал Марию Владимировну, я едва перешагнул двенадцать, когда попытался завоевать ее душу.

За эти месяцы я пережил острейшее увлечение географией, завесил все стены комнаты картами, обзавелся кучей атласов и маленьким глобусом. На карте земных полушарий твердь торжествовала над водной стихией густотой коричневого — гор — и зеленого — равнин. Глобус — во власти морей, он весь блестит голубизной. У меня были карты физические и политические, карты мира, материков и отдельных стран. И карты морских течений, и карта земной фауны — во всю стену. Это была моя самая великая драгоценность, я напал на нее в географическом магазине на Кузнецком мосту и с тех пор больше никогда не встречал в продаже.

Карта выполнена с удивительным искусством: зверям не только хватает места в скупых пределах, но все они помещены в характерную для них среду. Зеленые мартышки цепляются за лианы, лев терзает антилопу под колючей акацией; на печально пустынном пространстве Австралии

бродит птица киви, торопится к гнезду с яйцами утконос, кенгуру с малюткой в брюшном мешке готовится к прыжку, мчится стая диких собак динго. Каким-то потерянным казалось австралийское зверье по контрасту с перенаселенностью других материков, где, как в кухне коммунальной квартиры, все сидят друг у друга на голове: львы, слоны, бегемоты, носороги, гориллы, страусы, жирафы, крокодилы, черепахи, змеи...

На каждую страну я завел тетрадку и вписывал туда всевозможные сведения, которые мне удавалось получить из географических карт: ведь на многих из них помечены и полезные ископаемые, и большие предприятия, и товарооборот портов, не говоря уже о железных и шоссейных дорогах, морских путях. У нас не было учебника по географии. Конечно, я мог без труда получить все интересующие меня данные из учебника для старших классов, но это убило бы дух исследования. А я словно путешествовал по картам и глобусу, сам для себя открывая Францию, Англию, Испанию, Японию, Индию и так вплоть до карликовых государств и островов в Океании.

Я рассказываю о своих географических увлечениях, потому что путь к сердцу Марии Владимировны прокладывал через географию. Не читав еще трактата о любви Стендаля, я своим умом постиг, что надо заставить любимое существо думать о тебе, и география дала мне такую возможность. Ни о чем ином я и не мечтал. Пусть Мария Владимировна и за стенами школы, в недоступной для нас жизни, помнит, что есть такой паренек в 4-м «В», и пусть легкая печаль навестит ее иной раз посреди радости и забвения.

Марию Владимировну нельзя было пронять ни отменными успехами в науках — она считала, что все обязаны хорошо учиться, ни спортивными достижениями, ни подвигами иного рода, вызывавшими, как ни странно, положительный интерес у других учителей: лихим прогулом, дракой или курением во время урока. Она не удивлялась,

не гневалась и не пыталась, подобно своим коллегам, постигнуть сложную душу преступника, лишь брезгливо, презрительно щурила глаза цвета березового сока.

Ее не пронять было и томным, рассеянным видом, заставлявшим сердобольную Анну Дмитриевну волноваться, все ли благополучно в семье страдальца. Мария Владимировна не интересовалась домашней жизнью учеников, не любила и душеспасительных разговоров с родителями. Она не позволяла себе вмешиваться в дела семейные и не нуждалась в родительской помощи даже в самых трудных случаях. Так, силач и хулиган Агафонов, перебивавший во всех классах и отовсюду вылетевший, был спасен и укрощен Марией Владимировной. Она убедила нас выбрать его старостой и убила сразу двух зайцев. Потрясенный доверием, Агафонов поставил крест на своем мрачном прошлом, а в классе воцарились образцовая дисциплина, порядок и чистота, ибо прямолинейный и безжалостный Агафонов был правителем аракчеевского типа.

Она заставила хорошо учиться маленькую, злую, несчастную и безнадежно неуспевающую Юрину. У нее в семье творился ад: родители скандалили, дрались и разводились чуть ли не каждый день. При очередном награждении лучших учеников в числе избранников оказалась и Юрина. «За старание» — гласила формулировка. Жизнь Юриной озарилась несказанным светом: теперь родители могли стрелять друг в друга из пулемета — Юрина училась. Распадалась, слеплялась семья — Юрина знай училась. Она не ходила, секретничая, на переменках в обнимку с подругами, не сплетничала — она училась. У нее возникла цель в жизни — оправдать награду, остальное не имело значения.

Все свои задачи Мария Владимировна разрешала тихо, неприметно, без педагогического звона. Ей был нужен порядок — и все. Нелегко прошибить такую закованную в латы спокойствия и самоуверенности душу.

Но вот Мария Владимировна стала вести урок географии. Помню, она знакомила нас с лоскутной картой Европы, на-

зывая страны и главные города, когда я шепнул сидевшему через проход рыхлому недалекому парню по кличке Лапа:

— Спроси, где находятся Андорра!..

Лапа недоверчиво покосился на меня, ожидая подвоха:

— А разве есть такая?

— Есть, есть!

— А что ты сам не спросишь?

— Так я же знаю. Зачем мне спрашивать?

Лапа озадаченно чешет в затылке.

— Спроси, дурак!.. Ну что тебе, жалко?

Лапа был хорошим товарищем. Покраснев, он выпростал из-за парты свое сырое тело:

— Мария Владимировна, а где находится эта?..

— Андорра, — тихо подсказал я.

— Андорра.

— Какая еще Андорра? — недовольно произнесла Мария Владимировна.

— Карликовое государство на границе Франции и Испании! — громко сказал я.

— Тебя, кажется, не спрашивали! — покраснела учительница. — Я еще не говорила о карликовых государствах. В Европе существуют государства-карлики: Люксембург, Монако и Андорра.

— И республика Сан-Марино! — крикнул я.

— Совершенно верно, но запоминать их необязательно, — сказала Мария Владимировна оробевшему классу.

— И княжество Лихтенштейн! — не унимался я.

— Не кричи, а подними сперва руку, — осадил меня Мария Владимировна.

Я тут же поднял руку и, не дожидаясь разрешения, выпалил:

— Ватикан — тоже отдельное государство. Но тут прозвенел звонок...

Когда же на следующий день мы перешли к Америке, я надоумил Лапу поинтересоваться, какой главный город Гондураса.

— Что ты сказал? — будто не расслышала Мария Владимировна.

— Какой главный город Гондураса? — малость струхнув, повторил Лапа.

— Тегусигальпа! — выпалил я.

Класс замер от восхищения, а на лице Марии Владимировны загорелось: стоп! Но в упоении я не внял сигналу.

— А в Никарагуа? — шепнул я Лапе.

Видать, тому понравилась игра, делавшая из него любознательного ученика.

— А в Никарагуа? — сказал он громко.

— Зачем тебе это надо? — произнесла Мария Владимировна с недоброй усмешкой. — Ты что, собираешься поехать туда?

Кто-то угодливо захихикал, а Лапа, вдруг обидевшись, проворчал :

— Я и в Париж не собираюсь, а вы же спрашиваете.

— Манагуа! — сказал я твердым голосом.

— Что? — не поняла Мария Владимировна.

— Манагуа — главный город Никарагуа!

— С чем тебя и поздравляю! — отчеканила Мария Владимировна.

И тут я наконец понял, что она действительно несведуща в географических тонкостях, и от сознания своего превосходства прямо-таки потонул в нежности к ней. Эта нежность ослепила мне душу. Я не сомневался, что в своей далекой жизни Мария Владимировна нет-нет да и вспомнит об удивительном мальчишке, знающем главные города всех государств мира. Да и не только главные города, в чем она вскоре убедилась.

И Лапа, и закадычный приятель Митя Гребенников, и мой новый друг Павлик, подзуживаемые мною, засыпали ее вопросами о полезных ископаемых Либерии, местоположении острова Тристан-да-Кунья, животном мире Новой Каледонии, населении Огненной Земли, климате Французской Гвианы, морских течениях у берегов Кубы. И вся-

кий раз у Марии Владимировны оказывался верный и надежный помощник. Как только раздавался очередной каверзный вопрос, класс весело ожидал моей подсказки, но потом, убедившись, что осечки не будет, утратил интерес к представлению, и я даже вроде бы наскучил им.

Это удивило меня не так, как непостижимая сдержанность Марии Владимировны. Она ничем не обнаруживала своего восхищения моими познаниями. И если б не румянец, очень медленно сплывавший с ее лица, я мог бы подумать, что она страдает перемежающейся глухотой и просто не слышит ни обращенных к ней вопросов, ни моих ответов.

И все-таки я дождался своего знака отличия, хотя вначале по малости души не оценил оказанную милость. У нас была труднейшая контрольная по арифметике, самому ненавистному для меня предмету. И надо же так случиться, что из всего класса задачу решил я один. Даже наши классные Эйлер и Лобачевский осрамились. Мария Владимировна оповестила класс о всеобщем конфузе и моем триумфе. Но я недолго наслаждался успехом. Бесстрастным голосом Мария Владимировна сообщила, что, начиная с этой контрольной, она будет строго взыскивать за грязь в тетрадках, и продемонстрировала заляпанную кляксами страницу. Конечно, я даже издали узнал свою работу: ведь кляксы так же индивидуальны, как и почерк. И хотя ученик, чью безобразную, грязную тетрадку она показала, заключила Мария Владимировна, один из всего класса решил задачу, он получит «неуд».

Класс глухо зашумел, педагогическая новация Марии Владимировны впервые показалась жестокой и несправедливой.

— Глотай слюни! — посоветовал Митя Гребенников.

— Зачем?

— Тогда не заревешь.

— А я и не собираюсь, — сказал я и тут же почувствовал неодолимое желание разреветься.

Такого со мной в школе еще не случилось. Но поступок Марии Владимировны потряс меня: хороша награда за мои географические подвиги, за все, что я для нее сделал! Не отметка огорчила, плевать я хотел на этот «неуд», а душевная черствость Марии Владимировны, избравшей для своих сомнительных опытов человека, который столько раз говорил на невнятном для окружающих, но, конечно, понятном ей языке: я люблю вас! Ведь все эти Тегусигальпы, Манагуа, Кайенны, Лимы, запасы олова и никеля, грузообороты океанских портов и плотность населения Соломоновых островов были вариациями одной темы: признания в любви.

— А Мария Владимировна высоко тебя ставит, — тихо сказал Павлик.

К этому времени я проглотил все слюни, какие только были, и тщетно трудил пересохшую гортань, уже неспособную к глотательным движениям.

— Почему? — выдавил я с трудом.

— Да на твоём-то месте кто другой мог бы концы отдать, — пояснил Павлик.

Все случившееся мигом озарилось иным, волшебным светом. Я удостоился великого доверия Марии Владимировны. Мне выпала честь быть ее терпеливым подопытным кроликом. Она отрезала мне лапку и пересадила на спину, и я должен постараться, чтобы лапка прижилась. Тогда все увидят, что Мария Владимировна никогда и ни в чем не ошибается. Это ставит меня неизмеримо выше обычного кролика, который пассивен к эксперименту. Мне уже не нужно стало глотать слюни. Я ликовал. Но про себя. Веселиться в открытую мне не пристало, не то поступок учительницы приобретет фарсовый оттенок, а сама Мария Владимировна подумает, что я бесчувственная скотина.

Я оказался на высоте. Получая свою опозоренную тетрадку из рук Марии Владимировны, я позволил себе лишь слабый намек на улыбку, чтоб она поняла готовность кролика служить ей. И тут же напустил на себя смиренно-

грустный вид, дабы показать ребятам, как глубоко пронзила меня педагогическая стрела.

Вскоре последовало подтверждение моей избранности, о которой догадался Павлик. На моем примере была явлена необходимость писать грамотно всегда, а не одни лишь диктанты и домашние сочинения. Мне снизили отметку за то, что в домашней работе по арифметике я допустил опisku: «длинна». Похоже, Мария Владимировна несколько преувеличивала мою выносливость. Но добрый Павлик объяснил, что суровый урок обретает убедительность лишь на примере грамотного ученика и Мария Владимировна, в силу своего тайного пристрастия, конечно же, выбрала меня...

У нас было заведено с первого класса встречать приход зеленой весны за городом. Мария Владимировна вывозила нас на трамвае куда-нибудь на окраину Москвы: в Петровский парк, Останкино, Черкизово — тем дальше, чем старше мы становились. Четвертую школьную весну решено было встретить в Измайлове, и мы на добрый час отдались болтанке полупустого трамвая. По традиции скамейка возле Марии Владимировны считалась общественным достоянием: посидел, пообщался с любимой учительницей — уступи место другим. Неписанный устав обязывал делать это незаметно, как бы невзначай. В свою очередь, Мария Владимировна не выражала удивления, что соседи ее все время меняются. Я дожидался своей очереди в компании с Ирой Букиной: девочки умели естественно и мило проводить маневр подселения к Марии Владимировне. И вот мы плюхнулись на скамейку.

— Ах как хорошо! — воскликнула Ира Букина. — Тут можно открыть окошко!

— Не советую, — сказала Мария Владимировна, — воздух холодный, тебя продует.

— Ой, тогда не надо! — испугалась Ира. — Я и так все время болею гриппом.

Внук врача, я почел своим долгом сообщить:

— Теперь говорят «грипп», а раньше говорили «инфлюэнца».

— Твои родители в Москве или на гастролях? — спросила Мария Владимировна Иру.

— На гастролях. Уехали до конца лета.

— Как все меняется, — заметил я. — Раньше говорили «чахотка», а теперь — «туберкулез».

— А что они повезли? — Мария Владимировна обращалась по-прежнему к Букиной.

— Водевиль Каратыгина и «Медведя».

— Кстати сказать, воспаление легких тоже...

— Перемени пластинку, — посоветовала Мария Владимировна.

Ира Букина рассмеялась. Ледяной тон, каким было сделано замечание, обескуражил меня. Все попытки объяснить эту резкость по методу Павлика успеха не имели. Смущенный, огорченный и подавленный, я так и не сумел «переменить пластинку» и бесславно уступил место Мите Гребенникову.

Из сыроватого, просквоженного ветрами Измайловского парка я привез то самое, о чем рвался поведать Марии Владимировне, — воспаление легких, да еще крупозное.

Неделю я был в беспомощности, и ртуть в термометре не опускалась ниже тридцати девяти. Никакие средства не помогали, и было похоже на то, что я окончательно включил заднюю скорость — в небытие. Сам я ни о чем таком не знал, находясь в непрерывных муках бреда: на меня неудержимо валились огромные черные камни, и я истошно кричал: «Камни!.. Камни!.. Уберите камни!» А когда камни отваливались, со всех сторон напоздали странные, бескостные, какие-то тряпичные щенки. Соприкосновение с их вялой и все прибывающей плотью повергало меня в ужас и омерзение. «Щенки! — стонал я. — Уберите щенков!..»

Так, поочередно меня душила то жесткая, то мягкая материя, а потом отвалились камни, упоздали щенки, я оч-

нулся в своей большой светлой комнате, узнал родные забытые лица и обрадовался им, обрадовался всему, что было вокруг: обоям, мебели, пятнам солнца на паркете, особенно же высокому белому потолку, с которого свешивалась люстра, и тому, что за окнами, — небу, сухим красным крышам, галкам, расхаживающим по карнизу. Но я был так слаб, что не мог ощутить родственности миру за окнами. И даже насельники комнаты: письменный стол, кресло, умывальник, книжные полки — казались мне недостижимыми.

В эту пору я сдружился с потолком. Лежа по преимуществу на спине, я все время имел перед глазами его гладкую белизну, подернутые паутиной углы, круглую лепку посредине в виде какого-то цветка, оттуда спускалась люстра на медном штыре. Вскоре мне стало казаться, что я гляжу в потолок не снизу, а сверху, будто в колодезь. Потолок находился глубоко подо мною, и если добраться до торчащей со дна люстры, то по ней легко спуститься вниз и зажить на потолке, имея над головой пол и всю мебель. Не могу понять, почему мысль об этом потолочном существовании наполняла меня счастьем. Меж тем 4-й «В» завершил учебный год без моего участия.

Но по совокупности успехов меня наградили похвальной грамотой, которую вручили матери на родительском собрании.

— А Мария Владимировна?.. — спросил я слабым голосом. — Как она?

— Все тот же сейф, ключ от которого потерял, — легкомысленно отозвалась мать, но, увидев, что я огорчился, посерьезнела: — Спрашивала про твое здоровье и обещала навестить...

— Когда?

— В пятницу.

— Какой сегодня день?

— Среда... Что с тобой? — встревожилась мать. — Почему ты такой бледный?

— Надо повесить географические карты, — сказал я.

Их сняли незадолго до моей болезни под тем предлогом, что они являются рассадником клопов. Я уже миновал пик увлечения географией и не противился. Пожалуй, лишь о зверьево́й карте жалел, но она могла приютить всех клопов квартиры.

— Зачем? — спросила мать. — Мария Владимировна так любит географию?

— Посмотри, какие стены — сальные, грязные и все в клопах.

— Да, надо сделать ремонт... Вот ты поправишься...

— При чем тут? Тогда все равно... Надо, чтоб к пятнице!

— А-а! Ну, раз надо, сделаем. Не волнуйся так!

Но я не успокоился до тех пор, пока наши убогие, выцветшие обои не скрылись под многоцветьем географических карт.

Со стенами было в порядке, но теперь я обнаружил множество других изъянов в своем обиталище. Надо вынести вольтеровское кресло: за пышным титулом обретается такое дряхлое, засаленное убожество, что непонятно, как мы вообще могли мириться с ним. Затем я попросил принести из темной комнаты настольную лампу с тугим фиолетовым шелковым абажуром и поставить на письменный стол взамен моей, с разбитым фарфоровым колпаком. Лекарства надо было убрать с ночного столика и как можно дальше запихнуть под кровать фаянсовую посудину. На столик я попросил положить том Шекспира в красивом брокгаузовском издании, книжку «Охотники за микробами» и учебник английского языка. Велено было достать из стола альбом с марками, а из чулана — коллекцию бабочек, чтоб в случае необходимости были под рукой. Через некоторое время, заметив, что крыши усеяны голубятниками, оравшими, свиставшими в пальцы и мочившимися вниз длинной струей, я распорядился повесить шторы, снятые с наступлением весны.

Болезнь имеет свои преимущества. В обычной жизни я не решался беспокоить свою мать по пустякам. Она любила лишь серьезные, большие задания, требующие сил, ловкости, находчивости: достать велосипед, подобрать у букинистов всего «Агасфера» — и ненавидела мелкие бытовые просьбишки. Я никогда не просил ее ни о чем, связанном с едой, развлечениями: она сама определяла, что мне есть, носить, смотреть, где проводить лето. Иначе говоря, я мог заразить ее своими увлечениями, будь то спорт, техника или книги, но не смел совать нос в бытовые мелочи.

Но тут я распоясался до того, что стал обсуждать с матерью, чем будут угощать Марию Владимировну.

— Мы можем накормить ее обедом, — предложила мать.

— А в котором часу она придет?

— Мы так точно не условились, — сказала мать, — но я думаю, сразу после занятий.

— Но ведь занятия уже кончились!

— Это у вас, — неуверенно проговорила мать, — а учителя что-то еще делают.

— А она правда обещала прийти? — спросил я, охваченный внезапным ужасом оттого, что мать все придумала.

— Господь с тобой! Ты что же, не веришь мне?

— Как это было?

— Очень просто... Мы говорили о тебе, и она сказала, что зайдет тебя навестить в пятницу, если это удобно.

— И ты сказала, что удобно?

— Конечно, сказала! Какой ты странный.

— А что у нас на обед?

— Можно сделать селедочку с картошкой...

— А суп какой?

— Хочешь рассольник? И пирожки с мясом.

— А на второе?

— И пирожки, и второе?.. Ну, можно сделать котлеты или тефтели.

- Лучше тефтели. И кисель, да?  
Через некоторое время я сказал:  
— А если она придет раньше?  
— Предложу ей чашку чаю. А потом обед.  
— А если она задержится?  
— Оставим ужинать. Вероня достала копчущек.  
— Возьми мою черешню. Все равно я ее не люблю.  
— Надо есть фрукты... Мы купим еще.  
— Мама, — сказал я, — а ты наденешь серый костюм?  
Мать как-то странно посмотрела на меня:  
— Надену, если хочешь.  
— Ну, тогда хорошо... — И я сразу заснул.

Конечно, все это сошло мне с рук только потому, что я перенес тяжелую болезнь. Но в роковую пятницу мама находилась на точке кипения и только чудом не «убежала». Я загонял всех. Мне требовался отцовский плед вместо моего ватного одеяла, и другие подушки, и чистые наволочки. Снизу был позван полотер-любитель Митрич для освежения воском паркета. Вероня, вооруженная щеткой на длинной ручке, снимала паутину с потолка и люстры. Моего шелудивого пса Джека, несмотря на отчаянное сопротивление, вымыли и расчесали. Оскорбленный, подавленный, розово-белый — кожа просвечивала сквозь редкую шерсть, он угрюмо залег в углу, положив морду на передние лапы, — поза, унаследованная от далеких породистых предков.

Среди дня как снег на голову явилась мамина приятельница Раечка, черноглазая, томная, рассеянная и вьедливая. Она курила длинные папиросы, обсыпая все вокруг себя пеплом, смеялась тихим, долгим, многозначительным смехом, называла маму Ксёной и говорила только о мужчинах. Я пришел в отчаяние. Нельзя было представить более неудачного сочетания, чем эта томная распустеха и величественная Мария Владимировна.

— Ксёна, — донеслось ко мне из темной комнаты, — у вас пекут пирожки, я останусь обедать. Ты не хочешь позвать Али?

— Мама! — крикнул я своим шатким после болезни голосом.

Мать встревоженно вошла.

— Неужели Раечка останется у нас?

— А почему ей нельзя остаться? — удивилась мать.

— Но ведь придет Мария Владимировна!

— Ну и что же? Раечка — моя гимназическая подруга.

— Ты же сама говорила, что ее выгнали из третьего класса. Ну, мама, зачем она сегодня? Ты разве сама не понимаешь?

— Не понимаю! — запальчиво сказала мать, хотя в глубине души отлично понимала. — В конце концов, это моя старая приятельница.

— И Али — твой старый приятель?

— Никакого Али не будет.

— Пусть и Раечки не будет. Прошу тебя!

— Может быть, для твоих гостей и я недостаточно хороша? — с ненатуральной горечью сказала мать.

— Зачем ты?.. Конечно, хороша. Только причешись. И ты обещала надеть серый костюм.

Мать начала покусывать губы — плохой признак. Но болезнь вновь защитила меня. Мать сказала мягко:

— Раечка уйдет, не беспокойся. Все будет хорошо, ручаюсь тебе...

...Я находился в чистой, прибранной комнате, увешанной нарядными географическими картами, солнце ломило в окна и ярко отблескивало в натертом паркете. Под клетчатым шотландским пледом я лежал намытый, причесанный и даже надушенный. Сбоку меня морально подпирала Шекспир, «Охотники за микробами» и учебник английского языка, со стены улыбалось доброе зверье, а континенты своими неизменными очертаниями утверждали незыблемость миропорядка, я мог радостно думать о предстоящей встрече.

В близости прихода Марии Владимировны я внутренне собрался, слившись со своей взволнованностью и обретя в

этом странный покой высшего напряжения. Я был весь заполнен своим сердцем, и в нем, а не извне свершилось явление Марии Владимировны.

— Ну вот, я пришла. Здравствуй. Что же ты так напугал нас всех?.. Весь класс и меня, конечно, да ты и сам это понимаешь. Я всегда удивлялась, что ты так много знаешь. Ты понял даже мою несправедливость. Я испытывала тебя, и ты выдержал... Ты заболел нарочно, чтоб я могла прийти к тебе? Я ведь никогда не хожу на дом к ученикам... Какие у тебе прекрасные карты! Я повешу у себя такие же и буду знать все города, и всех зверей, и все полезные ископаемые... Ах какие у тебя книги! Ты такой серьезный! У меня не хватает времени, чтоб все знать, но это не такая уж беда, правда?... Хочешь, я положу тебе руку на лоб?..

Она положила мне на лоб свою прохладную, легкую, твердую руку, я заплакал от счастья и проснулся.

Был день, и солнце, и пустота комнаты, и мой короткий сон лишь немного приблизил час прихода Марии Владимировны. На несколько минут, удивительно долгих и емких, я уже в яви переживал очарование нашей встречи, слышал отзвук ее голоса, ощущал прохладную руку на лбу. Затем видение погасло, и я вновь погрузился в тревогу и надежду ожидания...

Это только во сне она могла говорить одна, как шекспировские герои. В жизни люди говорят по очереди. О чем буду говорить я? Наверное, ей будет интересно услышать про мою болезнь: беспмятство, черные камни, щенки, жизнь на потолке... Только бы не проговориться, что я заболел после поездки в Измайлово, надо будет и маму предупредить. Я простудился раньше и поехал в Измайлово уже больным. Я чувствовал ломоту еще в трамвае и потом все время был какой-то недоваренный. Меня продуло в Абрикосовском саду, где мы играли в футбол, вспотели, а потом поднялся сильный ветер, нагнавший первую в этом году грозу.

— Мама! — позвал я.

— Ну, что тебе? — спросила мать, входя и одергивая на себе серый, недавно сшитый костюм.

— Ой как хорошо! Тебе удивительно идет!.. Знаешь, мама, я понял, когда заболел.

— Когда вас таскали в Измайлово.

— Вот и нет! Раньше. В Абрикосовском саду.

— Не выдумывай!

— Честное слово! Я был весь потный, и тут этот жуткий ветер. А потом гроза, помнишь?

— Не сочиняй! Ты пришел до грозы.

— Конечно! Но уже простуженный. Меня всю ночь ломало.

— Зачем же ты поехал в Измайлово?

Ключуло!

— Не надо мне было ехать! — сказал я сокрушенно. — Простить себе не могу!..

— Какой ты неосторожный!..

Все: мать уверовала, что в Измайлово я поехал уже больным.

Мама ушла в темную комнату, оттуда свежо и крепко запахло духами, и это было как предвестие Марии Владимировны.

Вскоре она начала появляться — большой крахмальной скатертью, столовым серебром, извлекавшимся на свет Божий лишь в самых торжественных случаях, посудой, прибывшей из кухни на подносе, белейшим Верониным фартуком...

На крыше возникли голубятники, и мама по моей просьбе задернула шторы. Мягкий полумрак наполнил комнату, словно долгий майский день внезапно склонился в сумерки. В щель между шторами проник широкий и плоский, как бритвенное лезвие, луч и уперся в противоположную стену. По нему вверх-вниз заскользила радужная поперечная полоска. Я закрыл глаза, решив открыть их не раньше, чем в этом луче возникнет Мария Владимировна.

— Ну, здравствуй, — скажет она.

Мне вдруг захотелось отодвинуть миг ее появления, уже заложенный в ячейку близкого будущего. Ведь, едва свершившись, этот миг тут же станет прошлым. Конечно, твое прошлое всегда с тобой: Акуловский сад, Уча, вспышки молний в стеклянном шаре над клумбой, «бабушка в окошке» и тяжесть биты в руке, девочка Ляля, поедающая шоколад, сатанинское обаяние Кольки Глушаева, но было бы куда лучше, если б все это мне еще предстояло.

«Помедлите, — просил я Марию Владимировну, — помедлите еще немного. У меня есть силы ждать, а когда их не станет, вы придете...»

Позже, когда луч, все смещавшийся в сторону двери, уже не пересекал комнату, оставшись мазком на подоконнике, я попросил маму раздвинуть шторы. За окном было еще много света и синевы, но я не дал себя обмануть. Голубятники покинули крыши, значит, настал прозрачный майский вечер.

— Мама, — сказал я, — ты точно уговорила с Марией Владимировной?

— Ну, конечно, я уж тебе говорила.

— Но ведь необязательно к обеду?

— Н-нет, но я так ее поняла.

— А может, она придет вечером?

— Перестань! — сказала мать. — Придет твоя Мария Владимировна. Не станет же она обманывать больного.

— А можно не убирать со стола? Пусть у нас будет ужин... И если хочешь, позови кого-нибудь. Только не Раечку. Позови художника, которого укусил Джек.

— Да мне никто не нужен, — сказала мать. — Есть хочется.

— А ты поешь... немного. А потом поужинаешь. Только ты не переодевайся, ладно?.. Мария Владимировна придет. Я ведь правда очень сильно болел. Митя Гребенников говорит, что я чуть не умер.

— Дурак он, твой Митя.

— Нет, он очень самобытный. — Мне вспомнилось, что так говорила Раечка о своем Али, когда его тоже называли дураком. — Все равно я очень тяжело болел и сейчас еще не выздоровел.

Много позже, когда за окнами еще брезжил свет, а в комнате стало совсем темно и мама зажгла настольную лампу, я сказал:

— Мама, а можно не снимать карты?

— О чем ты?

— Ну о картах! Не снимайте их, пока я не встану. А клопов мы потом выведем.

— Ты столько собираешься ее ждать? — грустно спросила мать.

— Но ведь она же придет? Ты сама сказала. Ты меня никогда не обманывала.

— Я — нет!..

— А вдруг она заболела? Надо сходить завтра в школу и узнать. Наверное, она заболела и лежит одна. Ты знаешь, она живет совсем одна. У нее никого нет.

— Бедняжка! — сказала мать, и непонятно, относилось это к Марии Владимировне или ко мне.

— А ты дала наш адрес по Телеграфному или Армянскому? Ей удобнее с Телеграфного. Армянский от нее дальше, и потом надо пройти два двора и столько камней... черных камней!.. Убери, убери камни!

Может быть, даже лучше, что все кончилось так: это избавило меня от дальнейшего мучительного ожидания. А потом пришел сон, долгий, глубокий, без сновидений, и настало утро в слабости и тумане, и врач тыкал меня в спину и грудь холодным кружочком стетоскопа и что-то бормотал о «втором кризисе», и я опять заснул. Вторично проснулся под своим обычным ватным одеяльцем, карт на стенах уже не было, и Шекспир с «Охотниками за микробами» вернулись на книжную полку. Но и без этих очевидностей я уже знал, что Мария Владимировна не придет, что она не собиралась приходить и обмолвилась своим обе-

щанием из пустой вежливости. Я не знал, почему она так поступила, да и не думал об этом. Моя Мария Владимировна перестала существовать...

Марии Владимировны уж нет на свете. Она прожила долгую жизнь и чуть не до последних дней работала а школе. Я никогда не расспрашивал о ней школьных товарищей. И если минувшее все же всплыло, то помимо моей воли.

Это случилось на одной из наших традиционных встреч. Бывшая девочка Ира Букина последней видела Марию Владимировну. Та с удивительной теплотой вспоминала наш старый класс, делая единственное исключение для меня.

— За что же такая немилость? — спросил я.

— Ты не берег ее скромного достоинства, — наставительно ответила бывшая девочка Ира Букина.

— Вот как?.. В чем же это выразалось?

— А география — забыл?.. Ты вел себя ужасно!

— Господи, что за чушь!

— Ничего не чушь. Сколько лет прошло, а Мария Владимировна все спрашивала: «За что он меня так ненавидел?..»

Как трудно быть учителем, но и как трудно быть учеником!

# ПОЧЕМУ Я НЕ СТАЛ ФУТБОЛИСТОМ

Подобно всем футболистам, я начинал с тряпичного мяча, который мы гоняли в подворотне, соединяющей два двора нашего громадного московского дома. До чего же трудно придерживаться истины, даже в самых незначительных обстоятельствах, когда речь идет о прошлом. Ведь и не хочешь соврать, а соврешь, понуждаемый ко лжи во все не расчетом, а случайно подвернувшимся словом, неподатливостью фразы. Да разве я гонял мяч в свои четыре года? Конечно, нет! Гоняли большие мужики лет семи-восьми, а я исполнял — притом добровольно — роль загольного кипера. Настоящие загольные киперы — это уже кандидаты в команду, им самим этак лет по шесть, и они могут пулей слетать за далеко прострелившим ворота комком тряпья и ваты и, не притрагиваясь к нему руками, подогнать или направить вратарю пушечным ударом. Куда мне было тягаться с ними на моих еще слабых ногах? Самое большее, на что я мог рассчитывать, — это схватить в руки случайно подкатившийся ко мне тряпичный ком, слиться с ним, круглым, теплым, грязным, в нежно-отчаянном порыве и с неохотой отдать вратарю, схлопотав легкий подзатыльник.

Всерьез роль загольного кипера я стал выполнять года через два на даче в Акуловке. Там уже играли не тряпичным, а самым настоящим футбольным мячом с розовой камерой, которую перед каждой игрой подклеивали, а затем надували, с трепетом ожидая, что под напором воздуха из велосипедного насоса или могучих легких Кольки Глушаева он даст новую дырку, мячом с кожаной, будто стега-

ной покрывкой — время от времени ее подшивали драгвой, со шнуровкой из сыромятной кожи, небольшим, третьего размера, тугим коричневым настоящим футбольным мячом.

Надо сказать, мне не так-то уж часто приходилось бегать за мячом, — Колька Глушаев недаром обладал репутацией непробиваемого голкипера. И, зная это, соперники не пытались обстреливать ворота издали, старались выйти прямо на вратаря и тогда уж бить. В акробатических прыжках Колька брал «мертвые» мячи. Но случалось, мяч проходил рядом со штангой — телеграфным столбом или стволом березы, а то и над штангой — последнее определялось на глаз и называлось «выше ручек», и я несся через лопухи, буераки, крапивную чащу — играли на пустыре за Акуловкой — и, далекий от прежних жалких порывов, виртуозно гнал мяч назад и посылал прямо в руки Глушаеву. Так, сзади, приучался я обстреливать ворота, так выработывался точный удар, которому я был обязан своими последующими успехами сперва в дворовом, потом в школьном футболе и, наконец, тем, что меня, уже юношу, заметил играющий тренер «Локомобиля», знаменитый Жюль Вальдек.

Высокий, худой, с торчащими скулами и узкими зелеными глазами, с маленькой головой на длинной жилистой шее, с вихрами пшеничных волос и рыжими веснушками на переносье и узких пальцах, он скорее походил на скандинава, нежели на француза. А когда мы приводили на стадион какого-нибудь новичка, тот вообще отказывался верить, будто центрфорвард «Локомобиля», в игре стремительно-сдержанный, а в поведении распущенный — он орал на игроков, препирался с судьями, — знатный иностранец, а не наш землячок. И только неумолчные крики с трибун: «Жуля, давай!», «Жуля, вмажь!», «Жуля, бей мозгой!» — убеждали малюверу, что тут нет розыгрыша.

Не берусь судить, хорошо ли играл Жюль Вальдек, хотя отчетливо помню, как он играл. Вот уж кто не старался выглядеть универсалом и поспевать всюду: помогать защит-

никам, оттягиваться в полузащиту, завязывать атакующие комбинации. Нет, он был нападающим в чистом виде, причем именно центрфорвардом, постоянно нацеленным на ворота, был острием атаки и ничем больше не хотел быть. Он хладнокровно оставался в центре поля, когда у ворот «Локомобиля» творилось столпотворение и гол казался неминуемым. Он спокойно ждал своей минуты и тут уж не терял времени даром. Тараном шел на ворота противника, сплошь и рядом в одиночку проходил защитные порядки и кинжальным ударом посылал мяч в самое неожиданное и неудобное для вратаря место. Болельщики, особенно мальчишки, души в нем не чаяли. Покоряли его своеобразием, непохожестью на других игроков, а главное — он почти никогда не уходил без гола. Если не с игры, то с пенальти он обязательно забивал.

О нем говорили, что он предупреждает вратаря, куда будет бить. Я предчувствую усмешку футбольных болельщиков-ветеранов. Старо, старо, так и о Бутусове говорили, и о рыжем Селине, и о Канунникове, да и о многих других игроках с сильным ударом. Не торопитесь! С Вальдеком — дело особое: «Бью в правый верхний угол!» — предупреждал он вратаря и бил в... левый нижний. Конечно, это вранье, чепуха, стадионная мифология, сказка о хитром и пройдошливом «мусью». Кстати, веривших в эту небывлицу коварство Жюля ничуть не возмущало, а скорее радовало, как проделки лукавого богатыря Алеши Поповича.

Жюль Вальдек забивал голы, потому что обладал блестяще поставленным, сильным, резким и точным ударом. Он был профессионалом высокой пробы: то, что умел делать, делал в совершенстве. А за остальное не брался. Даже в самые трудные минуты он не имитировал трудолюбия, помощи партнерам в обороне. Он берег силы, возможно, у него их не так уж и много было, берег ноги и сердце. И при всем том приносил команде наибольшую пользу.

Я был влюблен в него, как и все мои товарищи по школьной футбольной команде, над которой шефствовал

«Локомотив». И все же меня не оставляло чувство неудовлетворенности после матчей с участием Вальдека, независимо от игрового результата. Я считал, что надо выкладываться, а он не выкладывался. Я считал, что игрок должен погибать ради команды, а он не погибал. Он словно гастролировал на поле. До обидного мало бывал в деле, и вся его игра — не пожар, а яркие вспышки. Мне Вальдека не хватало. Потому и не хватало, что в нечастых вспышках он был прекрасен. Как никто прекрасен. Вот мяч коснулся его ноги. Худой, стремительный Вальдек бросается вперед. Обводит одного, другого, без хитроумных финтов, за счет скоростного напора. Быстрый пас инсайду, а сам летит вперед, к воротам, и вот мяч уже вернулся к нему. Короткая обработка, сухой, как выстрел из пистолета, щелчок — и Вальдек сразу бежит назад, словно не интересуясь, забил он гол или нет. А может, его это и в самом деле не слишком заботило? Так, наверное, не бывает. Пусть другие играли, а он служил, это не исключает ни игрового азарта, ни спортивного честолюбия, ни хотя бы профессиональной ответственности — надо же отрабатывать зарплату. А может, Вальдек рисовался перед зрителями, строил из себя отрешенного гения? Зачем гадать о том, что все равно никогда не откроется...

Затрудняюсь сказать, чего он стоил как тренер. В ту пору тренер вообще не был столь приметной фигурой, какой стал сейчас. Люди играли в футбол, а вся учебно-воспитательная кухня оставалась скрытой от глаз широкой публики, как скрыта ресторанная кухня. Ныне тренерские заботы стали чуть ли не государственным делом, а играют все хуже, скучнее, без божества, без вдохновения. Футбол неуклонно теряет и красоту, и популярность, и нету богов на зеленом поле, какие были в прежние времена.

Вальдек был для нас богом, этим все сказано. Светловолосым богом футбола. Пусть не столь великим, как иные отечественные: бог Бутусов, бог Соколов, святая троица Старостиных, но зато близкий, зримый воочию, доступный

общению... И все же чего стоил он как тренер? А черт его знает! «Локомотив» всегда оставался «Локомотивом», кто бы ни держал руль, — командой, замыкающей шеренгу сильнейших.

Все же, я думаю, у Вальдека была настоящая тренерская жилка. Он не находил утешения в устоявшейся, рутинной игре далеко не юной команды мастеров и мечтал создать футбольную школу при «Локомотиве». Конечно, его заботило и собственное будущее. Он шагнул к тридцати и едва ли смел рассчитывать на сносное устройство своей судьбы во Франции. Мечта о футбольной школе и столкнула его с нашей юной командой...

Я пишу все это, и меня точит мысль: мог ли я вообразить, что буду так вот холодно и беспристрастно судить да рядить о нашем кумире? О Великом игроке. Великом тренере. Непреложном авторитете. Золотом боже футбола! Как же надо очерстветь душой, чтоб говорить о нем словно со стороны, а не с упоением и околдованностью! А ведь и сейчас при воспоминании о Вальдеке на самом дне души происходит какое-то сжатие — знак утраты. Чем больше я пишу о детстве, тем сильнее хочется мне разобраться в пережитом, а не истаивать в бездумно-поэтической восторженности. Я наконец-то понял, что прошлое целиком входит в жизнь настоящего. Оно перестает работать в нас, лишь когда мы притворяемся детьми — в устных воспоминаниях или творчестве. Детство растворено в нашей взрослой крови и заслуживает серьезного разговора, а не сладких слез умиления.

И да простит мне Жюль Вальдек эту сознательную сухость. Странно, когда мы встретились, целый век отделял мальчишку от знаменитого футболиста. А сейчас мы почти однолетки: что значат в царстве старости какие-нибудь двенадцать лет! Удивительно думать, что где-то во Франции седовласый крепкий старик по-прежнему отстаивает для себя приход утра, расцвет дня, наступление вечера и покой ночи.

Но я должен на время покинуть Жюля Вальдека и вернуться к собственной футбольной истории.

Ко времени нашей встречи с французским тренером у меня был уже немалый футбольный стаж. Я играл сперва за дворовую команду, потом за домовую, ибо, как уже упомянул, наш удивительный дом обладал двумя обширными дворами, и для международных встреч — с девятинскими, златоустинскими и чистопрудными — нам пришлось создать сборную из лучших игроков обоих дворов. Играл в командах пионерских лагерей, играл за классную команду и, наконец, за сборную школы, где нас, восьмиклассников, было всего трое, остальные из старших классов. Наша школьная команда выиграла первенство Москвы, после чего нас с Колькой Чегодаевым пригласили играть на стадионе Юных пионеров, там было нечто вроде детской футбольной школы. Чегодаев залечивал травму, полученную во время одной из футбольных баталий, а я стал туда ходить, но дело сразу не заладилось. Меня тянуло назад, под старые знамена, к тому же тамошний тренер встретил меня в штыки.

Он любил населять слова буквой «э» и произносил «трэ-нер», «пионэр», «чэмпиион» — последнее, с весьма язвительной интонацией, относилось ко мне. Он злился, что мы побили его воспитанников. Я как-то заметил ему, что он напоминает пишушую машинку Остапа Бендера. «Почему?» — удивился тренер. «У нее тоже был турецкий акцент». Мне предложили или извиниться, или покинуть футбольный пажеский корпус. Я выбрал второе и с чувством огромного облегчения вернулся к своим. Я пришел прямо на тренировку, проходившую на поле-недомерке в Сыромятниках, и ребята встретили меня так, будто и не сомневались в моем возвращении.

Сыромятницкое поле принадлежит к самым дорогим воспоминаниям моей жизни. А ведь мы играли и на куда лучших полях: в Салтыковке, на самом «Локобиле» и даже на малом стадионе «Динамо» во время финала школьного первенства. В Сыромятниках все было по-до-

машинному. Вместо трибун две-три вросшие в землю скамейки, почти всегда пустующие, вместо душевой — фанерная кабинка с одиноким душем без дождевика, с недействующим краном горячей воды; кусты жимолости заменяли раздевалку. Конечно, тут не проводилось официальных встреч, лишь дружеские игры по уговору: мы играли и между собой, и с другими школами, и против взрослых парней с близлежащей автобазы.

Но, конечно, не отсутствием удобств заворожили меня Сыромятники. Поле, чуть укороченное против обычного, находилось в обставе старых дубов и вязов. Осенью по его крайкам стлались смуглые, горько пахнущие палые листья. За деревьями по одну руку проглядывались старинные тускло-желтые здания с колоннами, по другую — земля круто обрывалась. Куда? Ничего не стоило узнать, до обрыва и ста шагов не было, но я так и не сделал этих шагов. Я догадывался, что за обрывом окажется черная, грязная Яуза в крапивных замусоренных берегах, а по другую сторону реки — бетонная ограда и приземистая труба автобазы. Но лучше было оставить хоть маленькую возможность чего-то иного за краем обрыва — светлого, чистого, радостного, безмерно нужного моей уже заблудившейся в трех соснах душе.

Тогдашние Сыромятники, давно проглоченные и переваренные новой Москвой, находились на окраине и были отрицанием города с его камнем и железом, дисциплиной и незыблемым распорядком, с двором, который я перерос, не обретя равноценной замены, со школой, предлагавшей вроде бы так много, а все не про мою честь. Город напоминал мне на каждом шагу театральными и концертными афишами, объявлениями о лекциях, выставках, состязаниях, вернисажах, что я не нашел себя, не знаю себя, что я последний муравей в громадном каменном муравейнике. На сломе отрочества, в преддверии юности меня постигло печальное открытие, что я не имею точки опоры. У меня нет ни способностей, ни хотя бы тяги к чему-либо, кроме чтения книг и футбола.

В раннем детстве я обещал стать художником, но свежесть чистого, не обремененного знанием и предвзятостью восприятия недолго обманывала окружающих, да и меня самого. Так, даже куда лучше, рисовали многие дети. Страстность, с какой я предавался сперва игре в мушкетеров, потом коллекционированию папиросных коробок, марок и, наконец, бабочек, заставляла близких верить, что во мне аккумулирована не совсем обычная энергия. Но шло время, и увлечения замирали одно за другим, не давая даже иллюзии каких-то успехов. Ни одна моя коллекция не достигла уровня хотя бы рядовой маниакальности. А потом была география и безумие географических карт, завесивших все стены комнаты. Но теперь уже никто не считал, что я буду вторым Пржевальским или Миклухо-Маклаем. Вскоре карты отправились туда же, где изгнивали коллекции бабочек, плесневели альбомы с марками, — в залавок на кухне. А потом начались судорожные попытки увлечься химией, физикой, электротехникой и честно-горестные признания: не мое, не мое, не мое...

И была еще иная жизнь, такая же смутная и нелепая, с долгой, тягучей влюбленностью, сопровождавшей меня чуть не с первого до последнего класса, беспросветной, не дарившей даже обманного счастья и не мешавшей другим, внезапным, острым до задыхания, мучительным и столь же бесплодным влюбленностям. Для меня влюбиться значило в первую очередь сделать все возможное, чтоб предмет любви ни в коем случае не догадался о моих чувствах, отстраниться, предельно замкнуться в себе, отсесть все, что могло бы помочь сближению с избранницей. И все же, случалось, окружающие каким-то образом узнавали о моем чувстве — так трудно сохранить тайну в тесноте школьного общения. А потом, когда я достаточно подрос, чтобы влюбляться во взрослых девушек и даже молодых женщин, они читали запертую за семью печатями книгу моего сердца, словно световую рекламу на крыше «Известий». И хотя их проницательность повергала меня в смущенное оцепене-

ние, эмоциональные выгоды были несомненны. Немногим просверкам в глухом томлении начала юности я обязан догадливости этих милых, на век меня старше существ.

К чему припел я свои сердечные дела, если речь идет о футболе, или, еще точнее, о футбольном поле в Сыромятниках? Да ведь все в жизни взаимосвязано, все слито в единой круговерти. И когда я выходил на сыромятницкое поле, отделенное пропастью от остального мира, и трусцой направлялся в центр, на свое место, все тягостное, обременяющее, висящее на мне, как вериги: мучительная неудовлетворенность собой; томительный образ Кати, от начала до конца придуманной мною и потому безнадежно неуловимой, при кажущейся ясности и однозначности, добродушной школьной красавицы, готовой делиться ничего не стоящей нежностью с каждым, кому это нужно, только не молчи, скажи; твердая уверенность, что мне не стать человеком своего времени — таким в нашей семье считали ученого, инженера, строителя; не покидающая ни на миг убежденность, что окружающие люди лучше, умнее, талантливее, чище меня; стыдные сны и отвращение к тем переменам, которые совершались в растущем организме; оплошности, неловкости, оговорки, грубость с матерью, несправедливость к другу, боязнь вызова к доске на уроках математики, обиды на учителей, тоска о любимых книжных героях, с которыми никогда не встретиться в жизни, — все это давящее, угнетающее развеивалось дымом, я становился пустым, легким, чистым и, словно получив прощение на Страшном суде, готов был погрузиться в блаженство вечное.

Мгновения, протекавшие от выхода на поле до первого удара по мячу, были для меня самыми лучшими из всего, что дарил футбол. Я чувствовал себя способным взлететь, раствориться в пространстве. Спорт наступал потом, а сейчас свершалось причащение светлой благодати мира. Конечно, так было не всегда, когда-то я просто гонял мяч, упоенно и бездумно, до полного изнеможения, которое тоже

было счастьем, ибо ты утолил жажду, взял от жизни все что мог. Но в описываемую пору детство и отрочество миновали, начиналось самое грозное — юность. Явления, вещи и обстоятельства утрачивали свой простой смысл и становились знаками какого-то другого, тайного бытия. И сам я уже принадлежал не себе, не очевидности происходящего, а тому, что таилось за покровом...

Сыромятники, вырванные из настоящего — и во времени, и в пространственном смысле, — клочок тверди, повисшей над бездной, где катит черные воды поток, осененные замшелыми дубами и вязами, несущие старину тускло-желтых стен и белых колонн; Сыромятники, выделившие нам посреди своего вневременья овал утоптанной земли; заброшенные, пустынные Сыромятники, пронизанные печалью негородских шумов: скрипом колодезного ворота, сорочьим бормотом, криком петуха, эхом зовущего девичьего голоса; Сыромятники, с небом не только над головой, но и куда ни глянь — блещет оно из всех глубин, провалов, меж стволов и сучьев деревьев, из зеленой и бронзовой листвы, — странный островок на воздушном океане, Сыромятники дарили меня мгновениями лучшей и высшей жизни.

И вот я у мяча. Если только можно назвать несерьезным, ребяческим словом «мяч» странное, подвижное чудо, то дружественное и ласковое, то неукротимое и до слез враждебное, что, даже покоряясь, безраздельно правит тобой, всегда хозяин и никогда — раб. Рядом, за краем сфокусированного на мяче взгляда, но так близко, что я кожей чувствую их, — мои постоянные партнеры, инсайды, как говорили мы, полусредние, как говорят сейчас, правый — Сережа Алексеев, рослый, румяный, плотно сбитый, надежный от светлой челки на выпуклом лбу до сильных ног, закованных в шитки и взрослого размера бутсы, и левый — Люсик Варт, красивый грустный мальчик с пушистыми темными ресницами и длинными стройными ногами. За моей спиной глубоко и сильно дышит центрхав Борис Ладейни-

ков. Когда начнется игра, реальность обретут и другие партнеры: правый край — Колька Чегодаев, фанатик футбола, наш лучший игрок, сутулый, заспанными глазами и вывернутыми в коленях ногами, богова нелепость, обретавшая в игре ловкость, стремительность, красоту; левый край — Грызлов.

Чегодаев, Ладейников и Грызлов не вернулись с войны. А Сережа Алексеев вернулся, он был профессиональным военным, артиллеристом, прошел фронт от границы до Сталинграда и от Сталинграда до Берлина, получил положенный набор наград и вышел на пенсию в звании полковника. Он занят семьей, бытом, садовым участком, а в свободное время пишет поэму о советском офицере, которая не должна уступить поэме о бойце — «Василию Теркину». Пока это ему не удастся, хотя он извел громадное количество бумаги и чернил. Недавно он приобрел в комиссионном магазине подержанную «Эрику» и надеется, что сейчас дело пойдет на лад.

Люсик Варт лишь прикоснулся к войне, вернее, война прикоснулась к нему маленьким осколком, легшим под сердце. Он окончил институт, стал юристом, но последнее время больше болеет, чем работает. Иногда он появляется на традиционных школьных встречах, грустный, замкнутый, не пьет ни рюмки, молчит, в какую-то минуту мертвенно бледнеет, его губы становятся синими, и он тихо, незаметно исчезает.

Но все это сейчас. А тогда, молодые, сильные, свежие, стояли они на рубеже атаки, готовые ринуться в бой.

Над кронами деревьев простиралось громадное голубое небо, и со всех сторон было небо, и рывок вперед после первого удара был рывком в небо...

А потом шла игра, и в ней было все: и упоение, и полет, безумный и бездумный полет, и мгновения трезвого расчета, рождение плана атаки, и отрезвляющие столкновения с защитниками, я до сих пор помню сумасшедшую боль в стопе, лодыжке или колене и страх, что ты кончился, что

ты разбит раз и навсегда, и постепенное возрождение, и обиженно-сердитые выкрики Сережи Алексеева, которому всегда не хватало пасов, и он орал на меня, но это не производило никакого впечатления, я играл по своему разумению, или вдохновению, или эгоизму — последнему все же я подчинялся редко, иначе меня не держали бы в нашей замечательной сборной и не приметил бы по-доброму Жюль Вальдек.

Из дали лет мне трудно дать оценку собственной игре. Знаю лишь, что играл я хуже Чегодаева, много хуже, возможно, даже хуже Сережи Алексеева, но остальным, пожалуй, не уступал. Меня считали хорошим бомбардиром. Конечно, я забивал, потому что меня выводили на удар и Чегодаев, и Люсик Варт, и Грызлов, и даже сам алчущий гола Сережа Алексеев. Но ведь ребята не занимались самопожертвованием, просто у меня был удар — хлесткий и точный. Я и пенальти всегда бил, за исключением тех случаев, когда игра была сделана, а Сереже Алексееву хотелось увеличить свой голевой счет.

А вот Чегодаев не бил пенальти и вообще забивал редко. Как он водил, как финтил, делая дурака из любого противника, какие точные, неожиданные и опасные давал пасы! А удара не было. И все же он, единственный среди нас, дошел до команды мастеров.

Но Жюль Вальдек приглядывался ко всей пятерке нападения. Первыми это поняли ребята, игравшие в защите и полузащите: безразличие иной раз приметнее внимания. Потом поняли и мы, но не сошли с ума от радости. Школа Вальдека! Она казалась нам недостижимой, как звезда. Впрочем, я не ручаюсь, что Чегодаев был тех же мыслей. Этот молчаливый, с заспанными глазами парень что-то знал про себя. Ну, хотя бы, что без футбола ему нету жизни. А раз так, то он должен быть замечен каким-нибудь ловцом футбольных талантов, почему не Жюлем Вальдеком?

Остальная четверка не переоценивала своих возможностей и, ничуть не пытаясь выставиться, играла в свой

обычный футбол, весьма мало озабоченная присутствием великого и недостижимого человека. Быть может, это и заставило Жюля особенно внимательно приглядываться к нам?..

Он появлялся во время наших товарищеских игр и просто разминок не только на стадионе «Локомотив», но и в Сыромятниках. Великое дело — раскрепощенность! Допусти я хоть на миг, что зеленые блестящие глаза Вальдека раздумчиво останавливаются и на моей ничтожной фигуре, тут бы мне и конец. Но я не думал об этом и знай себе играл. А вот Грызлов и Люсик Варт в конце концов дрогнули и дали увлечь себя безумной надежде. Я это почувствовал, потому что оба перестали питать меня мячами, нацелились на ворота, утратив вкус к коллективным действиям. Они заиграли не в своем ключе, это их и погубило. Настал такой незабываемый день, когда Жюль Вальдек обзвонил по телефону родителей своих избранников, чтобы узнать, как относятся они к «футбольной карьере» сына. Не знаю, как отнеслись родители Чегодаева и Алексеева к непривычной французской учтивости тренера, но у меня дома звонок Вальдека был воспринят трагически.

— Ты помнишь пророчество Леонардо да Винчи? — обратился ко мне отец, после того как мама разбитым голосом сообщила о звонке Вальдека.

— Какое пророчество?

— «Настанет время, — заговорил отец голосом пророка, — и люди будут бегать за куском свиной кожи, наполненной воздухом, с громкими криками и ругательствами».

— Ругаться на поле запрещено, — машинально сказал я, потрясенный предвидением гения Ренессанса.

— Не в этом дело, — сказал отец. — Леонардо говорит о грядущем футболе как о пришествии антихриста.

— Мне уже сейчас кажется, — вставила мама, — что человечество делится на спартаковцев и динамовцев.

— Что вы сказали Вальдеку? — спросил я.

— Мы сказали, что не вмешиваемся в твои дела.

— Вы только этим и занимаетесь. Но вы хоть не обхалили его?

— Была гражданская война, — далеким, эпическим голосом начала мать. — Ни хлеба, ни масла, ни мяса... Я думала, что кормлю голодным молоком человека будущего, ученого или инженера... Оказывается, я приняла все муки ради левого края или правого инсайда.

— Я центрфорвард.

— Что же ты сразу не сказал! — насмешливо воскликнул отец. — Тогда дело другое. Миллионы миллионов лет жаждала твоя душа вырваться из мрака небытия, чтобы воплотиться в центрфорварда. А тебе самому не страшно?

— Нет. Я все равно ничего не умею.

— Ты же отличник!

— В этом весь и ужас. Ребята, которые знают, кем будут, не отличники. А отличники — я, Нина Демидова, Бамик — кем мы будем? И кто мы есть?.. У меня хоть футбол...

— Тебе и семнадцати нет!..

— Когда надо, вы говорите: здоровенный восемнадцатилетний оболтус... Я чувствую себя человеком только на поле.

— Бедный мальчик! — сказала мама. — Бедный, бедный мальчик!

— Слушай! — вскричал отец, осененный внезапной идеей. — А почему бы тебе не попробовать писать? У нас в роду все словесники. Я студентом написал с дядей Гришей приключенческий роман.

— О котором продавец говорил: не роман, а плетенка?

— Как хорошо ты помнишь, чего не надо! Я же не собирался стать писателем. Мне нужны были деньги. Я решил написать роман и написал. Целый год жил, как Крез, накупил книг и даже сшил пальто. А моя двоюродная сестра печаталась в «Мире Божьем». Твой дедушка сделал бабушке предложение в стихах.

— Странно, что она ему не отказала.

— Насколько благороднее писать книги, чем бегать 'за надутый воздухом свиной кожей...

— С громкими криками и ругательствами, — подхватила мать.

Как же поразил и встревожил их звонок тренера, если для разговора со мной они откопали эту странную цитату из Леонардо, если мать не стесняется говорить о голодном молоке, а отец — похвалиться убогим приключенческим романом? Но от этих мыслей во мне проснулся не протест, а смертельная жалость к ним. Сочинительница из «Мира Божьего», дед, предлагавший руку и сердце в стихах никогда не виданной мною бабушке, — сколько потревожено теней, чтобы оторвать меня от того, что было для меня единственным светом! Но я любил родителей и, хотя винил их мысленно в своей неодаренности, не желал причинять им боли.

— Слушай, — проникновенно сказал отец. — Ты варила смрадный гуталин и чудовищно маркую тушь, взрывал квартиру, словно новый монах Шварц, сделай еще одну попытку найти себя, самую безобидную из всех, — попробуй что-нибудь написать. Вдруг у тебя талант?

— О чем мне написать? — спросил я, приободренный последней фразой отца.

— Боже мой, об этом не спрашивают! Пиши о том, что тебя волнует. О том же футболе.

— Нет, — сказал я твердо. — О футболе я не буду писать.

— Тогда о том, что тебя не так волнует. Чтоб ты мог спокойно подумать, поискать слова для изображения виденного и пережитого. Ну, о какой-нибудь поездке, интересной встрече.

— А можно написать, как мы ездили в Лосинку на лыжах?

— Конечно! Писать можно о чем угодно. Вон Чехов взял и написал рассказ о чернильнице.

— Я что-то не читал... Ладно, попробую. А если из этого ничего не выйдет?..

— Что ж, — отец вздохнул, и я впервые увидел, что он старый человек, — тогда играй в футбол...

Я никогда не обманывал родителей и старался написать как можно лучше о поездке нашего класса в Лосинку, но, видимо, ко мне не перешли гены, помогшие двоюродной тетке стать сотрудницей «Мира Божьего», деду — завоевать стихами сердце бабушки, а отцу — издать свой роман. Отец прочел мое произведение и не сказал ни слова... Путь в школу Вальдека был открыт...

Энтузиазм порывистого француза явно опережал раздумчиво-неторопливую повадку хозяев «Локомобиля». «Вальдек — талантливый человек, но торопится, — так рассуждали они. — Решение о школе принято, какого еще рожна ему надо?» А ему надо было, чтобы это решение выполнялось.

Промелькнула зима с коньками и хоккеем, синий снежный март, настала мучительная, нудная и пустая черная весна, когда ни льда, ни снега, ни черта! Затем подсохло, на тротуарах появились «классы», и, выйдя однажды на большой перемене в школьный двор, я услышал волнующий грохот консервной банки, катящейся по выщерблинам асфальта. Я повернулся как раз вовремя, чтобы отпасовать Люсику Варту жестянку из-под бычков в томате, направленную мне точным ударом Чегодаева. Ах как было прекрасно почувствовать в ноге напряжение удара, а в теле сосущее влечение вперед! И пусть удар пришелся по мятой банке, пусть порыв вперед вел лишь к помойке у брандмауэра, все равно это было как пробуждение, как возвращение к жизни, как залог удачи!

Вскоре мы начали разминаться с резиновым детским мячиком в подворотне у Люсика Барта, жившего против школы, а там уже и постукивать в одни ворота настоящим футбольным мячом в громадном дворе политкаторжан, где жили многие наши ребята. И еще до майских праздников, благо весна выдалась дружная, солнечная, отправились в Сыромятники.

За это время произошли немаловажные события: нашу школу, а стало быть, и команду покинули Ладейников и Сережа Алексеев — перешли в спецучилища, Ладейников — в ближайшее, на Покровке, в помещении бывшей церкви, Сережа Алексеев — по месту жительства, где-то за Курским вокзалом. Оба заходили показаться — в новенькой, офицерского достоинства форме, с ремнем и португеей, в артиллерийских фуражках с черным околышем, тщательно выбритые, подтянутые, суховатые и уже чужие. Правда, Ладейников вскоре отмяк и стал прежним Борькой, а Сережа Алексеев так и не смог или не захотел скинуть свою отчужденность. Ладейников жил возле школы, дружил с девушкой из нашего класса Лизой Кретовой — куда ему деваться? Сережа жил очень далеко, совсем в другой державе, и даже непонятно, почему учился в нашей школе, никакой романтический интерес не связывал его с классом, и теперь он явно рубил канаты. «Значит, ты больше не играешь с нами?» — спросил Люсик Варт. Тот пожал плечами.

Мы учились вместе с первого класса. На Сереже — редкое дело — сходились симпатии школяров и учителей. Он был красивым, сильным и смелым мальчиком, выросшим в красивого, мужественного юношу. Хорошо, легко, спокойно учился, любил общественную работу, его часто выбирали старостой. Не терпел драк, но дрался то и дело, крепко и беззлобно — во имя справедливости. В начальных классах Сережин сильный дискант звучал со сцены школьного зала. Он пел наши любимые песни: «Взвейтесь кострами», «Там, вдали за рекой», «Возьмем винтовки новые», а когда мы стали старше — «Скажите, девушки», «Что ты опустила глаза» и «Оставь свой гнев напрасный». Такие люди, как Сережа, одним своим присутствием оздоравливают любую компанию. Особенно это важно в спорте. Он не давал нам скиснуть, всегда верил в удачу и заставлял бороться до конца. Он, правда, порой злился на меня и на других игроков, что ему не дают пасов, орал, ругался, да

ведь он не был каким-то образцовым, благостным мальчиком, созданным на заказ для всеобщего подражания, а живым, горячим человеком, за это его и любили.

Но Сережа ушел от нас, избрав путь воина, о чем мы и сообщили Жюлю Вальдеку. Тот сожалеюще покачал взъерошенной головой: «Ну, будет играть за ЦДКА» — и добавил, что посмотрит нас в ближайшее время и выберет кого-нибудь на Сережино место. Крыло надежды опажнуло Люсика Варта и Грызлова.

Разговор происходил под трибунами «Локомобиля», куда нас пригласил Вальдек, дабы познакомить с руководителями общества. Верно, он надеялся, что вид наших юных, горящих энтузиазмом лиц подвигнет их на какие-то решительные действия. Встречу обставили с помпой: журналисты, фотокорреспонденты, ораторы, среди них — старый машинист локомобиля, рассказавший, как тяжело приходилось футболистам при царизме. Но было такое чувство, будто встреча эта не приблизила Вальдека и всех нас к заветной цели, напротив — отдалила, дав местным хозяевам право на новую затяжку.

Общую мысль просто и ясно выразил Чегодаев: «Будем играть как играли». И ребята как-то грустно повеселели. А я с удивлением обнаружил, что неудача оставила меня равнодушным.

Последнее время я все чаще проваливался в какую-то странную пустоту, не имеющую ничего общего с прежней блаженной освобожденностью от всех пут, какой наградила меня игра. Раньше — завершенность, исчерпанность, слияние с высшей сутью жизни; мгновенье остановилось, хоть ты и не просил об этом, ибо все сбылось и ничего больше не надо. Сейчас я возвращался с игры в той пустоте, какая сопутствует самым большим потерям. Но убей меня гром, если я понимал, какого мне черта надо!

Я пытался заговорить себя словами: после напряжения и жесткого, как в кулаке, сбора всех душевных и физических сил наступает спад, окружающее кажется слишком

пресным, вялым, необязательным. Там, на поле, — яростная жизнь, здесь прозябание. Но почему же раньше все было иначе? Блаженно усталый, расслабленный, я шел в душ, смывал пот, грязь, кровь, и мне становилось прохладно, легко, свежо и снаружи и внутри. Да, мне не хотелось общения, разговоров, пережевывания игры, шуточек, приятельского трепя. Я словно нес стеклянную чашу с водой и, оберегаясь от толчков, растопыривал локти, не давал приблизиться к себе. Но за краем самозащиты длилось нужное и важное существование моих друзей, в моем одиночестве не было ни вражды, ни отчужденности. Теперь я уносил со стадиона другое одиночество. Одиночество безнадежно больного, который знает, что он уже не принадлежит окружающему, но так талантливо притворяется «живым и страстным», что сам на миг верит этому, расплачиваясь за самообман еще горшей мукой. И чем лучше, чем самозабвеннее игралось, тем чернее и глубже был провал в пустоту.

Однажды Колька Чегодаев принес волнующую весть: школа Вальдека наконец-то открывается и тренер хочет еще раз посмотреть нас, чтобы сделать окончательный выбор. Чегодаев нашел и «спарринг-партнеров», команду какой-то спецшколы. «Мы должны им навтыкать, — убежденно говорил Чегодаев, — у них нет сыгранности».

Но когда в назначенный день и час мы явились в Сыромятники и увидели своих соперников, уверенность в победе сильно поколебалась. Казалось, эти юноши сошли со страниц уэллсовой «Пищи богов». Мы, отнюдь не коротышки, не дистрофики, производили рядом с ними, нашими сверстниками, жалкое впечатление. А затем я решил, что набирают в спецшколу обычных ребят, но там им подмешивают в кашу какой-то препарат, способствующий усиленному росту костей и мышц. В команде спецшкольников оказался Сережа Алексеев, он был неузнаваем.

За минувшие месяцы наш друг вырос на полторы головы, неимоверно раздался в плечах, оснастил могучий костяк мышцами Микеланджеловых воинов. Из нормально

крупного юноши — третий в классной шеренге — он стал богатырем, не спецшкольник, а бравый старшина из сверхсрочников. При такой могучей стати лучше играть в защите, но Сережа остался в нападении, лишь сменил место инсайда на центр.

Я чувствовал себя удивительно неудобно, когда мы очутились друг против друга. Мы всегда были рядом, я так привык к этому, так привык доверять Сереже в игре, что нынешнее противостояние казалось мне каким-то наваждением, дурным сном, от которого хотелось скорее проснуться. Да у меня нога не подыметесь отобрать у него мяч! Хоть бы от подыгрыша удержаться...

И почему-то мне совестно было глядеть на Сережу. Как ни крути — это все-таки измена. Конечно, он не виноват: перейдя в другую школу, он не мог играть за нас. Но мог бы он хоть не играть против нас? А если у них воинская дисциплина?.. Скажись больным. Сделай вид, что подвернул ногу. Но, насколько я помню, Сережа никогда не врал. Если прогуливал занятия, то не пытался защититься липовой справкой о болезни, а прямо говорил: прогулял. Если не знал урока, так и заявлял учителю, а не тпился выплыть на подсказках. Ну а что мешало ему прямо сказать тренеру: не могу играть против своей бывшей команды? Может, это не по-солдатски? Да ведь тут не война, мы не враги, и встреча дружеская. А если дружеская, то почему бы и не сыграть? Конечно, при желании легко оправдать Сережу, но ничто не поможет мне по-прежнему открыто и ясно встречать его глаза. А он смотрит на меня странным, пристальным, неулыбчивым взглядом. Что-то пугающее было в его застылом, грубо «постороннем» лице.

Надо сказать, ребята отнеслись к нему холодно. Я только не знаю, был ли их холод ответом на его отчужденность или наоборот. А скорее всего, тут произошло совпадение чувств. Конечно, слишком смело — расписываться за всех. Чье-то отношение к нему, наверное, не было однозначным. Только не Чегодаева — он глядел спокойно, равнодушно,

не делая никакого различия между Сереей и другими спецшкольниками. Он видел противника, которого надо обыграть. И только.

Ворота выбирали спецшкольники. Игру начинали мы. Я откинул мяч Люсику Варту, игравшему теперь на Сереежном месте, рванулся вперед и будто на стену налетел. Вместо того чтобы попытаться отобрать у Люсика мяч, Сереежа таранил меня и сбил с ног.

Удар пришелся по коленям, в живот, грудь и плечо. Но сильнее боли и обиды было во мне удивление. Так скорбно удивилась лиса, когда охотник, забывший зарядить ружье, ударил ее по зубам прикладом.

— С ума сошел? — повторил я слова лисы, лежа на земле.

Мелькнуло его красное неподвижное, как стиснутое, лицо и скрылось.

Я поднялся, оцупал себя и побежал к мячу. Нет смысла описывать эту тяжелую и неприятную игру. Алексеев вел себя — хуже некуда. Он устроил настоящую охоту на Чегодаева, но не добился успеха, тот был слишком ловок и увертлив. Спецшкольники все играли жестко до грубости, особенно защитники, брали, как говорится, весом. Наверное, Алексеев не слишком выделялся на их фоне. Но меня мало трогало поведение незнакомых ребят, меня оскорбляло поведение Алексеева, старого друга, однокашника, будто задавшегося целью растоптать все прошлое шипами здоровенных, сорок третьего размера, бутс.

С Чегодаевым он не совладал, а вот Люсика Варта покалечил. Люсик был самым корректным игроком в команде, и вовсе не из робости, а по сути своей деликатной души, бережной ко всему и вся: товарищам, девушкам, учителем, соперникам, животным, даже к футбольному мячу. Люсик так мягко его обрабатывал, словно боялся причинить боль. И удары у Люсика были мягкие, пласированные. Алексеев подковал Люсика с той откровенной, вызывающей жесткостью, которая отличала его в этой игре. Люсик упал, схва-

тился двумя руками за голень и покатился по земле. Алексеев даже не посмотрел в его сторону.

Люсика унесли с поля. Судья назначил штрафной удар в полутора метрах от угла штрафной площадки. Спецшкольники выстроили стенку. Алексеев больше всех гоношился, чтобы поставить надежную преграду. Подхватив под руки двух рослых защитников, он раскорячился прямо перед мячом и упорно сопротивлялся попыткам судьи отодвинуть их на положенное расстояние.

Разбегаясь для удара, я видел лишь красное, раскаленное яростью азарта Сережино лицо, и мне мучительно хотелось залепить мячом ему в рыло. В последний миг я понял, что Алексеев, чуждый снисхождения к себе, будет мне только благодарен, поймал щель в стенке и направил туда мяч.

Я даже не понял, что случилось, когда на мне повисли Чегодаев с Грызловым, а сзади накинулся Леша Слон, заменивший Ладейникова, и я едва устоял на ногах. Вратарь спецшкольников, ругаясь на чем свет стоит, вынимал мяч из сетки.

Встреча все же закончилась вничью. Они не могли не отыграться, слишком велик был запал и грубая решимость. Мы играли вежливо, чисто и технично, как и следует в товарищеской встрече. Они бесчинствовали, грубили, целя больше по ногам, чем по мячу, покалечили Люсика Варта, а не смогли выиграть. Ничья ничьей рознь, для нас это была победная ничья, недаром так хмурились спецшкольники.

— Грубоватые ребятки! — беззлобно заметил Чегодаев, провожая взглядом полуголых богатырей, направляющихся в душ.

— А Сережа Алексеев — сволочь! — сказал молчаливый Грызлов. — Я ему Люсика сроду не прощу.

— Он не нарочно, — тихо сказал Люсик, обмахивая печальные темные глаза густыми ресницами.

— Ничего себе не нарочно! Он хуже всех грубил.

— Выслуживался! — с усмешкой сказал Леша Слон.

— Никто не зверствовал так над рабами Древнего Рима, как вольноотпущенники, — заметил наш просвещенный вратарь Леня Бармин.

Теперь, когда Сережу Алексеева дружно ругали, мне почудилась во всем случившемся какая-то хрупкая неправда.

— Знаете что, — сказал я, осененный пронзительной догадкой. — А ведь он мучился, честное слово, мучился!..

— Это с чего же? — опешил Чегодаев. —

— Как с чего?.. А играть против своих?.. Он хотел переломить себя...

— А переломил Люсика, — недобро усмехнулся Грызлов.

— Я серьезно!.. Ему было погано на душе... И он хотел переломить себя...

— Ну, знаешь!..

— А что? — улыбка тронула бледное лицо Люсика Варта. — Я бы тоже мучился на его месте.

— И калечил бы людей?

— Он себя калечил, — настаивал я, счастливый тем, что наконец-то понял Сережу. — Неужели вы не чувствуете — он мстил себе, он рвал нас от себя с кровью.

— С нашей кровью, — поправил Леня Бармин. — Я тоже не прочь почесать правое ухо левой рукой, но это... Ни в какие ворота не лезет!

— Я правду говорю!.. Разве вы не видели, какие у него были глаза?

— Как у судака! — отрезал Леня.

— Я больше следил за его ногами, — засмеялся Чегодаев.

— Давить таких! — мстительно сказал Слон. — И нечего розовые сопли распускать.

— Неужели вы не понимаете? — Мне казалось, если я не сумею убедить их, случится что-то непоправимое. — Он же любит нас!..

— *C'est un écrivain!* — раздался вдруг голос Вальдека.

Все взгляды дружно обратились к тренеру.

— C'est un écrivain! — повторил он.

Что преобладало в этом тоне: насмешка, презрение или радость своевременного открытия? Он мотал патлатой головой, прижимал сжатые руки к переносью, и веснушки прыгали с носа на пальцы и обратно!

— C'est un écrivain! — почти простонал Вальдек.

— Писатель, — перевел Леня <армин.

Все засмеялись, а я с ужасом взглянул на тренера, вонзившего иглу в сплетение моих мук.

Теперь я должен вернуться к той литературной попытке, которую сделал в угоду родителям. Я уже говорил, что отнесся к ней с предельной добросовестностью. А когда начал писать о нашем лыжном походе, обнаружил, что мне не о чем рассказывать. Ну собрались у касс Ярославского вокзала, взяли билеты, сели в электричку, приехали через полчаса в Лосинку, пешком добрались до лыжной базы. Ну, купили талончики на обед. У кого не было своих лыж, взяли напрокат вместе с пьексами. Агафонов еще сказал, что лыжи не смазаны, а пьексы дерьмо. Поразмыслив, я счел его высказывание негодным для изящной словесности и вычеркнул. Потом мы дали круг, долго катались с гор, прыгали с небольшого самодельного трамплина, и все падали кроме Агафонова. Он вообще оказался самым сильным лыжником в классе. Потом мы обедали, ели грибные щи, биточки с перловой кашей и комкастый кисель. Домой возвращались уже в темноте...

Я не помню дословно своего произведения — по объему, богатству наблюдения и художественной выразительности оно было равно изложенному здесь и занимало ровно половину тетрадной страницы. Я понял, что не могу идти к отцу с таким куцым сочинением, и мучительно стал выискивать, о чем бы еще написать. Может, придумать? Какую-нибудь лихую драку или лыжную гонку? Но это показалось мне недобросовестным. Писать надо о том, что по правде было. Поражало несоответствие продолжительности поездки с бледностью воспоминаний. А чем было

заполнено время от полудня до семи вечера? Ведь что-то происходило на вокзале, и в вагоне электрички, и по пути на лыжную базу, и на самой базе, и в походе. И я что-то чувствовал, мне было и хорошо, и радостно, и смутно, и тревожно. А вокруг были люди... И тут во мне заговорил густой, сиплый голос: «...Я этого зайчонка еще летом принес. Был он с детскую варежку. Ма-ахонький, пушистый, теплый. Ребятам моим он так пришелся, не оторвешь! Лечили его, лапку сломанную в лубки повязали, в две струганые дощечки. И надо же — зажил перелом, будто не бывало. Так по избе и скачет!.. Ручной стал, ровно кошка или собака. А у нас в ту пору дом вовсе без живностей остался. Кота Пармена, старого сибиряка, собаки разорвали, а Дара, чудеснейшая лайка, под лесхозовский грузовик попала. Мне, конечно, без собаки нельзя, но осенних щенят не уважаю, а весенних еще ждать надо. Весна об тот год рано началась — уже в феврале теплынь и почки набухают. Затосковал мой зайчонок. Раньше его за дверь не выгонишь, а теперь все ударить норовит. Инстинкт природы, как говорится, своего требует. И жалко мне, конечно, чуть не цельный год вместе прожили, и ребяточки к нему привыкли, да ведь против рожна не попрешь. В один прекрасный день вынес я моего бялячка за ворота, ушки ему огладил да и пустил на волю. И такого он стрекача задал, будто и не было всей его жизни у нас...»

А где был охотник еще несколько минут назад? Он возник из колодца памяти будто сам собой, на деле же я высидел его за столом, как-то странно напрягаясь в пустоту. Я продолжал напрягаться, и вскоре другие голоса поездных пассажиров затолкались в моем мозгу. Толстая, краснолицая, палимая изнутри неумным жаром тетка в платке, спущенном с густых седеющих волос на пудовые плечи, рассказывала соседке, как отбила у дочери жениха, молодого парня, только что вернувшегося с действительной: «Он на шешнацать годов меня моложе, совсем, можно сказать, юноша, а понял, сопляк, где мед, а где сусло. Дочка-то

на тонких ножках и вся на просвет, а я, вишь, как ядро, ткну пальцем — сломаешь! И живем мы с ним — лучше не бывает, всю ночь напролет голубимся...» А старческий голос истолковывал кому-то, что нет ничего вкуснее и заманчивее жареных грибов зимой: «Старуха их осенью нажарит — и в стеклянную банку. Закупорит, чтобы воздух не проникал, и вся недолга. Зимой вынимай, кидай на сковородку, лучку добавь и наворачивай за милую душу с чекушечкой полынной настойки». И красивый юношеский гневный, звенящий на верхах голос колотил в кого-то, как боксерской перчаткой в грушу: «Ах, скажите на милость: Лев Толстой этого не понимал!.. Ты, дубина стоеросовая, понимаешь, а Лев Толстой не понимал!..» И множество других голосов лезли мне в уши, порой создавая звуковой хаос. Я не поспевал за ними, но при малом усилии с моей стороны они обретали раздельность и четкость. Откуда они взялись? Я не слышал ни слов, ни интонации весь месяц, протекший со дня поездки в Лосинку. И обладателей голосов не узнал бы, повстречай на улице, в метро или трамвае. Оказывается, я отлично помню их лица: скуластое и усатое — охотника с маленькими, глубоко упрятыми глазами; каленое, синеглазое — удачливой соперницы собственной дочери; востренькое, лисье — старика-чревоугодника, и пятнисто-румяное, тонкое — разгневанного юноши студента. Да, я знал, что он студент, к тому же гуманитарий, по складу и сути речи, по одухотворенности лица. И тут стали наплывать глаза и скулы, брови и щеки, бледность и румянец других пассажиров. Я увидел милиционера в тамбуре, курившего тонкую папиросу-гвоздик; двух молоденьких бойцов в новых, только со склада, шинелях, торчащих колом на груди, и в пахучих кирзовых сапогах, на которые не пожалели ваксы, чтобы придать сходство с кожаными; усталую миловидную женщину с пятилетним мальчиком, все время что-то тревожившим на ней — шарф, сережки в маленьких, тесно прижатых к голове ушах, родинку на щеке, пушистый мех воротника, край высокого

резинового ботика; слепца с изрытым оспой лицом, певшего тонким холодным голосом: «Забудь мне, забудь навечно», а мальчик-поводырь в котиковой шапке, облысевшей до мездры, подставлял пассажирам кружку, и туда гулко брякали медные монетки. И почему-то эта кружка, обыкновенная жестяная кружка, что висит на цепочке у каждого бачка с питьевой водой, потянула за собой весь вагонный обстав: сумки, кошелки, баулы, сетку с завернутыми в газету селедками, — там, где бумага намокла селедочным соком и зазеленилась, черно проступил газетный шрифт, и я разобрал строчки некролога. И были пустые бидоны молочниц, свежо пахнувшие морозом и жестью. И было тетеревиное чучело в руках паренька в пионерском галстуке, — косач запечатлен в бойцовой позиции — с приспущенной, вытянутой вверх шеей, вскинутыми темными крыльями, клюквенно алели заушины, и красиво, лирно изгибались рулевые перья, а стеклянные глаза принадлежали не птице, а кошке — косою узкий зрак в зеленой радужке. Не оказалось, что ли, подходящих глаз у чучельника, а парнишка торопился забрать своего косача? Вообще, было чему подивиться в вагоне: и этому вот тетереву с кошачьими глазами, и язвительно, в никуда усмехавшемуся человеку со всосанными алыми щеками и серым ртом, и гитаре с бантом на детских коленях кургузенькой девушки.

Я впервые заметил, что многие люди пребывают словно не в своем образе. Пожилая женщина с лицом, как печеное яблоко, ярко подмазала сухие, сморщенные губы и усадила редкие ресницы комочками туши; почтенный старичок — тот, что понимал толк в жареных грибах, — повязал шею легкомысленным дамским шарфиком; куривший в тамбуре милиционер изящно отставлял мизинец с черным ногтем, украшенный янтарным колечком; у слепца болталась серьга в ухе. Казалось, эти люди в спешке схватили из общей кучи примет что попадетсЯ, а сейчас могли бы поменяться, дабы каждый получил, что ему следует, да не смеют, подчиненные негласному запрету.

Но это побочное открытие было все же не столь ошеломляющим для меня, как то, что я находил в памяти столько лиц и столько подробностей. За зрительным и звуковым рядом потянулись запахи и осязательные ощущения. Я впервые обнаружил, что в верхнем вестибюле метро пахнет нагретой резиной, как и от буксующих колес машины; восстановил всю гамму запахов вокзала, где пахло поплавающим натоптанным снегом и кухней; перрона, где замечательно и крепко пахло шпалами, паровозной гарью, хотя у платформ стояли только электрички, а паровозов было не видеть; вагона, где в тамбуре пахло простором — чистым крепким снегом и хвоей, а внутри — дезинфекцией, овчиной, валенками. И я помню, как приклеилась вспотевшая рука к металлической головке поручня, которую я случайно тронул, садясь в вагон, как мазнула меня шершаво по щеке шинель прорывавшегося в тамбур против общего движения милиционера, как я ударился коленкой о скамью, когда ставил лыжи, как в суголоке молодая женщина мягко и весомо оперлась о мое плечо, улыбкой попросив извинения, каким холодным был стакан, из которого я пил сидро, предварительно ободрав палец о ребристую бутылочную затычку, не поддавшуюся перочинному ножу.

Я не понимал, почему меня так радуют и волнуют эти ожившие мелочи поездной жизни, в них вроде бы не заключалось никакой ценности, ничего важного для моей души, настоящей и будущей, но какая-то странная важность все же была, и короткий путь от Москвы до Лосинки стал значительнее путешествий на Волгу и к морю, сломавших мое комнатное представление о мире, но не воскрешенных сознательным усилием памяти и потому словно обесценившихся. Так началось отравление...

Но главные открытия ждали меня впереди, когда я принялся извлекать из тьмы забвения и базу, и бег на лыжах, сперва с увала на увал, потом березово-ольховым мелкоколесьем, потом густым ельником, и катание с гор, и воз-

вращение в подсиненных сумерках. Сколько километров набегал я на лыжах, а не замечал, что мартовские ели стоят в круглых лунках-проталинах, что шелуха шишек обводит их широкими ровными кругами, будто начертанными циркулем.

Мы были посреди ровного ветреного поля, когда солнце за быстро скользящими тощими облаками вдруг прикинулось луной — идеально круглым, изжелта-зеленым и блестящим, но не ослепляющим диском, а вскоре и вовсе скрылось в начавшемся снегопаде. Большие, медленные, склеившиеся в хлопья снежинки подтаивали на лету и становились лужицами, едва прикасались к ветви, стволу, корке сугроба, одежде, лыже. Резко — снизу вверх — ударил ветер, снежинки враз подсохли, измельчились и секуще—песчинками — захлестали по лицу. Но вот разорвалась снежная наволочь, распахнулась во всю ширь синева, снопом лучей вдарило солнце. Стих ветер. Теплынь. Март..

Снег в изножии деревьев напоминал постный сахар. С ветвей капало, испещряя сугробы оспенными знаками. Сороки долго примеривались, куда бы сесть, чтоб не провалиться тонкими лапками в податливую мякоть под обманчивой корочкой, напеченной ветром на снегу.

И было странное видение, которому я тогда не придавал значения, как и многому другому, в слепоте душевной безответственности: Агафонов, стоя на коленях, прилаживал крепления на ботинках Иры Гармаш.

Агафонов — самый сильный, самый рослый и самый грубый парень в школе. Он учился у нас с третьего класса, но не нажил ни одного друга, если не считать двух-трех трусливых прихлебателей, составивших его свиту. Свою власть Агафонов утвердил кулаком. Наиболее строптивых и гордых он избивал просто так, для профилактики. Многие годы измывался над классом, пока не столкнулся с коллективным отпором. Не было никакого сговора, это вышло само собой — мы повзрослели и устыдились своей униженности. Привыкший к безнаказанности Агафонов

вдруг оказался перед объединенной, жестокой, ничего не спускающей силой. И он отступил. Мне не хочется говорить «струсил», он вовсе не был трусом, что не раз доказывал в беспощадных уличных драках. Но он понял: надо отступить, чтоб сохранить достоинство. Он стал тихим и незаметным. Молчаливым и угрюмым. Он и так был равнодушен к интересам школы, а сейчас вовсе заперся за семью замками. Вчерашние прилипалы гадко издевались над ним. Он не обращал на них внимания, но его большие матово-серые глаза свинцово мертвели, и можно было легко понять, чем оплачена эта сдержанность. Ему бы перейти в другую школу, где не знают ни о его былом величии, ни о нынешнем унижении...

И вот сейчас этот большой, сильный, угрюмый парень стоял на коленях в протаявшем снегу и затягивал смерзшиеся ремешки на тупоносых ботинках черноглазой Иры Гярмаш. Загвоздка была не в самом поступке Агафонова, хотя и это кое-что значило, ибо никто из нас не отличался предупредительностью, хотя бы простой вежливостью в отношении школьных подруг, а в каких-то неуловимых подробностях позы и движений, о которых я вроде бы и не знал, пока не занялся бумагомаранием. Агафонов делал свое несложное, хотя и докучное дело с такой самозабвенностью, словно от этого зависела его жизнь. Он даже зубами потянул неподатливый ремешок из кислой сыромятной кожи. Ира доверчиво держалась за его плечо. А чего ей было держаться, она даже не потрудилась приподнять ногу, прочно стояла на своих двоих. Она не держалась вовсе, а *положила* руку на плечо Агафонова движением нежным и уверенным. Ей в привычку было касаться Агафонова, опираться на него, чувствовать его под рукой.

Мне никогда не приходило в голову связывать красивую, приветливую Иру с мрачным громилой Агафоновым. Я почему-то думал, что у нее есть парень вне школы, причем старше ее, какой-нибудь студент или кур-

сант военного училища. В последнее время Ира отдалась от нас. Не то чтобы ушла совсем, нет, она оставалась рядом, но в стороне. И теперь я знал: ее вынудило к этому отчуждение Агафонова. Она была с ним, а не с нами. И вот почему Агафонов не ушел из школы и терпел свое положение свергнутого правителя, терпел брезгливую холодность сильных и мелкие уколы трусов. Он все терпел, чтобы оставаться с Ирой, видеть ее каждый день, дышать с нею одним воздухом. И в этом, а не в кулачном бою была его настоящая сила. И когда я это понял, потянулась цепочка маленьких наблюдений, неоспоримо подтверждающих верность теперешнего прозрения. Мне оставалось только удивляться, почему я прежде ничего не видел, а если и видел, то не доводил до постижения.

Так вот что такое — писать. Это значит узнавать окружающее. Впрочем, не только это, ибо почему же в таком случае мои великие открытия оставили отца равнодушным? Может быть, ему просто не интересно, что Ира Гармаш дружит с Агафоновым? А что тогда интересно? Ведь, все, что происходит с людьми, интересно. И если бы про Иру Гармаш и Агафонова написал Чехов, отцу было бы наверняка интересно. Надо еще уметь передать свое удивление, свою очарованность открывшейся тайной. Но как?.. Все слишком сложно. Лучше играть в футбол.

Но моя кровь была отравлена. Я уже не мог жить без тех маленьких открытий, которыми награждало соприкосновение с белым чистым листом бумаги, ждущим заполнения. И если, варя гуталин, я лелеял мечту стать химиком, взрывая квартиру, видел себя Нобелем, на лекциях академика Лазарева давал молчаливую клятву создать теорию единого поля, то, марая бумагу, ни на миг не думал о себе как о будущем писателе. Я просто не мог не писать. Но никому не показывал написанного. И вовсе не из гордости или боязни разочарований. Радость и муки этого таинства

принадлежали только мне. Да, очень скоро заманчивое занятие улавливать окружающий мир словами превратилось в непосильный труд.

Боже мой, как я старался, как понуждал себя к соответствию слов силе впечатлений, но сам чувствовал, что действительность, на которой я смыкал пальцы, вытекает из них водою... Так прошла весна, а потом начался футбол, и стало еще труднее. В игре спадали цепи, отваливался тяжкий груз, добровольно принятый на себя. Но когда кончалась игра, я чувствовал себя безнадежно пустым. От новых мук нельзя было лечиться футболом. Я мог спастись лишь там же, где погибал, а не на футбольном поле. Ведь я и правда не играл сегодня, а решал проблему Алексева. Поэтому не было ни воспарения, ни приземления. Но и пустоты не было. Короче, не было футбола.

Игра вырывала меня из действительности, из самого себя и уносила в небо. Но теперь мне уже нечего там делать. Мне нужна только земля, сила и тяжесть земного притяжения, — крылья сданы на хранение, и квитанция потеряна. Жюль Вальдек непостижимым образом понял все это. Когда он называл игроков, отобранных в школу, меня среди них не оказалось. Ребята тихо возмущались. Но я-то знал, что Вальдек прав...

Я вообще бросил играть в футбол. И вовсе не из обиды, как думали мои товарищи по команде. Футбол — слишком серьезное дело, чтобы отдавать ему полсердца и полсилы. Так же, впрочем, как и литература.

Порой, когда подступает отчаяние, я пытаюсь понять, а что было бы, не послушайся я отца и не обремени сознание никому не нужной лыжной прогулкой. Конечно, это ребяческие мысли. Человек всегда живет свою жизнь, а не чужую и не минует своей судьбы, что вовсе не обеспечивает радости и удачи. Лишь в одном писатель печально-счастливее футболиста: его окончательное достоинство обнаруживается лишь после смерти, футболист же до конца исчерпывает себя при жизни.

А с Сережей Алексеевым мы встретились года три назад, и я спросил его, действительно ли он так сильно страдал в тот далекий день в Сыромятниках? Ратные труды и поэтическое творчество настолько застлали детство в памяти старого воина, что он никак не мог уразуметь сути моего вопроса. Но постепенно, снимая покров за покровом, я сумел вернуть его в Сыромятники, к футбольному мячу, злополучной игре, ко всему бывшему тогда.

— Придумал тоже! — сказал он, улыбнувшись своим крепким ртом. — А чего мне было страдать?..

ИЗ КНИГИ

«ЗОЛОТО  
СТОЛИЦЫ»

# МОСКВА...

## КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ...

Из чего ты построен? Простой и невероятно сложный вопрос. Спокойствия ради люди редко им задаются, а если и задаются порой, то быстро отбрасывают в утомлении. И в самом деле, чтобы ответить на него, надо припомнить и назвать сотни человеческих лиц, не меньше — жизненных обстоятельств, тысячи книг, картин, музыкальных произведений, сколько-то любовей и разрывов, дружб и ссор, и, конечно, оживет горькая память войны, для одних — фронт, для других — не менее страшный тыл, и потери, и жертвы, и обретения новых сил, но, сколько всего ни называй, чувство истощенности так и не придет.

Но если взять основной, самый важный, изначальный строительный материал, то станет куда проще: тебя строила Родина, ее земля и небо, вода и деревья, трава и цветы, смены времен года, дома и улицы, если ты увидел свет посреди городского пейзажа, тебя строили люди. Вначале все люди сведены в одного человека, который тебя кормит, греет, оберегает, и ты первому даешь ему имя в еще не названном мире — мама. Затем возле тебя (если ты везун) появляется поначалу не совсем понятное дополнение к маме, и ты уже при родителях, а там, откуда ни возмись, посыпятся дедушки, бабушки, родственники, друзья, знакомые, учителя, и ты оказываешься посреди народа. Но как Народ начинается с матери, так Родина начинается с малой родины: квартиры, дома, двора, улицы, деревни или города. Чувство к этой малой родине очень многое определяет в твоей последующей жизни, из него вытекает любовь к Большой Родине, оно — источник патриотизма. Моя малая родина

очень значительна, ибо я коренной москвич. И вот об этом, бесконечно дорогом и важном, мне хочется поговорить в первую очередь: о моей — и одновременно всеобщей — Великой малой родине — Москве.

Мальчик с рыжей головкой смотрит в окно на расстилающуюся перед ним московскую окраину. Он видит раскисшую мартовскую землю еще не застроенного пустыря, пересеченного железнодорожной насыпью, по которой сейчас идет поезд; за насыпью — вскрывшаяся белесо-мутная река, на другом берегу, за необжитой землей, — кварталы новых высоких домов, а в глубине, на фоне лимонных утренних небес, голубой силуэт университета.

Мальчик стоит, вытянувшись в струнку, на подставке — деревянном кругляше, что придает ему сходство со статуэткой, тонкие руки засунуты в карманы джинсов, слева от него, в бутылке из-под кефира, тополиная веточка выпустила острые зеленые листики, они родственны друг другу — мальчик и веточка. По сторонам трогательно большой рыжей головы торчат розовые ушки, выдавая скрытое напряжение маленького наблюдателя, чьи глаза, жадно пожирающие мир, как и все лицо, скрыты от нас.

Я смотрел на него с уважением, нежностью и странной печалью, о причине которой догадался далеко не сразу. А когда догадался, то не изгнал эту печаль, а приник к ней сердцем. Я вспомнил другого мальчика, умевшего так же пристально и очарованно глядеть в окошко на дарованный ему мир: задний двор огромного дома в старом московском переулке, сухие, как наждак, а когда и мокрые, блестящие от дождя или толсто заснеженные крыши и вздымающееся над ними, прямо против окна, пятиглавье древней церкви Николы в Столпах. Один из куполов был усеян по темно-синему фону крупными золотыми звездами, потухающими с появлением небесных звезд. Но бывало, что месяц становился прямо над темным куполом, почти касаясь рогом верхушки креста, и тогда, зажженный

им, пучок крупных золотых звезд вписывался в узорчатую ткань ночного неба. Стаи городских птиц кружили над Николой, воробьи и галки садились на кресты, а голуби на кокошники.

Но не только церковь привлекала мальчика. Его глаза с той же жадностью обращались к глубокому, как колодезь, двору соседнего высоченного дома — таинственной державе, куда не имели доступа чужаки под страхом смертной казни, к длинной плоской крыше, кроющей построенные стена в стену дровяные сараи, среди которых был напоенный чудесным запахом березовых дров сарай, принадлежащий семье мальчика, к голубятне над этой крышей в ближнем ее конце, к маленькому, с копейку, садику в глубине под окнами, с кустом сирени и скамеечкой возле увитой диким виноградом стены, — этот садик проглядывался лишь летом, когда распахивались окна и можно было, свесившись, глянуть вниз.

Простора, дарованного рыженькому наблюдателю, у этого мальчика, жившего в центре города, разумеется, не было, но он не чувствовал себя обделенным, ибо не мог насмотреться всласть и на то, что ему принадлежало. Я это твердо знаю, ведь я и был тем самым мальчиком, счастливым обитателем дома, выходящего фасадами на три (!) старых московских переулка: Армянский, Сверчков (бывший Малый Успенский) и Телеграфный (бывший Архангельский). Я застал эти названия, а вот о старом названии Армянского — Никольский или Столповский, по церкви XVII века Николы в Столпах, — знал с чужих слов. А еще он назывался одно время Артамоновским — по двору знаменитого дипломата времен царя Алексея боярина Артамона Сергеевича Матвеева.

Наш дом обладал не только тремя фасадами, но и двумя дворами, что тоже не часто встречается. Я жил во втором дворе, а в Армянский переулок выходил длинной, как тоннель, подворотней первый двор, и все же мы числились и писались не по Сверчкову или Телеграфному, а по Ар-

мянскому, о чем ничуть не жалели. В Армянском стояла на церковном дворе с чудесной решеткой, под сенью вековых ясеней и вязов, усыпальница бояр Матвеевых, которую мы в те годы упорно называли «гробницей боярина Морозова». И ведь существовал такой боярин, воспитатель царя Алексея; после женился он на сестре царицы, направлял всю внутреннюю политику России, драл семь шкур с тяглого люда и вызвал страшные «морозовские бунты», но мы, конечно, ни о чем таком не знали, просто была на слуху суриковская боярыня Морозова, а фамилия Матвеева ничего нам не говорила. Не знали мы и что гробница построена «в виде римского саркофага с двумя портиками и колоннами в 1820 году на месте избы с высокой тесовой крышей» — старой усыпальницы, но это нисколько не уменьшало очарование места, напротив, усиливало, ибо таинственный туман привлекательней для юной души холодного знания.

Было великим удовольствием перелезть через высокую решетку со стреловидными наконечниками, безжалостно рвавшими штаны, взбежать по замшелым, обшарпанным ступенькам и мимо источающих влажную стынь колонн испуганно посунуться к темному пролому в стене склепа, откуда шибало спертым могильным тленом. В кромешной тьме едва угадывались какие-то продолговатые каменюки — разбитые надгробья, как я теперь понимаю, но мы были убеждены, что видим кости и даже... обызвествленные боярские сердца. Да, да, я ничего не придумываю!.. Невероятно, но и повзрослев, я продолжал этому верить. Если уж быть до конца откровенным, то лишь сейчас за листом бумаги открылся мне бредовый вздор детского мифотворчества, столь прочно вросший в душу.

А еще была у нас армянская — с высоким куполом — церковь в глубине обширного светлого двора, мощенного лобастым, гладким, будто полированным, булыжником. Эту церковь построила богатая семья Лазаревых, возведенных Екатериной II в дворянское достоинство. Армяне спокон

веку жили в нашем переулке, отсюда и название его, но предприимчивый род Лазаревых — их шелка и парчи считались лучшими в Европе — покрыл невиданным блеском старое армянское подворье. Особенно преуспел действительный статский советник и командор И. Л. Лазарев, завещавший своему наследнику построить училище для детей беднейших армян. Из этого училища возник впоследствии знаменитый Лазаревский институт восточных языков. Прекрасное здание его сохранилось в неприкосновенности и по сию пору. Равно и памятный обелиск действительному статскому советнику и командору.

А еще у нас был в переулке, да и сейчас стоит, дом, в котором провел детство и юность великий поэт Тютчев. Там же жили декабристы Завалишин и Шереметьев, у последнего на квартире был арестован Якушкин.

Считается, что дети существуют вне истории, что жизнь их, пользуясь выражением бывшего насельника Армянского переулка, «вся в настоящем разлита». Это неверно. Дети живут и в истории, хотя она входит в их сознание нередко в причудливом мифологическом убранстве. Мы, дети Армянского переулка, не были равнодушны к тому, что наше жизненное пространство украшают старинные здания с их загадочными названиями, что в церковном дворике тени деревьев накрывают единственное на всю Москву строение — боярскую гробницу, что есть у нас Лазаревский институт, армянская церковь и очень, очень старые дома — обиталища знаменитых русских людей. Мы знали, что многочисленные сады вокруг нашего дома — остатки громадных царских садов, посаженных двести пятьдесят лет назад, что у нашего переулка на Покровке проходила некогда граница поселения знатных людей, и радовались этому обстоятельству, будто сами принадлежали к знати, и что Покровка запиралась на ночь «Кузьмодемьянской решеткой». Нам как бы сообщалась некая избранность, и, право же, в том нет ничего плохого, ибо другие ребята округи были отмечены и «вознесены» близостью Покровских ка-

зарм или Меншиковой башни. Главное — было бы чем гордиться. И мы гордились прошлым, так плотно обступившим наш замечательный дом, причастный Октябрю, — в нем находился штаб революционных печатников, равно гордились и самим домом с двумя дворами, по углам которых располагались винные подвалы. Эти дворы, вечно запруженные подводами с бочками, фурами, тугими рогожными кулями, распираемыми в разрыв сахаром и проспиритованной вишней, — в оглоблях здоровенные битюги, гривастые, с мохнатыми бабками, из-под забранных в узел хвостов то и дело выкатывают на булыжник пахучие яблоки — были предметом нашей особой гордости, доходившей до зазнайства. Подвалы, бочки, кули, битюги, равно и дровяные сараи, голубятни, помойка принадлежали удивительному настоящему нашего дома, революционная его слава — недавнему удивительному прошлому, свидетели и герои которого назывались теперь просто жильцами, а переулок, по которому писался адрес, погружал нас в удивительную историю Москвы, собравшей вокруг себя всю русскую державу. И мы, дворовая шпана, голубятники, хулиганы, футболисты, похитители пустых бутылок со склада, драчуны, велосипедисты, вральи, рыцари, плаксы, стоики, лоботрясы, книжники, филателисты, циники, мечтатели, жили исторической жизнью в нашем историческом мире.

Прямо напротив высокой просторной арки наших ворот и по сию пору стоит замечательный дом XVIII века, построенный, как мы тогда быстро смекнули, самим Растрелли. Мог же он построить за Покровскими воротами пышный дворец, в пору торжества классицизма презрительно именовавшийся «комодом», но для нас, мальчишек и девчонок, свободных от классических пристрастий и предвзятости, прекрасный, как мечта, со своими белыми колоннами и белой лепниной, дивно выделявшейся на лазоревом фоне стен. Так почему бы не построить великому зодчему и дома на углу Девяткина и Сверчкова? Должен сказать, что мы плохо отличали барокко от классицизма.

Там помещалась китайская прачечная, и клубы пара, то и дело вырывавшиеся из дверей, окутывали фасад пухлым белым облаком, мешавшим проглянуть его красоту. Немало часов просидел я на косо́й каменной тумбе, отмечавшей с переулка въезд в наш двор, томясь загадочностью чужой непонятной жизни. Вдруг — всегда вдруг — из дома выбегал узкий и легкий телом китаец с седым бобрником волос и худым лицом, обтянутым по лбу, скулам и вискам такой тонкой восковистой кожей, что казалось, она вот-вот лопнет. С уголков рта у него свисало по крысиному хвостику, а с подбородка — несколько длинных толстых волос. Он держал у плеча на ладони левой руки, согнутой в локте, сверток в тонкой розовой бумаге. Прежде чем перейти улицу, он по-птичьи, толчками, поворачивал голову направо и налево, удостоверяясь в безопасности пространства. Затем устремлялся вперед, быстро семеня прямыми, как палки, ногами. Он прощмыгивал мимо меня в своей темной легкой одежде — широкие штаны, рубашка балахон — и скрывался в сумраке подворотни, куда не проникали солнечные лучи. Меня задевал ветерок, рожденный его близким проскользком, и несколько мгновений звучала тихая музыка — колокольчики, нежный мелодичный перезвон, который я действительно слышал ушами, а не творил внутри себя. Китаец уже давно скрылся, а темное волнение не затихало во мне, странные, неясные, печальные образы возникали и таяли, не позволяя взглядеться в себя и назвать словами, единственно дающими власть над явлениями и грезами...

Вечером в прачечную приходила большая, как карусель, и такая же нарядная, вся в лентах, бусах и ярких тряпицах, молодая китаянка, увешанная с головы до крошечных ног бумажными фонариками, веерами, трещотками, летающими рыбами, драконами, причудливыми игрушками из сухой гофрированной бумаги. Ах, эти ноги со ступнями-обрубками, я не мог к ним привыкнуть! И ведь я догадывался, что китаянка не испытывает страданий, и даже

как-то смутно знал, что ноги у нее не обрублены, а воспитаны в детстве тугими пеленами, и все же лучше было не смотреть вниз. Я прилипал взглядом к ее круглому, с подрисованными бровями, неподвижно-нарядному кукольному лицу. Китайка с трудом протискивалась в маленькую дверь.

Мне представлялось, что, оставив свои лохани с хрустальной пеной, катаалки и утюги, китайцы зажигают цветные фонарики, раскрывают нарядные веера и начинают тихо, чинно, плавно танцевать под сладкозвучье колокольчиков и трещоток с неперменной кровавой капелькой сургуча на деревянной ручке, а в парком, влажном воздухе реют летающие рыбы, преследуемые драконами...

Прачечная давно закрыта, китайцы уехали стирать к себе на родину, а дом, посвежевший и поюневший, будто распрямился, одаривая своей нарядностью два переулка: Сверчков и Девяткин.

Сверчков не долго радовал нас. Там началась вырубка старых садов. В предсмертной тоске, шумя ветвями и листвою, падали под пилами и топорами вековые дубы, могучие вязы, ясени, дивные клены, уничтожались сирени, жасмины, ракиты. На пустырях возникали строительные площадки. Но хилые городские деревца, которыми так щедро обсажены московские улицы, добывают из-под асфальта слишком коротенькую, чахлаю жизнь своими бедными корнями, они поздно зацветают, рано желтеют, облетают и очень мало дают для оздоровления спертого городского воздуха. По-настоящему освежают город лишь растительные массивы — сады и парки.

Нашему крылу дома сказочно повезло. Запертые на замок с дней революции, открылись парадные двери, и мы получили выход в тихий, задумчивый, не тронутый школьным строительством Телеграфный переулок.

Он обстроен высокими, добротными доходными домами, есть там и несколько приземистых одноэтажных зданий XVIII века — приспособленные под жилье ко-

нюшни, но главным его сокровищем была и осталась знаменитая бело-розовая Меншикова башня, как издавна прозвали в народе храм Архангела Гавриила, приютившая у своего подножия скромную церковь Федора Стратилата. Башню возвел в 1705—1707 годах по повелению царского фаворита лучший московский зодчий той поры Иван Зарудный, первый художественный цензор России. Церковь построил на век позже любимый ученик Матвея Казакова И. Еготов...

Жизнь увела меня от места моего начала. Мы переехали в один из тихих арбатских переулков, и Москва открылась мне, уже юноше, иной прелестью. Там, в первом мире, царили XVII—XVIII века. В своем рассказе я несколько сузил пространство детства, оно не замыкалось в чистопрудных переулках, было шире, охватистее. И расширялось оно преимущественно в одну сторону, совпадающую с изначальным направлением роста Москвы: Покровка — Басманная — Разгуляй — Елоховская. Москва тянулась за царевым путем из Кремля в подмосковные вотчины: Покровское, Измайлово и Преображенское. И я тянулся туда же, ибо у Покровских ворот находилась моя школа, на Басманной — Дом пионеров, у Разгуляя — футбольное поле, на Елоховской — поликлиника, а в Лефортове — площадка для военной игры. Я следовал за царем Алексеем до Немецкой улицы, здесь наши пути расходились: царский возок двигался напрямиком, я же отваливал вправо, к Лефортову.

А вот в Приарбатье меня окружила Москва, какой она стала после пожара 1812 года. Вместо дворцов, палат и городских усадеб — реже каменные, чаще деревянные, оштукатуренные особняки об один-два этажа. Вместо пышных храмов, преимущественно нарышкинского барокко, небольшие церковки и много, много старых деревьев, но не в садах, а в палисадниках и малых двориках; из-за каменной или чугунной ограды клены простирали над узкими тротуарами раскидистые ветви в лапчатых листьях. Сухой осенью нежно шуршали арбатские ночи. Тихи, те-

нисты и уютны были эти редко прямые, куда чаще извилистые, причудливо искривленные переулки. Как славно было здесь жить после всех ужасов наполеоновского нашествия, небывалого в истории Москвы опустошительного пожара, пощадившего по странной игре случая все триста шестьдесят полицейских будок.

После пожара комиссия во главе с лучшим зодчим Бове, создателем Большого театра, Триумфальных ворот, Градской больницы, разработала типовые, как мы сейчас говорим, проекты жилых домов для людей разных званий и достатка. И когда любуешься многочисленными особняками той поры, сохранившимися не только в районе Арбата, но и в других частях города, то радостно удивляешься их разнообразию, и старушка Москва, впервые подчинившаяся строительному плану, сохранила свой живой облик, и прав был некий коренной москвич, писавший в те годы: «...ходя по Москве, вы не идете между двумя рядами каменных стен, где затворены одни расчеты и страсти (накопительские, надо полагать. — Ю.Н.), но встречаете жизнь в каждом домике отдельно». Хоть и коряво, но хорошо сказано!..

Арбатские переулки, расположенные в квадрате, образуемом Садовой, Кропоткинской, Гоголевским бульваром и самим Арбатом, в наибольшей цельности донесли до наших дней образ послепожарной Москвы. Границы Приарбатья правильной было бы числить по улице Воровского, но с появлением Калининского проспекта эти кварталы имеют «смятенный вид». Чистая и светлая пора в московском градостроительстве замутилась на исходе XIX века, а в первое десятилетие XX столетия окончательно возобладал модерн вперемежку с псевдорусским стилем — претенциозная безвкусица алчной эклектики. На фоне особняков-ракушек, знойных мавританских мотивов, столь неуместных под северным солнцем, и обнаженных дев под карнизами выигрывала добротная архитектура доходных домов, не претендующая на ранг искусства, но не оскорбляющая вкуса и служащая своему назначению.

Словно некоей центробежной силой меня уносило все дальше и дальше от исторического ядра столицы. Начинать жизнь в Белом городе, недалеко от Китайской стены, где шелестел листвами старых фолиантов книжный развал, продолжал — в пределах Земляного города, а завершая — за Камер-Коллежским валом, созданным, в отличие от остальных московских «городов», не обороны ради, а на предмет недопущения в столицу беспощинного вина. За бывшей винной заставой в нашем районе нет ни московских древностей, ни московской старины, если исключить немногие ветхие дореволюционные дачки допетовского стиля, в котором доверчивый и увлекающийся В. В. Стасов усмотрел возрождение национальной русской архитектуры. Задавленные корпусами новостроек, дачки тихо рассыпаются, изъеденные жуками-древоточцами, среди пыльных ржавых сиреней. Впервые я оказался в архитектурном вакууме. Архитектура в нашей части Москвы кончается на Петровском дворце, построенном Матвеем Казаковым в несвойственной ему манере, и начинается много дальше, в бывших подмосковных усадьбах вельмож. К нам всего ближе юсуповское Архангельское, дивно спланированное Де Терном, но это и по новым границам уже не Москва.

Историческая и эстетическая пустота нового местожительства, навязав душе чувство постоянного сиротства, способствовала моему отчуждению от Москвы. Тем более что у меня появилось загородное жилье, где я проводил большую часть года. И оставляя я свою берлогу лишь ради Ленинграда. Я был околдован Ленинградом. Много связывало меня с этим городом: война, работа на Ленфильме, рассказы, дружба и, наконец, любовь: моя жена — коренная ленинградка. И настало такое время, что я и жить стал больше в Ленинграде, нежели в Москве, и узнал его лучше, чем стремительно меняющуюся Москву.

Москва же не только менялась, но и расширялась, придвигалась к моему загородному жилью близ деревни Ватутинки по Калужскому шоссе. По пути она поглотила

Воронцово, Коньково, Теплый Стан. Целые микрорайоны вырастали быстрее, чем прежде отдельные дома. Я уже не помню сейчас, в каком году открылся стадион имени Ленина, запестрела ярмарочная площадь перед ним, красиво вписалось в срез Ленинских гор новое здание метро, но хорошо помню, как ахнул, впервые увидев распахнувшийся во всем великолепии, на зеленом взгорке, дом Пашкова — лучшее украшение Москвы.

Но странно, даже то поистине прекрасное, чем обновилась Москва, не только не приближало меня к ней, напротив, усиливало отчуждение. Влюбленный в «прозрачный сумрак, блеск безлунный» белых ночей, я чувствовал себя в Москве блудным сыном, которого хоть и приносит к отчому порогу, но тут же влечет прочь. Я уходил, так и не ощутив прикосновения ищущих рук ослепшего отца. Конечно, я сознавал, что теряю Москву, но утрата не причиняла мне боли. А если порой и теснило грудь, то я быстро излечивался Ленинградом...

А потом в Москву приехала кенийская писательница Грейс Огот. Незадолго перед тем она принимала меня в своем очаровательном, увитом бугенвилеями доме в Найроби, и я очень сдружился с ней и ее мужем Алланом, видным историком народности луо, профессором университета. Выполняя данное в Найроби обещание, я повез Грейс по Москве. Очень высокая, длинноногая и длиннорукая, с выпирающими, как у всех женщин-луо, верхними зубами и при этом странно и ярко красивая, женственная и стремительная, как антилопа импала, непосредственная, как ребенок, при вечной грусти в глубоких влажных темных глазах, Грейс то и дело требовала остановить машину, зачастую в недозволённом месте, выскакивала наружу, всплескивала руками с шафрановыми ладонями и, задыхаясь, кричала: «Марвелоуз!.. Ит'с марвелоуз!..» И блюстители порядка, вышколенные в духе высокого интернационализма, натянуто улыбались и не гнали нас прочь с восхитившего Грейс запретного места.

Особенно восхищали ее площади. Существует строгое и авторитетное мнение, что в Москве лишь две площади соответствуют высшим архитектурным канонам: Красная, разумеется, и Свердлова, бывшая Театральная. К сожалению, ее испортил грубый торец только что достроенной гостиницы «Москва». И все же, когда Грейс закричала свое самое громкое «Марвелуэз!», потрясенная распахнувшейся перед нами с улицы Горького неохватной площадью, я готов был вторить ей. «Таких площадей нет нигде в мире!» — с некоторым ожесточением утверждала Грейс, а она имела право так говорить, объездив все континенты, кроме Антарктиды, но этот суперпустырь не в счет. Громадность чистого пространства, которое город с невиданной щедростью высвободил в самом центре, в скрещении всех пронизывающих его напряжений, поистине ошеломляюща. И тут уже не до ортодоксальных канонов, захватывает масштаб, царственная свобода жеста, негородское обилие неба (и по контрасту вспоминается душный, запертый Нью-Йорк, где вместо площадей — перекрестки); окаймляют же это воздушное озеро кремлевские стены и протянувшийся вдоль них Александровский сад, торцовый фасад Манежа, старый университет, красивое здание Жолтовского, привившего ренессанс к современным формам, Исторический музей и щусевский — не чета новому — торец гостиницы «Москва». Сама нерасчетливость богатырского размаха покоряет, такое по плечу только Москве.

Но апофеозом нашего путешествия стал обзор столицы со смотровой площадки Ленинских (Воробьевых) гор. Недаром же сюда приезжают новобрачные, и кисейная фата невест, подхваченная ветром, развеивается над глубокой пастью. Прекрасно спланирована сама площадка с балюстрадой, и как хорошо, что сохранили маленькую церковку с зелеными главками, будто печать в углу грамоты, дарующей милость, а грамота та — вся расстилающаяся внизу, охватная из края в край Москва. Чудесна крутая излучина реки Москвы, огибающей территорию стадиона; великая

причастностью к столице, но не ширью и обилием вод, река набирает здесь силу и упругость.

Думается, смотровая площадка помогла решению давнего и некогда ожесточенного спора — насколько уместны в Москве высотные здания. Я принадлежал к числу решительных противников этих полунебоскребов. Но, положив руку на сердце, как естественно и необходимо вписываются они в силуэт Москвы! Более того, они-то и создают этот характерный силуэт, отлично уживаясь с златоверхим Иваном Великим, колокольней Новодевичьего монастыря и Меншиковой башней — старыми московскими вершинами. Вот это надо помнить, когда заходит речь о смелых нововведениях: то, что кажется неприемлемым сегодня, завтра может стать естественным как дыхание. Но случается и другое, об этом в своем месте...

И, взглядываясь в город, погружившийся в дымчатую синь, предвестницу вечерних сумерек, и совсем забыв о милой, странной Грейс, вдруг запевшей что-то таинственное, как ночь ее родины, хриплым, волнующим, древним голосом, я тщился понять, мой ли еще этот город или я потерял его навсегда. Город, как и человека, можно потерять, не расставаясь с ним, находясь в каждодневном поверхностном общении. Я с болью почувствовал, что совсем не знаю эту новую Москву и даже боюсь ее. Боюсь, что она стала совсем другой и мне не уловить знакомых, родных черт и не связать настоящего с прошлым. Меня равно не устраивало в отношениях с Москвой ни холодное восхищение постороннего наблюдателя, ни брюзжание пронафталиненного старожилы, цепляющегося за уходящую привычность. Мои дела с Москвой всегда были горячи.

Вот тогда я и принялся писать свои московские рассказовые циклы, думая прийти к Москве из дали воспоминаний. Писалось хорошо, увлеченно, прошлое оживало, но мне хотелось чего-то другого, а чего — и сам толком не понимал. Я воскрешал переулки своего детства, но ведь они стали другими, я же сторонился их нового образа. Все

написанное ни на шаг не приблизило меня к сегодняшней Москве.

Выйти из тупика мне помог мальчик с рыжей головой, так напряженно и доверчиво припавший к окну, за которым влажно дышал весною мартовский мир московской окраины. Мальчик был изображен на плакате, оповещающем об открытии выставки художника Евгения Куманькова, которого я знал лишь как художника кино.

На выставке мне открылся новый Куманьков, для меня новый, ибо другим он был давно известен и как великолепный рисовальщик, и как интересный театральный художник, и как тонкий иллюстратор, хотя его рисунки к «Пиковой даме» остались в листах. Но главным открытием для меня стало, что Москва — ведущая тема графики Куманькова, Москва сегодняшняя, Москва уходящая, Москва наступающая, Москва в борении старого и нового, Москва, Москва, Москва... И всю очарованность Москвой он вложил в прелестного рыжего мальчика, своего сына...

И вот морозным, солнечным, синим днем я сижу в мастерской Куманькова и с жадностью, почти неприличной, насыщаюсь его рисунками, пастелями, темперами, изображающими Москву. И рыжий мальчик, его сын, выросший в рослого, стройного юношу с пастельно-нежным лицом, предлагает мне чашку черного кофе, приготовленного на электрической плитке, и рассеянно, обжигаясь, я пью этот крепкий кофе, а Москва глядит на меня с подрамников, со стен и стеллажей — вся мастерская, снизу доверху, набита Москвой.

Вот эту улицу я вроде бы хорошо знаю, но и не знаю вовсе, потому что лишь в детстве ходил по ней, а взрослым человеком проносился в машине к дому, где находился Гослитиздат. Она взята в удивительном ракурсе, который доступен лишь глазу художника, но никак не фотоаппарату с какой угодно оптикой. Громадное расширение переднего плана, будто раструб геликона, позволяет видеть особняк в стиле классицизма, построенный в самом начале XVIII

века для князя С. Б. Куракина, а напротив — старинный дом, примыкающий к церкви Петра и Павла, стремительно сужаясь и словно всасывая вас, наблюдателя, как и черную машину, взлетающую на горбину улиц перед церковью. Новая Басманная, чередуя старину с нарядными домами начала века и современными гигантами, вовлекает вас в свою тайну. А в чем эта тайна? В озябших ли фигурах, бредущих под зонтами сквозь осеннюю морось, в манящем ли просвете на заднем плане, дарующем улице бесконечность, или это то, невыразимое словом, что сокрыто в сердце художника и дразняще сквозит в его творении? Если б картина, рисунок, скульптура полностью выговаривались словами, то к чему изобразительное искусство, достаточно было бы литературы...

А к этой темпере я возвращаюсь вновь и вновь. Название ее малопоэтично: «Дымы Могэса», но вполне соответствует содержанию: тут действительно очень много густого, пухлого, белесого дыма, валящего из труб Московской электростанции. Тут вообще очень много всего: дыма, зданий, объявлений, вывесок, автомобилей, отдельных и слипшихся в ком человечьих фигур на белизне непривычно плотного в Москве последних лет снега.

Обыденное и поэтическое так странно и вместе естественно сплелись в этой картине, что и угадав старый Балчуг, как-то отталкиваешь бедную угадку, ибо не фруктово-овощная палатка на переднем плане, вопреки вывеске, а ярмарочный павильон со всеми его яркими радостями, или звонкая карусель, или... зимняя купальня маркизы. Есть что-то от «мирискусников» в этом горячем, красочном пятне между двумя снегами — на мостовой и на крышах. А дальше, за старыми домами с кокошниками над окнами — там булочная и хозяйственные товары, — возвышаются главки-луковички с золотыми крестами, а за ними, через все небо, взметнулось темное, подчеркнутое белыми морозными дымами Могэса готическое здание котельнического высотного дома, удивительно уместное здесь, как и глухая стена

справа с непременным призывом хранить деньги на сберкнижке, что «надежно, выгодно, удобно».

Поражает необыкновенная цельность этого разновременья и разностилья, цельность, не навязанная художником пейзажу, а уловленная им в характернейшем уголке Москвы, умеющей, как ни один город, объединять в нечто органическое срезы самых разных эпох. Вглядываясь в «Дымы Могэса», я начинал понимать что-то очень важное, без чего не мог бы вернуться к своему городу.

Легко находить красоту там, где она сама предлагает себя: в соборах, башнях, дворцах и теремах Кремля, Василии Блаженном, Новодевичьем монастыре, доме Пашкова, Юсуповских палатах, хотя это не значит, что затасканная многими художниками красота так просто поддается изображению. Тут кроме таланта и мастерства необходима выношенная, выбеленная душой и разумом художественная концепция. Куманьков создает не картинки Москвы, а бесподобный образ города, где прошлое переплетается с настоящим, где отчетливо проступают черты будущего и тихо, скорбно, порой преждевременно умирает старое. Это определяет не только выбор сюжетов, но и точку изображения, ракурс, манеру, стиль, колорит. И Василий Блаженный подается Куманьковым не в рост, как, скажем, собор Новодевичьего монастыря, а лишь сказочными своими главами, и этого достаточно для цели художника, которому здесь хочется лишь радости праздника. А в соборе Новодевичьего монастыря, сияющем белизной высоченных стен сквозь поросль старых деревьев, он дает образ неприступности, мощи юго-западной опоры Москвы. Ведь и сам монастырь обязан своим появлением не религиозному усердию московского государя, а победе русского оружия — освобождению Смоленска. В честь этого славного события он и был основан в начале XVI века.

Для воплощения этой идеи Куманьков привлек и навратную церковь в глубине пейзажа, подчеркивающую, что собор включен в нечто большее, нежели он сам, и преувели-

ченые — с точки зрения ползучего здравомыслия — деревья, вымахавшие выше крестов. На самом деле эти березы не достигают и барабанов. Но художник взял пейзаж с нижней точки, от земли, и деревья, что были ближе к нему, нежели собор, взметнулись, стали исполинами и не только не принизили храм, а вместе с ним унеслись в беспредельность, — ни их верхушек, ни островершков крестов не видно, они за обрезом рисунка. На многочисленных фотографиях, без которых не обходится ни один путеводитель по Москве, собор кажется много, много ниже, — вот чем отличается правда искусства от механического тождества.

Но особенно ценно умение Куманькова находить щемящую красоту там, где другой увидит лишь убожество и тлен. Я имею в виду чудесные старые домики, собранные Куманьковым в арбатских переулках, в Замоскворечье, близ Рождественского бульвара, — деревянные и каменные, маленькие, согбенные, порой сохранившие стать сквозь все выпавшие им на долю испытания, они так подлинны, так историчны и просто милы, что и самое черствое сердце не может им не откликнуться. Я не говорю даже о «Бывшем красавце», доживающем век на задах улицы Станиславского, обшарпанном, облупившемся, глядящем в грязный дворик с помойкой и железной бочкой из-под керосина; его изуродованный достройкой мезонин все еще излучает прелесть давно минувшего, опозитизированного Кустодиевым быта. В этом рисунке меня занимает не только сам домик, но и тот мотив, который часто и, зная, не случайно повторяется у Куманькова: над домиком навис громадный строительный кран.

Этот кран со стальным тросом вносит жгучую тревогу в простое, бесхитрое изображение. Домик обречен, художник запечатлел его последние мгновения... Зарождение нового — всегда смерть старого, и никуда от этого не денешься...

Впрочем, я хотел сказать о другом. Что, казалось бы, привлекательного в корявой, ржавой, со слуховым окон-

цем крыше приземистого длинного здания, упирающегося в торец высокого, ничем не примечательного и довольно нелепого дома, поскольку за ним опять идут одноэтажные домишки? Правда, по другую сторону стоят два современных здания, одно из них очень похоже на Центральный телеграф, а в глубине зыбятся контуры высотного дома, но и это не скрашивает тусклого городского вида, погруженного в зимнюю хмарь. А хочется смотреть и смотреть на этот пейзаж, он влечет даже сильнее, чем «Бывший красавец» с пряничной и горькой прелестью.

Я долго пытался объяснить себе этот секрет, но ничего не получилось. Пейзаж грустноват и может совпасть лишь с печальной душой, я же увидел его в добрую, подъемную минуту жизни и все же не мог оторваться. И?— отказавшись от попыток обобщения, я вдруг понял, чем он трогает меня. Помните описание вида, открывавшегося из окна моего дома в Армянском переулке? Длинная крыша, объединяющая дровяные сараи, черный двор, торец высокого соседнего дома и прямо напротив, в отдалении, главы церкви. Все так похоже на подсмотренное Куманьковым совсем в другом углу Москвы, даже смазанные очертания высотного дома — ни дать ни взять наш старый Никола. Вот этой щемящей схожестью и берет меня рисунок. Но он должен затрагивать и других людей, не пробуждая в них при этом столь точных ассоциаций детства. Все дело в его типичности, в его чисто московском духе. Такого не увидишь ни в Ленинграде, ни в Киеве, ни в каком ином городе, это сама Москва, неповторимая московская суть, в нагромождении каменных масс, в кривизне линий, в сплаве прошлого и настоящего, в прорыве из сумерек в свет. Рука художника лежала на самом сердце Москвы, когда он создавал свой пейзаж.

Я пишу это, уже зная о своей ошибке, — память и угадка изменили мне, я не узнал проезда Художественного театра и крыши МХАТа. Конечно, более проникательным людям прежде всего будет мил и трогателен неожидан-

ный и непарадный вид старой мхатовской кровли. Но для тех, кто, подобно мне, не разберется в географии рисунка (почему-то кажется, что художник сознательно зашифровал адрес, предельно отстранив всем знакомый московский пейзаж), мое рассуждение остается в силе.

Густым московским духом веет и от других работ Куманькова: «Кривоарбатский переулок», «Угол Большой Молчановки». Если в первом купеческий дом с мезонином, перед которым стоит зачехленный автомобиль, еще сопротивляется времени, еще думает устоять, то дни второго сочтены, он и сам понял это и как-то схилился, а деревья растрепали над ним голые ветви, словно траурные ленты. Оба рисунка сильны духом Москвы, но в «Кривоарбатском» чувствуется желание удержать, сохранить, а в «Молчановке» — лишь желание отдать дань человеческому жилью, служившему долго и преданно, но изжившему свой век и вынужденному уйти. Хорошо, что Куманьков не льет жидких слез сожаления над каждым дряхлым зданием, в этом его мужество и честность, но и хорошо, что каждого ветерана он провожает добрым взглядом.

Грустную нежность вызывают эти дома: ведь они — частица московской жизни, чье-то детство и чья-то старость, их стены слышали смех и плач, слова любви и слова разлуки, отсюда уходили на войну, сюда же возвращались те, кому суждено было вернуться. И «похоронки» сюда приносили, и поздравления с праздниками, наградами, и судебные повестки. И вообще жизнь в маленьких, потемневших от лет, незнатных домах была полна и в радости, и в печали, мир их праху...

Вначале я думал, что Куманькова влечет главным образом уходящая Москва, и это казалось мне справедливым — кто-то должен сохранить в памяти людей черты, стираемые неумолимым временем, но потом я убедился, что это не так — интерес художника к Москве куда шире, а любовь умнее. У него острый, даже какой-то мучительный интерес к тому, какой станет Москва, он стремится загля-

нуть в ее завтрашний день. Потому так много строек в его рисунках, потому строительный кран — один из главных героев московского цикла. Картон может называться «Юго-Запад», но царит здесь громадный кран, перекрещивающий весь зримый мир своими ажурными конструкциями; может называться «Склады», являя неожиданную поэтичность плоских складских крыш, а эту несколько статичную красоту оживляет и будоражит гигантский кран, влекущий по воздуху балку; может называться даже «Памятник Пушкину» — Александр Сергеевич мужественно напрягается против грозно нависших стрел кранов. Новое здание «Известий» еще строилось, но Куманькову не терпелось увидеть, как соотносится оно с памятником поэту, старинными фонарями. От рисунка веет пылливой тревогой, усугубляемой стаями мечущихся над кранами птиц. Целый лес кранов на картоне «Новые ритмы», настоящий лес с огромной луной за металлическими стволами, призрачно отбелившей стену новостройки.

Куманьков охотно возвращается к полюбившимся местам, создавая сходные, но не повторяющиеся сюжеты. Пастель «В мае» — знакомый нам рыжий мальчик, уже подросток, сидит на лавке, под деревом в первой весенней вырубке, и смотрит туда же, куда смотрел лет шесть или семь назад, — за железнодорожное полотно, за Сетунь, на кварталы подступивших к реке домов и далекое здание университета. Рядом с ним и чуть позади, трогательно повторяя его позу, сидит большая черная собака. Вырос мальчик, изменился и окрестный мир: Сетунь обрела набережные, из сельской заделалась городской, пустырь по эту сторону стал то ли парком, то ли сквером: деревья, скамейка. И хоть есть что-то потерянное, грустное в фигурах мальчика и собаки, но эта грусть — от слишком большой любви художника к мальчику: ведь любовь может лишь притворяться веселой, как и музыка, отстой грусти и там и там неизбежен. Но весь рисунок радостен, бодр, ибо на нем изображен мир, обретающий должную форму; исполнил

свое назначение новый городской район — достиг реки и подчинил ее себе, исполнила свое назначение природа, вырастив эти деревья и этого мальчика, что так сосредоточенно смотрит на город, где ему жить, жить и жить...

Куманькову для выражения его раздумий и настроений хорошо служат московские и подмосковные деревья, набережные, фонари, решетки парков и бульваров, афиши и плакаты, дым паровозов и заводских труб, строительные конструкции и краны, пешеходы, автомобили и птицы стаи.

Погрузившись в его мир, столь близкий некогда и мне, я мучительно затосковал по Москве, по ее прямым улицам и кривым переулкам, по ее площадям, набережным, мостам, по Кремлю и Красной площади, по Замоскворечью и Арбату, по бульварам и всему пространству моего детства, по церквям, башням, монастырям, деревянным домикам и respectable доходным домам, по стеклянным коробкам Ле Корбюзье и доморощенным новациям двадцатых годов, по современным башням, по ночной гулкости тротуаров, по розовым сумеркам рассветов и синему предвечернему сумраку, по своей детской душе, все еще бродящей чистопрудными лабиринтами.

И я отправился в свое прошлое. Куманьков вызвался сопутствовать мне. Его огорчало, что он знает район Чистых прудов куда хуже, нежели Замоскворечье, Дорогомилово, арбатские переулки, Бульварное кольцо от Кропоткинской до Сретенки, не говоря уже о центре. И хотелось ему взглянуть на дом, выходящий сразу на три переулка, о котором я столько нагородил и устно и письменно.

Гете говорил: вдвоем призрак не увидишь. Но я был убежден в безграничной власти былого над своей душой и не боялся помехи. Приди я вдвоем с тихим, сосредоточенным в себе художником или с шумной компанией приятелей — милые, не зримые другими тени зареют перед моими покрасневшими глазами и коснутся слуха беззвучные для чужих ушей голоса, зазвонят нежные колокольчики,

всхрапнет гривастый битюг, заворкуют голуби на крыше дровяного сарая. Я только предупредил Куманькова, что небольшой пожар, случившийся месяца два назад, слегка опалил верхние этажи дома со стороны Сверчкова, пусть уж не посетует на малый беспорядок.

Приехали мы в Армянский переулок — все-таки, по старой неистребимой памяти, здесь виделось мне лицо дома, несмотря на все перемены, о которых рассказывалось выше. И тут постиг меня первый удар. А ведь я слышал, что дом перешел в ведение Министерства лесного хозяйства, но не связывал с этим каких-либо перемен в его облике. Я жестоко заблуждался. От дома остались лишь мощные, будто крепостные, в серой «шубе», стены. Весь выпотрошенный изнутри, он слепо и нищенски пялился пустыми оконницами. Есть вещи, которых я никогда не пойму. Выселенных обитателей этого великолепного, теплого, с прекрасной изоляцией, надежного во всех узлах жилого дома обеспечили новыми квартирами, по площади не уступающими прежним. Так почему бы не оставить их на старом месте, а лесникам дать другое помещение? Никто не убедит меня в разумности подобных мероприятий. Зачем выселять людей из насиженных гнезд, обжитых еще их дедами, чтобы теплое, семейное затопил учрежденческий холод? Даже если в этом есть какая-то материальная выгода. Негоже великому городу заниматься мелочной бухгалтерией.

Мы побрели в Сверчков переулок, где, ахнув перед бывшей прачечной на углу Девяткина, Куманьков и глазом не повел на следы пожара, и плечом к плечу ступили в подворотню, глядевшую на мое каменное присадистое крыльцо. Я шел, а голоса молчали, и стылый пустой воздух не забился промельками милых теней; тупая тишина давила на барабанные перепонки, но, может быть, дело во мне, это я перестал слышать отзвень минувшего, мои глаза зрячи лишь к грубым вещественным очевидностям? Мы вышли из полутемной подворотни в ликующий свет, неправдоподобно и странно заливший круглый сумрачный дворик. Но не было

дворика, был кран пустыря, распахнувшегося перед нами ошеломляющей жесткой голубизной морозного неба. Та часть дома, где стояло наше крыльцо, где на третьем этаже находилась наша квартира, было пустое место. И, глядя в чудовищный проем, я вдруг усомнился, что на этом месте действительно творилась моя лучшая жизнь и жизнь моих друзей, что была громадная квартира деда, которую у нас с убыванием семьи — в смерть и в отъезд — по комнате отбирали, что там поселились два великих клана: тихий, работающий — Поляковых, буйный, гулевой — Рубцовых, что вслед за ними въехала цветочница Катя — голуба-душа, что напротив обитал Борька Портос, а на этаж ниже мой первый друг, мой друг бесценный Павлик и на одной площадке с ним красавицы сестры Козловы. Мне, как, наверное, всем жившим в доме, незыблемым казался строй и лад этого густого существования, над которым и смерть не властна, ибо на смену уходящим подрастали новые граждане. Я стоял, смотрел в синюю пустоту, в которой навсегда стинули детство и отрочество, и так же пусто было у меня на душе.

Зимой я ловил рыбу на Учинском водохранилище, и, как оказалось, над тем самым местом, где прошумели мои дачные годы. Подо льдом, в темной воде, знать, еще доживала величественная акуловская дача. На протяжении последних месяцев я лишился матери и отчима, сейчас не стало места моего начала. Боже, как богат был я еще недавно и как нищ стал сейчас! Я — словно несчастный герой Шамиссо, лишившийся тени. Еще недавно мое бытие долгой вечерней тенью простиралось в прошлое, сейчас мне не на что отбросить тень.

Да, тяжело началось мое возвращение в родной город. И — незадачливый паломник — я присел обочь дороги, дабы перевести дух и собраться с силами. Они мне весьма понадобились.

Я шел путем детства: от Телеграфного переулка по Чистым прудам, улице Чернышевского, на улицу Карла Маркса,

к Разгуляю. Ах, Разгуляй! Как чудесно, лихо, истинно порусски звучит это слово. Видать, крепко гуляли здесь, под стенами Москвы, за Земляным городом, гуляли от всей души, от всего сердца, как в городе не погуляешь. Недаром же богатырская гульба перешла в название места, которое помнится всем московским старожилам. Ныне Разгуляя не существует, ни улицы, ни площади.

От Разгуляя я свернул к Гороховской, почему-то переименованной в улицу Казакова, именно здесь не построившего ни одного здания, и взял путь к Лефортову.

Лефортово по эту сторону Яузы разворочено, разбито, какие-то овраги, пади, будто ты и не в Москве даже. И дело не в том, что Лефортово стало сплошной строительной площадкой, подобно, скажем, Теплому Стану. Строить тут, конечно, строят, как и повсюду в столице, но не деловой сумбур стройки определяет лицо правобережного Лефортова, а запущенность.

Оказывается, и детская память, кажущаяся такой стойкой и прозрачной, — ведь мы неизмеримо лучше помним даже незначительные события младых лет, чем куда более важные — зрелой поры, а тем паче поры увядания, — далека от совершенства, в ней тоже образуются провалы, замутнения.

Я начисто забыл, что рядом с бывшим Слободским дворцом (старое здание МВТУ имени Баумана) находится другой дворец, исторически еще более интересный. Этот дворец построил по царскому повелению каменных дел мастер Аксамитов для «первого галанта и французского дебошана», хотя он был швейцарец, Франца Лефорта, открывшего Петру I очи на Запад и помогшего окончательному отвращению юного царя от боярской старины. После смерти Лефорта дворец перешел к князю Меншикову, приказавшему архитектору Фонтана пристроить с улицы каменные корпуса с торжественным въездом.

Впрочем, слово «сохранившийся» не очень подходит к обветшалому, облупившемуся, дышащему на ладан зданию,

по виду заброшенному, хотя в нем помещается какой-то архив. Парадный двор, куда я проник через проходную, приютившуюся у «торжественного въезда» и случайно оказавшуюся пустой, являет собой картину былой красоты на мерзости запустения. Но второй двор, глядящий на Язу, просто мусорная свалка. Именно с этой стороны можно попасть в подъезд, где якобы сохранилась лестница Матвея Казакова. Но я туда не попал: меня окружили какие-то бдительные люди и стали домогаться, как да зачем оказался я здесь. Я объяснил, показал документы, сообщил о невинной цели своего вторжения, но не смягчил суровых стражей. Чего они боялись? Что я похищу стратегический план Скобелева или победную реляцию времен турецких войн?

«Братцы, — взмолился я, — бросьте вы эту чепуху, скажите лучше, как вы позволяете разрушаться эдакой красотище?» — «А что мы можем сделать? — угрюмо отвечали братцы. — Говорят, денег нет. Только на текущий ремонт хватает, а это — что слону дробина. Здесь подмазали — там отвалилось. Коли так дальше пойдет, останутся одни руины...» Человеческая интонация была найдена, но это не помешало моим собеседникам дать жестокий нагоняй вахтерше, по недосмотру которой я проник во двор.

Невеселые эти впечатления меркнут перед тем, что выпало мне на долю в Кирочном переулке. Я ринулся туда с сильно бьющимся сердцем, поверив путеводителю, что под номером шесть сохранился дом Анны Монс, возлюбленной Петра, к тому же еще построенный в «типичном для конца XVIII века стиле московского барокко». Шутка сказать: я увижу дом, куда, охваченный любовью и нетерпением, в дождь, в метель, в пургу мчался из Преображенского юный Петр.

Эта любовь, очаровательная Анна Монс, ее окружение, незаурядные обитатели слободы, потянувшиеся на царскую приманку, бесконечно много значили для формирования взглядов, характера, всей необыкновенной личности будущего преобразователя России. Отсюда, можно сказать, по-

шла новая русская государственность. И если в этом утверждении есть некоторое преувеличение, то лишь дозволенно-метафорическое.

Долго и тщетно разыскивал я дом № 6 в недлинном, узком, склизко-грязном переулке. И снова подумал, как влекла царя нежная, пухленькая девушка, если он каждый вечер, рискуя свернуть себе шею, потонуть в невылазной грязи, пробирался к ее дому. Да неужели не мог он переселить ее в порядке улучшения жилищных условий? Впрочем, в ту далекую пору иноземная слобода, называвшаяся Немецкой, хотя тут жили дети разных народов, поражала путешественников благоустроенностью, нарядностью и чистотой.

Дом как сквозь землю провалился: вот тут ему стоять, если он действительно носит шестой номер. А его нет. Неужто врут не только календари, но и московские путеводители?

В глубине двора я заметил дворничиху в ватнике, резиновых сапогах и соломенной шляпе горшочком, обмотанной поверх шерстяным платком. Она прислонилась спиной к обшарпанной и словно закопченной стене какой-то развалюхи и курила, часто и жадно поднося сигарету к ярко окрашенным губам. Свободной рукой она сжимала лом для скалывания льда.

— Простите, вы не знаете, где тут дом Анны Монс?

— Я не здешняя.

Типичный московский ответ, в данном случае совершенно бессмысленный. Пусть ты не здешняя уроженка, но коль здесь живешь и работаешь, то должна же знать свой переулок, свой двор. Но быть может, она вкладывала в ответ иной смысл — не здешняя. Что если это сама Анна Монс (несколько подпорченная временем), явившаяся прибрать гнездышко своей бессмертной любви, но желающая сохранить инкогнито?

— Да вы, наверное, слышали: Анна Монс, дочь пастора Монса... Петр так любил ее!.. — лепетал я.

— У нас, гражданин, таких нету, — сурово до враждебности отрезала дворничиха, с силой выдыхая из ноздрей дым.

Похоже, она видела что-то оскорбительное для своей женской чести в моей назойливости. Я это понял и отступил.

Уже выйдя в переулочек, оглянулся и увидел угол маленького полуразвалившегося дома — в небольших полуколоннах, украшавших этот изящно скругленный угол, в наличниках двух прекрасной формы окон из-под слоев грязи, будто из затемнения, проступила прелесть московского барокко. Я не сразу сообразил, что это другая часть того самого дома, к которому прислонилась не ведавшая об Анне Монс дворничиха. Дом утратил и последние признаки стиля, который еще называют «нарышкинским барокко» — по родне царя Петра. Но ведь отремонтировать такой домишко по силам кучке студентов-энтузиастов. Я видел таких ребят в Поленове, они умело и споро восстанавливали довольно большую и крепко разрушенную церковь.

Мы во многом виноваты перед своим городом. Снесли Сухареву башню, Красные ворота и многое, многое другое. Хорошо помню, как снесли в угоду городскому транспорту церковь на углу Покровки и Потаповского. Достоевский, проезжая мимо нее на извозчике, всякий раз выходил и благоговейно озирали дивное «дело рук человечешки Петрушки Потапова». Галерея церкви вдавалась в узкую мостовую Покровки и действительно мешала извозчикам. Повергли «нарышкинское барокко», московский Нотр-Дам, и на освободившемся месте открыли летнее кафе с зонтами. Лишь перед войной кафе несколько отодвинули в глубь пустырька. А ведь можно было отодвинуть храм или ограничиться сносом галереи. Возможны были любые решения, но выбрали простейшее и наихудшее. Столь же аргументированно снесли в свое время Триумфальные ворота, а через десятилетия столь же аргументированно восстановили, пусть и на другом месте. В первом случае все дружно молчали, во втором столь же дружно ликовали.

А вот ленинградцы не молчали, когда в преобразовательном азарте махнули Перинную линию вместе с дивным портиком. Они подняли такой шум, начисто пренебрегая вескими и ничего не стоящими аргументами, что портик талантливого зодчего Алоизия Руски тут же восстановили. Вот еще пример настоящей, действенной любви к своему городу.

Мы, москвичи, такой любовью похвастаться не можем. Мы от души радовались, что на развилке проспекта Калинина и улицы Воровского оставили белую церковку с зелеными главками, так трогательно вписавшуюся в наисовременнейший пейзаж. Но мы спокойно смотрим, как разрушаются стены и трапезная Симонова монастыря. А ведь этот монастырь — прежде всего оборонительное сооружение, крепость, и мы знаем, чего он стоит как произведение русского гения. Его стены и башни построены Федором Конем.

Да и кто связывает сейчас культовые постройки с религией? К ним относятся точно так же, как к дворцам, башням, палатам, воротам и другим сооружениям, доставшимся нам от прошлого, ценят в них красоту искусства, исторический смысл. Так почему бы не восстановить уцелевшую часть Симонова монастыря? Сейчас его дряхлое тело добивают бесконечным содроганием механизмы фабрики «Все для рыболова-спортсмена», в проломы стен по трубам сыпают бамбук для удочек.

И зачем цементный заводик покрывает слоями едкой пыли уцелевшие строения Ново-Спасского монастыря, где ведутся вялые восстановительные работы? Ново-Спасский монастырь — боевой соратник Симонова — уже сейчас привлекает толпы любопытных. Стены и башни его, частью сохранившиеся, частью наращенные заново, приближаются по своим формам к бастионам XV столетия; великолепен главный собор, внутри него сквозь копоть веков проглядывают фрески. На заброшенном и сгинувшем монастырском кладбище, возле колокольни, уцелело над-

гробие монахини Досифеи — дочери Елизаветы Петровны и графа А. Г. Разумовского. За эту жертву морганатического брака выдавала себя знаменитая авантюристка княжна Тараканова, хорошо всем нам известная по картине Флавицкого в Третьяковской галерее. Есть и величественная трапезная, и строгая Знаменская церковь, построенная учеником прославленного Баженова Е. Назаровым, — усыпальница рода Шереметевых. Там находится надгробие дочери создателя Останкина Н. П. Шереметева и крепостной актрисы Параша Ковалевой-Жемчуговой, которую влюбленный в нее граф в нарушение всех сословных уставов сделал своей женой и чью безвременную кончину оплакивал до конца дней. Эта необыкновенная любовь породила множество стихов, песен, легенд. Вот сколько чудесного скрывается за старыми стенами!

И отрадно, что забота и бережность уже коснулись замшелой обители: реставрируются стены и башни, из усыпальницы Шереметевых выдворили хорошо прижившийся там вытрезвитель, а из часовенки-надгробья инокини Досифеи убран дворницкий инвентарь.

К сожалению, куда меньше повезло гробнице героев Куликовской битвы, братьев-иноков Осляби и Пересвета, находящейся в церкви Рождества в Старом Симонове, бесценном памятнике русского зодчества начала XVI века. Со смертной сшибки витязя-чернеца Пересвета с татарским богатырем Челубеем и началась великая битва, где русская рать впервые распластала степняков. Ныне в обезглавленной церкви над священными костями героев дребезжат механизмы какой-то мастерской.

Что же, я за сохранение любого московского старья, любой ветоши только потому, что она освящена временем? Нет, ни в малейшей мере. Москва никогда бы не стала современным мировым городом, если б по-плюшкински тряслась над каждым окаменелым сухарем прошлого. Коренная реконструкция была необходима. Причина этого — в самой истории Москвы.

Москва строилась без плана и расчета, как Бог на душу положит. История ее возникновения теряется во мгле благочестивых легенд или темных, но имеющих под собой историческую основу преданий. Первое достоверное сведение о Москве относится к 1147 году, когда, приглашая своего союзника — князя Новгород-Северского Святослава Ольговича, Юрий Долгорукий обещал ему «обед силен», что так восхищало Бунина. С этой даты и повелся счет летам Москвы, а великий князь киевский Юрий Владимирович, прозванный Долгоруким (вон куда рука его протянулась!), обнесший малое сельцо в устье Неглинной деревянной городьбой и рвом, удостоился в потомстве звания основателя Москвы и конного памятника.

Через сто лет деревянная крошечная Москва стала стольным княжеским городом, а в 1327-м Иван Калита, загребущие руки, сел здесь на великое княжение, с него Москва начала широко и крепко строиться. Но лишь при Дмитрии Донском, разбившем рать Мамайя и положившем начало освобождению Руси от татарского ига, обстроилась Москва каменным Кремлем. Вспоминаются замечательные слова В. Ключевского: Москва зародилась не в скопидомском сундуке Ивана Калиты, а на поле Куликовом. Он разумел Москву не просто город, а Москву — идею, Москву — Русь.

За каменным Кремлем город долго оставался деревянным, вплоть до Ивана III, если, конечно, исключить несколько грубых каменных церквей. Иван III призвал знаменитых итальянских мастеров: Аристотель Фиораванти построил Успенский собор, Марк из Венеции — Грановитую палату. Одновременно с этим шло обновление и украшение кремлевских стен. Знаменитый историк Москвы И. Забелин пишет: «Старые стены, значительно обветшавшие от времени и от многих пожаров, теперь уже не удовлетворяли новым требованиям и могуществу государственного гнезда, каким являлся этот ветхий Кремль. А величественный собор Успенский как бы указывал на необходи-

мость окружить его достойным венком новых сооружений». И начинает создаваться тот Кремль, который гордо стоит и ныне посреди Москвы и служит символом нашей страны, ее несокрушимой мощи.

По правилам тогдашнего фортификационного искусства все строения, включая церковь, расположенные ближе ста пятидесяти сажен от стен, были снесены. Согласно тем же правилам было расчищено и Замоскворечье, уже сильно застроившееся. Москвичи дружно возмущались, что подняли руку на святую старину, считая эти новшества чуждыми исконному облику Москвы. Возьмем на заметку: в исходе XV века перестройка Кремля уже вызывала осуждение.

Москва строилась, правильнее сказать — росла, ибо тут отсутствовал какой-либо сознательный расчет, концентрическими кругами. Как и всегда, возле крепости возник торговый посад, получивший прозвание Китай-города — от киты, веревки из травы, соломы или хвороста, столь потребной в торговле. Этот город с торговым центром — Красной площадью, с деревянными, реже каменными лавками, лабазами и амбарами, купеческими дворами, домами и домишками посадского и тяглового люда, соборами и церквями потребовал защиты и был обнесен Китайгородской стеной. Переулки Китай-города создавались стихийно, в запутаннейшем лабиринте их терялись даже старожилы.

Издавна на север и восток от Кремля потянулись дороги, в XVI веке на них стали слободы ремесленников: Плотничья, Поварская, Печатная, необходимые для жизни сильно выросшего города, и при кротком Федоре Иоанновиче тезка его Конь объял новый круг Москвы Белым городом, просуществовавшим до дней «богоподобные царевны Киргиз-кайсацкие орды». При Фелице — другое льстивое наименование Екатерины II в одической поэзии Державина — обветшавший город снесли и по линии его разбили бульвары. Внутри Белого города порядка — о плане и говорить

не приходится — было еще меньше, нежели в Китай-городе; слободы чередовались с пустырями, болотами, каждый строился по своему достатку и «ндраву», мог перегородить намечавшуюся улицу домом или усадьбой, превратив ее в тупик, мог застроить уже обозначившуюся площадь.

Следующие пояса — Земляной и Камер-Коллежский (второй, как уже говорилось, обязан своим происхождением не нуждам обороны, а исконному веселию Руси) — ничуть не изменили хаотического облика города. Порой предпринимались попытки упорядочить строительство в Москве, но и самые строгие царские указы, даже скорого на расправу Петра I, изнемогали в московской расхлябанности. Более действенными оказывались пожары. Москва горела то и дело: от неприятеля, от бунтов, от копеечной свечки, от дурных печей, по пьяному делу — и на погорелье отстраивалась в большем порядке.

Поворотным пунктом в московском градостроительстве надо считать XVIII век. После упадка и запустения, вызванного возведением на чухонских болотах Северной Пальмиры и насильственным переселением в молодую столицу дворян, ремесленников и работных людей, Москва начала подниматься с восшествием на престол дщери Петровой — развеселой Елизавет. На радостях, что кончились бироновщина и гнет иноземного засилья, московское купечество воздвигло Красные ворота в конце Мясницкой, в Земляном валу. Поборы стали меньше, облегчилась дворянская служба, исчез страх перед самодурством временщиков, и в Москву потянулось знатное дворянство: Шереметевы, Юсуповы, Долгорукие, Голицыны, Трубецкие, Волконские. За ними двинулось среднее и мелкое дворянство. Застройка Москвы пошла с невиданным размахом. Меняется лицо и Белого и Земляного города. С усадьбами знати и красивыми особняками дворян помельче соперничают добротные стильные дома купцов. Москва стала куда пригожее, наряднее.

В XVII веке путешественников поражал контраст между тем впечатлением, какое производила Москва издали:

сияющие сорок сороков, купы зеленых садов, и тем, что ошеломляло вблизи: теснота, убожество, грязь и вонь кривых улочек, где в беспорядочном нагромождении жалких деревянных лачуг вдруг распахнутся хоромы какого-нибудь боярина или взлетит к небу бело-розовая колокольня. Любопытно, что в ту пору храм Василия Блаженного был так застроен лавками, лавчонками, торговыми рядами, что даже москвичи не знали, какое диво дивное таится на их главной площади.

В XVIII веке Москва стала хороша не только издали. Выросло множество превосходных зданий и светской и церковной архитектуры. Здесь показывают свое искусство и московская школа: Баженов, Ухтомский, оба Казаковы, Егоров, и петербуржцы: сперва палладианец Кваренги, позже Стасов. Пышное барокко уступает место строгому классицизму. Но в ансамбле Москвы оба стиля мирно соседствуют. И все же улицы по-прежнему узки и нестройны, большей частью не мощены, изломанные переулки темны и опасны. От той поры до наших дней дожили разные Кривоарбатские и Кривоколенные, но сейчас их излучины вызывают даже умиление, как безобидные причуды минувшего.

Сокрушительный пожар 1812 года не только ускорил уход неприятеля из первопрестольной, но и способствовал ее обновлению. Городскую усадьбу, расположенную в глубине двора, сменили ампирные особняки, выходявшие фасадом на улицы и тем помогшие выпрямлению их. Многие кривые переулки, спаленные до основания, больше не восстанавливались, что тоже способствовало распутыванию московского клубка, напоминавшего лабиринт критского царя Миноса.

В середине прошлого века был построен Большой Кремлевский дворец, о котором историк Никольский через полвека писал с неутраченной горечью: «...должно отметить постройку Большого Кремлевского дворца, огромнейшего здания полуказарменного типа, при сооружении которого

были безжалостно уничтожены и старинная церковь Иоанна Предтечи, и царские хоромы XVII века, и дворец Елизаветы, построенный Растрелли; остатки старинных теремов и палат были при этом загорожены и спрятаны за новой громадой». Запомним это...

Вторая половина XIX века и начало XX внесли свои черты в облик Москвы, характерные для тех социальных и общественных сдвигов, что происходили в русском обществе. Не будем вдаваться в подробности, скажем лишь, что стык веков оказался плачевным для московского зодчества, в котором возобладали псевдорусская манера и модерн, выродившийся вскоре в декадентство.

Куда лучше был скучный и сугубо деловой стиль, возникший как здоровая реакция на претенциозную эклектику и давший Москве много хороших жилых домов и административных зданий. Но меня сейчас интересует не столько архитектура, сколько город в целом, в совокупности его жизненных артерий — улиц, переулков, бульваров, проездов. И в этом смысле Москва осталась вполне азиатской. Известный славянофил Константин Аксаков таскал всех приезжавших в Москву на Воробьевы горы и со слезами восторга и умиления показывал расстилающийся внизу город, тонущий в зелени, с сотнями горящих золотом куполов и крестов. А когда приезжий, особенно чужеземец, а также петербуржец или киевлянин, спускался вниз, Москва очаровывала его несхожестью ни с каким другим крупным европейским городом: каменная, но больше деревянная, с дивными площадями и вонючими переулками, с благолепными храмами и вросшими в землю церквушками, с европейским центром и трущобами Зарядья, Хитрова рынка, Трубы, с Английским клубом и косным бытом рогожских старообрядцев, с роскошью и нищетой, бархатом и лохмотьями. Залетный гость, замирая от восторга, бродил по кривым улочкам, карабкался навздым где-нибудь в пределах Трубной или Рождественского бульвара, валился с откосов Лефортова, вдыхал душно-сладкий, ладанный дух

бесчисленных церквей и тленный ток из подвалов дряхлых домов, не без тайного высокомерия дивился странному городу, мнящему себя европейцем и успешно подражающему западному лоску в районе Петровки или Кузнецкого, а в целом — варвару, дикарю. Для стороннего наблюдателя любопытны и радостны были даже недостатки, пороки Москвы, но не для коренных жителей города. Вот такой досталась Москва победившей революции, безмерно живописная, диковинная и ни в коей мере не соответствующая званию столицы первого в мире социалистического государства.

Законсервироваться в своем старом облике может небольшой город музейного склада, вроде Эйзенаха, Веймара, Дубровника, Брюгге. Венеция — особая статья, географическое положение определяет ее верность раз созданному облику. Но здесь речь идет о великом городе, столице самого большого государства в мире. Ясно, что Москва нуждалась не в частичной перестройке, а в капитальной реконструкции. Горячее и нетерпеливое стремление создать новый облик Москвы, стереть следы ненавистного прошлого опережало материальную, техническую и моральную подготовленность преобразователей к выполнению этой большой и трудной задачи. Потому и наломали столько дров в двадцатые и тридцатые годы, об этом уже много говорилось, и не стоит выходить на собственный след. Но я ничего не сказал о тех порой наивных, порой дерзких, смелых попытках создать новый строительный стиль, что делались уже тогда, в зареую пору.

Конструктивизм оставил нам несколько построек, удивляющих своей нелепостью: клуб завода «Каучук», клуб имени Русакова на Стромынке, их построил архитектор Мельников, принадлежавший к тем пророкам, которых сограждане побивают камнями. Эти здания не понравились сразу: без привычки был бетон как основной строительный материал, да и отвращала жесткость линий, не соответствующая мягким контурам московских строений. Мельни-

кову все же знали цену, именно ему поручили построить советский павильон на Парижской выставке. А потом его взяли в оборот. Он обиделся, замкнулся, возвел себе дом в виде короткой толстой трубы в Кривоарбатском, начертил на нем: «Дом архитектора Мельникова» (и дом и надпись сохранились) — и, прожив очень долгую жизнь, ушел, ничего более не создав.

Неизмеримо лучшее впечатление оставляют тоже не больно порадовавшие москвичей в пору своего возникновения стеклянные дома Ле Корбюзье и его последователей. Я был мальчишкой тогда, но хорошо помню обывательское брюзжание по поводу их прозрачной нелепости и что зимой, мол, там холодно, а летом нестерпимо жарко. Над этими домами долго потешались и не заметили, что все новые здания, все эти стеклянные кубы, параллелепипеды, башни создаются по канонам Корбюзье.

Несмотря на все потери и промахи, общее направление было правильным, необходимым, подсказанным временем, ростом значения Москвы в мире. Наша столица не могла оставаться экзотическим курьезом, ублажающим «гордый взор иноплеменный». И расширялись, выпрямлялись улицы, прокладывались новые магистрали, распаивались площади, логика прививалась хаосу лабиринтовой путаницы, строилось великолепное московское метро.

Один из старых историков жаловался: Москва — единственный первостатейный европейский город без главной улицы, ибо нельзя считать таковой ни кривую, узкую, некрасивую Тверскую, ни короткий и горбчатый Кузнецкий мост. У Москвы есть главная площадь — Красная, но нет главной улицы. Сейчас, когда перед глазами возникает улица Горького, такое заявление звучит диковато. Но старая Тверская — разве могла она идти в сравнение с Невским проспектом или Крещатиком? Мы все равно любили ее, узкую, задавленную домами, в пронзительной трамвайной звени, запруженную толпами пешеходов в часы пик и в праздники. Перестроили же эту улицу по тем техниче-

ки скудным временам на редкость быстро и умело. Действовали методом сохранения, а не разрушения: все крепкие, казистые, хотя и заурядные, дома по правой от Охотного ряда стороне отодвинули, а перед ними поставили внушительные, выдержанные в одном стиле мордвиновские дома. Архитектор Чечулин надстроил и несколько видоизменил фасад Моссовета, что тоже вполне законно — бывший дом губернатора оказался бы карликом на выросшей улице. Помню, тогда сокрушались: надо же поднять руку на творение Матвея Казакова! А между тем история московского зодчества полна сходными примерами: Казаков перестраивал Баженова, Жилярди — Казакова, в Лефортове Кваренги украсил колоннадой лоджию Екатерининского дворца, построенного Бланком по проекту Ринальди, и тем не просто видоизменил, но, по существу, создал новый облик дворца, а крепостной архитектор Аргунов смело правил самого Кваренги при строительстве Останкинской усадьбы.

Москва получила свою главную улицу: широкую, светлую, мощную, в современный строй которой хорошо вписывался старый Английский клуб, Музей Революции. Как жаль, что высоченная башня новой интуристовской гостиницы сломала ее гармоничный силуэт! А еще жаль, что Пушкина переставили: раньше он имел за плечами перспективу лучшего московского бульвара, то зеленого, то огнисто-золотого, то снежно-белого, а сейчас — кинотеатр с аляповатыми афишами.

В последние десятилетия Москва строится целыми микрорайонами, нередко каждый стоит целого города. Но мне хотелось бы сказать об одной новой улице, вернее, даже о части улицы, которую мы называем Новым Арбатом: отрезок Калининского проспекта от Арбатской площади до Садовой. Конечно, жаль Собачью площадку, сгусток старой Москвы, где что ни дом — история, но все же так хорошо, что появился в Москве, в ее центре, такой наисовременнейший проспект! Недаром же он сразу стал любимцем молодежи. Здесь бьются резкие ритмы сегодняш-

ней жизни, здесь самые вызывающие прически, самые короткие или самые длинные (смотря по моде) юбки и дубленки, самые широкие джинсы, самые запущенные бороды на полудетских лицах, здесь труднее всего распознать, кто есть кто, здесь самые шумные кафе, дансинги, рестораны. Это главная улица московской молодежи.

Но можно ли всю новую или обновляемую Москву построить на уровне Калининского проспекта? Думаю, что нет. У страны есть другие насущные задачи: развивать Сибирь и Дальний Восток, строить Байкало-Амурскую магистраль, осваивать космос, помогать отсталым странам — перечислять можно без конца, и все это заставляет поступаться эстетическими канонами при строительстве жилых массивов. Тем более что строить надо быстро и очень много. Подвалы столичных домов давно опустели, но еще немало жителей ютится в коммунальных квартирах, лишенных современных удобств. У них одно стремление — скорее перебраться в отдельную квартиру нового комфортабельного дома. Такому гражданину не до высокой эстетики. И с его требованиями необходимо считаться.

Это явление отнюдь не московского, а мирового порядка. Вокруг столиц, да и вообще старых больших городов вырастают кварталы, точнее, пояса новых громадных жилых домов стандартного типа. Как ни напрягайся, а стандарта тут не избежать, ибо только типовое строительство делает возможным массовое расселение. Конечно, шведам проще, во всей стране жителей вдвое меньше, нежели в одной Москве. Они не воевали с наполеоновских времен, только копили богатства, наживаясь на чужих войнах. Стокгольм разгружается за счет чудесных городов-спутников, каждый из которых являет единый ансамбль. У нас такие города тоже есть, и, скажем, Зеленоград, умело вписанный в подмосковный лес, выдержит любое сравнение. Но города-спутники — особая тема, а мы говорим сейчас о кольцах новостроек вокруг старого ядра города.

К моему сельскому жилью ведет из центра несколько дорог, и если я еду машиной и не сижу за рулем, стоит мне задремать, задуматься, просто закрыть глаза, то на выезде из Москвы уже не понять, какой путь избрал водитель и что вокруг — Черемушки или Юго-Запад, Ленинский или Комсомольский проспект. Улицы новых районов лишены лица, а здания, их образующие, — отличительных черт.

И вот о чем мне думается. Переехал коренной москвич из опостылевшей до скрежета зубовного общей квартиры в новый типовой дом где-нибудь в Теплом Стане, или в Беляево-Богородском, или Бирюлеве, посетовал для порядка на отдаленность нового жилья от центра, потом выяснил, что до метро четверть часа на автобусе или троллейбусе, успокоился и целиком отдался не изведанной прежде радости изолированного и независимого от соседей бытия. А затем у этого счастливирика рождается сын, которого, как положено, сперва отдают в ясли, потом в детский сад, наконец посылают в расположенную поблизости школу. И растет парень в своем микрорайоне, где есть и кино, и клуб, и парикмахерская, и пошивочная, и сапожная мастерская, и библиотека, но этому парню нечем гордиться, как гордились мои сверстники «своим» «Колизеем», «своей» гробницей Морозова, «своими» Юсуповскими палатами, «своей» Меншиковой башней, «своими» Покровскими казармами, — жизненный обстав юного гражданина нового микрорайона лишен какой-либо характерности, особости, он такой же, как у всех. Безликое, неотличимое от фона трудно любить. А ведь с любви к своему дому, двору, голубятне начинается любовь к своей земле, та любовь, что в годину испытаний оплачивается кровью и самой жизнью. Но чем будет питаться такая любовь в безликости новостроек? Штамп нельзя любить. Человеческая личность закладывается в детстве, от детских впечатлений, наблюдений, переживаний во многом зависит, каким станет человек. В смазанности окружающего трудно ощутить и собственную

индивидуальность. Парень из Армянского переулка был особый парень, и чистопрудный — особый, и покровский — особый, и потаповский — особый. А этот, из микрорайона, каков он? Общій, как все, — стало быть, никакой. Я не знаю, что тут можно сделать, но сделать надо.

Может, следует призвать на помощь растительный мир? Если бы наряду с непременно озеленением — высаживанием в асфальт чахлых тополей и лип — каждый дом сам себя декорировал, причем силами добровольцев-жильцов, выбирающих на свой вкус: ель или пихту, лиственницу или сосну, березу или клен. А во дворах могли бы цвести сирень и жимолость, жасмины рябина. Удивительных эффектов добиваются сейчас в мире с помощью вьющихся растений: дикого винограда, плюща, вьюнка. Ими окутывают стены не только коттеджей, но и самых высоких домов. Проводятся городские конкурсы на лучшее украшение дома вьющимися растениями. Я не раз любовался удивительными многоцветными композициями из дикого винограда и плюща, превращающими самые заурядные дома в чудо. Цветы тоже могут придать скучным обиталищам прелесть и своеобразие. И легко себе представить, как вокруг клумб с тюльпанами, флоксами, гвоздиками, лилиями, пионами, георгинами, золотыми шарами развивается благородное соперничество, женщины отвлекаются от сплетен, мужчины от «козла», а ребятня от хулиганства...

Надо сказать, что самих строителей тревожит одуряющая безликость неотличимых серых коробок, вырастающих, как грибы после солнечного дождя, на окраинах Москвы, и они пытаются внести некоторое разнообразие, декорируя балконы красными, желтыми, зелеными пластиками. Это было бы красиво, если б не удручающее качество красок: ныне же грязно-розовые, бурые и плесневые полосы лишь уродуют здания, не доставляя ни малейшего эстетического наслаждения.

Возможно, мои советы покажутся наивными, хотя я не маниловщиной занимаюсь, а говорю лишь о том, что сам

наблюдал в разных землях. Так пусть люди более сведущие серьезно подумают о тех, кому расти и жить в скучном однообразии столичной периферии.

Как бы ни выглядели новые районы, в них все равно не будет того, чем богата — до сих пор богата — старая Москва: связи с прошлым. Вот почему так важно сохранить исторический образ города. В памятниках архитектуры — деяния предков, героическая быль многострадальной русской столицы и нетленная красота. Пусть молодой человек недалекого будущего, уроженец микрорайона, не увидит вокруг себя старины в благородной патине, он сядет в поезд метро, троллейбус, в собственную машину или вертолет и отправится к Симонову монастырю, и душу ему опакнет той давностью, когда Русь одна стояла против кочевников, и, не будь ее, дикие орды наводнили бы Европу; он забредет в Лефортово и увидит колыбель русской государственности, здесь гениальный сын России Петр почувал впервые вей свежих морских ветров и устремил горящий взор на Запад; он пойдет в район старого Арбата, и его обнимет тишина низенькой посленаполеоновской Москвы (хочется верить, что стеклянным башням путь туда заказан).

Но все это будет, если мы научимся много бережнее, много заботливей относиться к нашей Москве, все время думать, помнить о ней и не считать заботу о ее облике, благе и будущем делом каких-то специальных учреждений. Нет, это дело всех нас, и следует пожелать нам ленинградской ответственности, настойчивости, решительности и непримиримости, когда речь идет о родном городе.

Но снова хочется повторить: бережный подход к старине вовсе не означает ее обожествления. Звонкие фразы вроде: прошлое свято и неприкосновенно — бессодержательны. Неприкосновенный на памяти нескольких поколений кремлевский город обзавелся новым зданием — Дворцом съездов, созданным в современных архитектурных формах. Сколько было по этому поводу пустых и невежественных разговоров! А вспомните, еще в XV веке старые москвичи возмущались

дерзновенным покушением Ивана III на исконную московскую старину. Петр тоже покусился на Кремль, велел построить там Арсенал. При Екатерине были снесены монастырские подворья, здания приказов и один из последних боярских домов — Шереметева. Расчищалось место для нового грандиозного Кремлевского дворца по проекту Баженова, гениальному, как считали одни, чудовищному, как считали другие, безмерно дерзкому — по общему мнению. Но, попугав недругов Руси богатством истощенной казны, Екатерина успокоилась, и работы в Кремле замерли. Чуть позже Матвей Казаков встроил в Кремль величественное здание Сената в формах российского классицизма. При «ревнителе казенного благочиния Валуеве», как язвительно писал историк Москвы, были сломаны все здания государева дворца, Троицкое подворье, Царьборисов дворец, Сретенский собор. И видный зодчий Тон построил Большой Кремлевский дворец, так раздражавший современников. Но разве придет кому в голову придирааться сейчас к этому овечьному славой, высоко и мощно вознесшемуся над Москвой-рекой зданию? Вот и наш Дворец съездов лет через сто будет казаться столь же естественным и необходимым, как постройки Казакова и Тона. Кремль — не создание одной воли, раз и навсегда нашедшей ему форму. Каждая эпоха накладывала на него свой отпечаток, в нем достойно представлен каждый век. Тем и ценен этот единственный в своем роде ансамбль, что он являет собой не окаменелость, а подвижный образ меняющихся эпох: от Успенского собора, утвердившего значение Москвы как первого града на Руси, до Дворца съездов.

Но удача с этим превосходным и по идее, и по архитектурному воплощению зданием не должна развязывать рук тем бесцеремонным, чуждым ответственности людям, что спокойно могут встроить бетонную башню не только в скромный переулок арбатских переулков, но хоть бы и во двор Пашкова дома...

И все-таки дело не только в том, как строить, — ломать тоже надо с головой. Зачем снесли старейшую в Москве

аптеку на Пушкинской площади и так называемый «дом Фамусова»? Кому они мешали? Париж неизмеримо расширился, но остался Парижем. Лондон — Лондоном. И Ленинград наш вырос не за счет центра, сохраненного во всей его красе. А вот Москве крепко не повезло. Слишком много лишилась ее древняя прекраснейшая часть. Убежден, что надо более обстоятельно взвешивать и больше считаться с общественностью, решая вопрос о том, что потом уже не поправить, не вернуть, не восстановить, — о жизни и смерти исторического ядра города. Памяти сердца народного. Частицы Родины нашей.

Волнуясь, радуясь, негодуя, вновь жадно дыша Москвой, я и не заметил, как произошло мое возвращение в родные пенаты. А когда почувствовал это каждой жилочкой, понял и другое: не могла Москва вернуться ко мне по-юному светло и безмятежно, нет, она принесла тревогу и новые обязательства, но в мои годы нельзя иначе относиться к Москве.

Наш незабвенный дом по Армянскому переулку был заселен рабочими московских типографий, теми наборщиками и печатниками, многие из которых были участниками трех революций. Общение с ними, дух доброго соседства и требовательного товарищества, который царил в нашем шумном доме и двух его дворах, — все это составляло среду нашего обитания, растило, формировало, выпрямляло нас, мальчишек и девчонок, не меньше, чем школа или пионерский отряд. Старые дома, сады, хорошие люди — все это наши корни. Человек не может быть бескорневым. В Югославии, в Дубровнике, мне показали однажды дерево, которое живет без корней, без земли — из банки с водой. Это страшно. В отношении человека — особенно.

Надо подтолкнуть людей к восстановлению дворового коллектива со всеми его столь важными для общежития добрыми правилами и традициями. У нас во дворе не было ни «козла», ни водки. Но были голубя. Был каток. Были мушкетерские бои. Мы закатывали оперы на черном дво-

ре, у дровяных сараев. Выпускали стенную газету. Чудо человеческого общения, которое я сейчас вспоминаю как счастье, может быть сотворено заново. Оно так нужно людям, молодым особенно. Без него наше чувство Родины и бледнее и беднее.

Ныне новый маленький мальчик с рыжей головой и горящими ушками серьезно и пытливо смотрит в окошко на московский-мир. Мы обязаны все время думать о том, каким передадим ему наш город.

# ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА

Он был такой маленький и старый, что совесть не позволила обременять его большим заказом. Но голод взял свое. Еще бы, четверо здоровенных мужиков дорвались до стола лишь в шесть часов вечера - между обедом и ужином, после целого дня беготни по городу и уймы провернутых дел, когда нет и минуты свободной, чтоб наскоро проглотить чашку кофе с бутербродом. Теперь мы намеревались отхарчеваться и за обед и за ужин. Он с понимающей улыбкой выслушивал непомерный, словно в бреду, заказ:

— Мне ассорти «Дружба», бульон с каракатицей, утку по-пекински, филе с грибами, свежие овощи, мороженое и кофе, — сказал один.

— Мне то же самое и еще — трепанги и креветки, — подхватил другой.

— Мне тоже трепанги! — воскликнул первый.

— Давайте так, — предложил третий, — трепанги, креветки, мидии — словом, дары моря — для всех, четыре бульона, четыре утки по-пекински, два филе...

— Пельмени фирменные, — перебил четвертый с плотоядной улыбкой. — Помидоры, огурчики... — И официанту: — Послушайте, почему вы не записываете?

— Ничего, ничего! Я слушаю.

— Вот что значит профессиональная память!..

— Значит, повторим: дары моря, бульон, утка... Может, лучше все-таки записать?

— Продолжайте, продолжайте!..

— Ну и память! Сколько вам лет, бабушка?

— Восемьдесят второй, внучек!

Намек дошел. На столике стоит в металлической рамке карточка официанта: Яков Федорович Усков.

— Простите, Яков Федорович!.. Ну, значит, десерт, кофе, боржом, конечно, бутылку столичной для начала...

— Стоп! — сказал старый официант и вынул из кармана блокнот с тонким карандашиком в кожаной петельке. — Теперь можно записать. — И в ответ на полные недоумения взгляды пояснил:— Надо же основу знать, так сказать, базис, остальное — надстройка.

Вскоре мы оценили мудрость этого философского высказывания. «Не пойдет! — мягко, но непреклонно говорил Яков Федорович. — К водке это не пойдет». Так он помог нам разобраться в закусках. А затем, добро посмеявшись над нашей детской жадностью, составил превосходное меню раннего ужина, чтоб вкусно, сытно и необременительно для плоти и духа.

— Мне же лучше, когда больше заказывают, — план выполняется. Да ведь вам этого сроду не съесть. Все на тарелках останется. Нехорошо. И денег жалко, и к пище неуважение. Вы не сердитесь, что я вас от лишка предостерег?

Мы заверили старика, что ничуть не сердимся.

— А память нечего зря трудить, коли записать можно, — размышлял вслух Яков Федорович, ловко разливая боржом по фужерам. — Память для другого нужна — вилку, тарелку сменить, хлеб вовремя добавить, убрать, вытереть, чтоб никакой неопрятности за столом, чтоб гостю было чисто и удобно...

Свое рассуждение о профессиональной памяти официанта Яков Федорович продолжил в другой раз, когда мы встретились у него дома на Садовой-Спасской. А в тот вечер, не желая обременять нас собой, он все затеялся, оставаясь при этом под рукой. И мы понимали, что перед нами не рядовой пищевого фронта, а мастер своего дела, артист.

— Главная память официанта должна быть о том, — просвещал меня Яков Федорович, — что за столиком у него сидит дорогой гость, которому надо всемерно услу-

жить... Да, услужить, и ничего тут зазорного нету. Поднеси спичку, налей воды, подай салфетку, руки не отвалятся, сделай человеку маленький праздник!.. Праздник, запомним это слово.

По затрате физических сил труд официанта может быть приравнен к труду шахтера. За смену официант перетаскивает значительно больше пятисот килограммов. Абсолютный чемпион мира Василий Алексеев поднимает в троеборье за шестьсот килограммов, но делает это не сходя с места, а Яков Федорович Усков набегивает с грузом марафонскую дистанцию. А разве можно сравнить субтильный крой Якова Федоровича с могучей статью Алексеева?

В странной игривости природа многим выдающимся людям отказывает в росте. Достаточно вспомнить Наполеона Бонапарта.

Яков Федорович, не в обиду будь сказано, еще ниже. Но, подобно Наполеону, он плечист и крепок скупым телом, к тому же без намека на тучность.

Крошечный, жильный, плечистый Яков Федорович, разменявший девятый десяток и насчитывающий трудового стажа семьдесят с лишним лет, из породы богатырей. И не только в телесном, но и в нравственном смысле, как и положено русскому богатырю. Вспомним Илью Муромца, Добрыню Никитича, Чурилу Оепенковича, Дюка Олексича. А вот Алеша Попович нарушал богатырскую этику, за что и бит бывал. Васька Буслаев раз созоровал и тут же жизни лишился. Русским богатырям сила непомерная дарилась только для добрых, разумных, благородных дел. А кто нарушал негласный договор, того ждала кара. У Якова Федоровича есть свое моральное кредо, свой нравственный закон, возводящий его невеликую службу в ранг служения.

Некоторое время назад существовала «тетрадь официанта», куда каждый посетитель ресторана мог написать несколько слов благодарности или недовольства в адрес того, кто его обслуживал. Разумеется, это не было обязательным и никого не обременяло. Хочешь — пиши, хочешь — не

пиши. Но люди охотно писали, чаще всего хорошее. Если посетителя всерьез возмутило невнимание или грубость официанта, он обычно не тратил пафос праведного гнева по мелочам, а требовал жалобную книгу, которую после длительного и ожесточенного сопротивления выносил из каких-то тайников, прижимая к груди жестом материнского отчаяния, директор ресторана. А вот когда официант был на высоте — расторопен, толков, ласков — появлялась потребность записи в тетрадке.

Кстати, почему эти тетрадки отменили? Меня всегда занимало, как возникают дурацкие решения, вернее, как происходит отмена умных решений. Ну, ввели тетрадки, убедились в их добром смысле — спрашивают, не ленятся, пишут теплые, от души, слова. И официанту приятно — приятнее чаевых знак человеческой признательности, и ресторану вроде бы не в ущерб. И вдруг отменили те же самые люди, которые эти тетрадки ввели. Может, убедились в нерентабельности мероприятия или обнаружили какой-то моральный урон? Кому только: официанту, посетителям, ресторану, всей системе питания, социализму? И невольно думается, что им просто делать было нечего. Ну, ввели — слава Богу, а теперь чем заняться? Искать реальное занятие для себя, делать что-нибудь руками, головой — неохота! Не лучше ли еще раз собраться за крытым зеленым сукном столом, уставленным пепельницами, графинами с водой или бутылками боржома, и, посоветовавшись всласть, отменить прежнее решение. А потом можно снова собраться и снова ввести, скажем, «блокноты официантов», дабы не повторяться, а затем снова отменить. И так до бесконечности, вернее, до пенсии.

Ну, это к слову. Яков Федорович свою разжалованную тетрадочку сохранил, она ему дорога памятью. Я листаю ее и вдруг натыкаюсь на трогательную, наивную, а если вдуматься, то трагическую запись: «Потрясены вежливостью официанта, товарища Ускова...» Потрясены!.. Казалось бы, такая пассивная и слабая добродетель, как вежливость, не

должна потрясать человеческую душу. Потрясти может героический подвиг, акт самопожертвования, выдающееся творческое деяние или открытие, но вежливость — простое, обиходное качество — вроде бы обязательна для всех насельников большого дома, именуемого Землей. И все же — потрясены...

Яков Федорович не только практик вежливого обхождения, у него есть своя теория вежливости. Попробую эту теорию изложить. Итак, вежливость должна царить повсеместно: дома, на работе, в школе, техникуме, институте, в метро, автобусе, трамвае, поезде, в парикмахерской и бане, в прачечной и пошивочной, в поликлинике и больнице, в магазине, кафе и ресторане. Вежливости давно пора стать общепринятой нормой поведения, и уж подавно ты вправе требовать вежливости за свои-то деньги!

Ты не можешь позволить себе ходить в ресторан каждый день. Даже если ты располагаешь свободным временем, неуемной жаждой развлечений и мужеством, позволяющим из вечера в вечер оглушаться джазовой музыкой, наблюдать однообразную трясучку танцующих и самому замешиваться в душную толчею, ежевечерний доступ туда тебе закрыт. Если только ты не подпольный миллионер типа Корейко или торговец ранними овощами, лавровым листом и мартовскими мимозами. Ресторан дорог, слишком дорог, чтобы рядовой труженик мог превратиться в завсегдатая.

Поэтому поход в ресторан в некотором роде праздник. Ты надеваешь новый костюм, свежую рубашку, чистишь обувь, тщательно бреешься и усилием воли выбрасываешь из головы все заботы и неприятности. Естественно, ты хочешь, чтобы праздник был праздником, а не дорогостоящим хамством. Между тобой и праздником находятся: швейцар, видящий свое назначение в том, чтобы не дать никому войти в порученные его охране двери, даже когда свободных мест полно; гардеробщик, уверяющий, что «вешать некуда»; хмурый, неприступный, глухослепонемой

метрлотель, считающий каждого посетителя, кроме немногих, помеченных таинственным знаком избранности, личным врагом, и, наконец, официант, последний в перечне, но первый по возможности отравить настроение. Равнодушный, неспросившийся, не ведающий, что имеется, а чего нет на кухне и в буфете, рассеянно принимающий любой заказ, а потом монотонно сообщающий: «вырезки нету», «помидоров нету», «сухого вина нету» — и напрочь забывающий о вашем существовании после подачи хлеба и графинчика с теплой водкой. Все остальное он подает — после бесконечных напоминаний — в холодном виде, кроме поплывшего в тепле мороженого. Официант, огрызающийся на каждое, даже самое невинное замечание и превращающийся в тигра лютого, если, упаси Бог, ты не заказал водки или коньяка. Малое подобие этого праведного гнева можно наблюдать лишь в парикмахерской, если после бритья и стрижки откажешься от пахучего одеколona. И до чего же часто ты покидаешь царство света, музыки и вина в твердом убеждении в своем полном ничтожестве и что деньги не дают счастья, да и вообще лучше ходить в музеи или на кладбища, там твое человеческое достоинство окажется в большей сохранности. Особенно справедливо это в отношении музеев, на кладбищах иной раз слишком много пьяных. И нет ничего удивительного в том, что люди испытывают такой же голод по вежливости, как то бывает по музыке, стихам или хорошему футболу. И утолившие голод пишат, не скрывая благодарных слез: «Мы потрясены вежливостью официанта...»

Яков Федорович рассматривает вопрос о вежливости исторически. После революции старая вежливость уже не годилась — и салонная, и тем более ресторанная, с оттенком подобострастия. Такая вежливость свободным людям ни к чему. В ту пору простота обращения — до бесцеремонности и грубости — была явлением естественным и даже положительным — как реакция на принудительную, чуждую вежливость разрушенного мира. И понятно, что

вежливости у нас сильно поубавилось. В последующие трудные годы борьбы, строек и войн убыль эта пополниться не могла. Так и пришли мы в сегодняшний день, не создав новой, сознательной вежливости, в темной памяти о том, что грубость — знак независимости. Молодой официант хамит иной раз не по свойству натуры, а чтобы показать свое равенство с посетителем. Это можно понять: велик ресторанный фольклор о надругательствах пьяных богачей над скромным достоинством «человека из ресторана». И морду горчицей мазали, и оливки пить заставляли, подмешав туда всякой гадости.

— Хотя, — присовокупляет Усков, — я лично подобных безобразий не наблюдал. Может, в каких-нибудь речных трактирах или низкопробных кабаках такое и случалось, но в первоклассных заведениях — никогда. Да мы бы и не позволили, у нас тоже свой профсоюз был, «Общество официантов», я в нем с десятого года состоял. Все же закон: клиент всегда прав — железно действовал не только в магазинах, но и в ресторанах. Так что приходилось иной раз и перемогать обиду. Но так ли уж это страшно? А разве в других профессиях все происходит по закону высшей справедливости и не приходится терпеть и от сослуживцев и от начальства? Ну и улыбнись про себя на выходку какого-нибудь захмелевшего невежи, живи и работай дальше, а не превращайся сам в хама. А главное, не стремись опередить посетителя в боевых действиях. Может, он и не собирается их открывать. Люди идут в ресторан для отдыха, а не для войны. У нынешних официантов, не у всех, конечно, но у многих, неприязнь к гостю прямо-таки в крови. «Почему я должен его обслуживать?» — ох, и наслушался я подобных рассуждений! А ты подумай, сколько народу тебя обслуживает: шахтер, дающий уголь на-гора, нефтяник, добывающий нефть, пильщик на лесоповале и сплавщик, литейщик и сталевар, и те, кто водит поезда, самолеты, городской транспорт, кто дает свет, воду и газ в квартиры, кто охраняет твое имущество и жизнь, кто строит и ре-

монтирует дома, шьет одежду, растит хлеб, да чего там далеко заноситься, а домовый слесарь, которого ты вызываешь в любой час дня и ночи, а монтер, а телевизионный мастер, таксист, телефонист — все те, без кого ты и дня не прожил бы, — разве ты признаешь за ними право на хамство, грубость только потому, что им приходится обслуживать тебя? Так вот, и ты послужи за милую душу тому же шахтеру, нефтянику, слесарю, инженеру, строителю, водопроводчику, музыканту, артисту — всем, кто на тебя работает. И если ты чувствуешь себя человеком, никто тебя не оскорбит и не обидит. Скажите, кто может обидеть меня и чем? Я солдат трех войн: мировой, гражданской и Отечественной, имею правительственные награды, благодарности, двух сыновей вырастил, один смертью героя пал, а другой в большого человека вырос, у меня гражданские права, как у генерала или министра, нет, меня никто не обидит, пока я сам себя не обижу — нерадением, равнодушием, невнимательностью или дерзостью. Я и молодым такого не позволял себе, а уж в старости так и подавно...

Жизненная философия Якова Федоровича выработалась не в теплице, а на сквозняке. Человек из ресторана прошел огонь и воду и медные трубы: бедное деревенское детство, не шелковое ученичество у трактирщика, мировую войну и германский плен, гражданскую войну и тиф, новую войну и гибель сына и много иных испытаний...

Трудовая деятельность Якова Федоровича началась с началом нынешнего века. Ему и десяти не было, когда отец повез его в Егорьевск и определил мальчиком в трактир. Семья Усковых, по крестьянским понятиям, была не особо большой, но бедная, да и никому не выпало прибыльно хозяйствовать на болотистой шатурской земле. И Усков-отец очень опасался, что не возьмет трактирщик сына, уж больно мизерен расточкам был Яша. Ничего, взял. Посмотрел с усмешкой на крошечного серьезного человечка и пошутить соизволил: «Мал конь, да удал!» Перекрестив сына

и наказав слушаться «своих благодетелей», отец дернул вожжи и покати́л домой.

О доле трактирного мальчика писалось много, и каждому понятно, что не сахар и не мед такое житье. Помимо изнурительной, недетской работы, угождай каждому старшему, терпи нрав хозяев и посетителей, вспоминай о скудном родительском крове, как о светлом рае, да смотри, как бы слез твоих не заметили. Все это выпало на долю Яше Ускову. Одно лишь хорошо, что хозяин был незлым человеком. Мало счастливый в браке с богатой, забалованной женой, он сострадательно относился к людям. Но отличался странностями, довольно обременительными для подчиненных. Каждый вечер, когда заведение закрывалось и трактирные мальчишки валялись с ног от усталости, приходил он на кухню и понуждал измученных детей к беседе, переливанию из пустого в порожнее. При этом пил пиво и курил папиросы «Трезор». Двадцать бутылок светлого осушал, две пачки искуривал, тогда только отпускал ребятшек спать впокат на полу чулана. Ему-то самому что? — завалится под теплый бок жены и дрыхнет до полудня, а мальчикам уже на рассвете бежать за водой, дровами, растапливать печь, прибираться «залу»...

У Якова Федоровича хранится любопытный групповой снимок, сделанный в канун первой мировой войны. Это типичная фотография той поры: матово-коричневая, отчетливая до цепочки карманных часов в отвороте сюртука и запонки в крахмальной манжете, с золотым росчерком мастера-фотографа на светлой рамке. Застыло-значительное выражение лиц и напряженность поз объясняются тем, что снимали с выдержкой, хотя над головой собравшихся сверкает гигантская ресторанный люстра. Снимок сделан после торжественного открытия и освящения нового ресторана знаменитого Ильи Арефьевича Скалкина «Золотой якорь», что в Сокольниках, купленного им у другого известного реставратора — Кучерова. Расположены участники торжества в групповом портрете по ранжиру: в центре,

откинувшись в кресле и выставив вперед стройную ногу в глянцеви́том сапоге из-под откинутой полы поддевки тончайшего сукна, сидит чистолицый красавец, сильно за сорок, русые волосы разделены глубоким прямым пробором посередине головы. Это и есть легендарный Скалкин, вознесший свою славу вровень с петербургским легендарным Палкиным.

Мальчишкой он пас коров на лугах под Волоколамском и так наигрывал на жалейке, что всяк прохожий человек заслушивался. Очаровался тонким слухом мальчика и священник городской церкви, взял его в хор. Он пел на клиросе, пока не начал ломаться голос. Тогда его прогнали, но юноша недолго оставался без дела. Сильный дискант переломился в звучный, высокий, мягкий бас, и его взяли в русский народный хор. Вскоре он уже стал запевалой, приобрел известность, вначале в провинции, потом в столице. Подгулявшие купцы, слушая «Стеньку Разина» и «Все гулял с кистенем» в исполнении Скалкина, плакали навзрыд и кидали «лебедей». Одаренный, трезвый и деловой юноша с поклоном принимал подношение и обращал в процентные бумаги. Никто и оглянуться не успел, как солист стал хозяином хора, владельцем ресторана «Эльдорадо» в Сокольниках, восьмидесятиквартирного дома на Большой Ивановской, ресторана в Нижнем Новгороде, приносящего громадный доход в пору ярмарок, и, наконец, второго роскошного ресторана — «Золотой якорь».

К этому времени Скалкин, продолжавший дирижировать хором и петь про Кудеяра и других романтических разбойников, стал весьма видной фигурой в деловой и денежной Москве. Дочь-наследницу он выдал за молодого авиатора, вот он сидит рядом с тестем: высокий крахмальный воротничок подпирает маленькое, тугое, надменное лицо, — ему не долго осталось жить, в первые дни мировой войны его собьют над немецкими позициями. По левую руку от Скалкина — управляющий рестораном, затем два схожих между собой дородностью и важным видом

метрдоителя, седой, с бакенбардами, как у Айвазовского, официант, старейшина цеха; рядом с авиатором — бухгалтер, кассир, электрик, во втором ряду — пожилые и средних лет официанты, среди них я с волнением обнаружил недавно умершего официанта из Дома кино — как победно молод, черняв и строен был тогда знакомый мне глуховатый сгорбленный старичок. В третьем ряду — встояка — молодые официанты, самый юный и самый маленький среди них — Яков Усков. Смотришь на фотографию — и с удивлением замечаешь, как отчетливо проглядывает этот светлоглазый и весь будто чуть вздернутый — головой, подбородком, плечами — паренек в нынешнем восьмидесятилетнем старце. Во всяком случае, я мгновенно нашел его среди десятков зафранных и накрахмаленных фигур.

Скалкин, человек одаренный, быстро выделил расторопного юношу среди других новобранцев «Золотого якоря» и сделал официантом. Здесь прошел свои университеты Яков Усков. Здесь он воспитал память, научился управлять характером, работать и вести себя так, чтоб избегать и замечаний и амикошонства. Ему это оказалось нетрудно, ибо он от рождения обладал неоценимым для работы среди людей качеством — душевностью. Ему нравилось кормить людей, как лесковскому Шерамуру.

Работа была трудной — по четырнадцать часов в день, без выходных и без отпуска. Жалованья вплоть до создания «Общества официантов» не платили, напротив, каждый официант должен был ежевечерне опускать в хозяйскую кружку двугривенный из чаевых. А потом положили жалованье — шесть рублей в месяц. Жили, вернее сказать, ютились молодые официанты в каморке ветхого дома на Большой Ивановской, спали на нарах, как в каталажке. Все баловались куревом — в каморке дым стоял столбом. Но была молодость, и надежды, и цирк Соломонского на Цветном бульваре, и другой, братьев Никитиных, в «Аквариуме», и два чемпионата французской борьбы; у Соломонского тон задавали отечественные богатыри: Поддубный,

Вахтуров, Шемякин, у Никитиных — прибалты: Лурих, Аберг. Усков предпочитал чемпионат Соломонского — честнее и добрее боролись силачи, особенно армеец Шемякин, белокожий рыцарь ковра. Красивый, сильный Лурих много жульничал, Аберг свирепствовал над противником. Был и синемаатограф с Верой Холодной, Мозжухиным и Максимовым, и сад «Эрмитаж» с золотоокой певицей Вяльцевой, с несравненной Плевацкой и Вавичем; были молодые, взволнованные разговоры о том, что в ресторан заходил сам куплетист Сокольский, что обедал смехач Убейко, а позже к нему присоединился Сарматов, и сколько они коньяку выпили — уму непостижимо!

Но вся эта жизнь рухнула летом 1914 года. Россия вступила в войну, и Яков Федорович с винтовочкой за плечами отправился воевать «за веру, царя и Отечество» крайним в последнем ряду 13-го Белозерского полка. А затем — четыре года германского плена, сперва в лагере, потом на ферме у хозяев. И каждый год он пытался бежать и расплачивался за неудачу шкурой: беглеца распинали на кресте и били батожем. Лишь в 1919 году вернулся он на родину и узнал, что родители умерли, а младший брат ослеп от горчичного газа на позициях.

О том, что произошло две революции — Февральская и Октябрьская, он знал еще в плену, а о том, что революцию пытаются задушить бывшие царские генералы, услышал по дороге из плена. Вернувшись домой, он не мешкая — только могилкам родительским поклонился — пошел добровольцем в Красную Армию. Служил сперва в 5-м Тульском полку, действовавшем против Мамонтова, затем в 11-й Латышской стрелковой дивизии. Заболел сыпным тифом, попал в госпиталь, откуда, бритый, обхудававший, вернулся в Москву, в каморку на Большой Ивановской. Недолгое время проработал на Ташкентской железной дороге и через биржу труда попал в ресторан Петровского пассажи, расцветавший вместе с нэпом. Снова на нем был черный фрак, белый крахмал манишки, черная бабочка, снова гово-

рил он тихим, убедительным голосом, чуть наклонившись к посетителю: «Рыба у нас сегодня отменная. Рекомендую ущицу с расстегайчиком или ботвинью с осетринной, ругать не будете». И в памяти истаивали грохот орудий, разрывы снарядов, сухой пощелк пуль, стоны и крики раненых, лазаретная вонь и горячечный бред умирающих. Жизнь снова катилась на плавных волнах ресторанной музыки.

Странное возникло у меня чувство. Я вдруг поймал себя на том, что подспудно ожидаю кульминации в своем поведении. А ведь никакого взлета не предстоит, лишь будут меняться названия ресторанов: «Большая Московская», «Аврора», «Арагат», «Пекин», а мой герой так и пребудет слугой чужого желудка. Даже когда вновь грянет война, останется он при пищевом котле. Правда, короткое время он послужит директором вагона-ресторана, но эту пору он и сам не считает пиком своей жизни, ибо любит работать руками, а не руководить. Да, я пишу историю простого рабочего человека, который на всю жизнь остался тем, кем стал в юности. И не вырос ни в генерала, ни в министра, не проявил себя никаким выдающимся подвигом, если не считать подвигом всю его долгую честную работящую жизнь.

Литература, что ни говори, больше интересуется генералами, не в узкоармейском, а в общечеловеческом смысле, — генералами удачи, генералами успеха, генералами славы. Ее заполняют герои, победители, сильные личности, люди, выросшие от нуля до рукой не достать. Можно подумать, что Герои, Творцы, Чемпионы, Удачники преобладают в человечестве. Нет, это только в Эквадоре на каждого солдата приходится два генерала, в остальном мире неизмеримо больше рядовых. Тех, кто не потряс современников ни великим свершением, ни великим преступлением, ни чудом волевого усилия, ни подвигом Геракла, ни голосом соловья, ни прыжком кузнечика, кто был на войне рядовым, а в мирной жизни незаметным тружеником, кто выстаивал все очереди, не пользовался преимуществом в годы лихолетья, ездил в некупированных вагонах, лежал в

общей палате, а то и в коридоре больницы, а в день объявления войны сразу начинал собирать вещмешок. И надо думать, эти люди представляют наибольший интерес для писателя и как объект изображения, и как потребители литературы. Знаменитые герои книг не читают, они их пишут в назидание негероям.

Наиболее памятна Ускову в этот период частых перемен, происходивших не по его воле или желанию, а по стратегическим расчетам ресторанного начальства, работа в «Большой Московской», где он задержался надолго. Находился ресторан там, где сейчас гостиница «Москва», в самом центре столицы. И посетители тут бывали необыкновенные.

Признаюсь, не сама личность вовсе не известного мне тогда официанта навела меня на писание этого очерка, а клиенты, которых он обслуживал, или, еще точнее, один клиент. Мне сказали: он знал Бунина.

Воображение услужливо подкидывало мне трогательные сцены вроде следующей. Небольшой, элегантный, колючий — цыганистая горячая красота юности уступила место лезвистой сухости неэрастрованной зрелости — Бунин входит в ресторан. Мгновенным и безошибочным взглядом находит свободный столик любимого официанта. И тот, словно предчувствовав приход дорогого гостя, уже бежит к нему с подогретой бутылкой красного вина в салфетке — Бунин всю жизнь пил много красного вина — и вазочкой соленого миндаля.

— День добрый, Иван Алексеевич!

— Здравствуйте, Яков Федорович. Что это у вас пусто-вато нынче?

— Копят силы перед масленой, Иван Алексеевич. Блины, они простора требуют.

— Это вы точно сказали. Дайте-ка запишу. А скоро масленая-то, что-то запоматова?

— До встречи меньше недели осталось.

— До встречи — это как понять?

— Ай-ай-ай, Иван Алексеевич! Масленая неделя: понедельник — встреча, вторник — заигрыш, среда — лакомства, четверг — широкий четверг, пятница — тещины вечерки, суббота — золовкины посиделки, воскресенье — проводы, прощание.

— Прощеный день... Как же вы все помните, Яков Федорович! Только с вами и отведешь душу. Бойтся масляная горькой репы да пареной редьки.

— Еще бы!.. Хоть с себя что заложи, а маслену проводи!

— Продлись наша масляная до воскресного дня!..

— Кому масляная да сплошная, а нам вербная да страстная!

— Да, тяжело живет простой народ. Яков Федорович. Я вот пытался в своей «Деревне» кое-что сказать...

— Как же, как же, Иван Алексеевич, читали! Сильная вещь, художественная. Только вот значение пролетариата вы недооцениваете, уж простите великодушно на дерзком слове...

И так далее, в том же счастливом ключе...

— Бунин? — переспросил Яков Федорович, когда мы начали нашу беседу в его квартире на Садовой-Спасской, напоминавшей о себе редкими испуганными автомобильными гудками и тяжелым шуршанием троллейбусных шин. — Нет, не помню такого товарища. Многих помню: Гиляровского — дядю Гиляя, Маяковского, Качалова, Москвина, Леонида Утесова, Демьяна Бедного, художника Якулова — всех помню, а этого, простите, даже не слышал.

По счастью, ко времени этого признания меня настолько привлекла личность самого Якова Федоровича, что неожиданный афронт подействовал не слишком обескураживающе.

Я не умею писать очерков и боюсь за них братья. Мне кажется, что каждая очерковая тема, коль она не ограничивается рамками четкого сюжета, неисчерпаема, бесконечна. И мне рисуется страшная картина: идет жизнь, в мире свершаются грозные и радостные перемены, сменя-

ются поколения, а я все разматываю очерковую ленту. Пугало меня это и в данном случае. Такая долгая жизнь, столько скрещений судеб, да и каких судеб, хватит ли мне остатка жизни, чтобы поведать обо всем этом? Яков Федорович с доброй, чуть насмешливой улыбкой внес успокоение в мою смятенную душу. Пережив легкое разочарование в связи с Буниным, я попросил его рассказать мне о дяде Гиляе, примечательнейшей фигуре старой Москвы.

— Видный был человек, издалека приметный. Зимой деревенский зипун пахучий носил, треух и валенки. Его все знали: мальчишки-газетчики, беспризорные, нищие, извозчики и до первейших людей столицы. Константина Сергеевича Станиславского и других артистов-художественников в ночлежку на Хитров рынок водил. Это когда «На дне» Максима Горького ставили. Их там хитрованцы чуть не избили... — И вот тут, положив узкую, сильную, чуть подмозоленную руку мне на плечо, он улыбнулся тонко — добро и насмешливо — и сказал: — Дорогой мой писатель, да к чему же это записывать? Нечто без меня не знаете, как дядя Гиляй мхатовцев к босякам водил? Неужели вы не читали его книгу «Москва и москвичи?» Я ведь тоже оттуда черпаю. Неужто вы думаете, что Гиляровский — нарасхват человек — тратил дорогое время, чтоб мне свои похождения расписывать? Ну зайдет, спросит блинов или холодной закуски, графинчик водки и бежать. Занятой человек. И я занятой — мне вон скольких обслужить надо, нету времени лясы точить. Не по жизни это, не по правде — ждать от официанта или швейцара, от гардеробщика или даже метродотеля рассказов о великих современниках. Гардеробщик их со стороны шубы и калош знает, швейцар только с виду и по мелочи в ладонь, официант со стороны желудка, а метродотель, может, и вовсе не знает. Недавно одного старого маркера отыскали, он Маяковского помнит. Тот, правда, частенько приходил в «Большую Московскую» шары на бильярде гонять. После и в ресторан подымался, но ел мало, зубы болели, пить и вовсе не

пил, вообще — не гурман, как, скажем, Качалов или Москвин. Так вот, нашли этого старичка маркера и стали расспрашивать. Маяковский накануне самоубийства пирамидку у него играл с каким-то молодым поэтом на большую фору, Маяковский сильнейший игрок был, но столько вперед давать не мог и проигрался. Маркеру рубль за время задолжал. Маркер это дело вспомнил и говорит: «Ему что — самоубился — и ладно, а кто мне рубль отдаст?» Вот вам и очевидец!

Но, заметив, что я приуныл. Яков Федорович добавил с той же мягкой усмешкой:

— Хотите, я вам одну историю расскажу про Василия Ивановича Качалова? Ему, видать, не с кем было поделиться, так он мне доверился. Пришел он как-то поздно, в двенадцатом часу ночи, лицо розовое-розовое, будто после бани. И сразу ко мне: «Поддай-ка, братец, большой рюмаш и соленый огурчик, только поживей!» Я, конечно, заказ одним духом выполнил и, хотя мы ко всему привычные, маленько удивился и самому заказу, и такой поспешности. А Василий Иванович рюмку хлопнул, огурчиком закусил и вроде бы отошел. «Знаешь, Яков Федорович, какая со мной глупость вышла? Иду я из «Ново-Московской» к мосту, навстречу двое, и без долгих церемоний — гони бумажник! Посмотрел на них — такие шутить не любят. «Бумажник — пожалста!» — и небрежным жестом Юлия Цезаря отдаю им туго набитый кожаный бумажник. «Часы!» — «Часы — пожалста!» — и царственным жестом Бориса Годунова отдаю золотые часы фирмы Павла Буре, поставщика двора его императорского величества. Я хотел показать, что настоящий артист если и подчиняется насилию, то без страха и равнодушен к деньгам. Но эти грубые бандитские души не поняли красоты моего поведения и рассвирепели. «Ах так, — говорят, — простыми людьми гребуешь? Скидай шубу!» Это возмутительно! Не в шубе дело, хоть она и на бобрах, но погода — гниль, весна, ветер, я могу простудить горло. А мне завтра Чацкого играть. Кхе, кхе!.. Ви-

дишь, уже кашляю. Дай мне, дружок, большой рюмаш, надо спасти здоровье. Нет, дай графинчик, когда еще мне привезут другую шубу из дома... Пстой, что ты обо всем этом думаешь?» — «Думаю, зря вы, Василий Иванович, в «Ново-Московскую» ходите. Вот у нас тут сроду никого не грабили!» А больше никаких доверчивых и важных разговоров у меня со знаменитыми гостями не случалось, хотя, конечно, всякими словами обменивались, не только о заказе или о погоде, а, скажем, о лошадаках. Любил Иван Михайлович Москвин на судьбу пожаловаться и, бывало, пытал меня: «Как думаешь, Федорыч, стоит на Снежную Королеву ставить?» Он почему-то думал, что официанты с наездниками повязаны. Разные шутки веселые отпускали, контрамарки иной раз подкидывали, — простого поведения люди. А вот недавно один прыщевик наел, напил, наскандалил да еще деньги отказался платить. «Не могу платить, я в «Неуловимых мстителях» снимался, меня вся страна знает». А я чего-то не помню его в этом фильме. Там, правда, много народу снималось, всех не угладишь. Ни Качалов, ни Москвин, ни Леонид Утесов такого себе не позволяли, хотя их вся Москва знала...

Недолгое пребывание на ответственной хозяйственной работе — директором вагона-ресторана — кончилось в начале 1941 года конфузом: один из официантов украл дневную выручку и смазчику передал. Его накрыли, но смазчик успел бежать с деньгами. Пришлось бывшему директору вагона-ресторана выплачивать похищенную сумму из своей зарплаты. Было, конечно, горько и обидно, но утешало одно — возвращение к старому, привычному делу. Вновь Яков Федорович склонялся над клиентом, заглядывал в меню и мягко, убедительно приговаривал: семужки нет, пойдет кета, белых грибочков нет, пойдут маслятки, карского нет, пойдет на ребрышке... Ко дню своего призыва на Отечественную войну он успел выплатить долг, которого не делал.

Отечественную войну Яков Федорович прошел от Су-хиничей до Кенигсберга поваром, или, по-солдатски говоря, кашеваром. Он варил пшеничную, перловую и гречневую кашу, капустные щи, гороховый концентрат и макароны с кишечным салом в Подмоскowie, под Минском и Молодечно, при взятии Вильнюса и Каунаса, Инстербурга и Кенигсберга. Случалось, не было ни капусты, ни муки, ни крупы, ни концентрата, он варил щи из крапивы, а хлебы пек из лебеды, но бойцы всегда получали горячую пищу. И доставлял он котлы на передовую при любой боевой погоде. Есть высокая справедливость в том, что благодарности за вторжение в Восточную Пруссию, взятие Инстербурга и Кенигсберга, наряду с пехотинцами, танкистами, артиллеристами, связистами, саперами, получал и маленький плечистый кашевар, у которого солдаты всегда были сыты. Кто прошел войну, знает, что нет ничего хуже воевать на пустой и холодный желудок. Солдаты умеют ценить хорошего кашевара. И медаль «За боевые заслуги» по делу украсила грудь человека из ресторана. Можно ведь и знамя нести да уронить в грязь, а можно поварешку пронести достойно и гордо, как знамя. Полевая кухня — тоже род оружия, и далеко не последний...

Под Кенигсбергом произошла неожиданная и безмерно радостная встреча отца с блудным сыном. Тринадцатилетний сын Ускова Витя в начале войны бежал на фронт. Обычно такие побеги кончались плачевным возвращением домой с ближайшей станции в сопровождении милиционера. На этот раз дело обернулось иначе: предприимчивый мальчонка пробрался в прифронтовую зону, выдал себя за беженца-сироту и стал сыном полка. Он побывал во многих сражениях, этот худенький, тонкой кости мальчик, на его гимнастерке с сержантскими погонами поблескивали слева медаль «За отвагу», справа — орден Красной Звезды. Он возмужал, загорел, обветрился, и отцом владело странное чувство, будто сын старше его не только воинским званием. Но прошло несколько взволнованных минут, и зака-

ленный воин, кавалер и младший командир так же преданно и послушно смотрел на рядового, как в пору прежнего московского бытия.

Якову Федоровичу думалось, что в этот день он получил высшую награду всей своей жизни. Да и что может быть лучше для человека, чем вырастить такого сына — смельчака, патриота, романтика, воина! Он не успел отрадоваться, когда сержант Виктор Усков пал в бою. До конца войны, до победы оставались считанные дни.

Казалось, не выдержит такого удара разом постаревшее сердце отца. Он уже потерял двух дочек, умерших от нестрашных болезней — коклюша и дизентерии. Но он не знал их так, как знал сына. Одна вовсе младенцем померла, другая была постарше, но маменькина дочка, не отцова. Конечно, он горевал и плакал, жалко было и умерших, и, главное, жену, Клавдию Дмитриевну. А сейчас он даже не плакал. И не сказать, кого больше жалел — Витьку, жену или самого себя. Да и не жалость то была, не горе, а что-то иное, куда худшее, будто саму жизнь убили.

Нет, не убили. Вернулась жизнь. Пусть не сразу, пусть не вся, пусть не прежняя, а с темной дырой, которую не залатать, но вернулась. Победой, свиданием с близкими, успехами старшего сына, Глеба, кончившего Бауманский институт, приходом в дом прекрасной женщины Зои, молодой жены сына, великой радостью рождения внука Олега и пусть не исцеляющей, но помогавшей забыться работой.

Опять начался труд тяжеловеса: пятьсот с лишним килограммов в день — закусок, супов, жарких, десертов, вин. В «Арарате» основная тяжесть приходилась на шашлыки и чебуреки, в «Авроре» — на солянки, бифштексы и шницели, в «Пекине», где Яков Федорович прочно осел с 1958 года, — на китайские блюда: утка по-пекински, курица по-сычуански, трепанги, мидии, моллюски, акульи плавники, икра каракатицы, ростки бамбука. Здесь все полюбили Якову Федоровичу: и необычность кухни, гаранти-

ровавшей своей экзотикой наполненность меню: бывают русские блинные без блинов, кафе без кофе, но до китайского ресторана без китайских блюд еще не додумались; и солидная публика, а не «жуирующие жизнью» командированные, и местоположение против «Аквариума», где он с такой охотой бывал в юности. С тех пор Яков Федорович оставлял «Пекин» только для дел особой, можно сказать, государственной важности: он обслуживал гостей XXII съезда партии, за что удостоился благодарности, банкет в честь партийно-правительственной делегации ГДР, имевший быть в горьковском ресторане «Москва». И по научной линии у него благодарность — отлично кормил участников Международного биохимического конгресса. В Москве работают тысячи молодых, сильных официантов, а как доходит дело до больших правительственных торжеств или международных застолий, так призывают престарелого Мастера.

Что бы Якову Федоровичу написать нечто вроде наказа молодым официантам! Он захватывающе интересно рассказывает, как надо обслуживать свадьбы, банкеты в честь защиты диссертаций — ныне преобладающий род ресторанного торжества, деловые обеды, семейные трапезы, романтические ужины на двоих, лихорадочные свидания за столиком, предшествующие разлуке, неторопливые, истовые вечера старых фронтовых друзей, однокашников, сослуживцев, встречу Нового года, двусмысленные вспрыскивания ловко обстряпанных сделок. Меняется все: повадка, темп и ритм, улыбка, звуковое наполнение голоса, неизменны лишь три цвета профессионального знамени, которые Яков Федорович называет так: вежливость, внимание, культура. Ну, «культура» и тут применяется в том зыбком и всеобъемлющем смысле, какой приобрело у нас это слово. Он входит в название городского парка, им определяют выпивку («культурно посидели»), качество вождения машины («некультурно повернули, товарищ водитель»), даже таинство смерти («культурные похороны»). Но не будем придираться...

...Погасли люстры, затем и плафоны, ушли последние засидевшиеся посетители, убраны столики, кажущиеся голыми без скатертей, салфеток, фужеров, солонок, перчаток, сдана выручка в кассу. Чуть погуживают натруженные ноги. Человек из ресторана надевает пальто, нахлобучивает шляпу, прощается с товарищами, кивает золотокантованному швейцару и вышмыгивает из тяжелых, будто свинцом налитых, дверей гостиницы «Пекин» в электрическую ночь города.

В сиреневых лучах прожекторов полощутся складки необъятных штанов бронзового Маяковского, жемчужной ниткой протянулись млечно-бледные шарфы фонарей к площади Восстания, сверкают витрины зримой углом улицы Горького, но уже погасли огни театральных подъездов и рекламных стендов, притухла, угомонилась «София», город отошел ко сну. Надо поспеть на метро, того и гляди закроются двери станции «Маяковская». Человек из ресторана торопится изо всех сил и все же Садовое кольцо перебегаем по пешеходной дорожке, хотя ночь сняла все ограничения. Он любит порядок, дисциплину и не отступит от правил. Вскоре он погружается в плотное тепло верхнего вестибюля, спускается вниз и успевает вскочить в последний вагон поезда, пневматические двери мягко сползаются за ним. Ему ехать с пересадкой в Охотном ряду до Красных ворот. Оттуда пешком по совсем пустынной Садовой. Время близится к часу ночи, но он знает, что жена не ложилась, ждет его, словно он возвращается не из ресторана, а из дальнего плавания. Так заведено покои веку, так будет до последнего дня. Он устал, но душа его покойна и ясна. Он любит этот город, где прошла жизнь, любит свой старый дом и квартиру, за минувший день он накормил много людей и не сделал ничего плохого, а завтра суббота и на весь день приведут внука, и они будут гулять по Москве, а может, и в зоопарк сходят. В порядке вещей, что дед любит внука и гордится им, но человека из ресторана ра-

достно удивляет, что и четырехлетний внук не только любит старого своего деда, но и гордится им изо всех сил, будто сведом о каких-то его необыкновенных достоинствах.

Жизнь Якова Федоровича Ускова — это состоявшаяся жизнь. Но пока в человеке бьется сердце, никакое существование нельзя считать исчерпанным.

— Чего бы вам хотелось от жизни, Яков Федорович?

— Вроде бы поздновато чего-то хотеть на восемьдесят втором году? — неуверенно произнес официант. — Да и есть у меня все в избытке. Я ведь не ради денег работаю, нам со старухой и пенсии хватит. Но ведь помирают старики официанты, как только работу бросят. А я еще пожить хочу.

Яков Федорович явно уходил от ответа.

— Ну а все-таки, есть у вас мечта?

— А разве может быть человек без мечты? Небось, и на смертной постели мечтать не перестанешь. У меня сын, внук, я об их жизни мечтаю.

— Нет, а для себя?

— Для себя? — его серые щеки чуть порозовели. — Стыдно признаться в таком... Мелочно! Да и мечтой не назовешь. А мечтаю я получить «Заслуженного работника общественного питания». Это высшее звание в нашем пищевом мире. Конечно, может, я его и недостойн. Но ведь бумаги-то на меня когда еще заготовили, только послать не соберутся. А это обидно! Хотя, с другой стороны, может, задумали мне сюрприз к девяностолетию сделать. Девять раз по девять на свете прожил, неужели еще одну девятку не дотерплю?..

— Яков Федорович, а почему вы, такой хороший и трудовой человек, не член партии?

Он чуть помедлил:

— Вы картину «Твой современник» смотрели?.. Помните, Губанов Ниточкину такой же вопрос подкинул? А тот говорит: в партию не может просто хороший и честный че-

ловек вступать, тут еще довесок требуется. Я слов точно не помню, но по смыслу так.

— К вам это не относится, вы и воевали, и...

— Нет! — перебил Усков— У меня дело хуже. Ниточкину недоставало, а у меня лишек, который и не пускает в партию. Чаевые, чтоб им пусто было! Вот вы о мечте спрашивали. Уж я ли не мечтал, чтоб чаевых не давали! — пустое, дают, навязывают, можно сказать. А не могу я клиента отказом обидеть, не то воспитание...

# СТАРЫЙ НАЕЗДНИК

Я всегда любил лошадей, как только себя помню. Еще до памяти — могу это ответственно утверждать — первым впечатлением широкого, внекомнатного мира, проникшим в мое еще дремлющее сознание, была лошадь. В нашем дворе находились самые большие винные склады Москвы. И с раннего утра до позднего вечера сюда доставляли — зимой на санях, летом на телегах — бочки с вином, рогожные кули с сахаром, ящики с пустыми бутылками. И я не помню дня, кроме, разумеется, праздников, когда бы во дворе не гуделись подводы. Среди беспородных ломовых лошадей встречались и могучие тяжеловозы — битюги с крутыми гривастыми шеями и мохнатыми бабками, летом эти аристократы щеголяли в кокетливых соломенных шляпках, позже появились и знатные иностранцы — першероны с литыми крупами, по которым мальчишки любили стрелять из рогаток. Это делалось вовсе не из жестокости, нравилось, как могучий равнодушный конь лениво передергивал кожей и плавно обмахивался тяжелым хвостом. Во дворе восхитительно пахло навозом, конским потом, соломой, сеном, колесным дегтем.

Могу добавить, я никогда не боялся лошадей, приучившись трогать их еще с рук взрослых. Стоит мне вспомнить об этом, и в подушечках пальцев щекотно возникает ощущение теплого бархатистого храпа и губ, прохлады тутого, полного, под жесткими ресницами глаза, резиновой упругости ушей.

Моей первой упряжной лошадейю был кровный орловский рысак Хапун вороной масти, обитавший в конюшне на задах нашего дома. В будни Хапуна запрягали в лакированную пролетку, по праздникам — в роскошный экипаж

на дутых шинах, с блестящими висконтином, кожаной полостью и фонарем на передке. Широкие козлы не вмещали ватный зад кучера Агафоныча, добряка с каленым разбойничьим лицом. Агафоныч возил сперва богача-нэпмана, потом какого-то большого начальника, но с переменной владельца выезд ничуть не изменился, оставаясь таким же парадным и дутым.

Агафоныч, лечивший у моего деда-врача застарелые костные хворости, охотно осаживал Хапуна, чтобы прокатить меня по Армянскому переулку до Покровки. Я проделывал это короткое путешествие в полубреду, так непомерно и непосильно было наслаждение.

В какой-то ничем не примечательный день Агафоныч, Хапун и оба экипажа вдруг исчезли, растворились в московской тумане, будто вовсе не бывали, а конюшенные ворота замуровали.

Я сказал, что Хапун был первой моей выездной лошастью. Значит, были и другие? А как же! В Банковском переулке близ Мясницкой гуськом стояли извозчики в терпеливом ожидании седоков. Среди них попадались настоящие лихачи, будившие в старых москвичах память о «Яре» и «Стрельне», о легких санках с меховой полостью, о тесно прижатом нежном локте. Славные лошадки хрупали овес и сено из длинных торб в Банковском переулке, — конечно, не Хапун, но стройные, с длинными, сильными ногами, красиво забинтованными от путового сустава до пясти. В нашей семье существовала традиция: дед катал меня по первопутку, по первому, пушистому, но уже прочному, держащему полоз снегу. Мы мчались, вздымая снежную пыль по Мясницкой, затем вниз к Трубе, подымались до Тверской и сворачивали вправо; обогнув Триумфальные ворота, возвращались тем же путем назад.

Моей первой верховой лошастью была кобыла Фекла. У ее хозяина, сторожа Сухотинских садов на Рязанщине, мы снимали летник. Серая в яблоках Фекла была стара и костлява, как лошадь д'Артаньяна, на которой

он отправился в юности покорять Париж. После тряски на провисшей, острой спине я ходил по-гусиному — враскорячку. Куда удобнее и приятнее было скакать на ее сыне, буланом меринке Мальчике. Он был с фокусами: в конце скачки непременно сбрасывал меня, как бы ни цеплялся я за его густую, в репьях гриву. Но все же я не боялся его и не мог понять жестокости и глупости взрослых, запрещавших мне ездить на нем.

В деревне я был на виду у взрослых, приходилось подчиняться, но в ночном я брал свое, неизменно расплачиваясь крепким шлепком о землю. Как хорошо, что в моем скудном городском детстве было ночное с рыжим костром, печеной картошка, звездным небом, пахучим сеном под боком, темными громадными телами пасущихся стреноженных лошадей, с росным ознобом на рассвете и скачкой на неоседланном буланом меринке...

А потом лошади остались только в книгах: дивная Таука благородного индейца Талькава, великолепный Ратаплан бригадира Этьена Жерара, верный Карагёз и опаливший душу горестный внук Тальони. А к живым лошадям я приблизился снова через много, много лет, уже после войны, сперва в Туркмении, где целыми днями пропадал на Ашхабадском ипподроме, влюбившись в великих ахалтекинцев Мага и Карлавача, а затем на Курщине, где месяца два разъезжал по разрушенным и собирающим себя наново конезаводам и колхозным племенным фермам. Там я всласть надышался лошадьё, посидел в седле и в качалке.

Тоска по лошадям, ставшая нестерпимой после Курщины, погнала меня на Московский ипподром. Ашхабадские скачки при всей своей праздничной яркости оставались посторонними моей сути. Прекрасные, рослые ахалтекинцы с маленькими головами, вскормленные на неведомых мне пастбищах, поражали экзотической красотой, но не дарили чувством родности; странной, непонятной жизнью гудели трибуны — здесь играли на тельпеки — громадные овчинные шапки, тотализатора не существовало.

Иное дело — Московский ипподром. Выключенный из шумного, вонького, машинного городского обстава, он вместе с тем целиком принадлежал Москве с ее пасмурным в проголубях небом, акающей толпой, песьим запахом мокрых драповых пальто и прорезиненных плащей. А лошади как будто прискакали из моего детства, со стоянки в Банковском переулке. И был тотализатор, где за рубль можно было породниться на несколько минут с любой лошадью, сделать ее вместилищем своих надежд и волнений, как бы стать хозяином ее, пока тебя не освободили от этого самого рубля. Я не игрок по натуре, но ставка давала чувство соучастия в происходящем.

А вскоре появилось и другое. К влюбленности в лошадь прибавилось восхищение наездником. «Бондаревский на Гибриде!» — произнося сейчас эти слова, я чувствую старое, ничуть не забытое волнение. Лошадь и наездник были для меня неразделимы, это два в одном, иначе говоря — кентавр. В пятидесятые годы Бондаревский по справедливости считался лучшим наездником. В нем сошлись мужественная красота и статность облика, внутреннее достоинство, совершенное мастерство и гуманное отношение к лошади. Вовсе не требовалось быть знатоком, чтобы сразу понять — перед тобой не просто отличный профессионал, а художник своего дела. Конечно, были у публики (я чуть было не написал «болельщиков», но вовремя спохватился, поскольку ипподром не стадион и болеют тут главным образом за собственный карман) и другие боги: Родзевич, Семичев, Сорокин, Рошин, но звезда Бондаревского сияла ярче всех. Боги?.. Да, боги, но вроде тех языческих божков, которых то ласкают и задаривают, то оплевывают и даже бьют, если они ленятся дать просимое. Между наездниками и публикой извечный антагонизм. Корень его в проигранном рубле. Наездника освистывают и поносят, а потом опять молятся на него...

Знаменитый английский наездник сказал: «Я знаю лошадь, люблю ее и не могу о ней не думать». Наверное, еще

томительнее думается о лошади, когда ты ее любишь и не знаешь, но уже подержал в руках вожжи, и почувствовал тугую, упрямую силу лошадиного тела, и воспротивился ей собственными мышцами. А я-таки подержал вожжи!..

Мои друзья из цыганского театра «Ромэн» свели меня к наезднику Сорокину по кличке Пожарник, сильной, яркой личности, цыгану по крови, цыгану по езде. Ни тактики, ни стратегии он не признавал, брал по-цыгански — на угон. Обычно Сорокин просил заявить себя на старте сзади. С дикими воплями, визгом, тигриным рыком и таборным причетом разгонял он ополоумевшую лошадь и сразу вырывался вперед. Но, если его успевали зажать, возбужденная сверх меры лошадь перегорала и приходила последней. Отсюда его кличка Пожарник, ведь и пожарный обоз мчится к огню в оглушительном шуме. И все же диковатая, отчаянная повадка Сорокина очень часто приводила его к выигрышу. Он импонировал публике. С чисто цыганской широтой он допустил меня к вожжам. На мою пагубу...

За что человек любит лошадь? Можно сказать — за красоту, за стать, за лебединый выгиб шеи, за гармонию и совершенство, каких не встретишь ни в одном другом существе, за даримую ею радость движения. Наверное, к этому примешивается и что-то атавистическое, от тех времен, когда лошадь была для человека всем. Голос ли крестьянских предков, или конных витязей, или — берем глубже — степняков-кочевников загуживает в крови русских людей, когда они видят лошадь, — кто его знает, но и сейчас, в век машинерии, мимо лошади не пройдешь спокойно. Гете говорил: «Трудно любить за что-то, очень легко — ни за что». Он имел в виду любовь к женщине. Но, пожалуй, это закон всякой любви. Любишь, потому что любишь, и все тут! И если любишь лошадь, тебе сладок запах ее пота, крутой пар навоза, острый дух конюшни. Прощаешь ей капризы, упрямство, равнодушие, злопамятность. Недаром же любовь к лошади может вывернуть человечью судьбу

наизнанку. Лошади заставили молодого блестящего правоведа Бондаревского расстаться с юридической карьерой; сына конезаводчика Родзевича — порвать со своей средой, опроститься, сойтись с крестьянской женщиной; студента Виктора Ратомского — бросить ветеринарный институт, а Мосеенкова — МАИ на третьем курсе, — несостоявшийся авиационный инженер долго чистил конюшни, прежде чем сел в американку и выиграл дерби — главный приз для четырехлеток, золотую мечту каждого наездника; роковое чувство это побуждает зоотехника, аспирантку Аллу Михайловну Ползунову, первую женщину, удостоенную звания мастера-наездника, готовить кандидатскую диссертацию в перерывах между тренингом и рысистыми испытаниями. Вот что такое любовь к лошади!..

Конечно, мне подобная перемена едва ли грозила в тогдашние тридцать с лишним лет. Но яд проник в кровь, рука тосковала по вожжам, и полупризрачное существование между трибунами и конюшнями представилось вдруг не жалко-гибельным, а желанным и радостным. И я разом все оборвал. Я знал в глубине души, что мое хобби — моя профессия и чем сильнее дам я себя увлечь другой страсти, тем горше будет похмелье. Больше я не бывал на бегах...

Но когда через много, много лет меня спросили, о ком бы я хотел написать, я, не колеблясь, ответил: о старом наезднике. Правда, назвать конкретно будущего героя я не мог. Многое изменилось за минувшие годы: иных уж нет, а те далече. Не стало Бондаревского. Он ушел, не изжив своего века, едва ступив за порог шестидесяти лет. Сильный, яркий, страстный и смелый человек, он, как и всякий самобытный талант, не умещался в обычных рамках, не был уютен для окружающих. Он у многих сидел в печенках, ждали только удобного случая, чтобы свести с ним счеты. И такой случай в конце концов представился. В каждой судьбе бывают подъемы и спады. Бондаревскому не простили первой же неудачи. И в канун дерби у него отняли лошадь, на которой он с полным основанием рассчитывал

взять главный приз. Износившееся в нелегкой и непростой жизни, войне, труде и азарте сердце не выдержало и разорвалось.

Попал под поезд матерый наездник Зотов, умерли в преклонных годах талантливый Родзевич и яростный Сорокин, ушел на пенсию опытный Рошин, не встречалась больше в газетных отчетах фамилия Лыткина, сошли многие другие герои сороковых — пятидесятих годов. Достигли возраста и славы только начинавшие тогда ездоки, появились совсем новые. И я попросил, чтобы ипподромное начальство само наметило кандидатов. Мне назвали три фамилии, но после первой я уже знал, о ком буду писать, ибо это ответило моей тайной надежде. Еще в ту давнюю пору очарованности бегами один наездник, довольно молодой, сухопарый, с резко очерченным, смелым лицом, привлекал меня сходством с Бондаревским — интеллигентностью, мягкостью, артистизмом и вместе — самостоятельностью повадки, разительно отличной от манеры Бондаревского. Он был задорнее, рискованнее, бесшабашнее, мог ради эффектной победы прибегнуть к хлысту, чего никогда не позволял себе Бондаревский, но руки у него были такие же чуткие и умные. От Бондаревского веяло чем-то маняще-таинственным. Глубина этого человека была прозрачной, хотя отчетливо ощущался характер непростой, причудливый. Большие наездники — люди с ярко выраженной индивидуальностью. Он был самым молодым мастером-наездником в те годы, ему еще не исполнилось сорока, и звался он Виктор Эдуардович Ратомский.

Но, едва назвав своего героя, я вынужден тут же покинуть его ради необходимых пояснений. Обрадованный, что опять окажусь на бегах, увижу лошадок, познакомлюсь с одаренным и ярким человеком, я охотно рассказывал друзьям и знакомым о предстоящей мне работе. Реакция их никак не соответствовала моей увлеченности. Собеседники конфузливо зажимались, словно в моих намерениях проглядывало что-то двусмысленное. Оказалось, виной тому —

тотализатор. И тут я обнаружил, что жители столицы в подавляющем большинстве своем понятия не имеют ни о бегах, ни о коневодстве в целом. Им кажется, что бега существуют для тотализатора, а не тотализатор для бегов.

— Без тотализатора государству было бы весьма накладно содержать ипподромы. Возьмите, к примеру московский тотализатор, он не только окупает содержание тридцати одного тренотделения с восемьюстами лошадей и громадным штатом наездников, конюхов, зоотехников, ветеринаров, но даже приносит доход государству.

— Ну а зачем вообще ипподром?..

— А где же испытывать лошадей? На ипподроме племенные лошади, выращенные на конезаводах, проходят тренинг, а затем испытываются в условиях прямой спортивной борьбы, помогающей определить, какая лошадь чего стоит. Без этого невозможна селекция, позволяющая создавать новые породы лошадей и улучшать старые. Иными словами, невозможно племенное коневодство.

Молчание, затем чуть робко:

— А для чего оно... это ваше коневодство, в век механизации?

— Конь по-прежнему играет большую роль в народном хозяйстве страны, в первую очередь в земледелии. Хотя бы наша средняя полоса, где поля не раскинуты по бескрайней площади, как на Украине, Кубани, целине, а лепятся «по бугоркам и низким косогорам» — тут часто трактору не пробраться, а конь всюду пройдет. Но и в районах сплошной механизации конь необходим для обслуживания тружеников сельского хозяйства. Никто не станет утверждать, что США технически отсталая страна. А в последние годы конское поголовье увеличилось там на тридцать процентов. Вот, оказывается, как еще нужен конь в наш технический век! Я забыл сказать, что лошадь, ко всему, — предмет экспорта. Ну а раз лошади нужны, то они должны быть крепкими, быстрыми и выносливыми. Этому и служит племенное коневодство. Кроме рабочей лошади не-

обходима спортивная лошадь. Благородное искусство рысистой охоты, идущее из глубокой древности — вспомните греческие и римские колесницы, — переживает ныне пору расцвета. Достаточно сказать, что японские ипподромы вмещают до ста тысяч зрителей против наших, увы, двадцати. Надо ли говорить, что в международных спортивных состязаниях утверждается престиж нации?

— Понятно... А нельзя все-таки без тотализатора?

— Я уже говорил...

— Неужели наше государство настолько бедно?..

— Нет! Но общеизвестно, к чему приводят миссионерские меры: закрыть, запретить, уничтожить. Нежелательное явление уходит в подполье со всеми вытекающими отсюда уродливыми последствиями. Люди не перестанут играть — страстям нужен выход. Появится тайное букмекерство, как было на Ашхабадском ипподроме, когда мне казалось, что играют только на тельпеки. Да, туркменские колхозники играли на бараньи шапки, а многие городские люди делали тайные ставки у подпольных букмекеров. Если запретить продажу водки, люди будут травиться самодельным вином, слепнуть от древесного спирта, как это было в Австралии в начале века, и в результате пить еще больше, чем до запрета, пример чему Америка поры сухого закона. Сперва должна измениться природа человека, тогда сами собой отомрут и азартные игры, и другие проявления низменных страстей. Но в сегодняшней жизни, если отбросить пустое морализирование, тотализатор не более безнравствен, чем денежно-вещевая лотерея.

— Возможно... Ну а если вообще без публики?..

— Зачем лишать людей такого прекрасного зрелища? И потом, ведомо вам, как играют футболисты при пустых трибунах? То-то и оно! И наездник и лошадь «не поедут», если не будет духа соревнований.

— Неужели лошадь знает, что на нее делают ставки?

— Нет. Но она чувствует трибуны, их настроение, подъем, азарт. Поэтому так велика нервная отдача лошадей. И

при полных трибунах выше результаты. Кстати, у Ратомского была кобыла Багряная, которая отказывалась от пищи и не могла уснуть перед состязаниями, всю ночь напролет топталась в деннике и вздыхала, как умеют вздыхать только лошади. Тут нет никакой мистики: перед бегами ее сбрую вешали на крюк в деннике, а в обычные дни уносили. И лошадь нервничала, волновалась, переживала предстоящее выступление. Без атмосферы спортивного соперничества никогда не узнать, на что лошадь способна. Поверьте, с ипподромом все правильно, кроме одного — он остался на уровне прошлого века. Сейчас поставлена задача за два-три года реконструировать и расширить Московский ипподром, оснастить современной техникой: ЭВМ, делающими мгновенные подсчеты, и прогнозирующими устройствами.

Конечно, в толпе на бегах попадаетея и всякая протерья: мошенники, жучки, жулики — это неизбежно в многотысячном человеческом скоплении, но не они определяют лицо ипподрома. Да и не могут определять...

Мое новое знакомство с ипподромом началось с парткома. Из-за письменного стола поднялся и шагнул мне навстречу крепкий седеющий человек с веселыми глазами — освобожденный секретарь партийной организации Московского ипподрома, бывший конник кавкорпуса легендарного Доватора, армейский политраблотник Георгий Филиппович Зыков. Перпендикулярно его столу тянулся, как положено, длинный, под зеленым сукном, стол для заседаний, успокоительно посверкивая тусклым стеклом графинов. Слева на стене висела сложная схема — «Структура партийной организации ипподрома». Коллектив насчитывает триста человек, из них сто сорок один — коммунисты. Членами партии являются бригадиры тренотделений, их помощники, конюхи, кузнецы, ветеринары, ветфельдшеры, финансовые работники, зоотехники и все руководители ипподрома во главе с директором М. Н. Эфросом, опытным коневодом, много лет возглавлявшим знамени-

тый Мало-Карачаровский завод. Вот кто определяет моральное лицо Московского ипподрома, серьезной и нужной для народного хозяйства организации, а не сомнительной живописности горлопаны галерки...

— Итак, Ратомский? — сказал Зыков. — Одобряю ваш выбор. Мы советовались с директором, и тоже за Ратомского. И пусть вас не смущает, что у Виктора Эдуардовича нет сейчас громких, да что там громких, даже рядовых побед. Он недавно сменил завод и ездит на конях Александровского завода, что на Курщине, а там нет материала. Раньше он работал с конями воронежского завода «Культура» и одерживал прекрасные победы и дома и за рубежом. В коневодстве нередко бывает: сегодня густо, завтра пусто, то на коне, то под конем, и наоборот... — День добрый! — приветствовал он какого-то парня, с разгона ворвавшегося в кабинет и резко осадившего при виде постороннего, как ткнувшийся в плетень конь. — Знакомьтесь, Женя Калала-младший, сын *того* Калалы... Ты что, партвзносы принес? Хорошее дело. За отпуск тоже? Молодцом! И за отца заплатишь?.. Как он у вас?.. Поправляется?.. А не темнишь, парень?.. — Зыков остро глянул на чуть покрасневшего Калалу-сына, придвинул телефонный аппарат и резко, срываясь пальцем, набрал номер:

— Николай Александрович? Сам подходишь? Здорово! Зыков.

В ответ трубка наполнилась хриплым ворчанием густого, влажного, больного голоса. Но дело обстояло не так плохо: думали, воспаление легких, оказалось, всего лишь простуда с бронхитом. Калала-отец собирался на следующий неделе выйти...

Успокоившись, Зыков получил членские взносы и отпустил с миром младшего Калалу.

— Хороший парень!.. Отца вы, конечно, знали? Тоже кандидатура подходящая. Старый наездник, коммунист. И сын по стопам отца пошел. Ратомских, правда, уже целая династия на бегах, да и достижения Виктора Эдуардовича

поярче. Сейчас у нас лидер — Анатолий Крейдин. Он из новой поросли, хотя вовсе не мальчик — сорок шесть. Мировой рекордсмен, ездит на Павлине — лучшей лошади страны. Он сам из-под Хреновского, в Москву перебрался, когда уже действительную отслужил, а вам коренной москвич требуется. Но дело даже не в этой формалистике. Крейдин — ученик Ратомского, семь лет ходил у него в помощниках и, как говорится, перенял секреты мастерства. Правит по Ратомскому, двумя пальцами, мягко, но уверенно и смело. Лошади у него не забиты, не задержаны, хотя тренирует на больших нагрузках. Идет у него лошадь ровно, правда — на мелком ходу. А ценится крупный, машистый шаг. Это трудно назвать недостатком, коли Крейдин одерживает такие победы. Но справедливо ли писать об ученике, когда есть учитель? Тем более что нынешнее превосходство ученика не означает более высокого класса. Ратомский — это Ратомский. О нем поговорку сложили: «Ратомский и на козе приедет». Есть еще Алла Михайловна Ползунова, исключительный человек! Окончила Тимирязевскую академию, скоро будет кандидатскую защищать. Второй такой труженицы на свете не сыщешь. На лошадях буквально помешана, живет в конюшнях, никакой личной жизни, все отдано ее величеству лошади. Порядок у нее в отделении образцовый, тренированы лошади — лучше не бывает. Будете еще очерк писать — только об Алле Михайловне, ни о ком другом. Она в полном смысле наездник нового типа. Вот уж кто не пожарник и не силовик. Ее успехи — за счет сугубо научного подхода к делу. Она знает лошадь не нутром, не интуицией, не цыганским колдовством, а потому что изучила досконально. Считается, что руки у нее слабоваты, мол, правит на спущенных вожжах. Не знаю, пока ей это не мешало. Конечно, при равных шансах, что редко бывает, Ратомский ее обойдет. Но я уверен, Ратомский способен «придушить», как выражаются на бегах, любого — и нашего, и зарубежную знаменитость. Он наездник милостью Божьей, да и опыта не занимать стать. Но не

думайте, что только спортивные успехи определили выбор кандидатуры. Вам нужна характерная фигура, в которой читалось бы и прошлое бегов, и все традиции, и настоящее, и завтрашний день. Ратомский и сам в силе, и уже продолжается в своих учениках — в том же Крейдине, в сыне Андрее, способном наезднике. Со своим, пусть незаконченным, высшим образованием, начитанностью, любознательностью, знанием жизни и людей Ратомский — человек сегодняшнего дня, и вместе с тем на нем лежит отсвет легендарных времен Крепыша, баснословных призов, трагических разорений, невиданных в мире безумств, когда громадный выигрыш спустился у «Яра» за одну гулевую ночь с цыганами... Но к чему я все это говорю? Ведь вы и так остановились на Ратомском.

— Говорите, говорите, все пойдет в дело.

— Нет уж, пусть сам Виктор Эдуардович распинается. Что-то, а поговорить он любит!

Зыков позвонил в диспетчерскую и попросил найти Ратомского. После довольно долгого ожидания он протянул мне трубку.

— Ратомский слушает, — произнес переливчатый, щеголеватый, чуть застуженный баритон.

Конечно, наездник был предупрежден о моем приходе, но изображал рассеянное недоумение, смутное припоминание, при любезной готовности услужить, даже если произошло какое-то недоразумение. «Непростой дядя!» — подумал я.

Он проминал жеребца Орфея и просил меня подойти к беговой дорожке.

— А я вас узнаю? — усомнился я.

— Это я вас узнаю. Какой вы из себя?

— Старый, седой, невысокий. В дубленке и меховой шапке. В руках красная папка.

— Хорошо. Подходите.

Я попрощался с Зыковым, по крутой лестнице спустился в ветреную, морозную стужу ипподромного пространства и стал любоваться лошадьми, которых наездники про-

минали и шагом и рысью. Присматриваться к наездникам не имело смысла: давно сзимело, и в своих перепоясанных ремнем шубейках с поднятым воротом, низко нахлобученных ушанках они все казались на одно лицо, точнее, вовсе без лица — наружу торчал один лишь красный, распухший на ветру нос.

Но вот вороной конек свернул к решетке, возле которой я стоял, натянулись вожжи, и щеголеватый, с переливцем, баритон произнес :

— Седой?.. Да. Старый? Ну, это мы еще посмотрим. Дубленка, красная папка — все сходится. Здравствуйте, товарищ Нагибин.

Мимо, по часовой стрелке по внешнему кругу и против — по внутреннему, бежали вороные, гнедые, серые в яблоках, огненно-рыжие лошади; горячие и спокойные, добрые и злые, гордые и равнодушные, вышколенные и с заскоками. Они были заложены в качалки на мотоциклетных шинах и американки на велосипедных, в легкие, паутинно-тонкие санки. Наездники, похожие на молочниц в своих толстых одеждах, поворачивали в нашу сторону красные носы. О чем они думали, видя наши переговоры?.. Вот начальство — два заместителя директора в пыжиковых шапках — подумали явно что-то нехорошее и весьма сумрачно отозвались на веселое приветствие Ратомского. Похоже, они зачислили меня в самый мерзкий разряд ипподромных гнусов — жук солидный.

Впечатлительная натура Ратомского чутко отозвалась на то двусмысленное впечатление, какое мы производили на окружающих. Он как-то усмешливо заиграл со мной, — тон, который я не выношу, но ему простил, поскольку в нем мне все было интересно.

— Садитесь, — предложил он, — я вас немножко пока-таю, потом отвезу в свое отделение.

Я охотно примостился у него в ногах. Орфей отмахнул хвостом, заставив меня чуть отпрянуть, и стал выкладывать в раскисший снег дымящиеся катыши.

— Да не бойтесь вы! — ласково, как на ребенка, прикрикнул на меня Ратомский. — Экой пугливый, право!

— Я и не боюсь, с чего вы взяли?

— Это безопасно, — не слушая, продолжал наездник. — Вот когда кобыла на бегу мочится — дело табак. Попил же я лошадиной мочи на своем веку!

— А это правда бывает?

— Ну как же!.. Если кобыла не в охоте, а ты резвости требуешь, из нее — влёт! И ты сам наезжаешь на струю, куда деваться-то? Да разве об этом думаешь? И отплеваться иной раз забудешь.

Орфей опустил хвост. Ратомский подобрал вожжи, сани тронулись. Я взялся рукой за стойку.

— Не бойтесь! — снова вскричал Ратомский. — Падать вниз, не вверх!

Бояться было нечего, но он нарисовал себе карикатурный образ неуклюжего старого писаки, таскающегося где не след с нелепой красной папкой под крокодиловую кожу. Красный крокодил — действительно смешно. Конечно, такой байбак должен всего бояться и непрерывно шлепаться. Поощряя меня к падению, Ратомский рассказал, как сегодня утром вывалилась из саней его жена, которую он хотел подбросить до манежа. Опытный человек, сколько лет входной кассиршей проработала, а полетела вверх тормашками и шубу разорвала. И в гневе обругала мужа «хреновым извозчиком».

Я принял историю к сведению, но падать не собирался, даже когда он пустил Орфея махом и перехватил вожжи за петли.

— Чтобы удержать, коли спотыкаться начнет, — пояснил Ратомский, подметив мой взгляд.

— Спотыкаться?.. С чего?

— Плечевые мышцы ни к черту! Он у меня недавно. Чуть напряжется, так падает. Вконец испорченная лошадь.

— Что же с ним будет?

— Передадим в военное охотхозяйство — Ратомский лукаво усмехнулся, — ладно если он с лесничим или еге-

рем завалится, а ну-ка генерала опрокинет?.. Никак нагоняют? — спросил обеспокоенно.

— Да, — сказал я, оглянувшись. — Здорово идут. Целой группой.

Ратомский сделал серьезное лицо, утвердил ступни в подножках саней, чуть откинулся назад, — эти приготовления должны были сработать на мой испуг. Мимо пронеслись три или четыре упряжки, брызнув мне по дубленке жидким снегом. Бедняга Орфей чуть напряжился, косо задрал голову, выкатив черный с кровавым натеком в углу глаз, и поскакал козлом. Но, сразу укрощенный Ратомским, перешел на вялую рысцу.

Пострадав меня еще разок-другой и убедившись в отсутствии эффекта, Ратомский свернул к конюшням.

По пути он сердечно поздоровался с каким-то стариком в ярко-синей нейлоновой курточке. Старик ответил ему, широким движением сняв картуз.

— Рошин... Узнали?..

Боже мой, Рошин, один из самых популярных наездников «моей» поры! Вот почему его жест показался мне знакомым. Так отвечал он на приветствия трибун, выиграв очередной приз.

Румяный наездник на рослом гнедом жеребце приветствовал Ратомского и сразу показал нам широкую спину.

— Крейдин, — уважительно сказал Ратомский. — Этот дает!..

Потом мы увидели и Ползунову, коренастую, в очках, похожую на учительницу или лаборантку, но уж никак не на «извозчика».

Кажется, Аллу Михайловну несколько удивило мое восторженное приветствие. Но я не владел собой. Душа пела. Опять мне принадлежало это огромное хмурое небо, этот расквашенный копытами снег, эти легкие санки и взмокшие бока лошади, опять мелькали вокруг насельники и колдуны таинственного мира, имя которому «бега».

У конюшен мы поручили Орфея заботам девушки-конюха. Здесь я познакомился с Андрюшей Ратомским, красивым двадцатисемилетним парнем, недавно женившимся на молодой художнице. Жены его случайно не оказалось, хотя она проводит куда больше времени возле конюшен, нежели в студии, и даже участвовала в любительских бегах. К этим бегам допускаются только женщины — сотрудницы ипподрома. Но жена Андрея по праву считается «своей».

Вдоль денников мы прошли в кабинет Ратомского, увешанный фотографиями выдающихся лошадей. Рамки фотографий повиты лентами, которые я принял в полумраке за траурные. Чем-то языческим повеяло от этого культа мертвых лошадей. Все оказалось проще: я принял за траур красные ленты побед. На фотографиях были запечатлены победители дерби разных лет, которые сейчас преспокойно здравствуют на конезаводах, служа святому делу воспроизводства.

Напротив кабинета — кладовая, там хранится сбруя: седла, потники, уздечки, вожжи, запасные ремни, подпруги, кольца, колпачки, ногавки, бинты, кобуры, напястники, намышники, наколенники. Даже вообразить трудно, сколько всего надето на беговой лошади, особенно если она засекается. Но и это еще не все, боящимся шума лошадям положены наушники, а близоруким — муфты, мешающие видеть то, что может испугать. Целый стенд занят удилами. Тут есть и русские, и французские удила: обыкновенные металлические, алюминиевые, резиновые, «соска» с сахаром, уланские. Последние названы не в честь лихих вояк, воспетых поэтом: «...беспечны, веселы и пьяны, там улыбаются уланы, вскочив на крепкое седло», а в память о мерине Улане с плохим прикусом. Ему требовались удила с необычным выгибом, дабы они, как положено, приходились на беззубый край челюстей. Кстати, выражение «закусить удила» бессмысленно, лошадь может только зажать их деснами. Удила особенно важны, поскольку все сигналы от наездника лошадь получает через слизистую оболочку рта.

В конюшне я узнал о лестном прозвище Ратомского — Скорая помощь. Он, как никто, умеет высмотреть любое отклонение в физической или нервной сути лошади и не только устранить его, но порой и обратить на пользу. Была у него в тренинге кобыла, хорошая, резвая лошадь с широким, машистым шагом. Она отлично проходила дистанцию, а на последних метрах словно перегорала и пропускала соперников вперед. Ратомский узнал, что ее прежний наездник злоупотреблял на финише хлыстом и сорвал лошади душу. Другой бы, наверное, отступился от испорченной лошади, но Ратомский, вопреки всему, верил в нее, и заработала «скорая помощь». Был применен слуховой посыл. Лошади вставляли в ушные раковины ватные тампончики, и в решающий момент перед финишем Ратомский выдергивал эти тампончики с помощью лески. Вопли зрителей, крики горячащих коней наездников, обрушиваясь внезапно на нежный слух лошади, не только препятствовали обычному приступу апатии, но и действовали как допинг. Будто второе дыхание открывалось, и лошадь заканчивала дистанцию победным рывком. Вот что значит тонко и точно найденный посыл, в данном случае звуковой. И дело не в призах — Ратомский раскрыл лошадь, показал, на что она способна.

Конечно, не такими эффектными трюками определяется работа наездника, отнюдь не романтическая в обычном понимании, довольно однообразная, утомительная, грязная, полная тягот и разочарований. Большие победы очень редки. Вот Ратомский, старейший наездник, отдавший из шестидесяти трех лет жизни без малого полвека бегам, всего дважды выигрывал дерби. И это еще хорошо! Достаточно сказать, что две лучшие лошади России за всю историю рысистой охоты — легендарный орловец Крепыш и прославленный рысак русской породы Петушок — ни разу не подарили своим именитым наездникам победу в дерби.

А Ратомский — удачник. Он взял 1417 первых призов, среди них три приза СССР, сорок восемь традиционных —

имени Ворошилова, Буденного, поставил шестнадцать все-союзных рекордов, одержал двенадцать побед за рубежом, установил рекорды во Франции, Бельгии, Швеции.

А сколько надо намотать километров, сколько часов деревенеть в качалке, американке, санях, сколько отдать сил и терпения, чтобы завоевать даже самый маленький приз! Но Ратомский — удачник, пусть у него сломаны шесть ребер, не сгибаются три пальца на руках, прокушено плечо злым жеребцом, сломана рука, выбиты копытами все до одного зуба, а в улыбке сверкает нержавеющая сталь, и две толстые, будто басовые струны, жилы вечно напряжены на шее от ушей до ключиц, пусть он думает сейчас вовсе не о призах, а лишь о том, чтобы не остаться за флагом. Никакое мастерство не поможет, если завод не дает материала. И только проглянуло что-то в одной кобылке, как она ночью завалилась в деннике и повредила плечо. Опять приходится спрятать надежду в карман и продолжать работать столь же упорно, изнурительно и беспросветно, как и все последнее время.

Лошадь, такая большая, сильная, крепкая, хрупка, словно фарфоровая статуэтка. Малейший недогляд — и что-то она себе повредила, нарушила, сорвала. В случае с двухлеткой и недогляда не было: ведь не будешь же ночевать в деннике. Впрочем, Алла Михайловна Ползунова, кажется, и на такое способна. Но преданность Ратомского своему делу никогда не обретала мрачного оттенка фанатизма. Другое — что без лошади он не мыслит себе жизни, цену и терпкий вкус которой отлично знает.

Смысл работы наездника — раскрыть лошадь. Для этого нужно многое, прежде всего — систематическая, умно рассчитанная тренировка, цель которой — поставить лошади правильный ход. Без ритмичного, акцентированного хода лошадь не покажет высоких результатов. Впрочем, лошадь может бежать ритмично, но непроизводительно. Последнее достигается длинным, машистым шагом. О лошадях, лишенных такого шага, говорят: «Идет круто, а все

туда». Машистый шаг был у толстовского Холстомера и купринского Изумруда. Вот как, исчерпывающе точно, описан Куприным бег Изумруда: «Он шел ровной машистой рысью, почти не колеблясь спиной, с вытянутой вперед и слегка привороченной к левой оглобле шеей, с прямо поднятой мордой. Благодаря редкому, хотя необыкновенно длинному шагу его бег издали не производил впечатления быстроты; казалось, что рысак меряет не торопясь дорогу прямыми, как циркуль, передними ногами, чуть притрагиваясь концами копыт к земле».

Виктор Эдуардович то и дело вспоминает чудесный купринский рассказ.

— Кажется, что Куприн сам побывал лошадью, — говорит он с нежной и странной на его резко нарезанном лице улыбкой. — Он и о наезднике пишет с точки зрения Изумруда: «Он весь точно какая-то необыкновенная лошадь — мудрая, сильная и бесстрашная. Он никогда не сердится, никогда не ударит хлыстом, даже не погрозит, а между тем когда он сидит в американке, то как радостно, гордо и приятно-страшно повиноваться каждому намеку его сильных, умных, все понимающих пальцев. Только он один умеет доводить Изумруда до того счастливого гармоничного состояния, когда все силы тела напрягаются в быстроте бега, и это так весело и так легко...»

— А Толстой, — говорю я, — разве он не был Холстомером?

— Нет, — покачал головой Ратомский. — Толстой — величайший писатель, его рассказ куда художественнее купринского, но он не сумел или не захотел стать лошадью. Наоборот, он Холстомера превратил в Толстого. Иными словами — очеловечил. вспомните, как описана любовь Холстомера к Визапурихе — читать неловко, разве это лошади? Люди, да еще из толстовского, светского круга. А у Куприна чувство кобылы жеребцом передано опять же изнутри...

Но я забежал вперед, этот разговор происходил уже не в конюшне, а в доме Ратомского, на старой Скаковой ули-

це, близ ипподрома. На этой сельского обличья улочке, неведомой даже коренным москвичам, хотя находится она в центре, против гостиницы «Советская» (бывший «Яр»), стоят два одинаковых двухэтажных, почерневших от лет деревянных дома, объединенных номером 5. Под ними, загнанная в трубу, струит свои тихие воды речка с милым именем Синичка. В одном из этих домов, не поймешь, на каком этаже, и живет Ратомский. Надо одолеть наружную, довольно крутую, по зиме обледеневшую лестницу, и с высокого крыльца через холодные сени попадаешь в квартиру. Видимо, это бельэтаж, да уж больно не идет изящное французское слово к древнерусскому жилью без ванны и горячей воды, но, слава Богу, с центральным отоплением и газом.

Жилище досталось отцу Ратомского, когда тот в начале двадцатых перебрался с семьей из Светлых Гор (возле Павшина) в Москву. Оно вполне отвечало уровню тогдашней московской окраины, находилось на перепутье между ипподромом и «Яром» — самое место для лошадианика. До Ратомских дом занимали тоже наездники — знаменитые американцы Кейтоны. Виктор Эдуардович открыл это обстоятельство довольно поздно, затеяв в квартире капитальный ремонт. Когда содрали все напластования обоев — так освобождают древнюю икону от слоев более позднего письма — и дошли до газетного покрова, то с удивлением обнаружили, что стены оклеены дореволюционным «Рыском и скакуном». В газетных листах были аккуратно вырезаны все фотографии и заметки, связанные с Кейтонами.

Невзрачное, но славное традициями жилье радовало веселую душу Виктора Эдуардовича, и, когда ему предлагали переехать в новый дом, он отказывался: есть, мол, более нуждающиеся в жилплощади. Но время шло, родился, вырос, отслужил действительную и женился сын, и на седьмом десятке уже не так приятно плескаться на кухне под краном с ледяной водой, смывая рабочую грязь и пот: на Московском ипподроме — поверить трудно! — до сих пор

нет душевой. Но теперь Ратомскому уж никто не предлагает сменить жилье: видимо, привыкли к его отказам и успокоились.

Когда сидишь в теплой, опрятной, даже нарядной столовой Ратомских, в окружении больших лошадиных портретов, и домовитая Любовь Артемьевна разогревает на кухне борщ, печет сладкие плюшки к чаю, а за окнами поскрипывают старые деревья, нежно белеет подтаявший снег и кажется, будто слышишь журчание Синички под дощатым полом, тебя всего обволакивает, окутывает чувство старинного уюта, покоя, умиротворенности, и ты напрочь забываешь, сколь непригодно для жизни такое обиталище.

Увидел свет будущий наездник в Киеве, но трехнедельным его привезли в Москву, так что без всякой натяжки Ратомский может считаться коренным москвичом. Он — дитя любви. Его отец, витебский хуторянин, из обрусевшей и обедневшей шляхты, долго не решался скрепить брачными узами свои отношения с крестьянской дочерью Меланьей Васильевной Беркозовой, состоявшей у него в экономках и в 1911 году принесшей ему сына. Лишь через тринадцать лет, уже в Москве, дал Ратомский свое прославленное на всех российских ипподромах имя жене и сыну.

Те, кто читал «Севастопольскую хронику» Сергеева-Ценского, помнят, наверное, полковника Ратомского, умирающего от ран, — это дед Виктора Эдуардовича. Дети севастьяпольского героя были взяты на скупой казенный кошт и по достижении возраста определены на службу. Двое пошли по военной линии, третий — по гражданской — занялся продажей земельных участков. На Витебщине у Эдуарда Францевича были богатые соседи, взятые лошадаики. Он участвовал в их доморощенных гонках и навсегда прикипел сердцем к лошадям. Все заработанные деньги он спускал на лошадей. Барышники безбожно обманывали неопытного энтузиаста, сбавривали ему под видом рысаков старых кляч, вроде лесковской Окрысы. Однажды он сторговал на ярмарке чудесную кобылу Зо-

лушку, отдал за нее тысячу рублей, весь свой нажиток, и сам не мог сказать, как очутилась у него в поводу другая лошадь, за которую извозчики и пятидесяти рублей не давали.

— Все это, в общем, пошло папаше на пользу, — философски резюмирует Виктор Эдуардович, — он освоился и сам стал обманывать.

Ко времени рождения сына Э. Ф. Ратомский уже пользовался славой одного из лучших наездников страны. Он ездил на конях богачки Телегиной, бой-бабы, губернской Екатерины II, на лошадях конезаводчика Родзевича, отдавшего ему в науку сына, помешавшегося на рысистой охоте, да и на собственных лошадях. Скопив достаточно денег, Ратомский перебрался в Москву, купил землицы под Павшином и устроил там конский санаторий. Лошадям необходимо время от времени восстанавливать расшатанную бегами нервную систему.

Полезное это заведение после революции было преобразовано в конезавод под красивым и непонятным названием «Светлые Горы»: вокруг Павшина ни гор, ни холмов и в помине нет. Ратомского назначили управляющим конезаводом, но, прослужив там шесть лет, он соскучился по бегам и вновь надел камзол и картуз наездника. К этому времени Московский ипподром работал вовсю, а открыт он был в 1922 году, едва отшумела гражданская война, по прямому указанию Ленина. Вот, оказывается, как важна для страны ипподромная служба!

Но еще до переезда в Москву в жизни моего героя произошло одно важное событие: он впервые сел на лошадь, вернее, прыгнул ей на спину с ветки вяза. Лошадь скинула непрошеного всадника и наступила на него. Она наступила тяжелым кованым копытом на дерзкого мальчишку, но вылез из-под копыта будущий наездник. Слегка расплющенный и оглушенный, мальчик не плакал, но поклялся в душе подчинить себе лошадь. Он плохо учился, зато преуспел во всех физических упражнениях, будь то

лыжи, катание на санках с гор или мальчишеские драки. У него были сильные и ловкие руки. И вскоре отец, поняв неумолимость велений, проснувшихся в сыне, скажет ему:

— Никогда не пытайся одолеть лошадь силой, сломать ее, сделай так, чтобы она сама работала на тебя. — И, подумав, добавит: — Только не мечтай остаться неучем, школу ты у меня кончишь и дальше учиться пойдешь...

Московский ипподром начала двадцатых годов являл собой причудливое зрелище. Документы на лошадях сплошь и рядом были утрачены, многие кровные лошади попали в частные и весьма неподходящие руки. Так, по воскресеньям в бегах участвовал жеребец Буян лавочника Уткина. А по будням владелец уступал Буяна похоронной конторе. Жеребец, накрытый черной или белой сеткой, возил погребальные дроги. Однажды Буян вез на Ваганьковское кладбище какого-то знатного покойника. Он был заложен в высокую колесницу с бадахином и кистями, на козлах торжественно восседал кучер в цилиндре с крепом, за колесницей шел духовой оркестр, а за оркестром — провожающие. Процессия уже входила в кладбищенские ворота, когда на бегах, что поблизости, ударил стартовый колокол. Буян наострил уши, напрягся в оглоблях и принял старт. Он несся мимо крестов и надгробий, колеса задевали за деревья, цоколи памятников, столбы оград, цилиндр слетел с головы кучера, кучер — с козел, за ним последовал гроб. Покорный своей сути, Буян мчался, пока колесница не застряла меж двух берез.

Громадный шум наделала жульническая проделка известного наездника Елисеева, приведшего на бега лошадь Унеси Мое Горе. Она принадлежала частному лицу, и документы, разумеется, были потеряны. Елисеев заявил Унеси Мое Горе по одиннадцатой, самой низкой группе. Во время заезда он сразу вышел вперед и повел бег. Но ближе к финишу его легко достал другой наездник, тоже, видать, темнивший. Елисеев прибавил, и другой наездник прибавил. Елисеев еще прибавил, он поставил большие деньги —

и хозяйские, и свои собственные — на Унеси Мое Горе и уступить не мог. Но нашла коса на камень, и жулики схлестнулись не на жизнь, а на смерть. Пришлось Елисееву раскрыть лошадь до конца, он победил, и такое время не показывали тогда даже по первой группе. Елисеев «унес кассу», но наблюдавшие заезд опытные наездники Беляев и Пасечный раскрыли псевдоним Унеси Мое Горе. То был знаменитый лежневский рекордист Бокал. Елисеева вывели на чистую воду, он был пожизненно дисквалифицирован.

Причудливы зигзаги судьбы! Во время оккупации Киева Елисеев, весьма преуспевший при немцах — бильярдную открыл! — донес в гестапо, что под видом старенького безобидного пенсионера Павла Петровича Беляева, выдающего себя за бывшего наездника, скрывается крупный агент НКВД. Беляева схватили. Наверное, сказала закладка: старик выдержал все побои, пытки и дождался возвращения наших. Доносчик Елисеев получил по заслугам...

Выходившая в двадцатые годы газета «Беднота» начала кампанию против... рысаков. Не нужна, мол, трудовому народу забава помещиков и господ. Скаковые лошади — другое дело, они под красными конниками ходят. А вообще стране надобен конь-трудяга, пахарь, а не потеха для бездельников. Конечно, тут же раздались трезвые голоса: рысаков для того и разводят, чтоб лучше, крепче, быстрее и выносливее становился трудяга-пахарь. Тогда «Беднота» сосредоточила огонь против орловцев. Газета напомнила читателям, что породу вывел любовник развратной Екатерины граф Орлов-Чесменский, что само по себе скверно, к тому же орловец уступает русскому рысаку. Его и надо разводить, а орловскую породу ликвидировать как класс. Люди, знавшие толк в племенном коневодстве, за голову схватились. Русская порода выведена путем скрещивания орловца с американским рысаком. Лошади этой породы действительно резвее орловцев, но орловский рысак необходим как фон для племенной работы. Но пойдя объясни

это крикунам, ни бельмеса не смыслящим в селекции. Единственно, чего удалось добиться, это устроить соревнования между орловскими и русскими рысаками, чтобы в прямой борьбе решилось, какой породе быть, а какой сгнуть. По инициативе «Бедноты» для начала рысаков проверили на пахоте. Каждый вспахал по отведенному на задах ипподрома участку. В плуге орловец ничуть не уступил русскому. Потом был забег, но не по дорожке бегов, а по шоссе — от Александровского (ныне Белорусский) вокзала до Тушина и обратно. На орловце шел Эспер Родзевич. Уже неподалеку от финиша этой непомерной дистанции орловец приустал. Родзевич успел подать незаметный знак своему «сопернику» Эдуарду Францевичу Ратомскому, и тот неприметно попридержал коня. Орловец передохнул, и лошади закончили дистанцию ноздря в ноздрю. «Бедноте» ничего не оставалось, как оставить орловцев в покое...

Так оно и шло. Дурное и мошенническое соседствовало с трогательным и благородным, жульнические проделки — с большими победами соединенных волей человека и коня, личное, эгоистическое — с серьезной заботой о будущем советского коневодства, и густой этот замес все сильнее и сильнее захватывал очарованную душу юного Виктора Ратомского. Он кончил семилетку, поступил на рабфак, но все свободное время проводил на ипподроме. Он стал помощником отца, научился ездить и однажды услышал от скупого на похвалы родителя, что у него «умные руки».

Вот так и создаются профессиональные династии. Виктор Ратомский с раннего детства жил в атмосфере, густо напоенной лошадьё. Почти все разговоры домашних и заходящих людей крутились вокруг лошадей, тренинга, бегов, ставок, призов, ипподромных козней, неслыханных удач и таких же поражений. Наездники казались ему сказочными героями, даже их слабости очаровывали, ибо то не были трусливые, мелкие пороки обывателей, а живописные, смелые прегрешения крупных личностей. Конечно, и среди наездников далеко не все были так значительны и ярки,

как братья Кейтоны, Ситников, Беляев, Пасечный, Семичев, но мелкое забывалось, в сознании сохранялось только большое, живописное, звонкое. И с молодых ногтей Виктору было ясно, что лучшей доли, чем доля наездника, не сыскать. Влюбленность в отца усугубляла тягу к рысистой охоте. Мальчик подмечал и смешные черты своеобразного и сильного характера отца, но даже эти слабости очаровывали. Человек образованный и начитанный, отец был суеверен, как деревенская старуха. Мать подговаривала соседа попасться мужу на глаза с полными ведрами в дни ответственных выступлений и ненароком плеснуть ему на сапоги. Отец всегда заставлял Ситникова, главного соперника, застегнуть на нем ленту, это тоже считалось доброй приметой. Когда он в первый раз взял сына на бега, им встретился поп, затем дорогу перебежал заяц, и поездка не состоялась.

Беговую науку, правила жизненного поведения Ратомский получил из рук отца. Он унаследовал много хорошего, доброго, но и кое-чего такого, с чем потом сам боролся. Он был наездником старой школы, он формировался в условиях жестокой конкуренции, где обман считался в порядке вещей, притворство, хитрость — добродетелями и презирали только простаков.

Виктор Ратомский тяжело переживал смерть отца в 1929 году. Но будь отец жив, он не решился бы бросить ветеринарный институт, когда ему неожиданно предложили возглавить тренотделение. Это было крайне лестно для молодого человека, не достигшего и двадцати лет.

Среди посредственных лошадей отделения резко выделялся жеребец Интерес, принадлежавший совхозу «Спартак» ведомства ОГПУ. Его использовали как производителя, и вернулся он на ипподром в плохой спортивной форме. Ослабли мышцы, нужные для бега, он набрал пятьдесят килограммов лишнего веса. Но все равно жеребец был редких способностей, и Ратомский принялся его тренировать. Вскоре подошел розыгрыш приза СССР, и хозяева

решили выставить жеребца. Это было преждевременно, но уж очень разгорелся у них аппетит на почетный приз. Ратомский со всех ног поспешил в управление и, к своему крайнему удивлению, обнаружил там старого наездника Константина Кузнецова, известного своей свирепостью. До революции он ездил на лошадях богача Елисеева, владельца знаменитых магазинов.

— Вот товарищ Кузнецов просит передать ему Интереса. Ручается, что выиграет приз СССР.

Это было ни с чем не сообразно, но недаром Ратомский прошел выучку в доме своего отца, он не стал ни охать, ни возмущаться, мысль сразу устремилась к цели — устранить Кузнецова. Вот как рассказывает об этом сам Ратомский:

— Глянул я на Кузнецова: лицо невозмутимое и жесткое, как кулак, желтые рысьи глаза, рысьи — кустиками — брови. Серьезный мужчина! Я даже взмок с головы до пят. И тут меня будто приподняло и понесло: «С какой стати менять наездника? Я вам играючи этот приз привезу. Хотите, расписку дам?» Хватаю со стола лист бумаги и пишу расписку, что ручаюсь за выигрыш приза СССР.

Есть люди, которые свято верят бумажкам, слова для них — звук пустой, а бумажка все. Угадал я точно. Он поглядел почти с уважением на мою цидулку и спрятал в карман. «Ну что ж, все ясно, поедет Ратомский». — «Спасибо, гражданин начальник!» — рывкнул я, словно заключенный.

Впрочем, по молодости лет, я не сомневался, что именно такая участь ждет меня в случае проигрыша. Тем более рысьи глаза Кузнецова изливали столько желтой злобы, что я понял: пощады не жди. Был он из рогожско-симоновских старообрядцев, а эти шутить не любят.

На Башиловке, что у «Яра», жил старый ветеринарный врач Цветков — знаменитость в наших кругах. Он дружил с отцом и на меня перенес свое расположение. Я — к нему. «Выручайте, Алексей Андрееч, или грудь в крестах,

или голова в кустах» . — «Ну, что там у тебя?» Рассказываю об Интересе как на духу: идет мелко, чувствителен к твердому грунту, перевес большой. «Все ясно! Помассируй ему плечи веротрином, прибей подковы на прикладочку из греческой губки. На передние ноги поставь подковы потяжелее, чтобы они его вперед тянули. А еще дай ему вот этот кусочек сахара, побалуй лошадку, и забирай приз». Я, конечно, сразу понял, что в сахаре допинг, но юное чело мое не зарделось от смущения. Это сейчас допинг под запретом, да и то у нас, а за рубежом им вовсю пользуются. В общем, врать не буду: никаких моральных мук я не испытывал, одно было важно — победить и сохранить жеребца за собой.

Я сделал все, как научил Цветков, но опыта у меня не хватало, а соперники были такие зубры, что не приведи Господь! Со старта я вырвался в духе Сорокина, трибуны только ахнули, а до финиша едва доплелся, да и то на хлысте. Лошадь аж шатало от напряжения. Кузнецов на Хорь-Калиныче, занявшем второе место, не достал меня самую малость. Специалисты крыли меня за этот заезд на чем свет стоит, а хозяева довольны остались — приз-то я им привез!

После этого я на Интересе еще двенадцать призов выиграл, и без всякого допинга. Ну а к хлысту, случалось, прибегал, но всегда с таким чувством, будто хлыстом этим собственные бока охаживаю. После Бондаревский воспитал у меня отвращение к хлысту и вообще силовой манере езды. Он говорил: «Клади лошади в рот хоть бритву, а правь на шелковые нитки».

Не следует думать, что после истории с Интересом я сразу все понял и стал законченным мастером и образцовым джентльменом. Нет, раз уж на откровенность пошло, расскажу и другой случай, облегчу совесть.

Одно время очень не везло мне с тренером-наездником Колодным, добрейшим человеком и отличным специалистом. Когда бы мы ни встречались, он меня на

финише непременно обыгрывал. И лошади у меня случались лучше, но хоть на полноздри, а все равно уступаю. И чувствую я, что нервишки сильно зашалили. Ну, думаю, надо обязательно у него выиграть, прогнать наваждение. Сломал я себе хлыстик подлиннее — наши беговые хлыстики на тополях растут — и сунул полхлыста в рукав. И как стал меня Колодный на финише обходить, вытряхнул я хлыстик и стегнул его лошадь по передним ногам. Колодный был близорук, но в дождливую погоду ездил без очков, чтобы стекла грязью не закидало. Он ничего не заметил, и, к сожалению, лошадь его тоже ничего не заметила. Тогда я другой раз ее вытянул. Ну и заскакала — классический сбой, проскачка на финише. Я победил. После Колодный подошел ко мне и пожаловался: «Что за напасть такая, отлично шел, и вдруг, ни с того ни с сего, — сбой». И так это добродушно, доверчиво, что я чуть не сгорел со стыда.

К чему я об этом рассказываю? А для правды. Много во мне плохого было и трудно, по капле, выдавливалось...

Размышляя над характером своего героя, я пришел к выводу, что, конечно же, он не вывернулся vareжкой наизнанку, не бывает так с человеком, но многие его качества приобрели другое направление. С юности Ратомский был склонен к дерзким, на грани авантюризма решениям. Не исчезла в нем эта черта и в зрелости, но служит другому. Однажды он в качестве бригадира вез лошадей на состязание в Брюссель. Большое лошадиное начальство вылетело самолетом, а наездники, конюхи, кузнецы ехали вместе с конями автофургоном. На бельгийской границе спросили лошадиные паспорта. Но документы были у начальства, и старый таможенник, тыкая пальцем в затрепанный свод законов, категорически отказался пропустить фургон. Что сделал бы на месте Ратомского дисциплинированный, исполнительный, чуждый полета мысли гражданин? Повиновался властям, что ж еще?..

Ратомский посмотрел на красноватый, губчатый нос таможенника, на слезящиеся ярко-голубые глазки, втянул мятный запах перно и, схватив старика за плечи, потащил в бар. Там он заказал две кружки пива и бутылку рома. Ром он влил в пиво и сказал обалдевшему таможеннику: «Рюс-коктейль. Ваше здоровье. Зей ге-зунд!» Таможенник отпил глоток и улыбнулся: «Тре бьен!» — «Но! Никст! Оп-рокидонт!» — по-французски сказал Ратомский и духом хватил кружку. Таможеннику не хотелось осрамиться перед чужеземцем, он последовал примеру Ратомского, и голубые глазки полезли на лоб. Не давая ему опомниться, Ратомский повторил заказ. Через полчаса автофургон с лошадьми благополучно пересек границу, а вдугаря пьяный бригадир спал, привалившись к теплomu боку лошади. Но в положенный час он проснулся и выиграл в Бельгии все главные призы. Уверен, что Ратомский понравился бы Лескову! На войну Ратомский пошел лейтенантом ветслужбы. Служил у прославленного героя московской обороны генерала Белова, стал гвардейцем за освобождение Калуги, под Азаровом был ранен осколком мины и попал в госпиталь. А по выздоровлении его отправили не в родной сабельный эскадрон, а на Московский ипподром, открытый по решению Совета Министров. В разгар войны, когда гитлеровцы еще были полны наступательного духа, людей отзывали из армии и ставили на бронь, чтобы вновь звучал стартовый колокол. Вот такая серьезная штука — бега!

Ратомский получил тренотделение № 1. И, позванивая боевыми медалями, вновь окунулся в привычную жизнь конюшен, состязаний и в день открытия, 3 сентября 1943 года, выиграл на Гаити приз восстановления ипподрома.

После войны начался самый лучший период его жизни. Он стал мастером-наездником. Выиграл на Ветряке дерби. Затем повторил свой успех на Вышке. На полуслепом жеребце Буревестнике выиграл восемь важных призов, а еще два приза взял на ослепшем вконец коне. Буревестник, са-

молюбивый, гордый жеребец, обожал бег, верил своему наезднику и побеждал во тьме, как побеждал в гоне слепой от рождения пес Артур.

Замечательные победы одерживал Ратомский в Англии, Швеции, Бельгии, Франции; в Соединенных Штатах, при участии всех американских чемпионов, Ратомский взял третий приз на Вилле. Это была настоящая сенсация: там не принимали в расчет ни русских лошадей, ни русских наездников. Портретами Виллы и Ратомского запестрели американские газеты. С русским наездником была устроена пресс-конференция, как со знаменитым артистом, писателем или государственным деятелем. Он находчиво отвечал на профессиональные вопросы, не затруднился назвать любимую марку автомобиля, но споткнулся на классе своей спортивной яхты. «У меня водобоязнь», — вышел из положения Ратомский.

Но более дорога Ратомскому его победа в Бельгии, на Брюссельском ипподроме. Там были собраны знаменитейшие рысаки Европы и самые прославленные наездники. Присутствовали министры, генералы, кинозвезды, весь свет. Наши не числились в фаворитах, куда там! Решающий заезд на 3500 метров начался нелепо: у русского расковалась лошадь. По правилам старт задерживается и лошадь отводят в кузню. Здесь Ратомский вместе со своим другом кузнецом Астаховым долго и сокрушенно рассматривал отлично подкованную ногу Вышки, затем вернулся на дорожку. Но неприятности его не кончились, он сделал два фальстарта и заслужил свист трибун. А потом начался заезд, и русский неудачник вступил в спор с французским фаворитом. Ратомский догадался, что этот любимец публики применяет допинг, и нарочно развел канитель, чтобы допинг выдохся. Его расчет увенчался полным успехом. На финише он «придушил» француза и побил рекорд ипподрома. На радостях Ратомский сорвал с головы картуз и стал размахивать в воздухе. Он показал этой лощеной публике, чего стоят русские лошади и русская школа рысис-

той охоты. Он привел к победе не только славную свою лошадку, но и милую свою землю, ситцевое русское небо, деревья, луга, поля, речки — все, чем полно святое слово Родина...

— Что ж, смысл жизни наездника только в победах? — раздумчиво произнес Ратомский в завершение нашей растянувшейся на несколько дней беседы. — В известном смысле — да. Мы должны, мы обязаны побеждать — сегодня, завтра, пока мы держим вожжи. Но вот я не побеждаю сейчас и не знаю, буду ли побеждать в ближайшем будущем. Что же, значит, я зря копчу небо? Нет, все равно каждый день открывает что-то новое, ведь наша работа тоже своего рода творчество. Да и молодежи я нужен... Мне шестьдесят три, а утром я иду на ипподром с тем же чувством счастья, что и в семнадцать лет, когда взял свой первый приз... А побеждать я еще буду. Буду. И не только в своих учениках. Хорошее это дело, правильное и необходимое, — передавать накопленный опыт, знания, остерегать от ошибок. Но пока ты еще не сдался старости, умей и сам побеждать, не перекладывай все на плечи молодых...

— А чего бы вы желали себе в жизни? — спросил я.

— Пусть так оно и будет до конца... А вот после жизни... Знаете, есть такое поверье, будто умерший человек возрождается в каком-либо животном. Мне бы ужасно хотелось стать лошадью в руках хорошего наездника, испытать, как все это происходит с точки зрения коня...

# ЖАРКОЕ ДЕЛО

Ни одна европейская столица не горела столь часто и сокрушительно, как Москва. Тут нечему удивляться: европейские столицы строились из камня, Москва — из дерева. И, сгорев дотла, снова отстраивалась из окружающего ее могучего леса. Москва очень медленно «одевалась камнем», и не только потому, что дерево было куда дешевле, — даже великокняжеские, а позднее царские указы не могли заставить москвичей перебраться в каменные, душные мешки. Москвичи любили свои деревянные, славно пахнущие, свежие, «дышащие», зимой теплые, а летом прохладные дома и считали их — вполне справедливо — более здоровыми для жизни, нежели палаты каменные.

Строили в старой Москве без плана и расчета, как Бог на душу положит, и если загорелся один дом, или церковь, или сараюшко, то выгорало полгорода: пожар перекидывался с крыши на крышу, с городьбы на городьбу, пожирая все на своем пути. И не было иной борьбы с жадным пламенем, кроме молитвы. Но не достигала небес людская мольба, и, оплакав пропавшее добро, москвичи бодро и споро принимались отстраиваться вновь. Терпения и упорства им было не занимать.

История Москвы — это история ее пожаров. Огонь не только уничтожал город, но и создавал — мучительно и медленно — его новый облик, он по праву может считаться одним из зодчих Москвы, ибо после каждого великого пожара город отстраивался в большем порядке и подчинении плану, нежели прежде, и неуклонно росло количество каменных зданий. Вначале камень был по достатку лишь боярской знати, церковным архиереям да иноземцам, которыми кишела Москва, затем и купцы возжаждали камен-

ных хором, за ними потянулись служилое дворянство, приказные... И все же даже в конце блестящего XVIII века Москва оставалась по преимуществу деревянной. «Двумя унылыми рядами ютились деревянные домишки, и внезапно среди них широко раскидывался дворец самой изысканной архитектуры», — сообщает московская летопись.

С пожарами в старой Руси и не пытались бороться. Божья кара — нешто осилить ее слабому человеку? Единственная забота — самим уцелеть, забрать из домов что поценнее да скотину вывести со двора. Пожарная охрана появилась лишь в 1803 году, сперва в Петербурге, потом в Москве. Но, конечно, она бездействовала, когда с вступлением наполеоновских войск запылала со всех концов первопрестольная.

Этот пожар навсегда опалил народную память. О нем сложено не счесть сказаний, стихов и песен. Молва обвиняла в поджоге неприятелей, Наполеон — военного губернатора графа Ростопчина. Отчего же все-таки загорелся пожар московский, ускоривший уход Наполеона? Наверное, прав А. Н. Толстой:

«Москва загорелась от трубок, от кухонь, от костров, от неряшливости неприятельских солдат, жителей — не хозяев домов. Ежели и были поджоги (что весьма сомнительно, потому что поджигать никому не было никакой причины, а во всяком случае хлопотливо и опасно), то поджог нельзя принять за причину, так как без них было бы то же самое... Москва сожжена жителями, это правда: но не теми жителями, которые оставались в ней, а теми, которые выехали из нее. Москва, занятая неприятелем, не осталась цела, как Берлин, Вена и другие города, только вследствие того, что жители ее не поднесли хлеб-соль французам, а выехали из нее».

Такого великого пожара Москва, по счастью, больше не знала, но гореть продолжала крепко. Москва долго оставалась городом по преимуществу деревянным, а дерево — любимая пища огня. И вот что любопытно в Москве и по

сию пору сохранилось множество деревянных строений: жилых домов, палаток, рыночных рядов, сараев, заборов, причем не на окраинах, что естественно для развивающегося города, нет, окраины, за редким исключением, плотно застроены кварталами высоких, стандартных, неотличимых один от другого домов, а в центре, в двух шагах от улицы Горького и Садового кольца, в арбатских переулках, не говоря уже о районе Таганки, Ростокине или Сокольниках.

В 1975 году одна лишь пожарная команда учебного отряда полковника Постевого выезжала на пожары 1820 раз. Но остатки деревянной Москвы не могут нести ответственности за эту внушительную цифру. Недавно в США вышла книга Денниса Смита, одного из «храбрейших города», как называют газеты нью-йоркских пожарных. Он из пожарной команды, находящейся в Южном Бронксе, самом оживленном по части уголовщины, убийств и наркотиков уголке Нью-Йорка. Трудно быть более каменным, нежели этот крупнейший из всех мировых городов, а команда, где служит Деннис Смит, произвела за год 8400 выездов, то есть почти в пять раз больше, чем команда полковника Постевого. Значит, дело не в материале, из которого построен город, ныне другие причины способствуют возникновению и распространению пожаров. Электричество занимает среди них не последнее место, а также газ, бензин и простые спички, всевозможные легковоспламеняющиеся вещества, пластики, красители и прочие новшества века технической революции.

Странно, пожаров случается немало, а до чего же редко доводится видеть проносящиеся по улицам Москвы пожарные машины. То ли дело в былые времена! С каким вкусом и смаком описывает выезд лихих московских пожарных знаменитый бытописатель Белокаменной В. А. Гиляровский, бессмертный Дядя Гиляй: «Вдруг облачко дыма... сверкнул огонек... И зверски рвет часовой пожарную веревку, и звонит сигнальный колокол на столбе посреди двора... Выбегают пожарные, на ходу одеваясь в не успевшее просохнуть

платье, выезжает на великолепном коне вестовой в медной каске и с медной трубой. Выскакивает брандмейстер... И громыхают по булыжным мостовым на железных шинах пожарные обозы так, что стекла дрожат, шкафы с посудой ходуном ходят, и обыватели бросаются к окнам или на улицу поглядеть на каланчу...»

Любопытное совпадение: Сергей Игнатьевич Постевой живет на улице Гиляровского, певца московских пожарных.

Конечно, в промелькивающих по улицам красных машинах (пожарные части расположены так, чтобы путь до пожара не превышал пяти—семи минут) нет той картинности, что была в пожарном обозе с воронными, рыжими, соловыми, серыми в яблоках и лимонно-золотистыми лошадьми — у каждой части своя «рубашка», — с бравыми пожарными в медных сверкающих касках и яростно звонящим колоколом. «И хорошо, что нет, — философски заметил Сергей Игнатьевич Постовой в ответ на мои сожаления об ушедшей красоте пожарного выезда, — всему свое время...»

Сергей Игнатьевич, трезвый реалист, профессионал до мозга костей, всю сознательную жизнь занимается тушением пожаров с перерывом на Отечественную войну. Впрочем, начал войну Сергей Игнатьевич по своей прямой специальности — спасал столицу от пожаров в пору летнего наступления немцев и битвы за Москву.

Он повидал на своем веку всякое: опустошительные пожары, кровопролитные бои, сражался на Курской дуге, форсировал Днепр, дрался под Корсунь-Шевченковским, освобождал Румынию, Венгрию, Австрию, терял друзей и близких, знал большое горе и большую радость, получил все специальные знаки отличия, которые положены мужественному и умелому борцу с огнем, имеет и высшие воинские награды: грудь его украшают орден Ленина и Звезда Героя Советского Союза, ордена Отечественной войны I и II степени, медаль «За боевые заслуги» и множество памятных медалей. Войну он прошел командиром взвода

120-миллиметровых минометов, впрочем, довелось и стрелковое подразделение водить в бой и поражать гранатами фашистские танки и самоходки, служил в Австрии, потом в Белоруссии, но в глубине души он всегда оставался верен раз избранной профессии. Странно было бы услышать о пожарном, как о художнике, что он «милостью Божьей», но, оказывается, можно стать пожарным по душевной склонности, проснувшейся еще в юные годы. Как это случилось с Сергеем Игнатьевичем, будет рассказано в своем месте, а сейчас мне хочется провести некоторые сопоставления между ним и знаменитым пожарным Деннисом Смитом, хотя всемирную славу «храбрейшему Нью-Йорка» дал не пожарный топорик, а литература.

Смит написал отличную книгу и к тому же нужную людям, раз она сразу стала бестселлером, выдержала множество изданий, переведена на все основные языки, включая русский, и принесла автору около миллиона долларов. Люди и вообще любят читать о пожарах, особенно если об этом написано так забористо и талантливо, как у Денниса Смита. Он сразу берет быка за рога и, сообщив несколько благоуханных сведений о Южном Бронксе, изображает бессмысленную, страшную и эффектную гибель пожарного. Старина Майк в последнее мгновение успел вскочить на подножку рванувшейся по сигналу пожарной тревоги машины. На крутом повороте он не удержался, и через день храброго пожарного хоронили. За гробом шли два мальчика, осиротевшие сыновья Майка. А осиротил их маленький баловник, уличный мальчишка, которыми кишат пыльные, грязные улицы гетто, подав ложный сигнал тревоги. Оказывается, чуть не треть всех пожарных вызовов в Нью-Йорке происходит по ложной тревоге. Вот как трагически начинается эта книга.

— К сожалению, вернее, к счастью, ваш очерк не будет украшен подобным «ярким» эпизодом, — сухогато сказал Сергей Игнатьевич. — Прежде всего, ложные тревоги у нас крайне редки, второе — пожарные всегда вовремя за-

нимают свои места в машине. Так уж приучены. На подножке нашему Майку никто не позволил бы ехать.

Это был спокойный и остужающий голос настоящего профессионала.

Деннис Смит — талантливый писатель, но хороший ли он пожарный? Я спрашиваю себя об этом, ничуть не сомневаясь в его мужестве, храбрости, преданности своему делу. Он крайне наблюдателен, у него острый, пронизывающий глаз. Но наблюдательность писателя совсем не то, что наблюдательность пожарного, летчика, шофера, геолога, инженера. Боже, до чего наблюдателен и приметлив ко всему населяющему мир был один из лучших писателей и людей века, Антуан де Сент-Экзюпери! Но как же непростительно рассеян, небрежен и несостоятелен был он в летном деле! Собравшись облететь земной шар и намечтав об этом с три короба, он шлепнулся, едва поднявшись в воздух, потому что забыл наполнить баки горючим. И сколько таких вот трагикомических провалов было у пилота Экзюпери и никогда не было у Экзюпери-писателя. Он был отчаянно смел и не боялся смерти: разыскивая пропавшего в горах друга, летал так низко, как не отважился бы никто другой. Но профессия есть профессия, и она требует всего человека. Экзюпери слишком много думал о звездах, вселенной и людях, слишком тяжело переживал разлуку с эльфическим маленьким принцем, которому надо вернуться в свое далеко, и затуманенными от слез, мечтаний и нежности глазами не мог углядеть пустых баков, неисправностей в моторе и шасси, противника в небе. Он велик в своей истинной профессии — литературе, здесь у него баки были всегда заправлены, мотор работал чисто и упруго, как сердце ребенка.

Я думаю, что в лице Денниса Смита Америка приобрела хорошего писателя и, видимо, потеряла пожарного средней руки. Его наблюдательность расплылась вокруг пожара, а пожарному надо обладать очень направленным и устремленным зрением.

— Умение сосредоточиваться — одно из главных качеств, которое мы воспитываем у пожарных, — говорит Постевой. — Наша работа не прощает ни рассеянности, ни самозабвения. Голова у пожарного должна оставаться всегда ясной, в самой напряженной обстановке, в пламени и дыму, когда нечем дышать. Другое дело, что не всегда удастся человеку сочетать максимальную отдачу с предельным хладнокровием, но к этому надо постоянно стремиться.

— Сергей Игнатьевич, а страшно на пожаре? — спросил я, и осекся, и покраснел бы, не залегай у меня сосуды так далеко от поверхности кожи.

Ведь я обращался не только к ветерану пожарной службы, заступившему на огневую вахту с юношеских лет, к человеку, прошедшему не в метафорическом, а в буквальном смысле слова огонь, воду и медные трубы, но и к прославленному воину, герою, о котором на фронте слагали легенды.

— Страшно, — с обычной серьезностью и простотой ответил Сергей Игнатьевич.

В учебно-пожарном отряде полковника Постевого большое значение придают наглядной агитации: и в учебном помещении, и в казарме, не говоря уже о клубе, библиотеке, комнате отдыха, множество плакатов, призывов, фотовитрин, диаграмм, схем, а вдоль высокой ограды во дворе установлены щиты с увеличенными фотографиями наиболее прославленных московских пожарных. Среди них — лицо совсем мальчишеское, с тенями длинных ресниц на щеках. Этого мальчика Владимира Минакова уже нет в живых, он посмертно награжден медалью «За отвагу на пожаре», равной воинской медали «За отвагу», его имя навечно занесено в списки части, где он служил. Выпускник учебно-пожарного отряда, он с редким мужеством тушил пожар на заводе, не расслышал сигнала отступления и попал под рухнувшие горящие конструкции. О его судьбе сказано в скупой подписи под фотографией. И хотя портрет вывешен для памяти и примера, как ни читай эту

подпись, в ней невольно проглядывает не упрек, конечно, но предупреждение: предельная самоотдача должна идти об руку с такой же внимательностью. Двадцатилетний Владимир Минаков — герой, но он мог бы остаться живым героем, если б не пропустил сигнала.

Труд пожарного сопряжен со смертельным риском. И когда пожилой, опытный, хладнокровный начальник УПО говорит о своем деле «страшно», он хочет подчеркнуть, что беспечности это дело не терпит. Как и минеру, пожарному нельзя ошибаться, ибо огонь не знает пощады.

И тут я впервые задумался о людях, которые и в мирное время живут по законам войны: ежедневно рискуют жизнью, получают травмы, ожоги и ранения, а бывает, становятся инвалидами, едва начав жить, или навечно обретают незримое существование в своей части. О пожарных прежде складывали песни, ребята моего поколения зачитывались прелестной книжкой С. Маршака, и пусть теперь сияющую медь касок заменила скромная пластмасса и не сверкают на брезентовой одежде золотые пуговицы, пусть внешне тусклее стал облик борца с огнем: поверх серой куртки дерматиновая пелерина, помогающая стекать воде, резиновые сапоги, противогаз, пусть красные машины сменили прежних соловых, вороных, гнедых, рыжих, серых в яблоках коней и нет ни звонкой трубы, ни колокола, пусть деловитее, техничнее стал жаркий труд, пожарные по-прежнему достойны песен и многих благодарных слов и в стихах и в прозе. Они, как и встарь, выносят из огня детей и стариков, спасают скромный нажиток горожан и большие государственные ценности, и, как бы ни стремились их мудрые начальники свести к минимуму случайность и риск, исключить всякие ЧП, приблизить битву с огнем к обычному мирному труду, остается опасность, а значит, мужество, дерзость, отвага и самоотверженность, и никуда не денешься от порядком затасканного и потускневшего, но единственно годного слова для обозначения того, что подымается над бытом, над серостью будней, — романтика.

И хочет того или нет спокойный, сдержанный, чуждый всего показного, мишурного полковник Постевой, но он тоже романтик.

Есть профессии, корни которых естественно отыскивать в начале человеческой жизни, недаром же нас так интересуют юные годы художников, писателей, музыкантов, актеров. Многие из них происходят из страны своего детства. Но вот пожарный... Трудно представить себе, что желание стать пожарным закралось в молодую, открытую всем впечатлениям жизни и способную к любой судьбе душу. Дети, правда, охотно играют в пожарных, но не менее охотно они играют в разбойников, да разве кто становится атаманом Кудеяром? А путь Сергея Постевого определился еще в раннем детстве, хотя до поры он и сам не догадывался об этом.

Постевой родился в 1921 году, в крестьянской семье среднего достатка, в тихой деревне Глыбочки Трубчевского района на Брянщине. Родители в числе первых записались в колхоз, отца назначили бригадиром полеводов, мать тоже работала в поле, а в крытом дворе Постевых разместили колхозных коней. Обычное деревенское детство, скромное и безмятежное, как голубые брянские небеса. Мальчишеские дружбы и драки, походы по грибы, ягоды и орехи, ловля пескарей в безымянной речушке, делившей деревню на две стороны и пересыхавшей жарким летом в серебряную ниточку, школа-четырёхлетка, учеба в которой затянулась на пять лет по причине жестокой малярии... Тихое струение этой немудреной жизни нарушилось дважды — то были два больших пожара, потрясших детскую душу и запомнившихся на всю жизнь. Вообще-то пожары в Трубчевском районе случались частенько, особенно в августе, когда что ни день рушились грозы и зигзицы-молнии сотнями впивались в источающую жар землю. Нередко гроза сама же и тушила ливневым дождем зажженный ею костер. Но нечего все валить на небеса. Горели крестьяне и по собственной оплошности: то уголек выпадет из подпечка

на сухие, жадные к огню березовые чурки, то рассеянный курильщик кинет непотушенный окурок в стружку или сено, то за керосиновой лампой не уследят. Горели и по баловству детей, и по злобе соседей, всяко бывало. И каждый, даже самый ничтожный, пожаришко становился предметом долгих пересудов взрослых. Но все это не занимало и не страшило беспечную детскую душу, пока не загорелись родные Глыбочки.

В тот первый большой пожар, занявшийся июльским полднем, когда все взрослое население было на сеноуборке, выгорела дотла заречная, считая от Постевых, сторона деревни, дворов до тридцати. Началось, как водится, с пустяков: ребятишки надумали картошек себе испечь. Сложили костерок во дворе, а тут — ветер. Загорелось раскиданное по двору молодое сено, занялись стены избы и сарая, соломенная кровля. Огонь потек по плетням и заборам, по ветвям деревьев и кустам бузины, по сухой смуглой траве от двора к двору. Ветер способствовал его распространению. Прибежали с поля люди, схватились за ведра, да много ли натаскаешь из пересохшей речушки и что это даст, когда уже огненным собором стало пламя над всей заречной стороной. И опустили люди узловатые, натруженные руки, смирившись перед судьбой. Хорошо хоть скотина на выгоне была.

Насквозь прожгла Сергея искра от того пожара. Никогда не мог он забыть едкий запах гари, угрюмую ругань и проклятия мужиков, невыносимо тоскливый вой баб, несмолкаемый скулеж жестоко, от души, выданных «поджигателей». Никто в ту ночь не ложился: ни зареченские погорельцы, ни жители уцелевшей стороны. Мужики одурманивались крепчайшим самосадам, прикуривая, как от уголька, от своих догорающих изб. Вековая, древняя печаль была на их притемнившихся терпеливых лицах.

От того первого пожара остались в душе тоска, безнадежность, страх. Могучие, уверенные, все знающие и умеющие взрослые люди оказались жалки и беспомощны пе-

ред огнем — верь после этого в собственную защищенность в грозном и враждебном мире!

Совсем по-иному отозвался в маленьком Сергее другой большой пожар. Видимо, справедливости ради, Перун решил спалить ту сторону Глыбочек, где находилась изба Постевых. Поначалу все происходило как в первый раз: мощная работа большого огня, раздуваемого ветром, как в кузнечном горне, бессильные потуги залить его водой из речки, угрюмое смирение перед Божьей карой. Но вдруг все переменилось: картофельная делянка не пустила огонь к двору Постевых. А за Постевыми находилось еще несколько хозяйств. Пожар не хотел смиряться, жадно пожрал траву обочь картофельной делянки, но дальше начинались рыхлые, влажные гряды, их было не перешагнуть, и, разъярившись, он палил в дом Постевых искрами, закидывал угольки на соломенную крышу, тянулся к плетню длинными языками пламени. Но люди уже поверили, что огонь можно окоротить, и не сидели сложа руки. На крышу полезли мужики с намоченными в ручье простынями, тряпками, одеялами, полотенцами, половиками. Они укрыли соломенную кровлю и стали дежурить там, предва-рив на десятилетие действия домовой самообороны наших городов, осыпаемых вражескими «зажигалками». Остальные жители растянулись цепочкой от двора Постевых до речки и передавали на крышу ведра с водой, чтобы не пересыхало защитное покрытие. Всем нашлось дело. Кто обливал водой стены избы и сарая, кто рушил плетень, кто обкашивал траву вокруг двора, чтобы по ней не подобрался огонь. Ребятишки помогали взрослым. Дым ел и слезил глаза, першило в горле, было нестерпимо жарко, душно и счастливо. Огню так и не удалось добраться до жилья Постоевых. Выходит, пожар можно осилить и для этого не нужно звать попов с иконами, как делали в других деревнях. В тот раз зареченские сдались, опустили руки, и спорела вся сторона, а Постевые не сробели, им помогли соседи, и огонь отступил. До чего же красивыми и сильными каза-

лись Сереже отец и дядя, когда орудовали на крыше дома. Он и восхищался и завидовал. Такие впечатления во многом определяют судьбу человека.

Но до этого еще далеко. Пока что Сергею предстоит окончить семилетку. Школа находилась в другой деревне, Сугутьево, в восьми километрах от Глыбочек. Может, и не особо велико расстояние, но походи-ка осенью под дождем и ветром по раскисшему суглинку в латаных-перелатаных башмаках! Учился он во вторую смену и домой возвращался в кромешной тьме, нередко в полном одиночестве. Кругом воют волки, на старом погосте ведьмы зажгли зеленые огоньки, в глубоком овраге, заросшем ольхой и крапивой, упырь облизывает красные губы. Но что поделаешь, надо ходить, и Сережа ходил и приучил сердце не трепыхаться собачьим хвостиком, ноги — не сбиваться на рысь, а волосы — не шевелиться под шапкой. Он и сам еще не догадывался, что чувство страха никогда не будет управлять его поступками. И невдомек ему было, какое преимущество дает человеку умение признаться себе в своем страхе. Позже он научится понимать и чужой страх и будет помогать людям превращать страх в здоровое и полезное чувство самосохранения, работающее не против человека, а на него. Это и есть настоящая храбрость. Нерассуждающая же, отчаянная, слепая храбрость сорвиголовы непоучительна и зачастую вредна для дела.

Только зимой, когда заворачивали лютые морозы, кончались его странствия между двумя деревнями: мать устраивала его на постой к какой-нибудь сугутьевской старушке, выдавала на три зимних месяца мешок картошки и полмешка муки.

Семилетку ему тоже не удалось окончить в срок — переболел сыпняком. А вскоре после выздоровления он провалился под лед, когда вместе с дядей ехал через реку на возу с сеном. Ловкий дядя соскочил, вытащил племянника на крепь, потом и лошадь с возом, проявив в борьбе с водной стихией столько же находчивости, как и в борьбе

с огнем. Поскидав с себя одежду, быстро переодел племянника в сухое. Ледяная закалка неожиданно пошла на пользу ослабленному сыпняком Сергею. Он не только не заболел, напротив, с той поры стал набирать здоровья и выносливости.

Через год Сергей окончил школу и, уже крещенный огнем и водой, решил пройти медные трубы. Почти все ребята, желавшие продолжать учение, поступили в находившийся поблизости целлюлозно-бумажный техникум, а Постовой отправился в Ленинград, в пожарно-техническое училище. Да еще друга с собой прихватил, юного деревенского богатыря Антона Краснолобова.

Двинулись в далекие края друзья, сроду не выезжавшие дальше Трубчевска, добрались, подали бумаги в училище, расположенное в Стрельне, живописном пригороде Ленинграда, сдали вступительные экзамены и предстали перед мандатной комиссией, которую возглавлял веселый и грозный начальник училища полковник Верин. С богатырем Краснолобовым затруднений не оказалось, а при виде крошечного Пестевого Верин выразил такое же удивление, как житель Страны великанов при виде Гулливера.

— Это что такое? — спросил полковник.

— Постовой Сергей Игнатьевич! — звучным мужским голосом отозвался малыш.

— И что же ты хочешь? — поинтересовался Верин.

— Учиться.

— Где?

— У вас. Я экзамены сдал.

Верин взял со стола ведомость, пробежал глазами:

— Неплохо!.. Смотри ж ты!.. Но какой из тебя пожарный, голубчик? Кто тебя в огонь пустит? Ни роста, ни стати.

— Откуда же стати взяться? — развел руками Сергей. — С картошки да пустых щей? Бедная у нас деревня, товарищ полковник, очень бедная.

Разумная и спокойная повадка его понравилась Верину, но был он человеком памятьливым и сразу поймал Постового:

— Краснолобов Антон из вашей деревни? А вон какой вымахал!

— Это верно! — вздохнул Постовой. — Нет правил без исключений. А пойти к вам я его надоумил. Я всю жизнь мечтал стать пожарным.

— Неужто всю? — усмехнулся Верин. — Прямо-таки всю свою долгую жизнь только об этом и мечтал?

— Да, всю, какая есть, — подтвердил Постовой.

Есть люди, чья яркая, размашистая личность с ходу покоряет окружающих. Постовой таким никогда не был и не стал. Но чем дальше контактируешь с ним, тем отчетливее чувствуешь его волевою заряженностью. И полковник Верин с легким раздражением обнаружил воздействие силового поля хилого паренька, которого он от души пожалел за физический недобор. Но, будучи человеком справедливым, он хотел, чтобы тот сам забрал свое заявление.

— Разве нет других хороших профессий? — спросил он упряма.

— Есть, только не для меня. Пожарный — самая благородная и самая-самая нужная людям специальность.

— Чепуха! — рассердился Верин. — Каждая профессия нужна и... — «К чему эта болтовня? — оборвал он себя. — Я же и сам так думаю...»

Он глядел на маленькую фигурку в ковбойке с залатанными рукавами, и пришелец из далеких бедных Глыбочек уже не казался ему ни таким хилым: крепкие, чуть покапые плечи, грудь — соколком, твердый постав ног, ни даже таким низкорослым. Ладно и прочно был он скроен и, видать, ловок, такой в любую щель проскользнет. И главное, эта непоколебимая вера в свое призвание. «Да ведь такие люди нужнее в пожарном деле, чем здоровяки-губошлепы, — думал Верин. — Мы готовим командиров, и тут мозги, характер, воля куда важнее физических данных».

— Ну как, товарищи? — обратился Верин к членам комиссии. — Принимаем?.. Добро! Но все-таки подрасти, дружок, — попросил Постевого.

— Я подрасту, товарищу полковник, — серьезно заверил тот.

И сдержал свое слово, как и всегда в жизни: подросток природе вопреки на целых двадцать сантиметров!

— Сергей Игнатьевич, дорогой, сколько ж в вас было роста? — вскричал я, заподозрив, что стал предметом дружеского розыгрыша.

— А вот считайте: сейчас во мне метр шестьдесят шесть, отнимите двадцать.

Я посмотрел на серьезное, твердое и надежное лицо моего собеседника: нет, он не был из породы игривых шутников.

— Вы на сантиметр выше Пушкина, — вспомнил я.

— Правда? — он сдержанно улыбнулся — Вот не знал, спасибо!

...И началась учеба. Нелегкая — предметов было много: общеобразовательных и специальных, среди последних — пожарная тактика, пожарно-техническое вооружение, пожарно-строевая подготовка. Большое значение придавалось физкультуре: пожарный должен быть ловок, вынослив, обладать чувством баланса, не бояться высоты, уметь преодолевать препятствия, поднимать большие тяжести.

Сергей Игнатьевич сохранил благодарное и теплое воспоминание о стрельненском училище — и о товарищах-курсантах, и о преподавателях. Хотя, похоже, не так уж все было гладко у него, особенно поначалу. Вспоминая годы учения, Сергей Игнатьевич раз-другой обмолвился, что он происходил «не из бойкой деревни». Видать, остальные курсанты, кроме Антона Краснолобова, были побойчее и по правилам юношеского общежития «подсыпали перчика» простодушным сынам трубчевской глубинки. Впрочем, толстая кожа и пудовые кулаки Краснолобова — в самой фамилии есть что-то богатырское — служили ему

хорошей защитой от переборов курсантского остроумия. Сергею Постевому, не сразу набравшему росту выше пушкинского, приходилось, надо думать, куда сложнее. Впрочем, тут нет большой беды, это прибавляло душевного опыта, учило жить среди людей, воспитывало волю и сопротивляемость.

Но как добреет взгляд Постевого, когда он вспоминает о преподавателях! До чего же ответственное дело быть учителем! Сколько людей повидал на своем веку Постевой — и на родине и на чужбине, и в мирные и в военные дни. Были среди них герои, большие командиры и просто умные, душевные люди, были натуры страстные, открытые, были затаенные, до сердцевины которых мудроно добраться. К одним он привязывался, от других отталкивался, с одними приятельствовал, дружил, с другими враждовал, боролся, но через всю эту человечью несметь нежно светят ему далекие милые лица первых наставников: Рыжова, преподававшего военную технику, физика Войцеховича, стремившегося подводить курсантов к открытию важнейших законов, а не вкладывать им в головы готовые знания, преподавателя литературы Крылова, человека глубоко штатского, который при входе в аудиторию в ответ на зычный рапорт дежурного растерянно просил: «Ладно, ребята, успокойтесь!» — и семеня к своему столу, прижимая к груди потертый портфель с книгами.

На втором году обучения к теории присоединилась практика. У школы была своя пожарная команда, и курсанты участвовали в тушении пожаров, сперва в качестве рядовых, потом командиров отделения (прежнее звание — брандмейстер) и, наконец, начальников караула. Первый пожар запомнился, как первая любовь. А горел всего-навсего небольшой сараюшко под боком у пожарного училища в Стрельне.

Ребята по-разному относились к пожарам. Курсанту Постевому, воспитанному с детских лет в уважении к огню, поначалу было очень страшно, потом «нормально» страш-

но. «Нормально» — это когда предстоящая опасность и бодрит, и пощипывает кожу легким морозцем, и собирает в твердый ком все телесные и душевные силы. С самых первых шагов Постевой исключил из своего обихода такие проявления «романтизма», как плохо подогнанное снаряжение, незащелкивающийся карабин, затупившийся топорик, неисправный противогаз. Он выезжал на пожар безукоризненный, как жених на свадьбу. А вот у иных его товарищей, начавших с полного пренебрежения опасностью, в дальнейшем отношения с огнем весьма осложнились.

Постепенно приходил опыт. Они уже знали, что проще всего, когда горит деревянный дом и вообще когда пожар «открытый». Много хуже, если он «скрытый», в подвале например, хотя снаружи ничего не заметно. Для обывателей это и не пожар вовсе, а так, дымком тянет. Но они-то знали, как опасен ослепляющий и удушающий «дымок» и какие высокие температуры образуются в замкнутых помещениях. Узнали они, и каково работать на высоте, на обледенелой крыше, когда ветер с залива достигает четырех-пяти баллов. В Ленинграде такое не редкость. Словом, многое узнали курсанты Ленинградского пожарного училища имени В. Куйбышева, закончив учение уже в дни Отечественной войны, были готовы к серьезным испытаниям.

В Москве Постевой получил назначение начальником караула в только что созданную 51-ю пожарную часть. Напутствуя молодого воентехника, комбриг Троицкий, возглавлявший пожарную охрану Москвы, сказал: «Готовьтесь к очень сложной работе. Будут налеты на Москву».

Постовому пришлось начинать буквально с нуля. Не было ни людей, ни помещения. Здание универмага по Большой Тульской улице, отведенное пожарной части, еще стояло в лесах. Бойцов Постевому дали в Москворецком райвоенкомате. Иные ему в отцы годились, но он понимал, что для тыловой службы других и не дадут. В мирное время требуется двадцать пять дней, чтобы обучить новичка

азам пожарного дела, и еще десять дней положено на освоение в части. Немолодые и не слишком шустрые новобранцы Постевого прошли эту науку за семь дней: как работать в дыму и на высоте, как подыматься бегом по пожарной лестнице, обращаться со шлангом, оказывать помощь пострадавшим, пользоваться инструментом. Караул Постевого и сам молодой начальник вступили в дело двадцать второго июля в десять часов вечера.

Более двухсот самолетов участвовали в налете на Москву, среди них эскадрильи печально знаменитого легиона «Кондор», уничтожившего Гернику. Гитлер всегда тяготел к зловеще-театральным жестам. Разрушением советской столицы он хотел отметить месяц с начала войны.

Загорелся Даниловский рынок. Его деревянные павильоны и ларьки не представляли особой ценности, но мощное пламя демаскировало близлежащие заводы. Погасив пожар на рынке, Постевой должен был поспешить к Зацепе, а потом на место, где загорелись цехи завода. После этого их перебросили в другой район, где возник огромный и опаснейший пожар: на заводе занялись резервуары с гудроном и смолистая масса разлилась огненным озером. А затем, уже под утро, их бросили на Хорошевское шоссе.

Около двух тысяч пожаров вспыхнуло в ту ночь в Москве, и все они к утру были потушены. Пожарная охрана города с честью выдержала жестокий экзамен. Двадцать третьего июля по радио читали приказ народного комиссара обороны, объявившего благодарность зенитчикам, прожектористам и пожарным столицы.

Так трудно и успешно начал свою службу Постевой. А через некоторое время его постиг тяжелый удар, самый тяжелый за всю долгую службу. Согласно правилам пожарные машины по сигналу воздушной тревоги должны были рассредоточиться: одна оставалась в гараже, другую загоняли под арку большого, старой, прочной кладки жилого дома, третью — в другое безопасное убежище. Как-то утром объявили воздушную тревогу. Машины заняли поло-

женное им место. Тихо было в московском небе: ни зенитного огня, ни прерывистого гула немецких бомбардировщиков. Но отбоя почему-то не давали. А затем Постевой услышал стремительно нарастающий свист тяжелой фугасной бомбы. Будто яростным сквозняком, продуло Большую Тульскую взрывной волной. Одинокая бомба, обреченная заблудившимся в небе Москвы вражеским самолетом, угодила прямо в жилой дом, под аркой которого стояла пожарная машина. Из-под обломков извлекли трупы и раненых. Конечно, никакой вины начальника караула тут не было. Риск входил в систему московской пожарной охраны.

Комбриг Троицкий хорошо изучил опыт Лондона, подвергаемого систематическим и безжалостным налетам, и пришел к выводу, что для Москвы этот опыт непригоден. Там пожары полыхали по двое суток. Во время налетов все лондонские пожарные уходили в бомбоубежища. И к отбою воздушной тревоги пожары успевали разгореться в полную силу. Московские пожарные работали во время налетов, нередко под пулями крупнокалиберных пулеметов противника. Пожар захватывали в самом начале. Конечно, они рисковали куда больше всех лондонских коллег, но потери в живой силе не были особенно велики. Шеф пожарной охраны Лондона полковник Саймон, приглашенный в Москву для обмена опытом, сказал перед отъездом, поступившись ради правды британской гордостью: «Вас нечему учить. Но сам я многому научился».

У гитлеровских летчиков имелся план Москвы с указанием важнейших объектов, подлежащих немедленному уничтожению, в их число входило Управление пожарной охраны.

Сейчас Постевому уже и не вспомнить всех потушенных им пожаров в Москве военной поры. Но по курьезу, впрочем, весьма естественному, в памяти остался совсем неважный объект, который к тому же не удалось спасти от огня. В одну из бомбовых ночей загорелось крошечное фо-

тоателе напротив пожарной части. Только хотели прийти на помощь соседям — звонок из центрального пункта: все силы бросить на пожар ремзавода. Пожарная служба чужда сентиментальности: ремзавод был спасен, а фотоателье сгорело дотла со всей аппаратурой, осветительными приборами, темными шторами и дряхлой мебелью. От него остался лишь маленький стенд на углу, где под лопнувшим от жара стеклом среди нарядных молодоженов, храбрых воинов, выпускников школ и техникумов имелось и несколько мужественных лиц пожарных из караула Постевого. И стыдно было смотреть в глаза старенькому фотографу, пришедшему утром на погорелье...

Московская битва окончилась разгромом немецких войск, врага отогнали от столицы, небо очистилось. Налеты резко сократились, а с ними и пожары. Можно было перевести дыхание. Постевой воспользовался затишьем, чтобы попроситься на фронт. Его родная Брянщина была оккупирована, в Глыбочках под немцем оставались родители, старший брат погиб на фронте. И тут еще он встретил на улице дорогого друга Краснолобова с зелеными фронтовыми погонами лейтенанта. Антон нашел себе место в строю: с маршевым батальоном он уходил на фронт. И Постевого место сейчас должно было быть на том великом пожаре.

Первый рапорт он подал своему непосредственному начальнику Д.И.Мичурину, но получил отказ и двинулся дальше по иерархической лестнице, пока не дошел до самого комбрига Троицкого. Московский пожарный бог был человек приметливый и памятливым, он успел оценить начальника караула и не пожалел на него времени. Нагоняй Постевому он выдал лично, в своей резиденции. «Бежать с поста надумал?» — гремело разгневанное начальство. «Да на фронт», — спокойно отвечал Постевой. «А мне неважно куда! Здесь тоже фронт. И думать забудь об уходе!» Наверное, это лестно, когда тебя так ценят, но Постевой не изменил своих намерений. С тем же упорством, с

каким он некогда добивался чести стать пожарным, рвался он на фронт.

Он подал заявление на имя наркома внутренних дел. Его вызвал инспектор по кадрам Жуков. Разговор шел в ритме «крещендо» — от тихого, вразумляющего: «У нас не хватает квалифицированных командиров, из трех школ осталась одна в Свердловске» — до угрожающего: «Ты учишься — теперь отработывай. И чтоб мы о тебе больше не слышали!» — «А что, на фронт пошлете?» — спросил Постевой. «Кругом!» — взорвался Жуков.

Постевой повернулся как положено, четко отпечатал шаг по затоптанной ковровой дорожке и подал заявление на имя Верховного Главнокомандующего.

На этот раз сработало. В августе 1942-го его вызвали в управление и сухо сказали, чтобы брал расчет. Он поступил в распоряжение райвоенкомата. Видимо, ему кто-то удружил. «Поедете в тыл для пожарной охраны артиллерийского склада». — «Это исключено», — побледнев, сказал Постевой. «Пойдете под суд». — «Не возражаю». — «Вам даются сутки на размышление». В назначенный час он явился. «Согласны?» — «Нет, пойду под суд. Дальше фронта не пошлют».

Под суд его все же не отдали. Поручили сопровождать в Рязань курсантов артиллерийского училища. «Поработашь старшиной, по совместительству политруком, а потом с ребятами — на фронт». Поверил. Уехал в Рязань. Однажды в декабре их подняли по боевой тревоге. Они сразу поняли, что отправляют под Сталинград. «Звания получите на передовой!» — бодро напутствовал их старый генерал с тяжелыми, неспроставшимися глазами.

Курсанты уехали на смерть и победу, а Постевого не пустили. Скромный, исполнительный и безотказный, он был не из тех людей, от которых начальство спешит избавиться. Ему приказали принять пополнение. Оно состояло сплошь из девушек. В белых полушубках, шапках, отделанных цигейкой, и хромовых сапогах, они были прекрасны,

как богини, и, как богини, недоступны. Так, во всяком случае, казалось поначалу оставшимся в училище курсантам и офицерам, униженным своей отдаленностью от фронта и к тому же по-тыловому плохо одетым: шинелишки «б.у.», кирза, солдатские ушанки с поддельным мехом. Но один из командиров взвода вскоре обнаружил, на свою беду, что недоступность белых королей создана воспаленным воображением истосковавшихся молодых офицеров. Он злоупотребил своим открытием: под полушубками скрывались не солдатские, а податливые девичьи сердца. Начались сцены ревности, скандалы. А предмету страстных ссор было напрочь отказано в уважении. Он пытался командовать, его не слушались, он хотел применить строгость, его высмеивали, хотел наказать, ему отвечали дерзостью, и, доведенный до отчаяния, лейтенант застрелился перед строем. «Его похоронили без воинских почестей», — педантично сообщил Постевой. Вскоре всем курсантам было присвоено воинское звание младший лейтенант, и молодые офицеры отправились на фронт. С этой группой на передовую уехал и Постевой.

Он пошел в бой на Курской дуге летом 1943 года в качестве командира минометного взвода стрелкового полка и тогда же убил своего первого немца. А затем участвовал в форсировании Днепра под Градежском, выше Кременчуга. Уверенный, что звание Героя Советского Союза Постевому присвоили за Днепр (тогда состоялось едва ли не самое щедрое награждение за всю Отечественную войну), я попросил его подробнее рассказать о «переходе Рубикона». «Тут сложностей особых не было, мы форсировали Днепр на плечах врага». Но я настаивал — мне хотелось красочных подробностей, сочной батальной живописи: ведь я полагал, что речь идет о самом главном бое в военной биографии Постевого. И он уступил.

Это случилось уже на правом берегу Днепра. Немцы удерживали господствующую высоту и мешали расширить плацдарм. Расстреливали и топили понтоны, не давали бой-

цам поднять головы. Две попытки овладеть высоткой силами батальона привели лишь к тяжелейшим потерям. И тогда Постевого вызвал командир полка. «Мне тебя неплохо рекомендовали, и, хотя ты минометчик, выбора нету, пехотных офицеров осталась мало, сам знаешь, какие у нас потери» — таково было многообещающее начало. Постевому предлагалось отобрать сорок человек, по пять-шесть лучших из каждой роты, прорвать оборону противника, занять господствующую высоту и удерживать ее в течение двух дней. Дело осложнялось тем, что из-за песчаной пыли автоматы все время заедало, предстояло действовать в основном гранатами и холодным оружием. «Но ничего, приказ выполнили, хотя и потеряли больше половины отряда», — без всякого пафоса закончил Постевой. «И вам присвоили Героя?» — спросил я. «Нет, — последовал неожиданный ответ, — за этот бой никого не наградили». — «Как же так?» — «Началось наступление, не до того было. На войне это часто случалось». — «А Героя когда вы получили?» — «Позже. Под Корсунь-Шевченковским». Мой собеседник, и вообще-то не слишком словоохотливый, стремительно утрачивал дар речи. Все мои попытки разговорить его ни к чему не приводили. Наконец, видимо сжалившись надо мной, он достал из стола папку с газетными вырезками и протянул мне: «Материалы из фронтовой печати... Даже стихи есть», — добавил застенчиво.

Я просмотрел содержимое папки и понял молчание Постевого. Есть вещи, которые о себе не расскажешь, слишком неправдоподобно они выглядят. То, что сделал Постевой возле деревни Оситняжки в дни боев за Корсунь-Шевченковский, принадлежит не современной войне, а былинному эпосу. Можно ли вообразить, чтобы один человек, вооруженный гранатами и пистолетом, уничтожил за считанные минуты тяжелый танк, самоходное орудие и до сорока человек пехоты? Именно это совершил, мстя за своего командира батареи и любимого друга, убитого и зверски изуродованного гитлеровцами, лейтенант Постевой,

которого за малый рост и отсутствие стати не хотели некогда принять в пожарное училище. О подвиге Постевого написано много, особенно подробно и крепко в книге генерал-лейтенанта Бирюкова «Трудная наука побеждать». Интересно, попадалась ли эта книга в руки полковнику Верину?..

Постевой совершил свой богатырский подвиг не по счастливой случайности, не в порыве гневного вдохновения, когда человеком движет не разум, а какое-то древнее, темное, неуправляемое чувство. Нет, его гнев, его ярость были закованы, как и всегда, в броню точного расчета. Он отыскал место на перекрестке дорог, где то и дело проходили немецкие танки, замаскировался в картофельной ботве и в должный миг нанес свои удары: танку перекусил гранатой гусеницу, после чего уничтожил десант, а самоходку поразил через открытый верх.

Никто бы, возможно, и не узнал о подвиге Постевого, ибо сам он ни словом не обмолвился о содеянном, справедливо полагая, что этому просто не поверят. Но, потрясенный виденным, пленный немец рассказал все на допросе. Жители Оситняжки, наблюдавшие за боем, уточнили лишь одну деталь в рассказе пленного: убитых было не тридцать шесть, а сорок два.

Лейтенанту Сергею Постевому присвоили звание Героя Советского Союза. А вскоре он подорвал гранатой еще один немецкий танк.

Он счастливо воевал. Был всего лишь дважды легко ранен. Первый раз отделался медсанбатом, в другой раз попал в харьковский госпиталь. Но через месяц выписался, нагнал свою часть и с ней дошел до победы, которую встретил в Австрии. По окончании войны он побывал в отпуске, навестил родителей, проведая Москву, старых товарищей и женился. Вон сколько успел за короткий отпуск!..

Жена подарила ему сына Александра. К тому времени Постевого перевели в Белорусский военный округ, он командовал минометной батареей, был на отличном счету,

но, твердо уверовав в прочность наступившего мира, с обычной решительностью пожелал вернуться к тому делу, которое по-прежнему считал главным в своей жизни.

И вот он снова в Москве, начальствует в звании капитана над пожарной частью в районе Красной Пресни. Дальнейший путь Постевого — это ровное и неуклонное продвижение вверх по служебной лестнице. За его безукоризненным формуляром громадный труд, непрестанное напряжение, тысячи потушенных пожаров, множество спасенных жизней и не счесть сколько сохраненных государственных ценностей.

Но не бывает счастье до конца. В расцвете лет умерла его жена, изглоданная неизлечимой болезнью. Он остался с маленьким сыном на руках. Пройдут годы, утихнет сердечная боль, он встретит другую женщину, полюбит, она заменит его сыну мать и принесет Сергею Игнатьевичу другое дитя — дочь Ирину.

Сейчас сын и дочь имеют собственные семьи, сделав Сергея Игнатьевича двойным дедом. Сын пошел по стопам отца. Известны династии ремесленников, художников, музыкантов, ученых, рабочие династии доменщиков, сталеваров, прокатчиков, а Сергею Игнатьевичу Постевому выпало заложить династию пожарных. Для этого требовалось, чтобы профессия отца казалась сыну самой важной, увлекательной и благородной профессией на земле.

Сергей Игнатьевич прошел свои университеты на крышах и в подвалах горящих зданий. Впрочем, высшее образование он все-таки получил — окончил заочно юридический институт. Для кругозора, да и мало ли что может случиться в жизни...

— Ну а дочь? — спросил я. — Неужели и она причастна огню?

— Да, — твердо сказал Постевой. — У нее профессия самая зажигательная, она — артистка балета Красноярского ансамбля танцев народов Сибири.

Почему-то у меня сложилось впечатление, что полковник Постевой сам уже на пожары не выезжает. Ведь он возглавляет особый отряд — учебный, где готовят младших командиров и специалистов пожарной службы. При отряде имеется пожарная команда, ее начальник — старший лейтенант Соловьев. Расположено «хозяйство Постового», как говорили в армии, на бойком месте: в зоне действия команды такие важные и легковоспламеняющиеся объекты, как киностудия имени Горького и кинофабрики на ее же территории, киноинститут, телецентр, кинотеатр «Космос», парк культуры имени Дзержинского. Но ни студия, ни ВГИК, ни телецентр, ни парк, ни «Космос» не горели, а едва ли Постевой станет выезжать на мелкие пожары. Он и так загружен до предела: депутат районного Совета, член бюро райкома, активный деятель Комитета ветеранов войны. Но, сунувшись в шкаф за свежим блокнотом и по ошибке открыв не ту дверь, я увидел полное снаряжение пожарного: брезентовый костюм, каску, кислородный аппарат.

— Сергей Игнатьевич, вы и сейчас выезжаете на пожары?

— Конечно, — сказал он удивленно, — а как же иначе?

— Но ведь не на все?

— Разумеется!

— Только на большие?

— Большой пожар — необязательно сложный пожар.

А сложный пожар — необязательно большой в житейском представлении. Я уже говорил вам о скрытых пожарах. Недавно загорелся подвал в жилом доме. Домоуправление там веники хранило. Всего-навсего. И кто-то бросил горящую спичку. Веники, конечно, вспыхнули. А рядом, через помещение, — москательный склад: керосин, бензин, краски. Дым из подвала забил лестничную клетку и стал проникать в квартиры. Жильцы сверху кричат: «Помогите, задыхаемся!» Прибывшая на пожар команда быстро установила дымоотводы, но они не помогли. Тогда двое пожар-

ных в противотоках проникли сквозь клубы дыма на верхние этажи, разбили окна на лестничной площадке, и ток свежего воздуха проник в квартиры.

Но положение оставалось угрожающим. Попытки пробиться к очагу горения не принесли успеха, температура в подвале — под четыреста градусов. От жара погнулись железные балки перекрытий. В клубах дыма не разглядеть, где горит. Струи воды, направленные в исход дыма, не достигали цели: решили, что очаг находится где-то за перегородкой.

Опытный офицер, руководивший тушением, применил воздушную пену, но и она не достигла очага горения. Тогда он приказал трем пожарным одеться в теплоотражающие костюмы. С кислородными аппаратами, обильно поливаемые водой из шлангов, они устремились с пенным стволом в зону горения. И на этот раз сработало. Измученные, грязные, прокопченные, вышли из пекла укротившие огонь бойцы. Вот какие бывают веники березовые!.. Спросите — большой ли это пожар? Да нет, горение охватывало всего лишь пятнадцать квадратных метров..

— Сергей Игнатьевич, — сказал я проникновенно и даже закрыл блокнот, дабы создать атмосферу интимности и полного доверия. — А теперь о самом интересном, что было в жизни вашего отряда в прошлом году.

И сразу мне вспомнился один из бунинских рассказов: автор спрашивает зажиточного мужика, что было у него наиболее интересного в жизни. И мужик отвечает истово: интересного, слава Богу, ничего не было, грех жаловаться.

— Журналисты — народ кровожадный, — улыбнулся Постевой. — То, что для вас интересное, для нас чрезвычайное происшествие. По счастью, ничего особенно интересного не было. Никто не совершал смертельного подвига, не погиб и не покалечился. Схлопотал у нас один парень цветочным горшком по физиономии, зуб ему выбило, когда в окно горящего дома забирался, но это легкая травма. Другой руку о стекло порезал — мелкое происшествие.

А интересного не было. Из гражданского населения никто не задохнулся в дыму и не сгорел заживо. Одна старушка попробовала, да ефрейтор Горбунов вынес ее по пожарной лестнице и получил внеочередной отпуск на десять суток. Еще один пятилетний пацан поджег квартиру и под кровать спрятался. Держался до последнего, но от старшего пожарного Подхватилина не ушел, несмотря на плотную дымовую завесу. Нашел его Владимир Подхватилин и, преодолев отчаянное сопротивление, вынес живым и невредимым из огня и тоже в отпуск к родителям отправился. Ну а хвалить ефрейтора Карина за то, что вернул погорельцу толстую пачку денег, четыре сберкнижки и ларь с драгоценностями, я считаю унижительным для комсомольца. Это должно быть нормой поведения. Так что сами видите, жизнь наша простая и скромная. Была довольно напряженная профессиональная работа без всяких романтических приправ. Надеюсь, такой и останется. Что же касается меня самого, то есть люди, которым необходимы большие нагрузки, чтобы чувствовать вкус жизни. И если человек это получает, то он счастлив, и хвалить его не за что. Разумный эгоизм, как сказано у Чернышевского.

На этом мы и расстались, и Сергей Игнатьевич уехал в очередной, а не в наградной отпуск в Сочи. Мне лично январь не кажется самым лучшим месяцем для отдыха на Черноморском побережье: холодно, ветрено, неудобно, но ведь Сергею Игнатьевичу нет счастья без повышенных нагрузок.

Позже, уже в отсутствие Постевого, я познакомился с начальником пожарной команды отряда старшим лейтенантом Соловьевым, который ввел меня в повседневную жизнь части.

— А видели вы когда-нибудь Сергея Игнатьевича в настоящем деле? — спросил я.

— Еще бы! Не раз. Но больше всего мне запомнился давнишний пожар на комбинате «Правда».

— А разве там был пожар?

— Да. В 1967 году. Во дворе издательства загорелась бумага, накрытая толем. Пламя вымахало до чердака типографии. Такого рослого пламени я сроду не видел. Меня туда вызвали по дополнительному. Тушил пожар 5-й отряд, которым тогда командовал Постевой. Он действовал на самом верху, на чердаке. В самом пекле. Положение было угрожающее, и потом это же не что-нибудь, а «Правда». Вот когда я понял, что такое личный пример и высший класс работы! Вы, конечно, знаете о его подвиге, за который ему Героя дали? Я всегда удивлялся, откуда что берется. Вроде бы обычный человек, никакой не богатырь, тихий, скромный. А вот там, на пожаре будто своими глазами увидел, как он немецкие танки взрывает и пехоту косит. Жаль, что я стихи сочинять не умею, а то бы обязательно сочинил, вроде той баллады, что на фронте о нем ходила...

Я тоже не умею сочинять стихи, но в прозе мог бы написать о Постевом иначе, чем сделал это в данном очерке. Пожар и вообще «литературогеничен», если позволено так выразиться. И посмотрелся я на пожары у себя за городом. В нашем маленьком поселке два дома сгорели от молнии. Я и сам горел трижды. Так что можно было бы раздраконить тему, создать образ эдакого Антипрометея, но это противоречило бы простой и строгой сути Сергея Игнатьевича Постевого — врага красоты, громких фраз и романтического захлеба.

# ПЕВУЧАЯ ДУША РОССИИ

## I

С внезапным уходом Сергея Яковлевича Лемешева, великого русского певца, замечательного оперного артиста и обаятельного человека, никак нельзя примириться, хотя был он далеко не молод годами, устал и голос, сохранивший тем не менее свой несравненный тембр и очарование, даже обогатившийся новой интонацией доброй, снисходительной мудрости. Этот довременный уход ощущается непрестанной, неутрахающей болью.

Преданно и беззаветно полюбив Лемешева с двенадцатилетнего возраста и став с тех пор завсегдатаем оперы, не пропустив ни одного его концерта в течение десятилетий, исписав о нем немало страниц, шесть лет живя с ним в одном доме, в соседних подъездах, что ни день сталкиваясь во дворе и обмениваясь смущенными полупоклонами, я умудрился так и не познакомиться с самым нужным мне человеком.

Изысканнейший Жан Жироду считал цитирование самого себя дурным тоном. Мне же представляется излагать свое «собственными словами» пустым жеманством. И я процитирую тут кусок из рассказа «Меломаны», который открыл Сергею Яковлевичу, что «в мире есть душа одна, она до гроба помнить будет». Конечно, моя душа — одна из сонма людских душ, которые до гроба будут помнить Лемешева. А может, и за гробом — кто знает?..

«...Мы с отцом вовсе не собирались в театр, просто бродили по воскресным весенним полуденным улицам, и какой-то помятый человек предложил нам лишние билеты

на «Севильского цирюльника». Отец совершил несколько будничных движений — достал бумажник, порылся в нем, извлек две старые трешницы, получил билеты, и мы прошли сперва в прохладный вестибюль, а затем — в зрительный зал и неловко пробрались к своим местам при медленно гаснущем свете.

Я оставался глух к музыке Россини, но каждое появление на сцене невысокого, изящного, юношески стройного, дерзкого, насмешливого и отважного человека, с очаровательно звучащим именем граф Альмавива, наполняло меня неизъяснимым блаженством. Он был напоен щедрой и радостной жизнью, он любил девушку и, чтобы добиться ее, вырвать из цепках лап ревнивого старика, надевал личину то странствующего певца, то монашка, то пьяного армейского офицера и наконец появился в своем истинном великолепии. Его удивительный, теплый голос проникал мне в душу и, вытесняя ее, сам становился нежной, легкой, радостной душой. Когда в зале зажегся свет, я прочел в программе: «Граф Альмавива — С.Я.Лемешев».

Я знаю, любить теноров позволительно чувствительным девицам, а не будущему воину. Но что поделаешь, если будущий воин, даже став седоголовым бывшим воином, все так же любит Лемешева? Неизменная преданность ему сродни моему отношению к Есенину. Есть поэты больше, изысканнее, сложнее, современнее, но таких, как Есенин, нет и не будет. И ту мою жажду, что утоляет он, не дано утолить никому другому...»

С того незабвенного воскресного дня началась опасная, упоительная жизнь: ходить «на протырку» в Большой театр и, главное, в его филиал, где контролер не отличался такой строгостью. Вначале мы — я и мои друзья, тоже поголовно влюбившиеся в Лемешева, — ходили лишь на утренники, но уже лет с четырнадцати — хотя отнюдь не акселераты, дети голодных лет России, мы выглядели старше своих лет — стали посещать и вечерние спектакли. Если нас все же вышвыривали, то не по возрастному при-

знаку, а из-за отсутствия билетов. Ребята побойчее, понахальнее прошмыгивали мимо контролерши к началу спектакля, я же, как правило, дожидался второго действия, когда контроль приметно слабел. Быть схваченным за руку, обруганным, пристыженным и выставленным вон, к тому же на глазах многочисленных свидетелей, было невыносимо для моего самолюбия. «Протырка» начиналась весной, когда не нужно раздеваться в гардеробе, где у мальчишек тоже спрашивали билеты. В антракте многие зрители выходили на улицу покурить или просто подышать свежим воздухом, и я просил дать мне билет с уже оторванным контролем, клятвенно обязуясь вернуть его в вестибюле. Словно догадываясь, что у меня все в порядке, контролерши не спрашивали билета. Но стоило раз не подстраховаться, как меня тут же остановили. Я выкрутился, сказав, что билеты остались в сумочке у моей «дамы». Свободные места в зрительном зале почти всегда находились. Редко-редко приходилось взбираться на галерку, где разрешалось смотреть спектакли стоя — иначе просто ничего не было видно, кроме потолка, люстры и верхнего края занавеса. Но обычно мы выше первого яруса не забирались.

В отличие от моих более решительных и бесстыжих друзей, я раз за разом слушал «Травиату» без «Застольной», «Риголетто» без «Баллады герцога», «Онегина» без объяснения Ленского с Ольгой; в других операх потери не были столь велики, ибо, и Берендей, и Владимир Игоревич, и Синодал «разворачивались» не ранее второго действия. Конечно, пришло время, и я услышал «Налейте, налейте бокалы полнее», «Та иль эта, я не разбираю», «Я люблю вас, я люблю вас, Ольга», но тогда я уже был студентом, получавшим стипендию и всю ее оставлявшим в кассах Большого театра. Ну а на концерты, которые Лемешев давал в Москве не столь часто, хотя чаще любого другого оперного певца в довоенное время, расщедривались мои небогатые родители, уже понявшие обреченность своего единственного сына. Так, мне посчастливилось услышать в

Колонном зале Дома союзов цикл из пяти концертов Лемешева, включавший сто романсов П. И. Чайковского, — если не ошибаюсь, все романсовое наследие композитора. И вот тогда вспомнились высокомерные слова Римского-Корсакова, брошенные в ответ на неосторожное сообщение одного из приверженцев «кучкистов», что он слышал в Москве с десятком хороших романсов Чайковского. «Неужто столько? — пожал худыми плечами Римский. — Я думал, их куда меньше». Художественный подвиг Лемешева показал, что их неизмеримо больше, и не просто хороших, а лучших — после глинковских — в русской романсовой музыке. Время все ставит на свои места...

Но к романсам мы еще вернемся. Я все-таки ставил себе иную цель: показать, что значил в моей жизни Лемешев, явившийся лишенному слуха двенадцатилетнему мальчишке, словно Звезда Вифлеемская, предвестником чего-то неведомого, громадного, что, осуществившись, пересоздало ему душу. Я испытал в жизни ряд художественных потрясений — много ли, мало ли, не берусь судить, но все они нарезаны на моем сердце, как образ любимой на сердце Пастернака.

Существует такая весьма распространенная точка зрения (об этом уже говорилось), что любить оперных певцов, особенно теноров, несколько стыдно; ну, басов куда ни шло — мужская, мол, работа, — а так надо соблюдать известную долю иронии, признаваясь в своей слабости, сохранять, что ли, дистанцию, чтобы не замешаться в толпу истерических девиц с несложившейся личной судьбой, переносящих тщетные любовные грезы на душу-тенора. Природа этого чувства носит, несомненно, эротический характер, тем, стало быть, совестнее его разделять. Но коли ты не ощущаешь в себе истерической девицы, тайно пробравшейся в твою мужскую суть, то не робей и смело признавайся в любви к тенору, как ты признаешься в любви к Тинторетто, Ван-Гогу, Цветаевой, офортам Остроумовой-Лебедевой или романам Достоевского. Не боюсь сказать,

что в моей шестидесятилетней жизни Лемешев сыграл едва ли не меньшую роль, нежели величайший и самый трагический прозаик мировой литературы, хотя, естественно, совсем иную. Думаю, что я удержал в себе жизнеутверждающее начало главным образом благодаря ему.

В первую же встречу на «Севильском цирюльнике» Лемешев открыл мне музыку. Лев Толстой в глубокой старости, думая о смерти и пытаясь примирить себя с неизбежным, порой веря, что ему это удастся, сказал однажды с душераздирающей болью и слезами в старых глазах: «Но ведь там не будет музыки!»

Я начисто лишен слуха, хотя со временем у меня обнаружилась редкой цепкости музыкальная память, — неверно, фальшиво в каждой ноте, но так, что любой человек догадается и без слов, что я имею в виду, могу спеть от начала до конца «Риголетто», «Травиату», «Трубадура», «Евгения Онегина». Старее, прежде мог бы еще исполнить и «Богему», и «Паяцев». Музыка не царила в нашем доме, хотя какой-то тайной, сомнительной памятью вижу черное блестящее крыло рояля в одной из отобранных у нас позже комнат. Тонким слухом обладал отец, но он постоянно находился в отлучке, строя по всей стране и появляясь в Москве лишь эпизодически, что не мешало ему сделать мне величайший за всю мою жизнь подарок: Лемешева! У матери был плохой слух, музыка ее мало трогала, но, убирая по утрам комнаты, она напевала «Шумом полны бульвары», «Пара гнедых», ранние романсы Вертинского, с которым дружила еще гимназисткой. Потом мать, видимо, решив окончательно разделаться с музыкой, продала рояль, разошлась с отцом и вышла замуж за писателя Рыкачева, которому не то что медведь — мамонт на ухо наступил.

Я уже был страстным читателем и удивительно рано — и на всю жизнь — поддался волшебству красок и линий, безжалостно прогуливая школу ради Музея западной живописи (бывший Щукинский), Музея изящных искусств и

Третьяковки. Я уже начинал прислушиваться к стихам, хотя этот рай открылся мне много позже, замирал у красивых зданий — словом, обнаруживал все то, что очень скоро подсказало моим глубоко огорчившимся родителям: инженера из их сына не получится. Вместо настоящего человека технического века в доме растет безнадежный гуманитарий. Мой печальный удел представлялся им еще печальней, ибо они видели, что я начисто обделен в главном, без чего невозможно не только творить в любом искусстве, но даже воспринимать его по-настоящему. Все знают, что Гете называл архитектуру «застывшей музыкой». Но чего стоят без музыки не только стихи, но и «презренная» проза? И в живописи присутствует музыкальное начало. Ритмом поражает «Тайная вечеря» Леонардо. Хорошо, что я сам, подобно Иоланте, не догадывался о своей обделенности. Боже, до чего же я был нищ, пока человек в бархатном плаще графа Альмавивы не открыл мне Вселенную музыки! Значит, что-то древнее, родовое, Бог весть из какой глубины скрывалось во мне под толстым пологом глухоты.

Мой случай любопытен не в плане моей личной биографии, что важно лишь для меня самого, а в плане общем: значит, может человек без слуха, ну, с предельно дурным слухом, не только полюбить музыку, но сделать ее одним из главных сокровищ своего духа. Я не знаю, что такое «понимание музыки». Во всяком случае, это не то, что пишут на пластиночных конвертах: «...разработка основана не на внешнем, формальном изменении составляющих ее элементов, а на свободном истолковании заложенной в ней поэтической идеи». Узнаете вы в этом «Крейцерову сонату»? Что дает страждущей душе подобное шаманство? Но в силах человека, явно не рожденного «для звуков сладких и молитв», сделать так, чтобы музыка стала счастьем его дней. Мне же музыка помогает и в моей писательской работе. Ею я проверяю звучание фразы, насыщенность, ритм..

Почему же именно на Лемешеве произошел этот психологический сдвиг, почему им разбужена была глухая

душа? Ведь меня и до этого таскали в оперу, но ничего, кроме скуки, я не ощущал. Я уже говорил, что раньше всего открылся изобразительному искусству. Ни о чем не мечтал я так страстно, как об истории живописи Александра Бенуа. И когда родители смогли наконец сделать мне этот подарок, не было на свете более счастливого человека. И сейчас мне думается: я услышал голос Лемешева, очарованный его обликом, откликнулся на его красоту, ценить которую научила меня живопись. Только на полотнах старых мастеров видел я лица такой красоты и благородства. А прибавьте к этому изящество движений, аристократизм в каждом жесте. Откуда у крестьянского сына, выходца из деревенской тверской глубинки, такая изысканность, тонкость повадки, сочетавшей свободу со сдержанностью? Истинно народный человек, Лемешев, когда требовалось, без малейшего насилия над собой становился настоящим аристократом, это коренилось в редкой восприимчивости богато одаренной натуры, а закреплено хорошей школой, все-таки он был прямым учеником Станиславского!

Прекрасная наружность, которой не мешал скромный рост певца, так безукоризненно был он сложен, строен, широкогруд, стала для него в зрелости, когда развеялась юношеская беспечность, источником чуть ли не мук. При всей своей редкой доброте, скромности, врожденному расположению и доверию к людям, Сергей Яковлевич приходил в ярость от необузданности поклонниц. Он хотел, чтобы в нем видели певца, артиста, а не писаного красавца. Даже похожие на мясников представители бельканто, случалось, приходили в отчаяние от эротического напора почитательниц, каково же было тенору с внешностью Адониса?

Рискуя разгневать милую тень, ибо знаю, сколь тягостно было ее владельцу языческое поклонение необузданных поклонников, я все же вынужден подтвердить, что с закупоренными ушами и отверстыми глазами, действительно, сперва увидел внешний образ — картину, и,

как ни странно, зрелище отверзло мне слух. И этот слух уловил прежде всего необыкновенную окраску голоса певца — тот единственный в мире, теплый, нежный, волнующий, не поддающийся определению в бедных словах лемешевский тембр, позволяющий мгновенно узнать его по едва слышной, замирающей вдали ноте. Вот на какой волне внесло меня в музыку. Уже к концу того незабвенного оперного спектакля, который я потом слушал без числа, Лемешев стал восприниматься мной неделимо.

Лемешев не только открыл для меня музыку, научил ее слушать и слышать, что уже бесконечно много, он повел меня дальше, открыв нечто более сложное и важное, чем опера, романс, песня, ибо всегда давал что-то сверх прямого музыкального содержания, намекая на какую-то тайну, скрытую сторону бытия. Это отличало его от всех остальных певцов (кроме Обуховой, владевшей тем же колдовством), даже с большими голосами, с безграничными верхами и умением доводить каждую ноту до абсолютной исчерпанности. И тут дело не только в редком таланте, артистизме, отличной школе, сделавшей небольшому голосу доступным все (даже когда певец в результате тяжелой болезни остался при одном легком), не только в любви к своему искусству, непосредственности, образцовом вкусе, но и в том, что он сам был частью природы, таким же естественным творением земли, солнца, воздуха, как трава, цветок, дерево, и такой же принадлежностью России, ее истории, ее боли, ее терпения, ее радости и нежности наперекор всему, как и породивший его народ. Поэтому в его пении, чрезвычайно умелом, мастерском, а вовсе не нутряном, сыром, как Бог на душу положит, не было никакой «химии» — я только недавно узнал это выражение, обозначающее то, что не позволило мне полюбить с равной силой других выдающихся теноров. Лемешев — вне счетов, над ними, к нему приложимы слова Бориса Пастернака, адресованные высшей поэзии:

И тут кончается искусство,  
И дышит почва и судьба!

Я хочу вернуться к тому, что создает неповторимое очарование голоса Лемешева и дарит ему такую власть над душами, — к его тембру. На память приходит замечательное высказывание тогда еще совсем юной Мариэтты Шагинян о Рахманинове, чьей страстной и наиболее умной поклонницей она была. Мариэтта Сергеевна первой сказала и написала о единственном в своем роде «смуглом звуке Рахманинова». Логически объяснить ее слова невозможно, что не помешало многим писавшим о Рахманинове сразу принять их на вооружение. Ирония судьбы — Рахманинов так сердился на своего друга Скрябина за звуко-цвет, а лучшее определение для его собственного пианизма нашлось в цветовом ряду. Сколько я ни читал о Рахманинове, сколько ни слушал его, работая над двумя большими посвященными ему рассказами, телевизионной передачей и сценарием, нет точнее и художественней слов, осенивших Мариэтту Сергеевну. Видимо, Артур Рубинштейн не знал их, когда во время его московских гастролей Лев Оборин спросил, кого тот считает величайшим пианистом в мире.

— Владимира Горовица, — не задумываясь, ответил Рубинштейн, явив своим ответом не только высокую художественную честность, но и скромность: великий виртуоз имел право хоть на легкое колебание.

— Как, а не Рахманинова? — удивился Оборин.

— Ну, так это же Рахманинов!.. — чуть растерянно произнес Рубинштейн. — Это совсем другое дело... Горовиц — да!.. Но, знаете ли... — и, не найдя слов, покрутил коротковатыми для пианиста такой феноменальной техники пальцами.

Казалось, еще немного, и он скажет: знаете ли, у Горовица есть все, кроме смуглого звука Рахманинова, но повторного открытия не случилось.

У голоса Лемешева — смуглый звук, которым не обладает никто другой...

Сергей Яковлевич Лемешев научил меня прежде всего любить оперу — искусство, которое некогда считалось вершиной музыкального творчества. Моцарт постоянно мучился, что ему не заказывают опер (их заказывали Сальери — кто кому завидовал?), он справедливо считал, что непоставленная опера — мертворожденное дитя, как бы прекрасна ни была музыка. Ибо опера — синтетическое искусство: сочетание музыки и зрелища. Верди и Вагнер целиком выразили себя в опере, исходя из взаимоисключающих представлений о ее существовании: драматический мелодизм Верди и музыкальная драма Вагнера. Опера была источником муки и счастья Петра Ильича Чайковского, еще большее место занимала она в творчестве Римского-Корсакова. Но в нашем веке опера стала считаться чем-то второсортным, пошловатым, почти смешным. Видимо, сыграли роль и нападки Льва Толстого, хотя они касались скорее исполнения, нежели существа того высокого и сложного искусства, каким является опера. Уж больно уязвима опера именно в силу того, что слишком много требует от артиста: большого голоса, музыкальной культуры, внешности, драматического таланта. Природа редко бывает столь щедра к своим детям: за каждый дар она тут же взимает дорогую плату.

Я читал в мемуарной книжке Джильи, что теноровый голос как-то связан с надпочечниками и еще какими-то важными, весьма почтенными, но не очень поэтичными внутренними органами человека, и что единственный в своем роде голос Карузо явился результатом парадоксального строения его внутренностей, подтвержденного посмертным вскрытием рано покинувшего мир певца. Толщина тоже нередко сопутствует тенорам. Сам Джильи был безобразно толст и очень некрасив; тучен и внешне малопривлекателен был и великий Карузо, болезненно толст — Марио Ланца, быстро, ради киносъежек, похудение на два пуда привело его к мгновенной, преждевременной смерти. Та-

ких стройных и высоких теноров, как наш Иван Семенович Козловский, не часто встретишь. Строен и прекрасен был в молодые годы великий Собинов. Но это все исключения: чаще всего тенор — это маленький, крутлый человек, нередко с бычьей шеей, и мы должны верить в пузатенького герцога Мантуанского, в не помещающегося в собственные штаны трубадура Манрико, в немолодого и крайне непоэтичного Ленского, в Альфреда, похожего на банкира выше средней упитанности, в смешного коротышку Рудольфа. Еще хуже обстоит дело с оперными героинями: десятипудовая Виолетта, пытающаяся уверить зрителей легким покашливанием, что она умирает от чахотки, а не от ожирения, старенькая Джильда с бульдожьей мордочкой и такая же Лакме, почему-то колоратурные прелестницы непременно лет на десять-пятнадцать старше партнеров, — все это столько раз обыгрывалось юмористами, что не стоит повторяться. Плохая игра, чаще же полное отсутствие таковой (неизвестно, что хуже), скверный текст и глуповатое, устарелое либретто окончательно принизили высокое искусство оперы в глазах людей «образованных», как выражались в прежнее время. Сохранившие верность опере относились к ней как к искусству, неотделимому от условности. Ведь условности самого разного рода отлично приживаются на сцене: условность шекспировского театра, где слово «лес», намалеванное на доске, заменяло усилия декораторов; условность кукольного театра, ничуть не озадачивающая маленьких зрителей; условность театров Мейерхольда или Таирова; условность балета, где чувства выражаются танцами, — надо только принять правила игры, и вам ничто не будет мешать. Преданные опере люди соглашались на все условности: пусть почтенная матрона (Джилда, Лакме, Мими) в нарушение житейской морали чарует незрелого, но уже с «пивным брюхом» юнца (Герцог, Джеральд, Рудольф), пусть обновленный Фауст старше себя же седобородого, а мечтательный поэт Ленский — подагрик преклонных лет.

Мне же крепко повезло в 1932 году. Понимая и любя условный театр, я не выношу условностей, так сказать, вынужденных, — тех, о которых речь шла выше. Но когда я начал посещать Большой театр (назовем так звучно «протырку»), на сцене появлялся настоящий обворожительный герцог Мантуанский, настоящий Альмавива, настоящий Альфред, настоящий Рудольф, настоящий Ленский — начинался триумфальный путь Лемешева.

Здесь по справедливости следует сделать одно отступление. В очерке-рассказе «Золотое зерно», опубликованном «Нашим современником», Владимир Солоухин пишет: «После Собинова, о котором мы уже не стесняемся говорить — великий, у нас два тенора выходят из ряда так решительно и далеко, что другие, тоже замечательные тенора остаются все же внизу и сзади. Если время в течение ближайших лет не произведет какого-нибудь уникама, который затмит все и вся, то эти певцы — Лемешев и Козловский — так и будут представляться нам среброголовыми великанскими вершинами в ряду пусть высоких, но не достигающих все же оледенелой, незыблемой славы гор».

Когда Лемешев пришел в Большой театр, там царил Иван Семенович Козловский. В своей прекрасной автобиографической книге Лемешев пишет о том глубоком уважении и восхищении, которые всегда испытывал к старшему товарищу по сцене, — разница в годах была невелика, но Козловский много раньше пришел в Большой театр и уже завоевал широчайшее признание. С приходом Лемешева началось двоевластие. Они очень разные во всем, эти два замечательных певца. Козловский, обладатель большого голоса, который он умел тщательно беречь, великолепно поставленного дыхания, гарантирующего непомерные верха, похоже, не стремился (за одним-единственным исключением, о котором — чуть ниже) к созданию сценического образа. Он всегда оставался Иваном Семеновичем Козловским — голос был прекрасен сам по себе и артист не слишком заботился о музыкальной характеристике персонажа:

лилось расплавленное серебро, а из чьей груди — Альфреда, Рудольфа, Синодала — какая разница? Порой казалось, что он и вообще всех их презирает. Но было одно исключение — до слез пронзительный образ Юродивого («Борис Годунов») с закатившимися, полубезумными глазами, с доброй, расслабленной и страшной, как рок, улыбкой: Николка в железной шапке, у которого отняли копеечку, бросает царю Борису в глаза ужасную правду, а затем его потрясающий стон вплетается в голос народной боли. Этот образ был органически близок Козловскому, человеку Божьему, — его хлебом не корми, дай попеть в храме, полюбоваться иконой древнего письма, с другой стороны, заковыристу, шутейному — он обожает двусмысленность капустников, розыгрыши, маскарады, всякую затейщину, и, наконец, чрезвычайно приверженному русской истории, культуре, искусству. И наверное, изящные герои Верди, Пуччини, Гуно не слишком вдохновляли его в плане драматическом, достаточно того, что он уделял им свой чарующий голос... Очень сильная индивидуальность, он не считал нужным подчинять себя тому, что не вызывало у него такого мощного ответного движения, как уникальный образ Юродивого. Ему он откликнулся всей своей глубинной сутью, а лирическим красавцам — нет. Он был великолепным Лозэнгрином, чему способствовала статуарность неземного образа посланца святого Грааля. Талант Козловского не столько лирического, сколько эпического плана.

Мягкая, податливая, не склонная к постоянному самоутверждению натура Лемешева и большой драматический дар позволяли ему легко и радостно перевоплощаться в самых разных героев: от романтического Дубровского до смешного поповича Афанасия Ивановича в «Сорочинской ярмарке». Он любил и умел играть, недаром уже в старости с огромным успехом выступил в роли царя Берендея, но не в опере, как прежде, а как драматический актер в пьесе-сказке Островского.

Остановлюсь на таком запетом, выхолощенном всеми тенорами образе, как легкомысленный и жестокий герцог Мантуанский (кстати, побывав недавно в Мантуе, я узнал, что там правил знаменитый в итальянской истории род Гонзага). Я не принадлежу к тем, кто считает, что опера Верди опошшила «гениальную» пьесу Виктора Гюго «Король забавляется». У Гюго Франциск I (галантный, но в государственных делах весьма серьезный и деятельный монарх) и умный шут Трибуле так же неисторичны, как вымышленный герцог Мантуанский и горбач Риголетто. Но у Верди вместо трескучей высокопарности звучит мелодичнейшая музыка, а само мелодраматическое действо — я понял это через Лемешева — нашло более точное воплощение, нежели у необузданного французского романтика.

Герцог Лемешева в полном соответствии с музыкой и замыслом Верди, всегда знавшего, чего хочет, — это человек позднего Возрождения. Не просто сластолюбец, жестокий и беспощадный раб плоти, готовый принести в угоду мгновенному и неодолимому вожделению любую жертву, нет. Он прежде всего Великий любовник, он не в силах противостоять чувству, но в каждую данную минуту всегда искренен. Кто видел замечательный английский фильм «Генрих VIII» с Чарзом Лаутоном в главной роли, помнит поразительный, заново прочтенный образ традиционного злодея, губителя молодых безвинных женщин, представшего в фильме тоже человеком Ренессанса, когда во весь голос заговорила о себе подавленная, попранная средневековьем плоть, человеком необузданным, чрезмерным во всем, но по-своему притягательным и вовсе не столь виновным. Лаутон почти оправдал своего героя, показав его изнутри, это не Синяя Борода старых сказок, а громадная личность, переполненная соками жизни.

Герцог Мантуанский Лемешева — тоже порождение своей эпохи, жадной до наслаждений и мало щепетильной в достижении их. Позже репертуар Лемешева украсит юноша Возрождения более раннего времени, и сыгран он

будет совсем иначе. Ромео и Джульетта отважились поставить любовь над предрассудками, герцог Мантуанский зажег свой огонь, когда плоть была не только реабилитирована, но вознесена, почти обожествлена великими художниками и скульпторами, когда девственно чистого Петрарку заслонил сочный, порвавший со всеми запретами Боккаччо и откровенно похотливый Поджо Браччолини. И все же Герцог по-настоящему страдает, когда думает, что Джильду похитили подлые негодяи. В арии «Вижу голубку милую», так часто пропускаемой другими тенорами, звучит истинный голос молодой страсти и боли. Но Джильду, оказывается, похитили придворные для своего повелителя, и он мгновенно забывает о всех горестях и упивается любовью, а испив эту чашу до дна, он так же мгновенно забывает о бедной девушке, захваченный цыганской прелестью Мадалены, — в любовном демократизме Герцогу не откажешь. Но не откажешь и в другом — обезоруживающей неподдельности страсти, он каждой отдает себя до конца, и женщины счастливы с ним. Пусть на одну ночь, на один час, на миг... Беда Джильды в том, что, отгороженная пуливым калекой-отцом от всего мира, она не знала, что постоянство и верность стерты со скрижалей уже загнившего времени. А вот Герцог это знает, как знает цену самому себе и своим дамам сердца, которых все равно любит, пока с ними. И увлекает та отвага, с которой он кидается навстречу новому приключению, чреватому порой гибелью. Нет, Лемешев не оправдывает Герцога, но, показывая его изнутри, как Чарлз Лаутон — Генриха VIII, делает из оперного манекена живого, пылкого, грешного, очаровательного человека, способного к воспламенению, даже к состраданию, но слишком завертевшегося в сверкающей карусели жизни; по-своему даже безвинного, ибо он уверен, что играет с окружающими на равных. Будь Риголетто не шутком, а просто человеком двора Гонзага, Джильда выросла бы в понятиях своего времени, и тогда не исключено, что она стала бы герцогиней Мантуанской или, отряхнувшись, пошла

дальше тем же путем, каким спокойно шествовали другие дамы того нетребовательного в нравственном смысле времени. В ее гибели повинен не столько влюбчивый Герцог, сколько несчастный отец, скрывший от дочери скверну жестокого и развращенного мира.

Затасканная опера, освеженная талантом Лемешева, оказалась куда осмысленней и глубже, чем нас приучили думать представители бельканто, оружие во всю мощь воловьих связок о моральной безответственности своего героя, или отечественные соловьи, обласкивающие старые мелодии дивными трелями, но ни разу не затруднившие мозг заботой о смысле этих трелей.

И совсем другими красками рисовал Лемешев Альфреда в «Травиате», запетей не меньше, чем «Риголетто». Засалившийся от векового тенорового равнодушия и никогда не сыгранный всерьез, Альфред смирился с участью бледного спутника Виолетты. Талант и поразительная интуиция недавнего крестьянина и кавалериста вдруг наделили образ объемностью и глубиной самостоятельной жизни. Альфред обрел и отчетливую социальную окраску: он типичный отпрыск богатой буржуазной французской семьи, тянущейся к аристократии. Но все же не дотягивающейся, что Лемешев великолепно показывал в сцене мести Альфреда бросившей его любовнице и столкновения с бароном. Здесь в изящном Альфреде проявилось что-то нуворишское, что-то такое, что по светскому счету ставило барона выше его. И он сам это чувствует, но ничего не может поделать с собой. Альфред Лемешева спасается отчаянием и любовью — и спето и сыграно это выше всяких похвал. Я не знаю, читал ли Лемешев Марселя Пруста, вряд ли, он слишком предан был русской классике, но его Альфред напоминает мне изящных прустовских героев, прежде всего самого Рассказчика, принадлежащего к той же социальной среде, что и Альфред Жермон, и вообще близкого ему по духу, обнаруженному Лемешевым в этой оперной марионетке.

Но великая литература как бы наполняет собой атмосферу и проникает в людей произвольно — с дыханием; можно не открывать Пруста и все же обладать неким подсознательным представлением о его художественном мире.

Альфред первого действия — это юный парижский денди, старающийся казаться более искусственным, чем это есть на самом деле, даже несколько пресыщенным своим далеко не столь уж значительным опытом в «науке страсти нежной». В нравственном отношении это не то что бы буржуазный герцог Мантуанский, но ему очень бы хотелось так выглядеть в глазах окружающих. Нежданно вместо очередной интрижки его охватывает настоящее, глубокое чувство, и не к чистой девушке, а к профессионалке любви. И та отвечает ему взаимностью. Любовь перерождает многоопытную душу Виолетты, смывает с Альфреда налет парижского лоска, возвращает к себе подлинному, доверчивому, милому провансальскому юноше, уже осознавшему ответственность за чужую судьбу. Задумчивая ария второго действия, исполненная нежности, благодарности любимой женщине и пробуждающейся молодой силы, способной отстоять любимую в жестоком и жадном мире, была так интонационно богата у Лемешева, что я никогда не замечал ее нищих слов. Остальные тенора, в меру отпущенного им таланта, лишь информировали слушателей о якобы свершившейся в них перемене, озабоченные одним: довести до нужной кондиции каждую ноту.

Я слушал «Травиату» не счесть сколько раз и всякий раз поражался слиянности Лемешева с образом. Ему не надоедал его герой. В третьем действии, когда он появляется на балу, чтобы совершить свою жестокую и жалкую месть, он был как натянутая струна. Это все тот же юноша, наивный, любящий, добрый, но оскорбленный до глубины души и собравший все силы, чтобы сыграть беспощадную мужскую роль. С необыкновенным артистизмом, изяществом и тонкостью давал Лемешев проглянуть за все-

ми взрослыми поступками Альфреда милую мальчишескую нелепость этой жертвы точно и беспощадно знающего свои цели общества.

И наконец, последний Альфред — исстрадавшийся, все понявший, безмерно любящий, ставший настоящим человеком — да слишком поздно...

Я мог бы немало сказать о Лемешеве — Рудольфе, действительно нищем поэте, счастливом своим внутренним богатством, даром слагать песни. И как зазвучали банальные, безнадежно стершиеся слова у бывшего деревенского мальчика, поэтичного и звонкоголосого, которому легко было ощутить себя певучим бедняком другой страны, обитателем мансарды, по-нашему — чердака, полюбившим милую девушку, швею с замерзшими руками. И о юном английском офицеришке Джеральде, пришедшем с оружием в чужую страну без малейшего сознания своей вины, потому что так был он воспитан в аристократическом английском доме и в аристократическом военном училище. При своей социальной слепоте Джеральд добр и доверчив, а встреча с туземной девушкой Лакме производит переворот в его душе, чему не препятствует, а помогает страшная рана, нанесенная ему отцом Лакме — мстителем Нилакантой. Через Лакме Джеральд сроднился с природой чужой страны, начал постигать достоинство и правду населяющего ее народа, но окончательного прозрения все же не произошло — слишком тяжок был груз прошлого, воспитания, старых привязанностей. Так наполнился у Лемешева человеческим содержанием считавшийся весьма бедным образ.

Я нарочно брал или запетые, или малозначительные, по общему мнению, партии, чтобы подчеркнуть удивительную способность Лемешева наделять трепетной жизнью оперные фигуры. Но сейчас мне хочется обратиться к образу, который стал выдающимся событием в жизни русской оперы, да и мировой, как утверждает знаменитый шведский тенор Николай Гедда. Речь идет, разумеется, о

Владимире Ленском, которого Лемешев спел впервые на сцене Театра-студии имени Станиславского под руководством великого режиссера и которым завершил блистательную карьеру на сцене Большого театра.

В своей талантливой и очень искренней мемуарной книге Наталия Сац посвящает интересную главу Лемешеву. Она пишет о том предвзятом отношении, какое у нее было к оперному кумиру, залюбленному до неприличия неистовствующей публикой. Слащавый шум восхищения действовал на Наталию Ильиничну раздражающе, и ее не тянуло знакомиться с Лемешевым, даже с Лемешевым - певцом.

Но когда сын Адриан захотел послушать «Евгения Онегина» — а Ленского в тот вечер пел Лемешев, — она рискнула. Дело в том, что Наталии Сац посчастливилось видеть на сцене Большого театра Ленского — Собинова, и ей казалось, что она никогда не примет никакого другого исполнителя, настолько благороден, поэтичен, аристократичен во всех смыслах был образ, созданный великим русским певцом.

Но с первого появления Лемешева — Ленского Наталия Сац ухватила своим наметаннейшим театральным глазом, что ей будет предложено совсем иное прочтение знакомого образа, делающее излишним сравнения и сопоставления. Она увидела не молодого аристократа, перенесшего в сельскую глушь геттингенскую утонченность и поэтическую меланхолию. Нет, это был открытый русский юноша, с хорошими, свободно-сдержанными манерами; в родном усадебном березовом привычке рослыми хрустальными зорями с него смыло иноземную, чуть натужную изысканность, осталась истинная суть — наивная, простодушная, поэтическая, не потому, что он кропал стихи «темно и вяло» в модном романтическом духе, а потому, что сам был поэзией — безоглядно влюбленный в пустенькую Ольгу, восторженно горящийся дружбой с петербургским львом Онегиным, доверчивый, нежный, ранимый и... обре-

ченный. Сау увидела все это, услышала чарующий молодой голос, исполненный не только красоты, но и правды, и отдала ему свое неподкупное в искусстве сердце. У меня создалось впечатление, что этот юноша-поэт из глубины русского пейзажа оказался ей ближе канонизированного, с байроническим ореолом героя. Но может быть, я заблуждаюсь, и в просторной душе Наталии Сау нашлось место и для того, и для другого Ленского.

А оставшийся с давних пор ледок быстро, почти мгновенно растаял, когда значительно позже в санатории «Подмосковье» она познакомилась с Лемешевым и увидела «анти-тенора» — скромного до застенчивости, простого, радостно открытого людям. «Нет такого венка, нет таких слов, даже и музыки такой, которая могла бы передать его очарование», — писала Наталия Сау уже после смерти Сергея Яковлевича Лемешева.

По-моему, Ленский Лемешева ближе к литературной первооснове, нежели Ленский-аристократ; Пушкину ни к чему был сельский дубликат Онегина, и он относится к своему поэту с чуть приметной иронией. Вспомните, ведь Пушкину не нравятся стихи, которыми Ленский прощается с любимой и жизнью. У Чайковского этот момент снят, я имею в виду музыкальное решение арии «Куда, куда», — композитор начисто отмел пушкинское «темно и вяло». Но некая легчайшая провинциальность, жалкость, что ли, Ленского рядом с матерым Онегиным сохранена Чайковским в конструкции образа, это особенно заметно в сцене бала у Лариных, где Ленский так юношески трогателен в своем «грозном» мужском поведении. Ленский — не из романтического тумана европейского дендизма, он из старых русских садов, темных липовых аллей, кипящей по весне черемухи...

Ленским Лемешев дебютировал в Большом театре, Ленским же прощался со сценой. Он еще будет давать концерты, выступать по радио и телевидению, сыграет Берендея в сказке Островского, но черный фрак Ленского, его бобровую шапку не наденет больше никогда...

В канун спектакля, после спевки, когда сцена опустела, Лемешев подошел к дирижеру — с ним одним пел он в операх последние годы своей профессиональной жизни. Этот дирижер был не только первоклассным музыкантом, истинным Маэстро, но и добрым, хорошим человеком, верным другом. Он знал, как Лемешев дышит, как фразирует, что ему тяжело, и, крепко держа оркестр в руках, неведомо для публики помогал певцу. И если казалось, что пожилой Лемешев поет с прежним блеском и очарованием, то в этом была немалая заслуга дирижера. Он-то знал, что Лемешев поет не по-прежнему, но хорошо помнил время, когда тот не нуждался в помощи, когда для него не существовало трудностей и проникновенный, из сердца, смуглый голос возносил и партнеров, и оркестр, и самый заурядный спектакль.

— Что-то не так, Сереженька? — спросил он участливо.

— У тебя «не так» не бывает. Дай Бог, мне тебя не подвести... Посмотри, как я буду падать. Врачи говорят, что это для меня опасно.

Еще бы не опасно! Тяжелейший инфаркт, острый сердечный инцидент, называемый в быту микроинфарктом, больные сосуды...

— Слушай, — осторожно сказал дирижер, — а нельзя ли считать, что Онегин промахнулся? Или что ты умрешь от раны за сценой? Пусть секунданты окажут тебе первую помощь, уведут... Ведь это юбилейный спектакль. Неужели люди придут смотреть, как ты падаешь?

— Чур тебя! — Лемешев даже испугался. — Какое кому дело до моих хворостей? Раз вышел — играй до конца... Я сейчас упаду, а ты скажешь, годится или нет. Итак — выстрел!..

Он шатнулся, выпустил пистолет, прижал руку к груди, сделал шаг-другой вперед и, подогнув колени, мягко, с полуборотом опустился на грязные половицы. «Сколько изящества в этом семидесятилетнем человеке! — восхитился дирижер. — Какая пластика!.. Вот уж поистине природа не поскупилась!..»

— Прекрасно! — сказал он. — Всем бы такой смерти. Но мой совет — падай чуточку медленней. Художественная сторона не пострадает, а медицинская выиграет.

Но на спектакле, превратившемся не в триумф даже, а в какое-то радение, Лемешев так грохнулся оземь, сраженный пулей Онегина, что у дирижера вскипели дыбом седые волосы над смуглой лысиной. И когда выходили раскланиваться, он накинулся на Лемешева:

— Сумасшедший! Разве можно так?.. Я думал, ты не встанешь.

— А какая разница? — донеслось будто издалека. — Ведь я больше никогда не спою Ленского...

Лемешев, как говорилось, начал работу над этим образом в ранней молодости, у Станиславского. Он, несомненно, очень много приобрел у светоча русского театра, больше, чем признается в своей превосходной, сохранившей его смуглый тембр книге. Станиславский, с одной стороны, приблизился к жизненной правде, с другой — утвердил вопреки собственному желанию и намерениям в твердых представлениях о том, как не надо играть в опере и как не надо ставить оперные спектакли. Последнее особенно пригодилось Лемешеву, когда он сам выступил постановщиком опер (блестящий «Вертер» в Большом театре, «Травиата» на сцене Ленинградского Малого оперного), когда работал с молодыми певцами в Оперной студии при Московской консерватории.

Я ходил на «Севильского цирюльника» в Театр-студию Станиславского и в середине тридцатых годов. К тому времени я уже был завзятым меломаном и не раз наслаждался легкой, лаконичной по оформлению, изящной и какой-то просторной постановкой этой оперы на сцене филиала Большого театра.

Потом этот спектакль неизвестно зачем решили обновить, он стал пышнее, затейливее, историчнее по костюмам и декорациям, и при этом — громоздкий и душный — утратил многое из своего очарования. Появились лишняя

бутафория, накладные носы у Альмавивы-офицера и Альмавивы — учителя пения, раздражали натужные попытки рассмешить публику. Но этот утяжеленный ненужным историзмом и правдоподобием спектакль оставался бесконечно далек от чрезмерного реализма оперного театра Станиславского.

Там на сцене был оборудован настоящий врачебный кабинет доктора Бартоло со всевозможными медицинскими принадлежностями: инструментами, колбами, ретортами, банками с мазями и бутылочками с лекарствами, клистирными кружками, плевательницами, зубо врачебным креслом, лежаком для больных, человеческим скелетом и полками со справочной литературой. Я хорошо помню, как трудно приходилось артистам в этом перенасыщенном реалиями помещении, каким неестественным казалось их пение среди медицинских причиндалов и до чего несчастное лицо было у неплохого тенора Смирнова, исполнявшего графа Альмавиву.

Опера и натурализм несовместимы. Условность лежит в самом существе оперного искусства: раз люди там не разговаривают, а поют, житейское правдоподобие не только исключается — оно губительно. Все на сцене должно быть подчинено пению, и лишь когда это достигнуто, режиссерская фантазия может изощряться в поисках каких-то новых, интересных форм подачи действия. Но мешать певцам режиссер не должен.

Мне вспоминается спектакль «Фра-Дьявола», спасенный успехом Лемешева в главной роли и сдерживающим его влиянием во время работы от попыток молодого режиссера Г. Ансимова засуетить оперу в духе того житейского правдоподобия, которое давно себя скомпрометировало. На этой истории я останавлиюсь подробнее, поскольку о ней серьезно, доказательно, хотя и с обычной деликатностью, говорит Лемешев в своих мемуарах и куда менее доказательно и деликатно Г. Ансимов в книге «Режиссер в музыкальном театре».

Для начала Г. Ансимов сообщает, чтобы не было у читателей сомнений, о каком Лемешеве пойдет речь: «баловень зрителей и особенно *зрительниц*» (курсив мой. — Ю.Н.). Оставим в стороне бестактность этой подковырки, — разве допустимо так говорить об умершем великом артисте, который не может себя защитить? — вернемся в последний раз к волнующему вопросу о «зрительницах».

Уже упоминалось, как донимали Лемешева не знающие меры поклонницы, сколько причиняли ему огорчений. Они и сами это знали, но ничего не могли поделать с собой, старались лишь реже попадаться на глаза. Но однажды, когда Лемешев раньше обычного вышел из артистического подъезда, буквально во все стороны брызнули осаждавшие двери зазевавшиеся почитательницы. И, как всегда, у Лемешева врожденная доброта взяла верх над досадой. «Ну что вы, в самом деле, раскатились, как сыры!» — сказал он мягко, жалеючи. С тех пор повелось называть «сырами» лемешисток и лемешистов. Но вот какие неожиданные повороты делает жизнь: с годами из неслети, осаждавшей Лемешева, выкристаллизовалась группа людей, чья безмерная преданность артисту и человеку, самоотверженная любовь и понимание скрасили ему сумеречные дни ожидания ухода (он тяжело болел, ведал о скором конце, не боялся этого, хотя грусть порой наплывала на его светлую душу). С.Я.Лемешев прожил непростую, бурную, с трагическими перепадами, но в общем-то прекрасную жизнь, и на закате у него оказались замечательные друзья, готовые за него в огонь и в воду, помогавшие ему в работе (он до последних дней не переставал трудиться для радио и телевидения), способствовавшие его связям с миром, — и это великое счастье, не столь уж часто выпадающее смертным. Господь за одного праведника помиловал грешный народ, здесь праведников куда больше, и ради них простим всех бедных крикуний, которые на последние денюжки покупали веточки мимоз или букетик фиалок тому, кто олицетворял для них всю красоту и

радость жизни. Право же, есть грехи куда худшие. Вот мы сейчас о них и поговорим. Но сперва мне хотелось отдать должное благородным и бескорыстным людям, не позволяющим злу перетянуть на весах вечности.

Установив, о каком Лемешеве пойдет речь, Ансимов тратит много слов, чтобы скомпрометировать отношение к драматическому искусству одного из очень немногих оперных певцов, умевших играть и создавать полнокровные образы.

Лемешев умел и любил это настолько, что отказался от предназначенного ему по праву образа Грицька — надоели влюбленные герои, — чтобы сыграть сатирическую роль Афанасия Ивановича. Но Лемешев, не только близко наблюдавший, но и принимавший прямое участие в мучительном эксперименте Станиславского, раз и навсегда усвоил главное: то, что способно украсить драматический спектакль, губительно для оперы, которая должна прежде всего дать простор певцу. Этому не понимал молодой режиссер Ансимов; на репетициях он замучивал комическую оперу Обера суматошными мизансценами обычного комедийного театрального спектакля, где чем больше неразберихи, тем смешнее, заставляя вокалистов играть как актеров драмы. Так играть Лемешев не хотел, уплатив долг подобным заблуждениям еще в молодости. Ансимов подробно повествует, как он замешал Лемешева в устроенную на сцене кутерьму. Вот он напустил на Лемешева «разгневанного Милорда — Воловова с фонарем. С опаской глянув на Милорда, Лемешев, не прекращая пения, отошел влево, но там столкнулся с Церлиной — Гусельниковой. Тогда он решил уйти вправо, но на том конце угрожающе размахивал шпагой Лоренцо — Орфенов. Оглянувшись вокруг, Лемешев убедился, что самым безопасным будет для него то место, которое было определено для Фра-Дьяволо раньше. Нехотя, пожимая плечами, всячески показывая тем самым, что у него просто нет другого выхода, он перешел туда. Но не успел он остановиться, как Воловов — Милорд сунул

ему фонарь...» Цитировать дальше неприятно — великого артиста травят на сцене, как крысу. И почему изобретательный режиссер остановился на этом? Можно было пригнать на сцену лошадь, ту самую, на которой выезжает Грозный в «Псковитянке», и заставить ее лягнуть певца или вывалить ему на ботфорты пахучие яблоки. Ах как бы заиграл обложенный со всех сторон фонарщиками, шпагомахателями, неуклюжими Церлинами и лошадьми «рутинер», полагавший, что оперная сцена существует прежде всего для пения!

Довольный собой, Г. Ансимов сообщает, что, расшевелив таким образом Лемешева, он заставил его играть, хотя и не добился полного понимания своих режиссерских принципов. Да, при всей своей бытовой покладистости Лемешев был тверд и стоек в вопросах искусства. Опера «Фра-Дьяволо» имела громадный успех благодаря блистательному исполнению Лемешевым главной роли, на все остальное публика и внимания не обратила, добродушно списав молодому постановщику его просчеты. Понимая это, режиссер-новатор довольно сурово расстается с Лемешевым на страницах своей книги, не забыв при этом поместить большую фотографию певца с теплым посвящением ему, Ансиму. Это выглядит непоследовательно, но ловко. Если же говорить серьезно: тем, как написал Ансимов о Лемешеве, он лишил себя права помещать в книгу его снимок да еще с такой надписью... И последнее: одно дело писать о живых, они могут ответить, защититься, сами перейти в наступление, другое — о мертвых, тут необходимы бережность и деликатность: ведь они немы.

### III

Вернусь к основной теме. От оперы Лемешев повел меня к романсу и песне. Казалось бы, естественней назвать песню раньше, она и доходчивей, да и как пел Лемешев русские народные песни! Но, утверждаясь на сцене Боль-

шого театра, Лемешев и в концертах пел арии из опер и первоклассные романсы Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Листа, Шуберта, Бизе. А русские песни, как и неаполитанские, появились в его репертуаре позже, и, если не ошибаюсь, сперва на пластинках, в радиопередачах, затем в концертах, преимущественно сборных. Лишь после «Музыкальной истории» русские песни прочно утвердились в его концертном репертуаре, нередко занимая целое отделение, а затем он уже стал давать концерты целиком из русских песен в сопровождении оркестра народных инструментов.

Если живопись помогла мне проникнуть в красочный мир оперы, то к романсу я, наверно, пришел от литературы, которая с юности завладевала мной все сильнее, хотя до поры скрывала, что станет судьбой. И опять же не случайно в страну романса должен был ввести меня Лемешев. Дело не только в том, что Лемешев той пары пел романсы, прекрасные по словам, находившим во мне живой отклик, но он всегда глубоко души знал, о чем поет, каждое слово было напоено смыслом, каждая нота — переживанием. Последнее становится особенно важным, когда широко известны обстоятельства, породившие тот или иной поэтический выплеск, ставший затем достоянием музыки. Так, в «Зимнем вечере» представляется совершенно неоправданным всякое форсирование звука, допускаемое иными певцами, ибо это идет вразрез с тихим, печальным настроением Пушкина, коротавшего в михайловском изгнании долгие зимние вечера в обществе своей няни Арины Родионовны и кружки, веселившей тоскующее молодое сердце одного и старое соболезнающее барину-затворнику сердце другой. Зимнее, тихое одиночество владело Пушкиным, и это тонко почувствовал его лицейский товарищ М.Яковлев, переложивший стихи на музыку. Но иные певцы начинают истошно кричать на словах «Спой мне песню», быть может, желая показать, что содержимое кружки уже подействовало. Напрасно. Вопреки всем своим вакхическим

песням Пушкин был человеком трезвым, вот Арина Родионовна любила-таки пропустить лишнюю рюмочку, но романс вовсе не о том...

Я не могу слушать без слез «Я встретил вас» в исполнении И. С. Козловского. Мгновенно в памяти всплывает чудесная страховская зарисовка Ф. И. Тютчева той поры, когда он написал это стихотворение (1870 год). У меня нет под рукой текста Страхова, поэтому я передам его своими словами. Заснеженным Невским проспектом, волоча по тротуару длинный рукав шубы, накинутой на плечи, — так тогда носили, — рассеянно бредет невысокий худой старик с длинными седыми волосами под меховой шапкой. Он погружен в свой печальный внутренний мир — элизум милых и тревожных теней, не отпускающих ему давних обид и вин. Дальше я фантазирую: вдруг что-то дрогнуло в старой груди — в окне проезжающей мимо кареты мелькнуло увядшее, некогда прелестное, любимое лицо, и пробудилась сохранившаяся под слоем пепла душа величайшего любовника русской поэзии. Воспоминания тридцатипятилетней давности охватили его, и «время золотое» явилось ему из стихов, написанных в тон сказочной дали, когда его покорила и бросила к своим ногам несравненная баронесса Крюднер-Адлерберг. И само собой сказалось: «Я встретил вас — и все бывшее в отжившем сердце ожило...» А может, и не так: стихи не сразу облеклись в слова, но та музыка, что предшествует им, зазвучала в сердце поэта...

Знаточи тютчевской поэзии утверждают, что он написал знаменитое стихотворение не по следам свидания, а позже, в Карлсбаде, обращаясь к своей бывшей любви через «сотни разъединяющих верст». Это неважно. Тютчев не раз встречался в обществе за эти три с половиной десятка лет с баронессой Адлерберг, посмотрел на нее чужим, холодным взглядом, а тут снова увидел жарким взором былой любви, и свершилось чудо рождения поэзии. «Я встретил вас» — стихи ожившей памяти, так их и понял переложивший на музыку неизвестный композитор. Так понима-

ет их наш прославленный певец до того рокового момента, когда в любовном перевозбуждении будто теряет над собой контроль: «И то же в вас очарованье!..» «И то же в вас очарованье!..» Случись с Тютчевым такое на Невском, насмерть перепуганная дама умчалась бы в своей карете, а разбушевавшегося поэта отвели бы в ближайший квартал...

Надо уметь порой наступать на горло собственной песне, это правило не только для поэтов. Недаром же известный тенор Соловьяненко, обладающий поистине безграничными верхами, выступая по телевидению, неизменно убеждает аудиторию, что не надо петь громко, не в этом искусство и «счастье рая». После чего поет — очень громко...

Я помню, как Лемешев пел песенку на слова Беранже о старушке, которая, хмелея, рассказывает внукам историю своей жизни. Он пел ее почти шепотом, но этот шепот никому не перекрыть, так он был человечен, безмерно трогателен, добр и мудр. И как лился, струился мягкий, доведенный до последней нежности голос, который оставался при этом голосом мужчины, не подражающего доброй подвыпившей старушке, а повествующего о ней проникновенно, но без слиянности, что было бы дурным тоном.

Лемешев всегда умел сохранять известную дистанцию между собой-исполнителем и героями песен, чтобы при максимальном сближении с чужим внутренним миром не скатиться в имитацию. Когда один из лучших довоенных певцов пел бетховенскую «Застольную», он придавал словам «Да жаль, что с воды меня рвет» почти физиологическое правдоподобие. Соблазн удивить публику «химией», будь это фантастически звучащая верхняя нота или... имитация рвоты, велик у певцов. Нужна не просто честность, но некая бесхитрость очарованной музыкой души, чтобы никогда не прибегать к подобным эффектам. Язык не поворачивается ставить это Лемешеву в заслугу, он ничего не преодолевал в себе, просто оставался таким, каким был задуман природой.

Из этого вовсе не следует, что Лемешев пел всегда тихо и, подобно гамсуновскому страннику, играл только под сурдинку. Да ничуть! Сколько сдержанной страсти вкладывал он в романс Ф. Листа «Как наяву ждал Лауру Петрарка», где гений европейского романтизма, возгоревшийся от чистого, светлого, но не обжигающего пламени гения раннего Возрождения, создал странную тайну, прочитанную одним Лемешевым. Я не помню этого эмоционального, предельно сложного романса в репертуаре наших певцов. А как разливисто, лукаво и широко пел Лемешев очаровательный романс Бизе «День вешний сиял!» А рахманиновские «Весенние воды», которые, в отличие от породившего их чисто пейзажного стихотворения Тютчева, обрели на сломе века бурлящую мощь общественной надежды и протеста, он пел неистово, вдохновенно, во весь голос, но без малейшего самолюбования.

Музыка, как и все искусства, — что стало особенно ясно после краха модернизма, — это разговор человека с человеком, средство общения, преодоление мировой немоты. С.Я.Лемешев был замечательным, редким собеседником, он научил меня слушать вокальную музыку глубже, дальше, порой вне слов, и будто вручил ключи от новой Вселенной. Словесный ряд был устранен, как прежде изобразительный, и я остался с музыкой один на один.

Теперь я уже знал, что музыка и исполнение могут чудесно вознести весьма посредственные, даже ничтожные слова. Вот почему П.И.Чайковский был столь нетребователен к текстам своих романсов и равнодушно выслушивал упреки доброго и безжалостного друга Лароша, что он «самый некультурный композитор в мире». А ведь и в самом деле удивительно: Чайковский создал свои лучшие оперы по пушкинским произведениям: «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Мазепа», а из ста (!) его романсов широко известен лишь один на слова Пушкина — «Соловей». Но композитор охотно писал на слова не столь крупного поэта А.К.Толстого, совсем небольшого — Апухтина и вовсе

слабого К.Р. Но если «Средь шумного бала» — один из лучших романсов Петра Ильича — обладает несомненными достоинствами поэзии, то другой знаменитый романс, «Страшная минута», по тексту ниже всякой критики. А как поет Лемешев эти ничтожные слова — аж мороз по коже! Музыка и певец превращают стекляшки в алмазы. Может быть, Чайковский утверждал таким способом примат музыки над словами, доказывал ее превосходство над бедной человеческой речью? Сильные, яркие, самодовлеющие слова ему просто мешали. Будем честны: лучшее, высшее у Пушкина, как лучшее у Тютчева, Лермонтова, Фета, так и не стало музыкой. «Второй ряд» поэзии этих гигантов обрел музыкальную жизнь, но вы не найдете там «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Ангела», «Я, Матерь Божия», «Когда на склоне наших лет», «В душе, измученной годами» и многое другое. Но как щедро «озвучен» малопродуктивный Дельвиг, сколько романсов и песен на слова А.Толстого, Полонского, Плещеева, Апухтина, Минаева и поэтов вовсе канувших.

Но я отклонился в сторону. Самым сильным художественным впечатлением за последнее время стало для меня исполнение Лемешевым романса Глинки «Желание». То ли я каким-то образом пропустил его прежде, то ли не сумел услышать. На недавно выпущенной пластинке в скобках указано: «подражание Романьи». Установить личность вдохновителя Глинки мне не удалось, автора слов — тоже. Но такая любовь, тоска, боль, тревога, трепет, что-то еще, чисто лемешевское, неопределимое в словах, надрывает грудь певца, что, слушая раз за разом этот романс, — а он стал для меня душевным и даже физическим подспорьем в нынешнюю трудную, слякотную, не дающую дыхания зиму (по-моему, я выжил лишь благодаря глинковско-лемешевскому «Желанию») — естественно, не сомневался в высоком качестве стихотворного текста. И вдруг, проборматывая про себя навязшие в зубах слова, я поразился набору красивых банальностей, хотя и слаженных не без ловкости. Противоядие было в одном:

еще раз поставить пластинку и прослушать романс — все разом вернулось: красота, печаль, тайна.

Лемешев возносит не только слова, но и музыку. Кто относился серьезно к коротенькому романсу-полушутке А.Титова «Я знал ее малым ребенком» на слова Д. Минаева? Крупный поэт-сатирик и видный переводчик, Минаев отличался завидной легкостью пера и мог сыпать поэтическими шутками, альбомными стишками, улыбчивыми миниатюрами. Опытного и одаренного поэта выдает в этом романсе лишь умелая «драматургия» стихотворения, где в два куплета вложена целая жизнь. Но когда уже пожилой Лемешев пел этот коротенький романс, в зале плакали. И я, тоже пожилой и седой, слушая наедине романс-вздых, плачу о так незаметно промелькнувшей жизни. Но запой это кто-то другой, в лучшем случае — усмехнешься, в худшем — плюнешь. Истинный шедевр Лемешев сделал из детской песенки «Лизочек», да ведь это не уступает сказочной поэзии Андерсена. Лемешев превращал в золото все, к чему прикасался.

Можно написать исследование о том, как пел Лемешев ямщицкие песни. Целая эпоха нашей жизни была окрашена трагическим взрыдом: «Когда я на почте служил ямщиком», после фильма-концерта полилась нежной радостью «Еду, еду, еду к ней», и по контрасту тем сильнее ударили в душу «Воронье удалые». Затем прозвучали песни лихача Кудрявича на слова Кольцева, и, по-моему, уже после войны он запел — и как запел! — гурилевскую: «Знать, уж мне не видать прежней светлой доли». Какое богатство интонаций было во всех этих столь разных песнях! Как чувствовал Лемешев русскую дорогу, ее призыв и ее тоску, надежду и отчаяние слишком долго находящегося в пути, горячее, потное тело коня, слиянность земли и неба. Но чему же тут удивляться, коли речь идет о бывшем крестьянине и звонком кавалеристе?!

Не в силах выразить своего ошеломления перед тем или иным явлением искусства, мы охотно прибегаем к та-

кими словам, как «волшебство», «колдовство», «маг», «кудесник» и т. п. Но совестно применять все эти слова к Лемешеву, поющему русские песни. Тут пленяет нечудодейство, а полная естественность; кажется, что не слышные нашему уху песни, разлитые в бескрайнем российском пространстве, проходят сквозь грудь певца и без всякого усилия с его стороны возвращаются назад, очищенные и озвонченные. Конечно, это не так, за каждой песней скрывался огромный профессиональный труд. Но есть и другое: зачинались все эти песни на завалинке крайнего дома деревни Старое Князево, где Лемешев пел их со своей матерью Акулиной Сергеевной и удивительно голосистой теткой по отцу Анисой, прожившей до восьмидесяти лет и до последнего дня певшей. Здесь закладывалось основное, то, что сделало Лемешева богом русской народной песни, а уж потом начиналась работа — долгая, изнурительная, выматывающая певца и ничуть не ощущавшаяся слушателями. Лемешев никогда не замучивал песню, сохранял в ней первоизданную естественность деревенских вечерних посиделок.

Но сколько бы ни говорил я о впечатлении, которое производили те или иные арии, романсы, песни в исполнении Лемешева на мою сперва детскую, потом юношескую, потом зрелую и, наконец, старую душу, сколько б ни распинаялся по поводу того, что он открыл мне музыку, намертво привязал к Чайковскому (это сыграло впоследствии заметную роль в моей литературной жизни), даже если я скажу, что им, Лемешевым, возвращено и укреплено во мне святое чувство Родины, о которой он пел с такой проникновенной любовью, я все же не исчерпаю темы влияния певца на мою жизнь, ибо что-то тонкое и важное останется недосказанным. Это принадлежит державе нравственности. В Лемешеве — я говорю о его главном художественном образе — было нечто столь благородное, очищающее, естественное, что находившийся постоянно возле его искусства человек становится и сам лучше, добрее, ду-

ховнее, светлее. Его сияющий голос изгонял из моей души бесов зла, обиды, житейской мелкости, вырывал из тины обиденщины, открывал новые ресурсы сострадания, прощения, готовности поступиться своим благом ради других. Если б не Лемешев, я и сам был бы хуже, и хуже было бы со мной другим людям.

Не случайно Лемешев породил целый культ (прямо противоположный по духу «культу личности»), его нет, а «сыры», так испуганно раскатившиеся во время оно из страха перед гневом кумира, теперь, когда его не стало, скатились вновь, объединенные святой памятью о нем. Насчет «сыров» Лемешев хорошо сострил, но повторять его шутку я больше не буду, ибо, узнав очень разных, очень непохожих друг на друга людей, столь бескорыстно и высоко служащих его памяти, столь ревностно оберегающих его честь от сплетен и слухов, от которых не защищен никто, я хотел бы сравниться с ними в преданности дорогой тени, стать членом их службы памяти.

#### IV

Мне все чаще с умилением думается о том далеком дне, когда после шлепка повитухи младенец, еще не нареченный Сергеем, издал первый жалкий крик. «Подало голосок чадушко, теперь раздышится», — сказала опытная бабка, и успокоилась мать-батрачка, взяла сынишку на руки и приложила к своей груди. А потом завернула в какое-то тряпье и вместе с мужем, отцом младенца, таким же батраком, как она, пошла из сельской больницы домой, в свою бедную избу на другом конце деревни Старое Князево.

Могли ли хоть на миг вообразить эти неимущие, безземельные крестьяне, всю жизнь гнувшие спины на чужих людей, что жалобный голосок их сыночка, окрепнув и налившись соками родной земли, зазвонит над все страной, и услышат его в Европе, Азии, Америке, Австралии, и он станет безмерным счастьем, душевной опорой и даже спа-

сителем для миллионов людей. Многие, наверное, читали о том обезноженном войною человеке, который, возвращаясь ползком в свою деревню, уже в виду родных крыш понял, что не может явиться на глаза жены и детей обрубком, и решил утопиться в омуте. И вдруг услышал из-за деревьев льющуюся с пластинки песню Лемешева «Это русская сторонка, это родина моя». И захотел бедолага жить, смахнул слезу, пробормотал: «Спасибо, Сергей Яковлевич!» — и, помогая себе деревянными утюгами, «вошел» в свою деревню не жалким калекой, а солдатом-победителем. Это крайний случай, а ведь бывают и малые самоубийства: потеря гордости, чести, веры в себя и верности себе или другому человеку — от скольких таких малых гибелей спас людей дивный мальчик, родившийся в Тверской губернии в начале века.

В старинных ветошках, прижимая к груди худенькое, непрочное тельце, крестьянка со строгим лицом несла по рытвинам и колдобинам деревенской улицы нового сына России, будущую ее радость, несла царя Берендея, герцога Мантуанского, князей Синодала и Владимира Игоревича, графа Альмавиву, Ромео...

Большое участие в судьбе Лемешева-юноши принимала чета Квашниных, устроившая у себя на хуторе под Старым Князем художественную мастерскую. Сам Квашнин, по профессии инженер-архитектор, был человеком широко образованным, склонным ко многим искусствам, его жена Евгения Николаевна имела профессиональное музыкальное образование. В их доме никогда не замолкала музыка, и певучий подпасок Сергей научился петь под рояль. Квашнины находили у семнадцатилетнего юноши талант и советовали поступить в музыкальное училище. Сам Лемешев впоследствии называл дом Квашниных своим первым университетом.

Однажды Евгения Николаевна взяла его в Москву (ставшую впоследствии второй родиной Лемешева). Шел лихой и голодный девятнадцатый год, но хуже голода было отсут-

ствие соли. Это только в стихах можно подсаживать тюрю слезами, в жизни не получается, и мать поручила Сергею обменять на Сухаревском рынке бутылку сусла на соль.

Сергей натянул старый отцовский пиджак и порыже-лое пальтецо; заботливая Евгения Николаевна дала ему лисью горжетку, которую он пришил к поверх воротника; от валенок же наотрез отказался и отправился в опорках, которые в простоте душевной считал башмаками. Он чувствовал себя милотидным и нарядным, гордился материнским доверием и был исполнен самых радужных надежд.

До Москвы домчались — он и не заметил, ехали-то по тугунке. Город ошеломил, ударил по непривычным ушам шумом, по глазам, воспитанным пустотой тверского приволя, — многолюдством и пестротой (для москвичей же город был по-зимнему тих и по лихолетью заброшен). Ну а Сухаревка с ее толпой, горластыми продавцами и меляльщиками, нищими, калеками, игроками в веревочку и зернь совсем закружила ему голову; если б не опытная столичная жительница Квашина, пропал бы ни за грош князевский певун и гроза девок. Но Евгения Николаевна была на страже и благополучно провела своего подопечного сквозь все угрозы и соблазны Сухаревки, помогла обменять сусло на серую крупную соль, которую он, завернув в старую наволочку, спрятал под пиджак.

А потом был «Демон», и временная утрата сознания, и возвращение к себе под умыкание на небо освобожденной души Тамары.

Ночевали в какой-то пустой квартире на Якиманке. Евгения Николаевна легла на диване, укрывшись шубейкой, а Лемешев — на давно остывшей печке-самоделке под своим пальтецом с горжеткой. Утром оба так настыли, что не могли слова молвить и ног не чуяли.

С трудом добрались до вокзала, залезли в вагон с буржуйкой посередине, приткнулись к ее теплу и сразу заснули. Квашина — без сновидений, а на Сергея опрокину-

лась вся Сухаревка вперемежку с «Демоном». Вольный сын эфира со сросшимися черными бровями предлагал обменять Тамару на сусло, и Сергея эта мена вполне устраивала, но он помнил, что строгая мать наказывала привезти соль, а не девицу, ворочался и стонал. В спор вмешался князь Сенодал, предлагая разыграть в зернь соль, Тамару и сусло. Лемешев боялся, что его обманут, известно, какие князья на Сухаревке, тогда на него накинулись, стали бить, толкать. Он вскрикнул и открыл глаза: Евгения Николаевна трясла его за плечо — Тверь, им сходить. А сон оказался в руку: не было ни Тамары, ни соли, ни горжетки — поездные мазурики обчистили спящего паренька.

Утешая бедного растяпу, Квашнина отсыпала ему сольцы в тряпочку, но разве это шло в сравнение с тем плотным кулечком, который грел ему тело за пазухой? Когда добрались до родных мест, мороз завернул еще круче. Прежде чем свернуть к своему хутору, Евгения Николаевна спросила: «Зайдешь погреться?», но расстроенный коммерсант только мотнул головой и, пригнувшись, зашагал против ветра.

Никогда еще не было ему так худо. Ведь он ездил не просто за солью. Многие в деревне неодобрительно относились к его частому гостеванию у Квашниных. Сочувствовали Акулине Сергеевне: не нашла, мол, подмоги в старшем сыне — лоботряс растет, горлодер и неумеха. Акулина Сергеевна не оставалась глухой к ядовитым соболезнованиям — жалостную укоризну читал Сергей во взгляде матери. Он многое связывал с поездкой в Москву: хотелось доказать, что он толковый и полезный человек, опора в превратной судьбе, а добрая помощь Квашниных подняла бы их в глазах деревенских. А что получалось: щепотка сольцы за бутылку сусла — стоило в Москву гонять! Правы односельчане: никчemuшный он человек!

От горестных мыслей слабеешь и становишься легкой добычей всяких напастей. Холод, мозживший ему кости на всем пути от Твери до Князева, вдруг хлынул внутрь и

погасил в нем всякую жизнь. Сергей свалился в снег возле родного порога. Когда его нашли, он совсем окоченел, на силу оттерли.

Больше месяца провалялся он на печи под двумя тулупами. Приходила Квашнина и ставила ему банки на спину — махотки, в которых полыхал огонь, обжигавший кожу. Уже поднявшись, он долго кашлял, хватаясь за грудь, потом на слабых ногах потащился к Квашниным. Словом, оклемался. Ан не оклемался. Аукнулось в грозном девятнадцатом, а откликнулось в грозном сорок первом...

В который раз перечитываю я чудесный своей наивностью, полуграмотностью и достоинством документ, которым запевалу кавполка Лемешева сняли с коня и отправили в музыку. Письмо отправлено из Тверского губернского подотдела искусств военкому Тверских кавкурсов: «Губ п/отдел искусств доводит до Вашего сведения, что курсант вверенных Вам курсов тов. Сергей Лемешев, состоящий учеником 1-й Государственной музыкальной школы, действительно является одаренным голосом (тенор) и музыкальностью и безусловно представляет из себя с музыкально-вокальной стороны большую ценность, а потому п/отдел искусств просит оказать ему содействие, т. е. предоставить ему возможность развивать его природное дарование, дабы в будущем он имел возможность проявить себя на концертной эстраде и в оперном театре».

Составлено коряво, а стоит любой сегодняшней бюрократически безупречной бумажки (уж в чем, в чем, а в этом мы преуспели). Но во главе молодого советского искусства (документ подан января 29 дня 1921 г.) стояли тоже своего рода Лемешевы, самородки организационно-управленческой работы, которые строили новую культуру. И пусть они не больно ловко составляли бумажки, да видели зорко, да слышали чутко, да решали умно и крепко. И командование кавчасти, тоже молодое и тоже талантливое, не стало препятствовать «одаренному голосом», — хотя

кому приятно лишаться такого запевалы! — ласково подтолкнуло чуть заробевшего паренька навстречу судьбе.

Нужно ли повторять общеизвестное? Жизнь Лемешева была блистательной, но сколько же в ней было и трудного, и даже гибельного, если не для физического его существования, то для творчества. А без этого стоит ли жить? Он унаследовал по отцовской линии большие легкие: от чахотки умерли его отец и старший брат, чахоткой болел средний брат. В начале войны туберкулез уложил на лопатки и самого Сергея Яковлевича. Пневмоторакс на долгие годы отключил одно легкое. Оперный певец с одним легким?.. Лечивший и любивший его профессор, глотая слезы, думал почти по В. Гусеву: «Жить будете, петь никогда». Он не знал, на какое великое усилие способен этот деликатный, нежный и больной человек, когда дело касалось его искусства. Силы вспоившей его земли и жизнестойкость материнского рода пришли ему на помощь, нечеловеческое упорство, трудолюбие и мужество довершили остальное. Он вновь запел, да еще как запел! Величайший триумф его оперной жизни, столь богатой успехами, выпал Лемешеву уже после болезни, когда он спел Ромео. Слушая недавно его записи в серии посвященных ему радиоконцертов и восхищаясь чистым, свободным, молодым звучанием великолепного голоса, с прекрасными верхами в оперных ариях, я был уверен, что это записи из фондов радиокomiteта довоенной поры, оказывается, все они — послевоенные.

Конечно, через годы, уже в старости, а Лемешев пел чуть не до самой кончины, это не могло не сказаться — перетрудились связки, устал дыхательный аппарат (добавьте — дважды пробитое инфарктами сердце), но выручали не только мастерство, умно подобранный репертуар, учитывающий сузившиеся возможности певца, чуть изменившийся, но и все еще чарующий тембр и та просветленная мудрость, которую первой ощутила тонкая и умная Максакова. В иных давних своих романсах Лемешев стал трогать еще сильнее, чем прежде, например в шубертовском

«Как на душе мне легко и спокойно» — это звучало как интимное признание, или в упоминавшемся «Я знал ее малым ребенком», в некоторых романсах Чайковского.

Но это на закате дней — Лемешев уже знал, что победа одержана. А что должен был чувствовать он в самом расцвете лет, признания, славы, на пороге сорока, когда понял, что медицина приговаривает его к молчанию? В ту пору я часто встречал его на Тверском бульваре, где он «выгуливал» себя, порой обтирая платком слабый пот со лба, хотя время было зимнее, по обыкновению элегантный, стройный, спокойно-задумчивый. Близкие Лемешеву люди говорили, что он никогда не жаловался, не изменял своей приветливости и вниманию к окружающим, но кто знает, что творилось у него внутри? Зато мы знаем, что он совершил, казалось бы, невозможное и вернулся на сцену во всем блеске.

И началась пора высших оперных успехов, ибо ко всему он обрел постоянную — молодую, красивую, с прелестным голосом — партнершу. Наконец-то любители оперы без всякого насилия над сознанием поверили в страсть Альмавивы к Розине, в увлеченность Герцога Джильдой, в мучительную любовь Альфреда к Виолетте и во все прочие условные оперные страсти. На сцене была пара, как будто созданная друг для друга, и в голосах — редчайшее сродство. Вершиной этого союза явились «Ромео и Джульетта», Ромео — Лемешев, Джульетта — Ирина Масленникова.

Как все тогда удалось театру! И как это помнят москвичи! Начну с мелочи — с изящной шапочки Ромео, которая так шла Лемешеву. Она словно взята с «Портрета юноши» Пинтуриккьо, который мы видели во время гостевания Дрезденской галереи в Москве. Этому юноше, на самом деле подростку, с детским округлым, мягким овалом, с глазами несравненной чистоты года через четыре предстоит стать Ромео. Пинтуриккьо был влюблен в Рафаэля, почти во всех значительных работах мастера можно обнаружить портрет Рафаэля, даже на черно-белой мозаике, по

которой вы ступаете в Сиенском соборе. Мне кажется, что и на дрезденском портрете изображен подросток Рафаэль. Лемешев в Ромео был похож на гениального красавца из Урбино. Равно прекрасна была Джульетта. И, словно замороженная этой парой, музыка Гуно утратила слащавость и стала светло-трагичной, такой, как мечталось самому Гуно, когда он еще считал, что на свете были лишь два композитора: Моцарт и Гуно. В старости Гуно скажет, что был лишь один Моцарт. Как звучали арии и дуэты! Мы услышали голос самой любви и увидели любовь, а не ее грубую имитацию. Даже удар шпаги Ромео, пронзивший заносчивого Тибальда, вызвал овацию зала. Это был настоящий праздник оперы!..

Но Лемешеву невольно вспоминалась другая премьера, не имевшая продолжения. То было 22 июня 1941 года. Как пелось в немудреной и щемящей песне:

Двадцать второго июня,  
Ровно в четыре утра  
Киев бомбили, маму убили,  
Так началась война...

Отменить премьеру? Это дезертирство. Но разве людям сейчас до оперы? Билеты распроданы, никто не возвращает их в кассу, возле которой, несмотря на объявление об аншлаге, терпеливо переминается толпа. Экзамен на стойкость начался, артисты — часть народа, с сегодняшнего дня — воюющего народа.

Премьера состоялась. Когда упал занавес по окончании первого акта и Лемешев вышел на просцениум, он увидел много стриженных под машинку голов. Это мальчишки призывного возраста сняли роскошные зачесы, не ожидая повесток из райвоенкоматов. Круглые полудетские затылки заставили по-другому увидеть зал: его наполняли воины, для многих из них сегодняшний спектакль — последняя встреча с радостью.

Лемешев низко, до земли поклонился своим согражданам — жатве беспощадной войны, которая унесет столь-

ких юных влюбленных Ромео, обездолит столько не прикоснувшихся к ложу Джульетт...

Мелькнули годы, и новый удар подстерегал певца. В опере убитые, когда опускается занавес, встают с грязного пола и, взявшись за руки с убийцами, выходят раскланиваться. В жизни так не бывает, за все ошибки, за непонимание себя и близких, за игру малого и большого самолюбия, за неверный жест расплачиваются черной кровью невозполнимых утрат. Распался дуэт, не стало навсегда Ромео и Джульетты, не сойдутся так больше звезды на небе.

Лемешев спасся и на этот раз, он продолжал много и очень интересно работать, по-прежнему пел в Большом театре, а также во многих концертах. Он выступал и как постановщик опер, возглавлял Оперную студию при Московской консерватории и выпустил целую плеяду отличных певцов, украшающих ныне сцену Большого театра. Но обо всем этом пусть поведают другие.

Мне же куда интереснее рассказать, как вернулся молодой Лемешев в родную деревню после годичных гастролей на сцене Харбинской оперы. Это было в канун событий на КВЖД, в 1929 году. Харбин был тогда огромным и очень богатым городом, куда съезжались гастролеры со всего мира. Лемешева петь в опере пригласил знаменитый дирижер Пазовский.

В один из дней деревенской страды на пустынных улицах Старого Князева появился обоз. Его сопровождал великолепный иностранец, изнемогая в драповом пальто с начесом, фетровой шляпе, роскошном кашне и серых гетрах поверх ослепительных «шимми». Иностранец завернул обоз к крайней избе, но никто не выбежал навстречу — и стар и млад были в поле. Иностранец велел внести в незапертую по деревенскому обычаю избу кладь, упакованную в картон и бумагу (похоже, мебель), и чемоданы крокодиловой кожи, расплатился с возчиками, щедро дав на водку, и присел на лавку, чтобы дождаться возвращения хозяев. Улица была пустынна и залита жаром, бродили сонные

куры, расклеывая какие-то кишки, спали, высунув потные языки, собаки, теленок на веревке пощипывал траву. Приезжий не снял, лишь расстегнул пальто, чуть отодвинул на затылок шляпу, открыв на лбу красную натертость, распустил кашне и стянул одну лайковую перчатку.

Вдруг послышались чьи-то легкие шаги. Иностранец поспешно застегнулся, лихо нахлобучил шляпу, выхватил из нагрудного кармана пиджака длинную гаванскую сигару, прикурил от зажигалки и стал пускать голубые кольца дыма. Вошла босоногая, с выгоревшими волосами девчонка, исподлобья недоверчиво оглядела роскошного гостя.

— В чем дело? — строго и одновременно обиженно спросил иностранец.

— А ты в чем дело? — в тон ему отозвалась девчонка и, помолчав, добавила: — Я тетки Марьяна.. — Она посмотрела на нераспакованные вещи, роскошные чемоданы, и тревога сжала маленькое сердце. — Ходят тут всякие!..

— А я не всякий, — еще пуще обиделся приезжий.— Я — Акулинин сын..

Девочка не поверила и уселась на пороге сторожить, чтобы приезжий ничего не слямзил. Так она досидела до прихода Лемешевых с поля.

— Сынок! — поразила Акулина Сергеевна. — Чтой-то ты чудной какой?..

Лемешев не был ни честолюбив, ни тщеславен, я читал сохранившееся в архиве Большого театра письмо, в котором он отказывается от соблазнительных зарубежных гастролей. Он очень любил своих друзей: Ханаева, Александра Пирогова, Мелик-Пашаева, Хайкина, но именитых знакомых у него было мало, он крайне неохотно и редко ходил на торжественные приемы и вообще никогда не высывался. Немногочисленные друзья его, особенно последних лет, были люди незнатные, но милые и привлекательные. И лишь об одном мечталось ему всю жизнь — чтоб мать признала его «величие». Ему казалось, что это скрасит мировосприятие старой крестьянки, чья жизнь вначале была

просто нищенской, затем — скудной, наконец, его заботами, — достаточной, хотя она решительно отвергала всякую «никчемушнюю» помощь, наотрез отказалась переехать к знаменитому сыну в Москву и, похоже, отдавала некоторое предпочтение его брату, такому же, как она сама, колхознику. О старшем сыне мать понимала так: коли уж не вышло из Сергея хлебороба, пусть зарабатывает на жизнь пением, стыда в этом нет, а людям нравится.

Акулина Сергеевна до старости не бывала в Москве. Наконец Сергей Яковлевич уговорил мать съездить в столицу. От Старого Князева до Калинина добраться сложнее, нежели от Калинина до Москвы. Но был подряжен тягач — добрались. Лемешев нарочно взял билеты на «Стрелу», которая в ту пору останавливалась в Калинине, в купе международного вагона. После Акулина Сергеевна все удивлялась, почему князевских мужиков так часто обчищают в поездах. «К нам никто и не сунулся, — говорила она, — только утром принесли в круглых стаканах чай с сухарями, а подстаканники — серебряные».

Сводили Акулину Сергеевну на «Евгения Онегина» в Большой театр. О своих впечатлениях она особо не распространялась, сказала лишь: «Наш-то, конечно, был лучше всех». — «А где ты сидела?» — интересовались односельчане. «Не знаю, как сказать. Вообще-то в кресле, прямо против этого, который руками размахивает. А все дамочки — сзади меня». Она горячо любила сына, но не хвасталась и не восхищалась им. Зато горазда была попеть с ним на завалинке, когда он приезжал в Князево. А приезжал туда Сергей Яковлевич до своей болезни почти каждое лето. Потом ему это стало труднее. В Князево и сейчас нелегко добраться — дочери Лемешева, Марии Сергеевне, певице московского Камерного музыкального театра, этого сделать не удалось, когда она захотела навестить родные места отца.

Бросив машину на непролазной лесной дороге, километрах в шести от деревни, Мария Сергеевна с тринадцатилетним Фейей — внуком Сергея Яковлевича — попыта-

лась одолеть разверзшиеся хляби. Она так и не смогла дойти до изб Старого Князева — грязь была выше пояса. Но до кладбища, до могилы Акулины Сергеевны — а умерла она в девяносто четыре года — внучка и правнук все же добрались. И поклонились ей...

Лемешевы — мудреные люди. Да иначе и быть не могло, иначе откуда возникло бы такое диво дивное, как Сергей Яковлевич. Конечно, он обобрал свой род, так обычно и бывает. Мать была человеком с характером, умная, значительная, но жизнь не позволила ей раскрыться, отец остался в тени, унесенный ранней смертью, отблеск даровитости лежал на братьях и другой родне, но светильник достался одному. Поразительную вещь рассказали мне о старшем брате Сергея Яковлевича, не в меру развитом странном мальчишке, который словно не захотел жить: почти спровоцировав болезнь, он не оказал ей никакого сопротивления, оплавился, будто елочная свечечка, и погас. Младший брат обладал неплохим голосом и музыкальностью, но его невозможно было заставить петь в присутствии знаменитого брата, он даже в застольном хоре не участвовал. А попытку Сергея Яковлевича устроить его для начала в миманс Большого театра он сознательно провалил. Самое удивительное, что Лемешев, чья скромность порой даже огорчала его друзей, распускал хвост только перед земляками. В родных местах он начинал смотреть на себя как бы со стороны: вот, мол, наш, князевский парень, а куда вознесся! Знай наших, не такие уж мы серенькие, маленькие! Он был патриотом своей малой родины — калининской глубинки.

Однажды я видел, как он выстаивал длиннющую очередь в магазине бывш. Елисеева, чей пышно-безвкусный интерьер напоминает подводное царство из оперы «Садко». Все чудеса далекой Индии, алмазы каменных пещер, жемчужины полуденного моря не могли помочь чрезвычайно медленному продвижению Индийского гостя к телячьей колбасе. Но когда увидевшая певца продавщица

захотела обслужить его вне очереди, смущение и растерянность Лемешева были так велики и неподдельны, что всем нам стало неловко.

Он был дерзким Альмавивой, бесстрашным Фра-Дьяволо, чарующим и беспутным герцогом Мантуанским, смелым Левко, мудрым Берендеем на сцене, он был прославленным народным артистом СССР, а в жизни оставался простым народным человеком, не признающим за собой права на какие-либо преимущества. Недаром его любил Андрей Платонов, но любил бы еще больше, если б знал, что Лемешев выстаивал все очереди. Для Платонова это было проверкой человека. Умеющих получать блага в обход он презирал не меньше, чем тех, кто, по его выражению, «уткнулся мордой в кормушку власти».

Известный дирижер и близкий друг Лемешева Борис Хайкин вспоминал: он только что переехал из Ленинграда в Москву, не успел толком обосноваться, даже семью не перевез и жил на бивуаке; Лемешев после репетиций всякий раз старался затащить его к себе и накормить домашним обедом.

Жил Лемешев на улице Горького, и в тот раз друзья, отпустив машину, решили пройтись пешком, благо был один из тех голубых, сияющих и мягких дней, что изредка врезаются в январскую лютость с жгучими морозами, мглистыми снегопадами, выюгами и буранами. Они приближались к площади у Моссовета, когда темный бронзовый Юрий Долгорукий, заваливающийся набок вместе с могучим конем, вдруг начал бледнеть, таять, растворяться в летучей белесой мути.

Над площадью вскипела метель и, завывая, рванулась в оба конца улицы Горького. Лемешев поднял воротник шубы, плотнее надвинул на лоб меховую шапку, похожую на старинный грешневик, защитив лицо от секущего сухого снега.

Посмерклось, и в мгlistом воздухе заплясали белые призраки. Верно, метель сбила с толка уличную толпу: на Лемешева наскакивали, чуть не сшибали с ног, толкали в грудь и бока. Придерживая воротник у горла, он оглянулся

на друга и увидел, что того так же безбожно толкают, шпыняют злоеуще возникающие из сумеречной круговерти, подкрашенной зеленой или пунцовой неоновой течью, проломные, беспощадные пешеходы. И Лемешеву стало неловко за своих земляков перед человеком из вежливого Ленинграда. Он приблизил замерзшие губы к уху друга:

— Бог весть что творится!.. Как все больно толкаются! Никогда такого не было.

— Ты это серьезно говоришь? — у Хайкина хватило сил растянуть губы в улыбке.

— Разумеется!..

— Дите малое!.. На ваших улицах — спасибо, коли не затопчут. Это тебе дают дорогу, перед тобой расступаются. А сейчас ни черта не видно, и ты еще зарылся носом в воротник. Беднягам невдомек, кого они толкают... Понял наконец, как хорошо быть Лемешевым?

Поразительно, что великий певец так никогда этого не понял. Незнакомым людям он неизменно представлялся: «Лемешев из Большого театра...»

Скромность украшает девицу — большой певец может и не обладать этим привлекательным качеством, и все-таки мы предпочтем слушать его, а не скромнягу, примерного гражданина, видного общественника и редкого семьянина, лишенного одной лишь малости — голоса. Но как хорошо и радостно, когда человеческое и творческое совпадают! Этим судьба наградила Лемешева, при всей своей многогранности он был на редкость цельной натурой. А уж если причинял кому вред, то лишь самому себе — в трудную минуту. Ничего не потеряв в своем народном, почвенном начале, он стал человеком большой и широкой культуры, и не только музыкальной, он любил живопись и литературу, поэзия была его неизменной спутницей. Он часто повторял стихи Ронсара:

Ведь старый человек на много лет моложе,  
Когда не хочет быть у старости в плену.

Жизнь все-таки умирjala свой бег. Теперь он подолгу жил в небольшом доме отдыха Большого театра в Серебряном бору. Его окружали старые друзья, коллеги, добрые знакомые.

В сумерках они слушали соловьев. Было странно, что соловьи еще поют в Серебряном бору. Березовый, сосновый, сиреневый пригород стал частью Москвы. Городское пробивалось в его травяную, древесную свежесть тяжким смрадом выхлопных газов дизельных автобусов и тяжелых грузовиков; безостановочный поток гудящих, ревуших машин растерзал благостную надречную тишину; темь поздних вечеров проблескивали жесткие вспышки электрических троллейбусных зарниц, квадратными лунами загорались окна домов-башен. Но те, кто привык ездить в этот уютный, хотя и лишенный современных преимуществ дом отдыха, изо всех сил старались не замечать вторжения цивилизации, черпая радость в том, что еще оставалось от природы: в бормоте листвы, сыром илистом речном запахе, серебре росных утр, густом цветочном настое вечеров и соловьином пении.

И вот они слушали соловьев. К двум неутомонным певцам присоединился было третий, но вскоре смолк. Наверное, то был молодой, начинающий соловей, и он понял, что не смеет состязаться с мастерами. Два соловья из двух противоположных углов сада, не заметив короткой помехи, продолжали безуступчивый поединок. Бой был звонче у соловья за сиренями и дробь рассыпчатей; тот же, что скрывался в раkitнике, превосходил соперника в других коленях: переливе, прищепке, лешего дудке... Но даже собравшимся здесь музыкальным профессионалам вскоре расхотелось сравнивать певцов, лучше было, не мудрствуя, отдать очарованию вечной как мир песни любви.

Соловьи замолкли враз, словно исчерпав аргументы. Была пронзительная тишина, а потом Лемешев сказал с легким вздохом:

— Соловьи стали хуже петь.

Все рассмеялись. Остроту создало слияние парадоксального утверждения с интонацией истинной грусти. Но потом случилась заминка — Лемешев и не думал шутить. Он был здесь, впрочем как и в любой компании, самым знаменитым, самым любимым и чтимым, с его настроением считались. Смех умолк, погасли улыбки. Все же присутствующие были достаточно значительны и независимы, чтобы не подчиняться чужому мнению. Бывший премьер оперетты сказал: «В молодости все лучше: и соловьи звонче, и звезды ярче, и женщины красивей». А маститый концертмейстер добавил: «И дни длиннее, а версты короче». Ближайший друг Лемешева, прославленный дирижер, сказал задумчиво: «Портится не окружающее, а мы сами — от лет, усталости, ослабления чувства жизни. Одного тебя, Сережа, неизбежное обошло стороной. Как странно, что именно ты сказал это о соловьях». — «Друзья! — воскликнула пожилая певица. — Мы не поняли иносказанья. Сергей Яковлевич имел в виду других соловьев, они в самом деле поют хуже, чем мы когда-то». — «Зачем уж так уж?!» — вскинулся на защиту сверстников молодой даровитый композитор.

— Нет, — чуть поморщился Лемешев. — Я говорил о соловьях, которые только что пели. Они не сияли, как соловьи наших дней...

А через два дня с утра зарядил дождь. Сидели по комнатам, читали, слушали радио. И в передаче «Наедине с природой» профессор-орнитолог сказал, что сейчас, когда город стремительно наступает на природу, соловьи стали петь хуже. И проиллюстрировал это записями на пленке.

Среди тех, кто слушал соловьев в вечернем саду, были прославленный дирижер, талантливый композитор, бывший премьер оперетты, певица, маститый концертмейстер, но лишь безошибочный соловьиный слух старого соловья распознал в весенних трелях соловьиную беду.

И все же он не поддался старости, до последнего дня жизни оставался молод, светел душой и удивительно красив.

Бывший премьер московской оперетты и одаренный композитор Алексей Феона — кто не помнит его в роли дерзкого красавца Юрия Токмакова! — рассказывал о споре, возникшем у него с Лемешевым из-за написанного им романса «Нищий» на слова Лермонтова.

У врат обители святой  
Стоял просящий подаянья  
Бедняк иссохший, чуть живой  
От жады, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,  
И взор являл живую муку,  
И кто-то камень положил  
В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви  
С слезами горькими, с тоскою;  
Так чувства лучшие мои  
Обмануты навек тобою!

Феона всю жизнь поклонялся Лемешеву. Вначале изда- лека, потом шапочное знакомство перешло в крепкую и верную дружбу. Конечно, ему очень хотелось, чтобы Лемешев спел «У врат обители святой», но по деликатности он не решался просить об этом. Лемешев сам «вышел» на романс и исполнил его в концерте. Феона был в восторге. Но когда спустя много лет они вместе прослушали магни- тофонную запись, Лемешев омрачился.

— Вам разонравился мой романс? — огорченно спро- сил Феона.

— Мне разонравился я сам, — мрачно прозвучало в ответ.

— Бросьте Бога гневить! Как вы поете!..

— Первые два куплета, — подхватил Лемешев, — а последний — мертвечина.

Феона поставил запись снова.

— По-моему, гениально! Это не я написал, а господь Бог, — сказал он со смехом.

— Я не справился с третьим куплетом. Я ему не верю.

— Не верите музыке?

— Нет, словам. Не верю Лермонтову. Не мог он молить о любви, как жалкий нищий.

— Смысл в другом: столкновение сильного чувства с каменным холодом.

— Просить у женщины любви «с слезами горькими, с тоскою!» — гнул свое Лемешев. — Понятно, что у меня сразу скис голос.

— Я этого не чувствую, — заметил Феона. — Но можно переписать последний куплет...

— Пустое! Весь мой жизненный опыт восстает против такого унижения мужчины. Нельзя нищенствовать в любви.

Феона посмотрел на синеглазого Орфея, обманувшего время, и понял, что его друга не переубедишь. Видимо, у Сергея Яковлевича и Михаила Юрьевича было тут безнадёжное несовпадение.

И вот в чем я окончательно убедился, пока писал эти свои заметки: тембр — это не окраска голоса, это окраска души. Нам пела прекрасная душа Лемешева. О нем нельзя говорить «тенор» и даже «певец» — это сердце России, ставшее песней, и в этом его бессмертие.

# О МОСКВЕ С ЛЮБОВЬЮ И НАДЕЖДОЙ

Меня всегда мучила мысль, что у москвичей нет того интимного ощущения своего города, которым отличаются не только коренные ленинградцы, но и — пусть в меньшей степени — новожилы города на Неве, как-то удивительно легко усваивающие ленинградскую традицию. Москва необъятна, неохватна и к тому же слишком быстро меняется. Не успеваешь привыкнуть к одному облику города, а он уже стал другим. Сколько прошло лет, а я все ищу Собачью площадку, поглощенную Калининским проспектом. Когда вспоминаешь, сколько московской старины съел этот неоправданно широкий, архитектурно невыразительный проспект, так и не слившийся с арбатской Москвой, то начинаешь сомневаться в его необходимости. В конце концов, транспортные проблемы этой части города можно было решить каким-то другим способом.

Пусть читатель не пугается, что сейчас польется бесконечная слеза на уничтоженные в Москве памятники старины. Нет, я не буду сетовать, что снесли храм Христа Спасителя, и запальчиво-бессильно взывать: верните нам взмет белых стен и золотых куполов. Хотя был он чудо как хорош — не архитектурой даже, но умел эклектик Тон ставить свои постройки. Как смотрится им же построенный Большой Кремлевский дворец на зеленой крутизне холма! Не буду печалиться даже о московском Нотр-Даме на Покровке, перед которым Федор Михайлович Достоевский всегда снимал шляпу. Знаю, что не вернут, не восстановят, да и нету им уже места в Москве. И все же не сразу расстанусь с этой навязшей в зубах темой. Много писалось —

я и сам писал — о том, что гибнет барочный домик Анны Монс в Лефортове, восстановить который могла бы студенческая бригада за один месяц на лепту вдовицы. Крошечный домик, но как много он значил в судьбе русской государственности! Окно в Европу Петр прорубил на Балтике, но первый смутный вей иных ветров опухнул его здесь. Сейчас все сильнее звучат голоса, что не надо было рубить это окно, что вреден России европейский воздух; нам благодны сухие ветры Азии. И все-таки дом Анны Монс следовало бы восстановить, ну хотя бы для того, чтоб было на что плюнуть последователям Хомякова и Аксаковых. А так, осевший, полуразвалившийся, он тонет в грязи, к нему не приблизишься даже на длину плевка.

Я не знаю, как относятся ревнители азиатского пути России к Ослябе и Пересвету, героям Куликовской битвы, может, не нужно было слушать Сергия Радонежского и заводить с нашими щелеглазыми братьями, так деликатно обложившими Россию небольшой данью и не затронувшими самобытность ее культуры да и всего гармоничного развития. Но над костями воинов-иноков по-прежнему дребезжат механизмы какой-то мастерской.

А ведь надгробие воинов восстановить ничего не стоит. Это не то что Боровской монастырь реставрировать или Коломенский кремль, да ведь и с этим справились. И опять я думаю о студенческих отрядах. Как много сделали эти ребята. Я видел плоды их труда в Соловках, в Кирилловом монастыре на Вологодчине, в Поленове, где они восстановили церковь, возле которой похоронен знаменитый балетмейстер Касьян Голейзовский. Так почему же их так вяло используют? Студенты любят потную, в натяг жил, умную работу. Мне не забыть, как на берегу озера, омывающего подножие Кириллова монастыря, незнакомый студент-технар из стройотряда угостил меня блестящей лекцией о древнем зодчестве, об арочных и деревянных перекрытиях, о влиянии материала на архитектурные формы. Когда я выразил удивление перед его эрудированностью в делах,

далеких от профессии, которую он избрал, студент с улыбкой показал свои воцаные мозоли, знание было добыто, как говорится, из первых рук. Нравилась ему эта работа, и как хорошо такое вот расширение культурного диапазона! Я назвал его «технарем», но как раз этот человек, где бы ни пришлось ему работать, никогда не будет узким технарем, его душу осенили история, искусство и культура. Вот дополнительная польза от студенческих отрядов, работающих на восстановлении памятников старины.

А как хладнокровно «махнули» так называемый «дом Фамусова» на Тверском бульваре. Пусть это и не охраняемый государством памятник старины, его важность для Москвы была в другом. Здесь жила среди большого семейства знаменитая в начале минувшего века барыня Римская-Корсакова, послужившая Грибоедову прообразом... Фамусова. Да, да, почитайте «Москву Грибоедова» М. Гершензона, и вы узнаете все в подробностях. Это была столь щедрая натура, что немало ее черт перешло и к искательному Молчалину. Для Грибоедова ее дом был что золотое дно, и этот дом безжалостно снесли. Я уже не помню, в том же доме или по соседству находилась старейшая в Москве аптека — тоже достопримечательность столицы, ее постигла та же участь.

Теперь на месте, дававшем приют «дому Фамусова», остался пустой квадрат земли, зеленый летом, заснеженный, грязно-серый зимой, с тощими деревьями по окоему, а за ним срамно раскачиваются стрелки-гири японских уличных часов. Чтобы определить по ним время, надо обладать мозгом Галилея. Впрочем, чаще всего они стоят.

В последнее время в уничтожении старой Москвы возобладал «зонный» способ. Примеры: Тульская улица, Таганская площадь, Бронная улица, Каляевская и сейчас — Сретенка. Это не исключает «выборочной» ликвидации. За десять лет снесены: палаты XVI-XVII веков на Кадашевской набережной, дом в стиле московского классицизма по улице Гиляровского, где бывал Ленин, дом поэта Плещеева

(Ружейный переулочок), дом Афанасия Фета (Плющиха), дом Белинского (Рахмановский переулочок), дом Щепкина (улица Ермоловой), дом Рахманинова (Калининский проспект), в Сокольниках сгорела дача Дзержинского в Лучевой просеке. В бесхозном состоянии дом Брюсова на проспекте Мира, дом в Большом Строченовском переулочке, в котором жил Есенин, под угрозой дом Щепкина на улице его имени, равно и дом Аксакова на улице Мясковского, где бывал Гоголь. Интересно, чем так не угодил великий актер Щепкин московским добродеем, что хотят стереть всякую память о нем?

Ленинград легко любить, его ядро неизменно чуть ли не со времен Пушкина; овеян легендой «строгий, стройный вид», патина старины на прекрасных зданиях. А что осталось от Москвы моего детства? Красная площадь... Даже в исторический центр, в перепут арбатских переулочков влезают безобразные башни и стандартные, безнадежно скучные громады. Кстати сказать, во всем мире берегут старинное ядро города. Я слышал, что в связи с расширением Музея имени Пушкина собираются сносить старые дома на Волхонке и в прилегающих переулочках, в том числе здание XVIII века. Как ни прекрасен этот музей, для народной души, может быть, важнее старые дома. Филиал музея можно развернуть и в другом месте, а со старыми домами уходит слишком много такого, чего не восполнишь\*.

Любовь к родине начинается с любви к своей улице — банально, но это святая правда. Проблема новых районов — прежде всего проблема нравственная. Воспитать хорошего человека среди безликих каменных коробок труднее, чем на берегу Чистых прудов или в сплетении старых арбатских переулочков, где все пронизано важной памятью. Но люди, от которых зависела Москва, упорно не хотели этого понять.

---

\* Этот проект отпал. Музей имени Пушкина сам возразил против него.

Москва не стабильна именами улиц и площадей. Ее почти всю переименовали и азартно продолжают эту, тоже по-своему разрушительную, работу. А между тем и в центре, и на окраинах есть множество улиц и переулков, для которых никак не придумают имена, добавляя порядковый номер к одному и тому же названию. Для чего понадобилось переименовывать в улицу Рылеева старый Гагаринский переулок, на углу которого с бывшим Нащокинским (ныне улица Фурманова) не раз жила Пушкин у своего московского друга? Неужели прибавило славы творцу «Тихого Дона», что его именем назвали исконную, сжившуюся с Москвой Zubовскую площадь? Ведь на Zubовской, а не на площади Шолохова разбил князь Пожарский войска гетмана Ходкевича и заставил их отступить на Поклонную гору; ее-то хоть не переименовали. Не связывается в нашем сознании М. Шолохов со старой Москвой. А подарить имя великого пролетарского писателя можно было одной из молодых площадей.

Кроме всего прочего, дестабильность вредна, она разрушает нервную систему. В старых английских магазинах все остается таким же, как сто и более лет назад, — человек может совершать все необходимые покупки автоматически, без затраты нервной энергии. Там и слепой не потеряется. У нас же в столице все непрочное, все в движении и переменах; ты никогда не знаешь, окажется ли нужный магазин, учреждение, почта, сберкасса, стоянка такси на том же месте, что две недели назад; а ведь есть и такие привычные неожиданности, как «закрыто на ремонт», «закрыто на учет», «закрыто на переучет», «санитарный день», «некому обслуживать». Ты не ощущаешь город своим домом, он все время устраивает тебе каверзы. Москва слишком долго была экспериментальной площадкой людей, которые неизвестно почему получали бесконтрольную власть над ней, власть, не направляемую любовью. И одни горе-хозяева вели успешную борьбу с зеленым убранством города: было ликвидировано Садовое бульварное кольцо, мно-

гие скверы, вырублены сады (Абрикосовый и пр.) в покровских переулках, посаженные еще при Алексее Михайловиче, сады на улице Казакова, в Самотеке, Лефортове. Заодно сносили церкви и ворота. Другая власть помещалась на площадях, путая понятие площади с понятием пустыря. Но, видимо, зрилось величие в огромных пустотах посреди города. Не следует думать, что Манежная действительно площадь, она лишена окоема, как и площадь Дзержинского, Смоленская, Арбатская и даже Свердлова, а теперь и Пушкинская. И напрасно пожертвовали зданием, где помещалась одна из самых любимых москвичами библиотек — имени Тургенева, — Кировские ворота не стали площадью. Потом наступила пора магистралей и длится до сих пор. А вот парижские улицы не расширяли и не сносили Большие бульвары, а город как-то живет и даже привлекает миллионные толпы туристов со всего света.

Туристы — это лестно, а вот москвичам не льстят те людские массы, которые заполняют Москву, особенно в летнее время. Ты уже не хозяин в своем городе, тебя оттерли от него, как от прилавка. Да он и является гигантским прилавком в глазах подавляющего числа прибывших. Туристов, бескорыстных и любознательных путешественников неизмеримо меньше, чем торговых гостей. Они не рекламируют себя, как в Садко», но дело свое знают. Их привлекают не достопримечательности столицы, не священные камни, музеи и зрелища, их Большой театр — ГУМ, а Малый — ЦУМ, из остальных культурных мест сильней всего притягивают мебельные, обувные и комиссионные магазины, чертоги со снедью. Боже упаси упрекать ходоков в чем-либо, по-человечески все так понятно, но москвичи среди этих целеустремленных и закаленных толп несколько теряются, и чувство родного города в них слабеет. И это тоже одна из причин нашей московской апатии. Равнодушно взираем мы на гибель старинных зданий и бывших обиталищ наших великих земляков, на исчезновение арбатских особняков, равно и привычных,

исторически обусловленных названий улиц, переулков, площадей.

И вот что еще, Москва — колдунья, она может заставить тебя вмиг забыть обо всем, что искажает ее черты. Она бывает так неопишимо хороша, ну хотя бы в мае, когда в московские белые ночи непрозрачный сумрак окутывает золотые купола и дивной свежестью тянет из Александровского сада. А разве не чудо наш город в дни погожей осени, когда мешаются багрец и золото, а Москва-река отражает густо-синее небо, и мосты кажутся висящими в воздухе, и все дома с медным пожаром заря в окнах заслуживают охраны государства? Бывают счастливые дни и зимой, когда город кружевеет инеем, а пушистый снег ручается своей нежностью и белизной, что никогда не станет кошмаром сугробов, непролази.

Москва умеет обманывать. Она поражает на подъезде к ней морем огней, золотым заревом, вселенским нимбом, и надо оказаться в ущельях темных улиц, чтобы понять, до чего плохо она освещена. Есть ночные города: Токио, Нью-Йорк, Копенгаген, есть города, в которых очарованье дня спорит с очарованьем ночи, и все-таки они предпочтительнее днем: Ленинград, Лондон, Прага. Москва, конечно, дневной город, едва ли найдется в Европе хуже освещенная столица. На центральных улицах то ли не хватает фонарей, то ли они горят вполнакала, то ли через один, боковые же улицы вовсе тонут в темноте, очень мало ярко освещенных витрин, почти нет реклам, а неоновые — кроваво-красные и ядовито-зеленые — огни гастрономов, аптек и редких кафе удручающе худосочны, — словом, световой феерии неоткуда взяться. И меня всегда поражает хладнокровие хозяйственников, которые месяцами мирятся с такими огненными письменами «...астроном», «прод...ственный маг...», «парик...хер...ая».

Современным городам много света дарят уличные кафе, которых у нас вообще нет. Да и обычных кафе раз, два и обчелся. В пору моего детства на углу Петровки и Столеш-

никова находилось летнее кафе «Красный мак», славившееся своим трехслойным высоким, как башня, и невероятно вкусным пломбиром. И как было прекрасно сидеть в скрещении двух самых оживленных улиц городского центра над башенкой из мороженого, крема и взбитых сливок, глазеть на прохожих, лениво перебрасываться замечаниями о проплывающих мимо красавицах и упиваться своей взрослостью. Тут не было и тени цинизма, семнадцатилетние оболтусы, мы были целомудренны и трезвы, наши загулы — это кафе «Мороженое». В одном из них на улице Горького, ближе к площади Маяковского, показывали документальные фильмы, лампы на столиках были снабжены специальными колпачками. Впрочем, каждое кафе имело свое лицо, свой ассортимент и свою музыку. Теперешние немногочисленные кафе безлики, неудобны, холодны и «некисны», чаще всего они сбиваются на второразрядные рестораны. До войны кафе «Националь» славилось яблочным паем и кофе со сливками, «Метрополь» — бриошами и пончиками, «Артистическое», в проезде Художественного театра, — хворостом и какао; в каждом были свои завсегдатаи, и старый москвич знал, кого из знакомых где искать. Сейчас это скучные столовки.

А ведь кафе — серьезнейшая часть городской жизни, место деловых и дружеских свиданий, место отдыха или передышки посреди дневных забот, место роднения с городом, а также «информационный центр», где можно почитать газету, полистать журналы, обменяться новостями, даже сплетнями — и это потребно человеку, завалинок и колодцев в городе нет.

Особенно нужны кафе молодежи. Сейчас все очень разобщены, дефицитом стало «золото человеческого общения». Наши знаменитые дворы были своего рода клубами. В исходе двадцатых-тридцатых годов жизнь была куда труднее и аскетичнее, а люди общительнее, инициативнее. Каждую зиму мы заливали в садике посреди двора каток, днем тут катались взрослые и дети, а по вечерам (над катком висела

гирлянда лампочек) рубились в факе — так нам звучало непривычное слово «хоккей». У нас был красный уголок, где показывали фильмы, а раз в месяц давали концерт самодеятельности — талантливо и остроумно, так мне кажется из дали лет; я до сих пор помню все выходки «мадам Зигзагс», которая угадывала, сколько у кого волос на голове, а не верящим ей предлагала самим пересчитать. Был круг для фигурной езды на велосипеде, у дровяных сараев находились голубиные ловушки, мы азартно гоняли голубей: чистых, монахов, турманов, а все спорные вопросы выясняли в честном бою у помойки — без этого тоже нельзя. В подворотне каждый месяц обновлялась стенная газета, жильцы смаковали сатиру на чудовищно толстую нэпманшу, выводившую на каток двух сдобных плаксивых сыновей и крошившую непрочный ледок своими «нурмисами».

Мама едет, лед трещит,  
Управдом в окно глядит.  
Грусть-тоска его берет,  
Что проломит мама лед.

Не Вознесенский, конечно, но чем богаты, тем и рады. Сейчас дворы исчезают, какие могут быть дворы при домах-башнях, а с ними уходит многое важное в детской жизни: дворовая дружба-вражда, сложные иерархические отношения дворовой вольницы, особый кодекс чести, необходимое на заре туманной юности молодечество, добрые товарищеские драки, дворовый бескорыстный спорт и дворовые танцы. «Во дворе, где каждый вечер нам играла радиола», помните?.. Исчезнут дворы, и навсегда не станет Леньки Королева, а без него плохо.

Сейчас очень многое работает на разобщение людей и очень мало на сближение. В нашу пору, кроме общих квартир и дворов, сближало кино, на котором все мы были помещаны. Тем более что раньше в кино не забегали, а торжественно отправлялись задолго до начала сеанса послушать хороший джаз — в «Колизее» выступал ансамбль Вар-

ламова — один из лучших в стране, в «Ударнике» — Рачевского, в 1-м кинотеатре пел незабвенный Вадим Козин; выпить газировки с вишневым или шоколадным сиропом в буфете, посмотреть на таинственные лица знаменитых киноактеров — такая экспозиция была в каждом уважающем себя кинотеатре. Телевизор разъединяет людей, его смотрят в одиночку либо с кем-то из домашних, вполглаза и без того сопереживания, какое дарит кино. Ловкий удар шпаги неунывающего Дугласа Фербенкса исторгал восторженный вопль из каждой груди, дерзкая выходка героев «Красных дьяволят» срывала зрителей со стульев, а на гомерически смешных и трогательных комедиях с Патом и Патошоном все становились братьями. Сейчас кинотеатры нередко пустуют, и не только по вине агрессора телевизора, но об этом дальше. Нынешнему молодому гражданину Москвы привычнее сидеть дома, или слоняться по тротуарам, или трястись в дискотеках в танцах, не создающих интимности пары. Радость живого общения, способность что-то переживать сообща, упоение беседой исчезают из нашей жизни.

В начале шестидесятых возникли молодежные кафе, в них не танцевали, а разговаривали, спорили, читали стихи — свои и чужие, слушали песни в исполнении отечественных бардов, шумели, пили сухое вино. Но это не было главным — лишнее доказательство того, что не следует подменять борьбу с пьянством и алкоголизмом спекулятивно-ханжескими завываниями о губительности рюмки или бутылки шампанского на свадьбе.

Однажды меня пригласили в это кафе поспорить о фильмах. Мне там понравилось — горячая атмосфера, запах молодости. В дальнейшем я что-то не слышал об этих кафе. Не знаю, что там случилось, но догадаться можно. Кого-то осенило пресловутым: как бы чего не вышло, и натянулись административные вожжи, а молодежь так легко спугнуть. Впрочем, не исключено, что рудименты молодежных кафе остались, но уже не на радость посетителям, а ради галочки.

А что пришло взамен? Дискотеки. С их оглушительным шумом и дурным вкусом рабской подражательности. Любопытно, что дискотечные танцы тоже не работают на сближение: кавалер сам по себе дергается посреди круга из нескольких, порой вовсе незнакомых ему — язык не поворачивается сказать — партнерш, живущих самостоятельной кинетической жизнью.

В свое время заводские дворцы и клубы хорошо служили молодежи. Там не было пышных балов и блистательных представлений, которые транслируются по телевидению, не было изысканных мастеров танго, каких не встретишь и в далекой Аргентине, не было и умело-развязных певцов, орудующих шнуром микрофона ловчее самого Леонтьева, все было проще, неуклюжее и милей. Ныне кружки пения сольного и хорового существуют для тех, кто одарен голосом и слухом от природы и после должной выучки может участвовать в смотрах, фестивалях, завоеывая призы, кубки, вымпелы на радость руководству. Такие певцы ведут почти профессиональную жизнь, ездят на гастроли по стране и даже за рубеж. Аж завидки берут. Но молодежные клубы были задуманы не ради этого. В кружки шли люди, которые не отличались выдающимися голосами, но любили и хотели петь для себя. Ну, уж если очень хорошо получится, пусть послушают свои, заводские. И рисовать, и лепить, и вышивать хотели для себя, не на выставку. Ныне же одна забота — скорее вывести любителей на суд людской и получить некий официальный статус, с которым приходит всякая сласть. Если ты шашки двигаешь, так скорей получай разряд, если на балаалайке тренькаешь, то будь хоть районным лауреатом. И получается, что участники заводской самодеятельности имеют такое же отношение к рабочему коллективу, как игроки футбольной команды «Торпедо» к ЗИЛу.

Сознавая в тайне души свою оторванность от рабочей массы, заводские дворцы и клубы установили жесткий контроль у негостеприимных дверей. Похоже, дворцы вовсе

не заинтересованы в аудитории, они вроде той знаменитой сельхозартели Андрея Платонова, которая обслуживала самое себя. Недавно мне довелось принять участие в помпезном мероприятии одного из лучших рабочих дворцов Москвы (не ЗИЛа, оговариваюсь сразу). Все было пышно и торжественно, как на параде, гремел духовой оркестр, колыхались знамена — вечер почему-то считался литературным, о чем вроде забыли устроители, присутствовали телевидение, радио и пресса, не было лишь одной малости — заводской аудитории, кроме членов завкома и парткома. Чтобы как-то заполнить зал, пригнали бритоголовых отличников боевой и политической подготовки. Я поинтересовался, где рабочие и служащие? Видать, плохо проинформировали, равнодушно отозвался какой-то дворцовый чин. А я думаю, просто не пошли, знали, что будет скука, официальщина, парад, это всем до чертиков надоело. Сейчас люди хотят одного — правды. Правды слов, поведения, прямого взгляда, правды песни и шутки.

Но в некоторых новых микрорайонах нет даже скучных клубов, ничего нет. Орехово-Борисово по числу жителей поспорит с иным областным городом. Можем ли мы представить себе город без кино, клуба, спортивных и танцевальных площадок? А вот в Орехово-Борисове, кроме прачечной и парикмахерской, никаких очагов культуры.

С удручающим однообразием новых районов все уже смирились, в том числе и обитатели громадных, неотличимых одна от другой серых коробок, оживленных красочно-облезлыми балкончиками. Похоже, смирились и с отсутствием культурных учреждений. Как говорится, лишь бы не было войны. Правда, на периферии Москвы за последние годы построено несколько двухзальных киногигантов: «Ханной», «Будапешт», «Байконур», «Авангард», «Саяны», «Энтузиаст». Но тревожно, что зрителей в этих роскошных кинодворцах маловато. Да и по всей Москве посещаемость кинотеатров год от года падает. Глобальная причина всем ясна — телевизор, это мировое явление. Я видел в Токио

целый квартал заброшенных кинотеатров — огромные мертвые дома в обрывках старых афиш, с выбитыми стеклами, словно после бомбежки. Но у японского телевидения двенадцать программ, а в Москве всего четыре. Неужели эти четыре программы потрафляют всем вкусам? Кстати, токийское кино до последнего билось за свое существование, пустив в ход радио и световую рекламу, афиши на каждом шагу и даже уличных зазывал. Ну а наши кинотеатры борются за зрителя? Впрочем, это, кажется, забота кинопроката, а тот, видать, как-то выкручивается «по валовому сбору» за счет всяких фантомасов и Челентано, ему и горюшка мало.

Самый простой и верный способ привлечь зрителя к фильму, да и к любому зрелищу, — афиша, красивая, броская, буквально хватающая прохожего за рукав. А ведь афиша не только информирует и завлекает, она украшает город. Увы, и этого украшения лишилась Москва, афишные стенды редки и безрадостны. Настоящий киноплакат почти исчез, его заменила серенькая бумажка с названием фильма и перечнем съемочной группы, актеров, не только не пробуждающая, а напроць убивающая желание пойти в кино. Никто и внимания не обращает на грязно-серые простынки. А вот к чему приводит неинформированность. В Москве шел один из лучших фильмов последних лет «Мефисто» по одноименному прославленному роману Клауса Манна с замечательным актером Брандауэром в главной роли. Фильм получил премию Оскара, на него ломилась публика всех пяти континентов. Но среди моих многочисленных знакомых ни один не видел этого фильма. Рекламы не было, о фильме толком не оповестили, многие думали: раз «Мефисто» — значит, что-то оперное, а кинооперы не слишком популярны. Так и прошли мимо могучего социально-психологического фильма.

В маленьком подмосковном санатории я случайно посмотрел картину Киевской студии «Парижская драма». Я заглянул в гостиную во время показа фильма, на экране

кого-то убивали, я остался. Это было любопытство улично-го зеваки к несчастному случаю. Больше убийств не было — современного западного человека подвергали сложным и мучительным нравственным испытаниям — серьезный, глубокий, необычайно интересный фильм. Но кого я ни спрашивал, никто этой картины не видел, иным казалось, что я их разыгрываю. Опять же — отсутствие информации, афиш, рекламы. Фильм мог бы доставить удовольствие миллионам зрителей, обогатив их сознание и кинокассу, но кого это заботит?

Правда, огромные мрачные щиты на улице Горького, площадях Свердлова, Смоленской и других упрямо и последовательно рекламируют те тягостные «боевики», которым никакая реклама не поможет, ибо еще до запуска в производство всем ясно, что на них никто не пойдет. Обычно этот эпохальный брак готовят к знаменательной дате то ли в наивном, то ли в циничном расчете, что выход заведомо провального и безумно дорогого фильма явит рачительное внимание самой юной (и самой испорченной) музы народным запросам. Кино терпит громадные убытки, а кто исчислит моральный урон от этих «творений», компрометирующих большую тему? Впрочем, с материальными потерями надумали бороться путем принудительной продажи билетов московским служащим, да еще с обязательным посещением, а это уже садизм. Чем плодить кинобрак, не лучше ли пустить деньги на популяризацию хороших фильмов, которые принесут и пользу, и радость людям. Да и вообще, пора кончать с выпуском той псевдохудожественной и псевдопропагандистской продукции, будь то книги, брошюры, фильмы или спектакли, если они на чистом не пользуются спросом. Ведь это бессмысленно и не оправдывается никакими софизмами.

«Профессия расклещика афиш исчезла в Москве», — сказали мне в дирекции Политехнического музея, где у меня была встреча с читателями, о которой оповещала одна-единственная афиша у входа. Вспоминаю замечательный фильм

Витторио Де Сика «Похитители велосипедов» о трагедии расклейщика афиш, у которого украли велосипед. Он в отчаянии, на что теперь содержать семью! Возможно ли у нас такое? Нет! Велосипед, конечно, могут украсть, но это не будет трагедией: попробуй содержать семью или хотя бы себя самого на зарплату расклейщика. В том-то и дело.

Но при чем тут зарплата, ведь клеить нечего? Может, и нечего, хотя для каждого нового фильма создается броская, яркая афиша — не пропало мастерство наших художников-плакатистов, которое так блистательно показало себя в гражданскую войну (знаменитые «Окна РОСТА», где работал Маяковский), в труднейшую пору Отечественной войны — как поднимали дух плакаты Кукрыниксов, Тоидзе, Иванова, Кривошеина и других! — да и после войны советский плакат процветал. То, что сейчас появляется к праздникам и памятным датам на улицах Москвы, плакатом не назовешь — схематизм, бездушие, неуважение к соотечественникам. Так вот, афиши есть, но их нет.

Не надо вообще слишком верить, что чего-то нет, а нет, мол, и суда нет. Москвичи с великой кротостью смирились с тем, что Москву перестали чистить от снега и льда. Сшибались машины на загроможденных сугробами улицах, пешеходы ломали руки и ноги на тротуарной наледи, нынешняя зима стала настоящим кошмаром москвичей. «Некому работать», «Снегоочистительные машины стоят...» — мы сами услужливо придумывали оправдания нераспорядительности, равнодушию, разгильдяйству. И вот недавно, будто родившись из воздуха, на улицах Москвы появились сотни снегоуборочных машин, ожили и схватились за скребки ушедшие в коммерческую деятельность дворничихи, желтый песок усеял поля «ледовых побоищ», город стало не узнать. Впрочем, московские старожилы припоминают: такой некогда и была зимняя Москва — чистая, прибранная, безопасная для пешеходов.

Стоит коснуться одной московской проблемы, как она тут же тянет за собой другую. И все-таки есть одна глав-

ная, проникающая во все остальные: наш город в том виде, в какой его привели, не способствует сближению людей. Смешно сказать, но гололед тоже работает на отчуждение: когда скользко, пожилые люди стараются как можно реже появляться на улице и уж подавно не ходят ни в гости, ни в кино, ни в театр. Конечно, можно и дома посидеть, не о нас, стариках, речь, мы свое отжили, вот молодых жалко. Я не шучу, меня томит мысль: людям моего поколения выпала нелегкая судьба — гражданская война, голод, коллективизация, карточная система, сталинские репрессии, кровопролитная война с фашизмом, разруха, трудное опамывание. Но как это ни дико звучит, мы жили вроде бы веселее и радостней, чем молодые хмурыги, не знавшие ни культа личности, ни войны, ни урчания в пустом брюхе. Мы были счастливы нашей общностью, преданностью цели, бескорыстной заинтересованностью в жизни и открытостью души. Бывало, эту открытость оплачивали провалом отнятых лет, но мы не жертвовали страху ничем в своей душе.

Сейчас при неизмеримо возросших средствах общения и совершенной его безопасности коммуникабельность снизилась. Это распространяется почти на все формы человеческого обмена. Недаром исчез в литературе эпистолярный жанр. Писать пространные письма считается неприличным. А в старое время жизнь мало-мальски образованного человека не мыслилась без переписки. Сейчас письма вытеснены открытками, телеграммами, телефоном. Тем важнее непосредственное общение. Но у него повсеместно возникло много врагов, а в таком громадном и разбросанном городе, таком сложном механизме, как Москва, — особенно.

Кто-то сказал, что истину в одиночку не отыщешь. Наверное, в науке какие-то истины ищут в одиночестве, хотя и наука стала коллективной, ну а общечеловеческие истины лучше искать сообща. Без живых соков общения человек ссыхается в индивидуалиста.

Поскольку во имя общения мы не вернемся в коммунальные квартиры и к трамвайным скоростям, не откажемся от телевизора, не заменим телефонно-телеграфную краткость длинными эпистолами, не населим голизну новых районов кущами Ватто, влекущими к поэзии и любви, то решим, что же можно сделать уже сейчас, сегодня. Первое и самое простое: открыть двери дворцов и клубов всем, кому захочется прийти сюда просто так: поговорить, полистать журналы, послушать музыку, сразиться в шахматы. Перестать думать о зачетных очках, победах на конкурсах, всяком наваре, а силами самих посетителей сделать клубную жизнь интересной и теплой. Чтобы людям, особенно молодым, хотелось там бывать, а не подпирать стены подъездов, слоняться по улицам или торчать у домашнего телевизора. Чтобы клуб стал местом дружеских встреч, а не взлетной площадкой особо одаренных одиночек. Клуб не оранжерея для выращивания талантов, он для общей радости. И поменьше клубной работы, побольше игры, непринужденного общения.

Есть много способов сделать жизнь интересней, многообразней. Нужны лишь инициатива и упорство. Эти качества оказались у студентов и выпускников Химико-технологического института, создавших самодеятельный театр.

Недавно ребята своими силами оборудовали помещение на улице Чехова, под боком у театра имени Ленинского комсомола, не испугавшись грозного соседства пленительно-оглушительных рок-опер, правдивей самой жизни бормотка Петрушевской и того неистового фламандского юноши, в чье сердце стучался пепел Клааса. За годы своего существования молодежный театр накопил мускулы, создал хороший репертуар, москвичам по душе его имя «Театр на улице Чехова», нравится и дерзкое название одной из пьес «Чехов на улице Чехова».

А сейчас я остановлюсь на одной инициативе, быть может, самой плодотворной из всех, что осеняла умы беспокойных, ищущих москвичей. Идея создать литературную

студию принадлежала Евгению Винникову, выпускнику Литературного института имени Горького. Своим духовным отцом Е. Винников считает замечательного писателя и драматурга Льва Славина, познакомившего его с литературно-кружковой Одессой послереволюционных лет. Через эту одесскую выучку прошли те, кто стал гордостью нашей литературы: Багрицкий, Юрий Олеша, Валентин Катаев, сам Лев Славин. Но Винников задумался не о том, как «делать» писателей, а о том, как «делать читателей», высококвалифицированных, тонко и умно разбирающихся в литературе, способных захватить своим пониманием и энтузиазмом других, пассивных читателей. Литература, несомненно, зависит и от читательского уровня, ныне она ориентирована на некоего усредненного читателя. Спокон века в литературе идет война алой и серой розы, сейчас читатель склоняет чашу победы в пользу серой розы. Евгению Винникову хочется создать читателя, который взметнет алую розу.

Я упрощаю, сужаю задачи кружка, чье кредо не терпит искусственных утеснений, ограничений. Никакому читателю не возбраняется пробовать свои силы в творчестве. Винников это прекрасно понимал, он не чинил препон своим студийцам, лишь постарался направить жажду творчества в русло мемуарной литературы. Подробнее об этом дальше. Вот как он построил работу объединения. В основу положено литературное научение, сказать привычно «изучение литературы» я не могу. В работе с любителями литературы нельзя пытаться дублировать филологический факультет или литвуз, поэтому программу горьковского института коллегиально адаптировали, приспособили к реальным возможностям студии. Приглашают лекторов: литературоведов, критиков, ориентируясь на тех, кто отличается оригинальным мышлением, благо такие не перевелись. Обсуждают кружковцы и самое значительное в текущей литературе. Простите, но все это не ново... Да, вот поновее. Как уже сказано, студийцам не возбраняется писать, желаю-

щие могут выносить свои сочинения на суд товарищей. В обсуждение внесен милый привкус игры, спектакля для самих себя. Ведется оно, как во дни Карамзина, при зеленой лампе, с чаем и разными печениями домашнего изготовления. Назначается один письменный рецензент и два устных. Все трое готовятся к обсуждению с таким тщанием, будто от них зависит судьба рукописи. Аргументированный разбор исключает пустословие, которым нередко грешат кружковые обсуждения.

Винников убежден, что каждый серьезно и глубоко живущий человек может написать одну книгу — о себе самом, своей жизни, и это будет представлять известный интерес, независимо от меры литературной одаренности автора. Богатейшая мемуаристика прошлого века служит тому доказательством. Тем более что в студии собрались люди, не обделенные жизненным опытом и продолжающие этот опыт копить, среди них — рабочие, инженеры, метростроевцы, работники городского транспорта, журналисты (преимущественно из многотиражек), кинематографисты, машинистка. Так вот, по мысли Винникова, каждый должен оставить свое жизнеописание, и если оно не увидит свет, то явится материалом для профессиональных писателей, то есть все равно сослужит добрую службу. Это перекликается с горьковской «Историей фабрик и заводов», только без профессионального ограничения. А идея та же: создать групповой портрет времени, зафиксировать бесценный человеческий опыт, который может послужить и литературе.

Чтобы не быть голословным, приведу два примера. В Москву по лимиту приехала девушка, кончила курсы вагоновожатых и стала водить трамвай. Потом она поступила в студию к Винникову и через несколько лет написала книгу, назвав ее «Маршрут номер 6». Главы уже опубликованы, теперь очередь за книгой.

А вот еще один человек. Сейчас ему под сорок. Он много успел. Кончил «ремеслуху» по двум специальностям: сле-

сарной и столярной. Пошел работать на «Красную розу», и по той, и по другой специальности добился высшего разряда. Но вдруг влюбился в мчащиеся под Москвой поезда. Пошел на курсы машинистов. Поработал помощником, потом сам стал водить быстрые составы. Сейчас он машинист экстра-класса. Лет десять занимался в театральной студии при клубе имени Русакова, переиграл немало ролей, обнаружив несомненный артистический дар, но перейти на профессиональную сцену категорически отказался, хотя такие возможности были. «У меня есть работа, которую я люблю и которая меня кормит. Пусть театр останется для души». В клубе он баловался шашками и добаловался до того, что в составе команды рабочих-шашистов поехал на турнир в Голландию. Наши шашисты были приняты королевой. Ее величество изволило ласково беседовать с метрополитеновцем-шашистом. Еще ласковей беседовали с ним по возвращении домой сообразительные люди, предложившие «вытянуть» его в мастера спорта. Он наотрез отказался и продолжал водить подземные поезда. Однажды он ошибся дверью и, вместо драмкружка, попал на заседание «Зеленой лампы». И ему так понравилось, что он стал одним из ревностных студийцев. После долгих и довольно неудачных попыток он нашел себя в литературной пародии. Но, конечно, от него ждут книгу о своей жизни. Это будет интересное и поучительное чтение. Он так много успел, так прямо и честно шел по жизни, достигая потолка в каждом деле, за которое брался, и не соблазняясь дарами легкого пути.

Ныне студия, сменив двух хозяев, обрела надежное пристанище в саду «Эрмитаж», где для нее отстраивается помещение при Зеркальном театре. Студия, начинавшая как бедный родственник заевшихся профсоюзных культуртрегеров и нахлебник нищей госкультуры, сейчас прочно стала на ноги. Широкий успех и популярность принесло студии новое начинание: театрализованные литературные вечера. На них оказался большой спрос, и студия обзавелась

открытым счетом в банке. От оплаты наличными решительно отказались: деньги обладают свойством прилипать к рукам.

В нынешнем году у студии, получившей новое имя «Сокольники—Эрмитаж», два знаменательных события: первый выпуск и новый набор — семьдесят человек. На базе ее создается Московский центр самодеятельных театров.

Все это отрадные сдвиги. Особенно если б речь шла о Понырях или Калязине, но для Москвы прирост культуры за десять лет в виде двух самодеятельных театров и литературной студии, пожалуй, маловат. Боюсь, что жителей Орехова-Борисова, Медведкова, Ясенева, Конькова-Деревлева и других окраинных районов не осенит ласковый свет зеленой лампы. До каких пор Министерство культуры будет работать в темпе изнемогающего в пустыне каравана? Время не ждет, и так многое упущено.

Но мы все о досуге, о развлечениях, самодеятельности и самообразовании. А ведь Москва не Диснейленд и не воскресная школа. Москва — могучий организм, призванный обеспечивать существование многомиллионного населения, бесперебойную работу огромной промышленности, на Москве лежит забота о всех государственных учреждениях страны, здесь находятся Академия наук, Медицинская академия. Академия художеств, крупнейшие музеи, книгохранилища, архивы, это центр туризма и всех международных связей. Москва воистину мировой город, связанный со всеми живыми точками планеты.

Для города особенно важны коммуникации. Трагедия всех современных больших городов — перенаселенность и переполненность автомобильным транспортом, кромешные, как в аду, часы пик. В этом отношении Москва вполне на уровне мировых стандартов. Но вот что странно: Москва пожертвовала своим исторически сложившимся центром, сметя узкие кривые улицы и создав вместо них широченные магистрали, перекрестки превратила в площади, а площади — в пустыри. Такого расточительства не может по-

зволить себе ни один город в мире, ибо земля чудовишно дорога и каждый метр городской площади стараются максимально использовать. Кроме того, в Москве куда меньше легковых автомобилей, если сравнить ее со столицами такого же ранга, но пробки на широких улицах стали привычным делом. Припарковаться в центре негде, а воздух загазован до предела. Последнее объясняется обилием грузовиков и старых зилевских автобусов, исторгающих из перегоревших глушителей такой смрад, что, попади под струю живое существо, оно тут же бы околело. ГАИ цепляется к любой малости, когда дело касается частников, но совершенно равнодушно к тому, что губительно для здоровья граждан.

В хорошем современном городе грузовик в дневное время не увидишь. Локальные поставки осуществляются с помощью пикапов и трехколесных машин с мотоциклетным мотором: «суперлайнеры» появляются лишь в ночное время, с хорошо отрегулированным, не рычащим, как голодный тигр, мотором, исправным глушителем и трезвым водителем. Один мой знакомый профессор-француз, увидев на улице Воровского среди бела дня гремящий бортами, вихляющий из стороны в сторону, источающий клубы черного дыма самосвал, долго глядел ему вслед, затем сказал понимающе: «А-а, это съемки скрытой камерой!» Он думал, что снимается фильм ужасов, а за рулем каскадер. Не должно быть грузовиков на московских улицах днем, лишь в паре со снегоуборочной машиной.

Почему в Москве так трудно припарковаться, ведь места сколько хочешь. Например, по всей новой части Калининского — сплошь торгового — проспекта стоянки запрещены. Но от тротуара до мостовой тянутся широченные пустынные закрайки, как будто созданные для того, чтобы на них ставили машины. Так раньше и делали, и всем было удобно. Но в милиции рассудили, что это самоуправство. Кто позволил? Запретить! Сказано — сделано. И не скупятся держать посты, чтобы гонять и карать «нарушите-

лей». А может, это отрывка той мрачной поры, когда весь район Арбата считался табу?

Громадное пустынное пространство Манежной площади могло бы приютить весь личный транспорт, заехавший в центр, но опять «фуку» — и водители мучаются, не зная, где оставить машину. По-крысиному расплотившиеся дорожные знаки запрета — часть общей тенденции к бессмысленному запрещению. Почему в журналы «Огонек» или «Пионер» нельзя пройти без пропуска? Это что — военные секретные объекты? Почему, переступив порог «Советской культуры», ты утыкаешься носом в прокисшую шинель вахтера? Что и от кого он хранит? За всем этим — извращенная психология: видеть в каждом гражданине злоумышленника, врага. Пора кончать с подобной практикой. Надо разрешать, разрешать что только можно, тогда будет больше порядка и разума в жизни столицы.

В морозные дни зимы до боли очевидна и горестна нехватка общественного транспорта в столице. Тяжело смотреть на бесконечные иззябшие очереди у автобусных и троллейбусных остановок, окутанные мерзлым паром дыхания. Когда городское начальство проносилось на нежно шуршащих шинах своих «Зилы» и «Чаек», неужели ему не жалко было своих усталых, замерзших, измученных братьев в человечестве, вечных пешеходов Москвы? Грустно и страшно думать, что пустое сердце спокойно и упруго колотилось о лежащий в нагрудном кармане партийный билет.

И еще один проклятый вопрос: почему таксисты так часто едут не туда, куда тебе нужно, а на обед, или в парк, или вообще никуда не едут, пребывая в таинственном ожидании какого-то чудо-пассажира. Неужели они не заинтересованы в законном заработке плюс скромные чаевые? Да, это так. Каждый уважающий себя, но не своих сограждан таксист метит в мини-автобусы, везущие разных пассажиров по одному и тому же маршруту за отдельную плату; все платят полностью то, что указано на счетчике.

Если же он пробился на трассу «Домодедово — Шереметьево» и обратно или «Шереметьево — Внуково» и обратно, то он — мини-автобус с макси-заработком. С таким большим заработком, что из него уделяется не только обычным мздоимцам: мойщику, механику, сторожу и директору гаража, но и милиционерам, дежурящим в аэропортах, гаишникам ближайшего поста и комсомольским патрулям. Понятно, почему среди таксистов нередко встретишь бывшего инженера, запрятавшего подальше диплом или скрывающего свою научную степень кандидата наук.

Я всегда с интересом смотрю на сотрудника ГАИ, который карает меня за отказавший сигнал поворота, перегревшую лампочку, отсутствие бокового зеркала (украденного, когда я смотрел спектакль в новом помещении МХАТа и страшно простудился, так дуло со сцены), за помятый бампер или крыло, за разбитый подфарник. Он ведь прекрасно знает, что нужных запчастей почти никогда не бывает в продаже, надо месяцами обивать пороги магазина, чтобы случайно застать дефицитную деталь. Он знает также, что своим карающим жезлом толкает меня на мелкое преступление: я куплю эту запчасть у таксиста, который украдет ее в своем гараже, а если у меня «Москвич», то у проходной одноименного завода, где можно за две недели набрать на всю машину, включая кузов. Я не стану писать о работе московских станций техобслуживания, ибо это материал для уголовной хроники. По той же причине не стану писать о московской торговле, которой всерьез занялись органы правопорядка. Долгожданный народом гром все-таки грянул.

Но в Москве, помимо госторговли, есть рынки в каждом районе — большие, заметные, многолюдные. Это естественная часть городского бытия, а рыночная торговля — важная питательная артерия, без которой покамест не обойтись. Да и зачем обходиться, будь рыночные цены ниже государственных, как и должно быть при здоровой экономике. Продавать излишки своей продукции — неотъем-

лемое право сельских жителей. Но если рыночные цены намного выше государственных и не снижаются даже в те месяцы, когда госторговля способна обеспечить население данным видом продукции, то это говорит о суверенной мощи частного сектора и о неблагополучии в социалистической экономике. Что поделаешь, в настоящее время ту часть запросов населения, которую удовлетворяет рынок, государство не может взять на себя. Но из этого не следует, что нужно ломать шапку перед рынком. С ним можно и нужно соревноваться средствами потребительской кооперации. При каждом рынке есть такие отделения, выдержанные в нарочито плюгавом стиле. Когда видишь аккуратно и аппетитно разложенный свежайший товар веселых румяных девок, заборных молодежьих бабок, становится грустно за унылых, часто нетрезвых бедолаг в грязных фартуках, кое-как управляющихся с немывтыми, обвялыми овощами за прилавками потребкооперации. Как будто кто-то, сильно не любящий Советскую власть, задался целью наглядно показать превосходство частного сектора над общественными формами хозяйствования.

Оказывается, кооперация могла бы и не ударить в грязь лицом перед частниками, но московские руководители всячески препятствовали ее торговле под гулками сводами столичных рынков, отсылая в сельскую местность, где она вовсе не нужна. И кооперативная торговля на рынках стала вести жалкое сосуществование с частниками.

Разговор о рынке толкнул мою блуждающую мысль к теме вежливости, вернее, невежливости, а если прямо — к хамству. Рынок — это едва ли не единственное общественное место в столице, где с тобой вежливы, в частном секторе разумеется, кооперация и тут не на высоте.

Все жители нашей необъятной Родины едины в том, что Москва самый невежливый город в стране. Спросите прохожего москвича, где находится нужная вам улица, переулок, учреждение, — даже не выслушав толком, он буркнет: «Я не здешний!» — и безглаголиво пройдет мимо. Поче-

му в Москве все нездешние? Состав Москвы меняется, обновляется, но ведь обычно люди, получившие московскую прописку, остаются тут навсегда и не имеют морального права ссылаться на свою «потусторонность». Я уже надоед с Ленинградом, но любой тамошний новожил считает себя коренным ленинградцем и трогательно гордится своим скороспелым знанием города. А москвич и с многолетним стажем не стремится узнать свой великий город, вроде бы бравировует его незнанием. Это заразило даже тех, у кого Москва в крови, может, и раздражение против тьмы приезжих сказывается, но не обращайтесь к московским прохожим, вразумительного ответа вы не услышите.

А как ведут себя москвичи в местах людского скопления, как разговаривают в магазинах, на почте, в прачечной, сберкассах — это страшно. И если в магазинах приоритет на хамство принадлежит продавцу как власти имуществу, то в остальных случаях первым заводится обычно клиент, правда, подвергшаяся агрессии сторона быстро берет верх в силу натренированности и лучшей защищенности.

Что стоит за грубостью отношений? О, многое! С одной стороны, сорванная московским образом жизни — транспортными муками, очередями, вечной нехваткой того, что нужно, — нервная система, с другой — незаинтересованность в работе при острой нехватке кадров в сфере обслуживания. Приемщица в прачечной сказала: «За эти гроши да еще улыбаться!» — она по-своему права. наших туристов поражает вежливость продавцов, официантов, гостиничных служащих «за бугром». Там существует правило: клиент всегда прав — и страх безработицы. Такая вот принудительная вежливость, под угрозой увольнения, не для нас. Нашим людям на низкооплачиваемых должностях чужд страх увольнения. Обратимся к опыту Аэрофлота. Свое обслуживание пассажиров он определяет как «ненавязчивое» — прекрасная формулировка! Вот за такую ненавязчивую вежливость мы должны бороться. Чтобы щадить друг друга, не собачиться по-пустому. Это продлит жизнь как

обслуживающим, так и обслуживаемым. Да и нет между нами барьера: мы все обслуживаем друг друга.

К ненавязчивой вежливости способен каждый, как бы ни были у него сорваны нервы. Берусь это доказать. Когда вас намнут в метро или автобусе, когда, уже опаздывая, вы поскользнулись возле проходной и вывихнули ногу, когда жена сообщила по телефону, что не достала молока для ребенка, таким тоном, будто это ваша вина, когда, нахлебавшись служебных неприятностей, вы проторчали лишних два часа на собрании, нужном лишь для галочки, когда вас, хромящего, записали в лыжный поход в честь какой-то даты и на овощную базу в обычном порядке, то, возвращаясь с работы, обремененный рядом домашних поручений, выстояв километровую очередь на автобус, — а мороз под тридцать, — вы не запоете шубертовское «Как на душе мне легко и спокойно», не пропустите даму вперед и, может, кого-то облаете (ту же даму), а кому-то (той же даме) дадите под ребро — с вас взятки гладки, вы доведены!.. Не верьте этому. Вы на редкость выдержанный, полный самообладания субъект с железными нервами. Ведь вы не накричите на своего начальника, когда он порет несусветную чушь или предлагает вам, бухгалтеру, «создать ажур» там, где ажур нет и в помине, вы не посмеете отказаться от перебора гнилья в склепной стуже, хотя вы не овощник, а инженер, ученый, финансист, плановик, студент, вы подобострастны с жэковским слесарем — пьяницей и хапугой, вы молчите, когда вас обвешивает продавец или недоливает кружку пивница. Вы разнуздываетесь лишь там, где вам ничего не грозит. Значит, вы аггравируете свою болезнь, так это называется в медицине. Вы совсем не такой невежливый человек, как это кажется вам самому и всем, от кого вы не зависите. Немного усилий, и природная ваша вежливость распространится на всех, а вы в свою очередь будете купаться в волнах чужой вежливости.

А не переборщил ли я? Что же, в Москве все так плохо? Конечно, нет. Город живет!.. Но вспоминаются слова О.Ман-

дельштама: «Мы думаем, что все в порядке, потому что ходят трамваи». Обобщите слово «трамваи», пусть оно охватывает все виды городского транспорта и городские службы, МХАТ, Малый театр, цирк, детскую оперу Наталии Сац и образцовских кукол, ансамбль Моисеева, консерваторию, стадион имени Ленина, Музей имени Пушкина с его великолепными экспозициями и культурной программой, да мало ли сколько еще в Москве хорошего, талантливого, значительного, и вы уверитесь, что все в полном порядке. Нет, не в порядке, не надо себя обманывать, лучше смотреть правде в глаза.

Выработалась чрезвычайно дурная манера говорить о наших недостатках. Чтобы тебя не обвинили в очернительстве, а тем паче в клевете, надо прежде всего развернуть сияющую панораму наших достижений, которые так великолепны, что на их фоне любые недостатки кажутся мелкими, незначительными. А людям, виновным в этих недостатках, только того и надо: если стрела и достигнет их, то уже на излете.

Я жалею не о том, что сказал, а о том, что сказал далеко не все. После войны в Москве не построено ни одного драматического театра. Достроены три, причем один (МХАТ) настолько неудачно, что актеры не хотят там играть. Но играть приходится, потому что основное здание, исторический дом Чехова и Горького, ремонтируется вот уже восемь лет. Но разве дело в зданиях? Мы теряем нашу любовь, нашу гордость — Большой театр. Да, величественные стены и стройные колонны Бове стоят, и все так же мощно правит своей квадригой Аполлон, и сияет позолотой, алеет бархатом зал, озаренный светом гигантского хрустала, ну а что на сцене? Оперный репертуар случаен, это какой-то ералаш. И можно ли представить себе оперу без колоратурного сопрано и лирического тенора? Формально такие голоса, конечно, в труппе числятся, но это лишь «исполняющие обязанности». Поэтому не ставятся самые популярные оперы, такие, как «Риголетто», «Ромео и Джуль-

етта», «Богема», «Лакме», «Майская ночь», а на «Евгения Онегина» стоит пойти лишь в том случае, если партию Ленского вновь запоет драматический тенор В.Атлантов, которого куда чаще слышат меломаны Вероны и Милана, нежели москвичи. Замечательный артист не виноват, он не раз с полным чистосердечием говорил, что охотнее пел бы дома, да петь нечего.

Мы привыкли злоупотреблять словом «культура», применяя его ни к селу ни к городу. И все же, мне кажется, позволительно говорить о «культуре руководства». Это предполагает причастность руководителей к духовному опыту народа, к его хрупким нравственным ценностям, умение видеть за толпой человека, а в человеке — личность и беречь пуше зеницы ока это золото человечье, дороже чего нет на свете. Здесь корень всех заботящих нас проблем, даже транспортных.

Но давайте помнить и о своей ответственности. Да, жить в нашем городе стало нелегко, и причин тому много, тут не справишься в один присест, нужно время, терпение, труд. Соборный — всех нас. Мы явили высочайшее достоинство в годину суровых испытаний, когда смерть висела над каждой головой, так нам ли разваливаться от бытовых неудобств, пусть досадительных, и зачем отрясать гроздья гнева друг на друга, не лучше ли обратить нашу силу против того, что нам мешает? Мы же любим Москву, нам тяжела даже короткая разлука с ней, так вспомним о нашей московской гордости и заглохшем гражданском чувстве.

1986

Библиотека имени Г.И. Успенского  
ул. Мухоморова, 20  
Москва  
2362

# СОДЕРЖАНИЕ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

3

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

10

Я ИЗУЧАЮ ЯЗЫКИ

20

ТОРПЕДНЫЙ КАТЕР

34

ШАМПИНЬОНЫ

56

ЖЕНЯ РУМЯНЦЕВА

88

ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

96

ДОМ № 7

105

НЕ В ТУ СТОРОНУ

109

ИВАН

129

НЕПОБЕДИМЫЙ АРСЕНОВ

144

МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ, МОЙ ДРУГ БЕСЦЕННЫЙ

159

МЕЛОМАНЫ

181

ЛИВЕНЬ

198

ВОРОБЬИ ПОД КРЫШЕЙ

215

КАПЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ

226

КАК ТРУДНО БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ!

**259**

ПОЧЕМУ Я НЕ СТАЛ ФУТБОЛИСТОМ

**286**

«ЗОЛОТО СТОЛИЦЫ»

**319**

МОСКВА... КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ...

**320**

ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА

**365**

СТАРЫЙ НАЕЗДНИК

**389**

ЖАРКОЕ ДЕЛО

**422**

ПЕВУЧАЯ ДУША РОССИИ

**451**

О МОСКВЕ С ЛЮБОВЬЮ И НАДЕЖДОЙ

**502**

Юрий Маркович  
Нагибин

**МОСКОВСКАЯ  
КНИГА**



---

Художественное оформление  
*Е.Селивановой*

Корректор  
*Н.Быкова*

Электронная подготовка оригинал-макета  
*С.Андрусенко*  
*А.Безуглый*  
*А.Федина*

Ответственный за выпуск  
*И.Смолин*

---

---

По вопросам  
распространения  
обращаться по телефону:

200-56-43

---

ЛР № 064584 от 14.05.96.

Сдано в набор 17.06.97. Подписано в печать 21.07.97.

Формат 84 x 108/32. Гарнитура Лазурский.

Бумага книжно-журнальная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 28,56. Тираж 5000 экз.

Заказ № 265.

Издательский Дом «ПОДКОВА»

121108, г. Москва, ул. Пивченкова, 3-1.

Отпечатано с готовых оригинал-макетов  
на ИПП «Уральский рабочий».

620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

OCR Давид Титиевский, август 2019 г., Хайфа